95 коп.

Индекс 73276



«Нева», 1989, № 11, 1—208

НЕВА 11 1989

ISSN 0130—741X

11/1989

Н. КОНЯЕВ
Пригород
Роман

М. КОСТРОВ
Жихари
Полистовья
Повесть

Нева

Р. КОНКВЕСТ
Большой террор

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»
Л. БАТКИН
Беззаконная комета

Ф. ЛУРЬЕ
Провокаторы и полицейские



«Ростральные колонны»
Фотографика А. ПИЧЕВСКОГО

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

11/1989

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ



Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

В номере цветная вклейка:
«Римма ЮНОШЕВА. Художник театра и цирка»

Старший технический редактор Г. В. Александрова
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

Сдано в набор 28.07.89. Подписано к печати 02.10.89. М-25016. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 23,94+2 вкл.=24,17 уч.-изд. л. Тираж 675 000 экз. Заказ № 1998. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Виктор
МАКСИМОВ



Цифры

Снились цифры, лишенные смысла.
Не проценты,
не суммы,
не числа,
не масштабы родимой земли,
снились цифры, летящие мимо...
И в клубах паровозного дыма,
как колеса, крутились нули.
В топке пламя металось, шалея.
Было жить нам и впрямь веселее —
Дунаевский играл допоздна.
А в потемках носились фургоны,
и катились в непамять вагоны,
и подрагивала страна.
Стук стальной
на весь мир раздавался!
Я удары считал
и сбивался,
и в холодном поту обмирал,
цепенел, как той ночью, в постели...

. . . .

А безумные цифры — летели!
Колотились нули
об Урал.

Видение

На переломе времен,
когда замолкают куранты,
слышит притихшая площадь
медленные шаги.
Это, снежком похрустывая,
сухо в ладонь покашливая,
трубочкою посапывая,
из Мавзолея вынесенный
поднимается на Мавзолей.
Медленно и неизбежно,
вверх по ночным ступеням,
по таким безмолвным ступеням,
выше и выше —
вверх...

На переломе времен
мне все чудится непоправимое:
мне все видится, как она тянется
к козырьку фуражки — рука.
Все мерещится мне, как по площади
мимо Лобного места движется,
на трибуну равняясь, колышется,
как скрипит костьми под подошвою —
этот русский беспамятный снег...

◆◆◆

Все как один! В одном порыве!
Через миры! Через века!
Гремя! Громя! В цеху! На ниве!
В ночи под рык грузовика!
Колеса! Винтики! Колосья!
И даль зовет! И цель одна!..
. . . .
И как трава на сенокосе
единогласна вся страна.

Из семейного альбома

1

Топают по полу тяжкие ноги.
Снизу колотит сосед по трубе.
Блудный отец восклицает о Боге.
Праведный сын о смертельной борьбе.

2

Чавкают тени ночные по глине.
Тихо в квартире номер один.
Хлопает черная дверца в машине.
Гасит окурок праведный сын.

Тризна

Когда спирт на колымском погосте
не берет уже больше, браток,
ничего нам с тобой, кроме злости,
не прибавит свободы глоток.

Ничего, кроме лютого жженья —
всю-то глотку, подлюка, сожгла! —
кроме трезвости и ощущенья
пустоты, там где вера была.

Кирпич

В усталой стране на карнизах
деревья и травы растут.
В усталой стране на работу
усталые люди идут.

В усталой стране по дорогам
усталые роты пылят.
Усталые пропагандисты
проценты прироста сулят.

Усталые официанты
клиентам в тарелки плюют.
Отцы, изгибаясь устало,
юнцов на лопатки кладут.

И вот ведь что характерно —
как дети на фильм про войну,
вприпрыжку спешат интуристы
в усталую нашу страну.

Все едут, и едут, и едут,
все смотрят, разинувши рты,
вокруг... А еще на карнизы,
где травы, деревья, цветы.

И хочется крикнуть им сверху:
Не стойте, пройдите вперед!
А что, как на вас ненароком
с карниза кирпич упадет?!

Люди-гвозди

Косяки, стропила, доски, плиты,
плинтуса... На ощупь не видны
люди-гвозди, что по шляпку вбиты
в память ненадежную страны.

Из того строения, в котором
страх берущий недохват гвоздей,
никаким не выдрать гвоздодером
этих несгибаемых людей.

◆◆◆

Догоним! Дадим! Обеспечим!
Достигнем! И снова — дадим!..
Хотелось бы верить,
да нечем:
изверился, милые, в дым.

Прилег отдышаться —
но боже! —
опять призывают, трубя!..
Хотелось бы плюнуть,
но кто же,
но кто же, кроме тебя?!



Рис. Д. Плаксина к роману Н. Коняева «Пригород»

Николай
КОНЯЕВ

ПРИГОРОД

Роман

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Было два времени...

Было большое время и малое...

О большом времени Марусин узнавал из книг — там все было просто и ясно. О большом времени вспоминал он и в парке. Из большого времени текла к заливу студеная река...

Но призрачной дымкой заволакивало по утрам прибрежные кусты, скользили по зябкой воде тени, нечетко и томительно дрожал воздух, и трудно становилось дышать от горьковатого комка, подступившего к горлу,— неузнанный, изменялся и делался другим мир, дрожали и путались, неразличимо сливаясь, чувства... Наступало малое время, и не было ничего навсегда определенного в нем, все дрожало, переливалось, мерцало неверным светом... В этом малом времени радовались и тосковали знакомые и незнакомые Марусину люди, и это проклятое и бесконечно любимое время не вмещалось в сердце...

Проще было жить в большом времени, где отчаяние не искажало перспективы. Марусин и жил там, но иногда малое время врывалось в него голосами и болью людей, и тогда смятение охватывало душу.

Тогда Марусин словно бы выплывал из себя, становился бесконечным в жалости, захлестнувшей его, прекращался на эти мгновения как личность... И кто-то другой — не он! — сидел в эти мгновения за столом, отвечал на вопросы, а его, Марусина, не было, не существовало вообще, или, может быть, все вокруг и было им... Впрочем, наверное, это одно и то же.

Марусин знал, что когда наступает такое состояние, лучше всего крепко зажмурить глаза и вымотать из головы безумие, разрывающее мозг, и сразу, ни о чем не задумываясь, склониться к бумаге и писать все равно что...

«В дендрологической структуре парков левобережья залива широко и полно отразилось мировоззрение их творцов. И, может быть, поэтому можно говорить о характере этих парков, как мы говорим о характерах персонажей литературных произведений».

Да... Хотя бы вот так...

Сразу стало легче. Рассеялась ирреальная муть, и можно спокойно всей грудью вдохнуть казенный воздух редакционного кабинета.

Да и что случилось?

Жизнь идет, и все в этой жизни понятно и просто. Нет ничего удивительного, что какой-то человек хлопочет о заграничной командировке и бродит с тоскливыми глазами по лабиринтам назначенного на снос района. Нет ничего удивительного в его тоске. Когда он вернется назад, ничего не останется от этих заросших травой переулков — от парка до Петергофского шоссе, ровные, поднимутся параллелепипеды типовых домов.

Окончание. Начало см.: «Нева», 1989, № 10.

А что странного в том, что жильцы старого, прогнившего насквозь дома собираются по вечерам во дворе, расспрашивают друг друга о болезнях и ссорятся из-за пустяков? Ничего... Обычная коммунальная жизнь.

Да. Все так, и все хорошо.

Плохо только, что за окнами редакции линия электричек, и каждые пятнадцать минут от проходящих составов мелко дребезжат стекла.

Это мешает.

Каждый раз поневоле поднимаешь голову и видишь: напротив, забывая прятать слезы, плачет красивая девушка, так просто разделившая все человечество на собак и кошек.

И тогда снова надо усилием воли сжиматься, чтобы чужая, выплакиваемая боль не смяла тебя. Да, надо сжаться и попытаться понять настоящую причину этих слез. А понять не так уж и трудно. Просто Зорина влюблена в Кукушкина. Безответно влюблена в этого человека с вислым задом и ослепительной улыбкой. А Кукушкин не любит Зорину и не будет любить, потому что любит другую — в субботу он женится на Леночке Кандаковой. В субботу будет свадьба.

Он, Марусин, приглашен на свадьбу, и, наверное, он придет в ресторан «Волна», потому что он вообще-то уважает Кукушкина как порядочного человека.

Смешно: все говорят о порядочности Кукушкина, а он так долго сомневался в этом, хотя, сколько ни наблюдал за Кукушкиным, ничего *непорядочного* не заметил в нем... Смешно... Просто, по-видимому, сам Марусин плох, если так недоверчив.

И стилист Кукушкин тоже неплохой. Наверняка ему понравилась бы фраза, которую Марусин записал на бумаге.

А слезы Зориной вызывают только чувство неловкости. Да, у нее неприятности... Но разве это впервые? Редактор часто вызывает Зорину, и каждый раз она возвращается с заплаканными глазами. Потом это проходит. Пройдет и на этот раз. Ее слезы высохнут, и она сама позабудет про них. А сейчас она, конечно, переживает.

Но никто не виноват в этом. Только она сама... Нужно тщательнее проверять подготавливаемые материалы. Это закон для журналиста, как говорит Бонапарт Яковлевич.

Плохо другое... Плохо, что нельзя опустить на стекла плотные шторы. Дребезжание стекол не отвлекало бы тогда, а сейчас отвлекает, сейчас снова пришлось поднять голову, и снова видишь: на бумагу падают слезы девушки, и бумага, промокая, коробится...

И снова начинает кружиться голова, и снова немыслимо трудно понимать то, что еще минуту назад было простым и ясным. И теперь, чтобы снова вернуться к спасительным рассуждениям, приходится до боли сжимать зубы.

Люда переживает... Она еще очень молода и поэтому так переживает. Пройдет время, она встретит человека, которого полюбит, этот человек станет ее судьбой, и если тогда опять случатся у Люды неприятности на службе, она уже не будет так переживать... А сейчас она еще не встретила своего человека, поэтому и переживает...

Нет... Все понятно, и нечему удивляться. Все понятно, но почему так быстро, сминая временной интервал, подошла электричка? Или нет... Это не электричка. Это дребезжат в стакане карандаши. Это Угрюмов оперся руками на марусинский стол и что-то говорит.

— ...а вы, Марусин, не слышите?

Что? Что он, Марусин, должен еще слышать?

— Я прекрасно слышу, Терентий Павлович...— сказал не Марусин, а кто-то другой марусинским голосом. И кто-то другой встал, потому что вокруг гремели отодвигаемые стулья и все сотрудники вставали и шли к двери...

В редакторском кабинете Марусин примостился за массивной спиной заведующего сельхозотделом. Съежившись, он с почтением поглядывал на портреты, что висели на стенках. Он старался не смотреть на редактора, но все равно жалобный голос Бориса Константиновича настигал его и в этом тихом уголке.

Когда редактору грозили служебные неприятности, он трусил так, что даже внешний облик его менялся. Борис Константинович втягивал голову в плечи и, затравленно озираясь, жалобно помаргивал коротенькими ресничками. И весь он в эти минуты удивительно походил на маленького, нашкодившего и потому ожидающего неминуемой расплаты школьника. Охваченный страхом, редактор терял, кажется, здравый ум и стремился теперь не столько исправить ошибку, сколько отстраниться от нее. И сегодня: будь на то его воля, редактор давно бы уже убежал прочь от Зориной, прочь из редакции, прочь от всех несносных, только и желающих ему неприятностей людей.

Редактор трусил так, что неловко было смотреть на него. Но сотрудники редакции знали и другое. Они знали, что когда улягутся страсти, за свой страх, за свое унижение сумеет отомстить редактор, и долгой и мелочной будет его месть.

Знала это и Зорина... С такой бессильной яростью смотрел сейчас на нее Борис Константинович, что она уже и не пыталась объяснить свой проступок, плакала, не замечая, что плачет.

Борис Константинович внезапно замолчал, жалобно оглядывая присутствующих. Никто не шевелился. Все сидели, опустив глаза. И в этой мертвой тишине Марусин вдруг услышал, как недопустимо, неприлично громко бьется его сердце. Он покраснел испуганно.

К счастью, редактор уже снова надул щеки и, как затравленный хомячок, с беззащитной злобой взглянул на Зорину.

— Товарищи! — отдышавшись, сказал он.— Реально, товарищи, случилось событие, бросающее нехорошую тень на наш прекрасный коллектив. По преступной халатности сотрудницы редакции случилось непоправимое: на страницах газеты мы напечатали статью, в которой расхвалили пьяницу и уголовника. В райком партии уже начали поступать сигналы! Мы призвали со страниц газеты брать пример с уголовника! Как это могло случиться? Как могло произойти такое?! Зорина! Я о тебе говорю! Дрянь ты этакая!

Комкая в руках мокрый от слез платочек, Зорина не встала, а подскочила.

— Я не з-знаю...— кусая губы, проговорила она.— На собрании, посвященном наставничеству, мне понравилось выступление молодой работницы, и я попросила текст его. Секретарь комсомольской организации сама принесла его в редакцию.

— Там секретарем Лена Кандакова? — спросил Бонапарт Яковлевич Кукушкин, помечая что-то на листке бумаги.

Сотрудники удивленно оглянулись на него: неужели Кукушкин не знал наверняка того, где работает его невеста? Ведь это же знали все, сидевшие за этим столом.

Но так протокольно замкнуто, так бесстрастно сурово было лицо ответственного секретаря, что всем стало ясно, почему задал свой вопрос Бонапарт Яковлевич. Назвав фамилию своей невесты, он, в сущности, обвинил и ее... А когда Бонапарт Яковлевич прикрыл чуть дрожащими пальцами глаза, все увидели, как трудно было ему произнести эту фамилию.

— Да...— испуганным шепотом ответила Люда.— Да... Лена и принесла.

Грохот электрички заглушил, смял последние Людины слова.

Медленно багровело лицо редактора. Кадык на шее несколько раз дернулся, словно Борис Константинович пытался сглотнуть красноту с лица, но не удалось, редактор повернул свое разбухшее гневом лицо к Зориной, и та закрыла глаза ладонями и зарыдала...

— Ничего ты не поняла! — редактор хлопнул кулаком по столу, и все облегченно вздохнули: наконец-то гнев редактора достиг максимальной точки — он уже не боялся, не трусил, а гневался — и это значило, что дело идет к развязке.

— Ничего ты не поняла...— повторил редактор.— Еще и пытаешься свалить вину! Дрянь!

Бонапарт Яковлевич Кукушкин дернулся было, но редактор, подняв руку, остановил его.

— Какие, товарищи, реально будут предложения? — устало спросил он.
И сразу поднялся Угрюмов.

Близко поднося к глазам бумажку — он позабыл захватить очки — прочитал: «Предлагаю за халатность, допущенную в подготовке материала о наставниках, сотруднику Зориной Л. В. объявить выговор. Предлагаю поручить отделу промышленности подготовить проблемную статью, в которой попутно можно было бы объяснить читателю, как произошла эта ошибка».

Угрюмов положил бумажку на стол и, посмотрев на редактора, сел.

— А чего это мы должны заниматься этим делом...— раздался сварливый голос заведующего отделом промышленности.— Вы у себя заварили кашу, вы и расхлебывайте.

— Это же не наша тема! — горестно воскликнул Угрюмов.— Наставничество — тема отдела промышленности! Я вообще не понимаю, почему Зорина схватилась за чужую тему. И вот, пожалуйста! А если бы вы сразу занялись ею, может быть, и не было бы ошибки!

— Да о чем ты говоришь! — возмутился заведующий промышленным отделом и обернулся к редактору.— Я не понимаю, Борис Константинович, практики партийного отдела. Что это за мода спихивать на нас тему, которая теперь-то уже никакого отношения к промышленности не имеет.

Они препирались долго, но какой-то кусок времени выпал из сознания Марусина. Он очнулся, когда уже стоял и говорил сам.

— Чрезвычайно...— говорил он.— Чрезвычайно интересно разобраться в этой ситуации. Почему... Почему комсомолка так выступила на собрании? Почему никто не опроверг ее? Почему секретарь комсомольской организации не заметила допущенной ошибки? Чрезвычайно благодарная тема. Можно накопать материал на целый подвал, посвященный нравственной теме. Я готов взяться за него.

Он сел и только после этого украдкой огляделся, пытаясь определить, какое впечатление произвело его выступление. Все молчали. Редактор морщил лоб и постукивал карандашом по столу. Он думал.

— Хорошо, товарищи! — сказал он наконец.— Все выступали очень реально. Мнение коллектива довольно-таки единодушно. Разгильдяйству не место в нашем коллективе. Зориной будет объявлен в приказе выговор. Мы лишим ее всех премий! Пока мы ограничимся этой незаслуженно мягкой мерой, но это — в последний раз. А тему...— редактор еще раз оглядел сотрудников,— тему мы закрепим за отделом партийной жизни. Это их тема. Смотрите, товарищи, на вещи реально. Все.

После летучки Марусин задержался в вестибюле. С сигаретой подошел к пожелтевшему фикусу. Тут-то и окликнул его Бонапарт Яковлевич Кукушкин.

— Молодец! — сказал он.— Очень здорово ты выступил. Просто молодец!

— Ну уж...— смущенно ответил Марусин.— Что я? Вот ты...— он замолчал, не зная, как сказать, что, наконец-то, когда Бонапарт Яковлевич так самоотверженно пожертвовал интересами будущей семьи ради принципа, он, Марусин, действительно убедился в его редкостной порядочности...

— Я?! — удивился Бонапарт Яковлевич.— Я не сделал ничего, кроме того, что я должен был сделать. Да и то, что должен был сделать, не сделал, а только попытался сделать.

— Не в этом дело...— сказал Марусин и смутился совсем.— Главное, что пытался...

Бонапарт Яковлевич сочувственно улыбнулся ему.

— Все в порядке...— проговорил он и похлопал Марусина по плечу.— Ты молодец.

Он кивнул Марусину и направился к секретариату.

Хотя Марусин и пожал плечами, показывая, что он тоже не сделал ничего сверх того, что должен был сделать, похвала была приятна ему.

«Неплохой мужик...— втыкая окурок в ящик с фикусом, подумал он.— Очень даже неплохой...»

И сморщил нос, обдумывая свою мысль.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В последнее время Прохоров переменился. Впервые с тех пор, как вернулся в городок, перестал он подкарауливать Леночку Кандакову, надеясь объяснить ей, что его, а не Кукушкина, любит она...

Спокойнее стал Прохоров и задумчивее. И не спешил уже после работы в Ленинград, шел домой и по вечерам сидел во дворе под старыми липами и слушал рассказы Якова Филипповича.

Так уж устроен был Прохоров, что казалось ему, будто теперь — теперь-то наверняка! — постигает он самую тайную суть жизни.

О чем только не рассказывал ему Яков Филимонович! И слушал бы его Прохоров, и слушал бы... Как зерна, западали в его душу слова Якова Филаретовича, наполняя ее смыслом...

И вздыхал Прохоров.

— Как жалко, что я вас раньше не встретил! — с горечью сказал он сегодня Якову Ферапонтовичу.

Легко улыбнулся в ответ тот.

— Стучите, и отворят вам...— сказал он, и мудрыми и печальными были глаза его.— Так написано в Евангелии. Ищите, молодой человек, и обрящете... И еще, молодой человек...— голос Якова Феликсовича стал совсем тихим, и Прохоров внутренне напрягся, ожидая, что сейчас прозвучат самые главные, самые истинные слова, которых он ждет всю жизнь.— Не теряйте себя, не разменивайте себя и главное... берегите свою совесть. Это...

Яков Феодосьевич вдруг замолчал, вглядываясь поверх Прохорова в глубину двора.

Прохоров обернулся и увидел элегантного молодого человека, идущего сейчас по двору. Лишь по гитаре, которую тащил парень, Прохоров сообразил, что это же Пузочес.

Просто удивительно, как меняет человека одежда! В облегающих американских джинсах, в приталенной оранжевой рубахе и роскошном кожаном пиджаке Пузочес стал стройнее и подтянутей, и даже походка его изменилась. Легко и упруго шел он мимо уставившихся на него соседей. Глаза Пузочеса были скрыты темными итальянскими очками, и трудно было сказать, заметил ли он их вообще.

Завистливо вздохнул Прохоров. Все: и туфли на толстой подошве, и даже носки — приобреталось у фарцовщиков.

Прохорову стало досадно. Вот сидели они во дворе: два интеллигентных человека, говорили так, что и человечеству-то не грех было бы прислушаться к ним, а появился Пузочес, ничтожнейший пустозвон, который и слов-то, небось, таких не знает, и что же? Беззащитными оказались они с Яковом Федоровичем против его кожаного пиджака и американских джинсов.

Ох, как досадно сделалось Прохорову. Он попытался утешить себя, что одежда ничего не значит, что главное — человек, а не то, что надето на нем, но не принесла утешения народная мудрость, и Прохоров поскучнел. Впрочем, и Яков Фалдеевич как-то пригорюнился, и разговор сам собою кончился.

Посидели еще, но уже не говорили. Думали каждый о своем. И совсем бы, наверное, разуверился в людях Прохоров, совсем бы приуныл, но вышла на крылечко Матрена Филипповна и окликнула его.

— Все в порядке, Евгений Александрович,— сказала она.— Я узнавала о вашем вопросе. Все решено положительно. Вы рады?

— Матрена Филипповна! — только и смог сказать Прохоров.— Как вас отблагодарить?

— О чем речь...— ответила Матрена Филипповна.— Ничего не нужно. А у Могилина как дела? Не забыли узнать?

— Матрена Филипповна! — снова воскликнул Прохоров, только теперь уже укоризненно.— Как вы можете так думать? Все в порядке. Все будет, как и договорились.

— Ну и прекрасно.— Матрена Филипповна милостиво кивнула Прохорову и скрылась в доме.

— У вас, я смотрю, большие дела? — не из любопытства, а просто так, из вежливости, спросил Яков Трифонович, когда Прохоров вернулся на скамейку.

Прохоров важно пожал плечами.

— Да никаких дел...— ответил он.— Так. Просил только узнать, как у меня *там* с бумагами...

— А-а! — Яков Тихонович непритворно зевнул.— Ну, да... Там у нее действительно большие связи.

Легкий был человек Пузочес.

Захотел — и сменил всю одежду, без сожаления. И даже самому показалось, что сразу стал другим человеком.

Во всяком случае, увидев брата, тайник которого вчера раскулачил, Пузочес даже не испугался, что Васька уже знает о краже.

Вызывающе засвистел, но Васька только бегло оглянул его и снова склонился к газете. Пузочес покосился на стенку. По-видимому, Васька еще не догадался о краже.

Хотя и не боялся его Пузочес, но на душе стало легче. Он закинул на плечо гитару и снова вышел на улицу.

В кармане лежало около десяти тысяч, и идти в вокзальный ресторан не хотелось. На площади Пузочес залез в такси, нарочито неторопливо вынул из кармана пачку «Мальборо» и только тогда повернулся к шоферу.

— В Ленинград, пожалуйста! — попросил он.

Шофер удивленно покосился на него, но молча развернул машину и погнал ее по Петергофскому шоссе к Ленинграду.

Пузочес опустил стекло, и в лицо ему ударил тугой от скорости воздух. Это был воздух новой жизни.

Пузочес остановил машину возле «Европейской». Сунул шоферу двадцатипятирублевую бумажку и вылез, не захлопнув за собой дверь.

В ресторан пускали только иностранцев, но заграничная одежда и комок денег, растаявший в руке швейцара, произвели впечатление, и тяжелые, с узором на стекле, двери почтительно распахнулись перед ним.

Вряд ли друзья узнали бы сейчас Пузочеса. За столиком, уставленным тарелками, вазами с фруктами и серебряными ведерками, из которых торчали горлышки бутылок, сидел не жалкий халявщик, а важный молодой человек, одинаково похожий и на известного кинорежиссера и на преуспевающего фарцовщика.

Лицо его было бесстрастно, а глаза — надежно скрыты за дымчатыми очками.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Поздно вечером, когда уже начало темнеть, Марусин пригласил Люду к себе.

— К себе? — Люда внимательно посмотрела на Марусина, и он подумал, что сейчас она возмутится. Он, собственно говоря, и не собирался приглашать ее к себе, но сегодня ему жалко было оставить ее одну, и они до сумерек шлялись по парку, а теперь надо было куда-то идти.

— А что? — Марусин пожал плечами.— Попьем чаю... Поговорим...

— Пошли...— легко согласилась Зорина, и они повернули назад.

Медленно шли они сквозь теплые городские сумерки к старому дому.

Чтобы скрыть растерянность, Марусин начал рассказывать, что все в этом городе по-своему, особенно, пахнет. Некоторые дома пахнут старыми книгами, район пекарни, где шли они сейчас, окутан простодушным и теплым запахом хлеба...

— Ага...— сказала Зорина.— Я тоже всегда хожу здесь и тоже всегда думала об этом... Только иначе... Здесь всегда как-то хорошо становится и тепло так, словно и свечка горит, и карамельку кушаешь...

Дом уже засыпал. Свет горел лишь у Прохорова, да еще наверху, в комнате у тети Нины. Марусин испугался, что входные двери уже закрыты, но нет...— он, облегченно вздохнув, нырнул в извилистую темноту коридора. Узенькая полоска света пробивалась из-под двери Матрены Филипповны. Осторожно, чтобы не звякнуть, Марусин вставил ключ в скважину и уже повернул его, когда дверь сзади распахнулась, и — Марусин обернулся, чтобы поздороваться с Матреной Филипповной — он увидел стоящего в одной майке Ваську-каторжника.

— Добрый вечер!

— Добрый...— ухмыльнувшись, ответил Васька.— А ты чего в темноте возишься?

— Так...— растерянно проговорил Марусин. Он заметил промелькнувший за Васькиной спиной цветастый халат Матрены Филипповны и покраснел.

— Там входную дверь надо было закрыть...— сказал он.

— Я закрою...— еще шире ухмыльнулся Васька.

Марусин криво усмехнулся и вошел в свою комнату. Не зажигая света, он пробрался на веранду.

Люда стояла под липой, и ее платье смутно белело в темноте. Марусин посторонился, пропуская девушку на веранду. В проходе двоим было тесно, и девушка задела щекой за губы Марусина. Он почувствовал солоноватый привкус.

— Ты плачешь?

— Нет...— Люда села на кровать.— Я не плачу... Почему я должна плакать?

Голос ее задрожал, захлебнувшись слезами, она уткнулась в подушку.

Потом, уже утром, проснувшись от шарканья дворницкой метлы по асфальту, Марусин попытался вспомнить всю эту ночь по порядку, но все перепуталось в сумерках памяти: припухшие от слез глаза Зориной, ее мягкие и послушные губы... Торопливо сброшенная одежда перепутавшейся грудой лежала рядом на стуле.

С потолка укоризненно смотрел на Марусина гипсовый ангел.

Марусин чуть повернул голову. Зорина спала, уткнувшись носом в его плечо, а ее волосы, прохваченные солнечными лучами, радужно светились.

Наступало утро. Прилетели из парка и раскаркались в верхушках старых лип вороны. Заскрипел наверху паркет — по-видимому, проснулся Яков Степанович.

— Люда! — тихо позвал Марусин девушку.

— Да? — кожей плеча он почувствовал, как шевельнулись ее ресницы. Она подняла голову и сквозь рассыпавшиеся волосы сонно смотрела на Марусина.— Уже утро?

— Утро...— Марусин поцеловал ее размякший от сна нос и спрыгнул с кровати.— Я кофе сварю?

Пока он одевался, Зорина села в кровати, пытаясь собрать волосы.

— Не смотри...— попросила она.— Свари кофе...

Утренняя тишина оказалась обманчивой. На кухне уже собрались почти все соседи, и по тому, как торжественно они промолчали на приветствие Марусина, тот почувствовал, что сейчас что-то произойдет. Он разжег газ и, повернувшись спиной к соседям, начал варить кофе.

Чуть обернувшись назад, он заметил, как тетя Рита толкнула локтем мужа. Тот кашлянул в кулак и застенчиво проговорил:

— Молодой человек! Вы понимаете, как это нехорошо, когда в доме, э-э, ночуют чужие?

Марусин хотел пожать плечами, но не успел.

— Я! — с негодованием воскликнула тетя Нина.— Я всю ночь не могла уснуть! — лицо ее покрылось бурыми пятнами.— Вы понимаете, каково больному человеку не спать?!

— А что будет, если все станут приводить в дом женщин? — тетя Рита обвела вопросительным взглядом присутствующих.— Ведь, простите, что же тогда получится?

— Бедлам получится! — решительно сказала Матрена Филипповна, и все закивали: «Бедлам! Настоящий бедлам!»

— Бедлам? — сглотнув подступающий к горлу комок, переспросил Марусин.— Вы говорите, бедлам?

Матрена Филипповна ничего не говорила. Когда Марусин взглянул на нее, она смиренно помешивала ложечкой свою овсянку, всем видом показывая, что не имеет никакого отношения к этому разговору.

— Ну что вы, что вы! — зачастил Яков Сергеевич.— Кто же говорит так? Не надо, не надо понимать все буквально. Вы не обижаетесь на нас, молодой человек? Да? — он взглянул в глаза Марусину и смутился.— Ну и замечательно... А сейчас идите спокойно и поите свою гостью кофе. Она чудесная девушка... Только не обижайтесь, ладно?

— Ради бога! — чужим голосом ответил Марусин.

Он пробирался по лабиринту коридора, когда услышал голос тети Нины: «А он, кстати, прописан здесь или так живет?»

Марусину захотелось выматериться, но тут из-за угла возник Васька-каторжник.

— Ну, что? — усмехаясь, спросил он.— Мораль читали? — Он нагнулся к Марусину и неожиданно добавил: — Знаешь... Пошли ты их на три буквы, они очень довольны будут...

Хохотнул и исчез в лабиринте коридора.

Наверное, случилось что-то страшное... Марусин еще не понимал сам, что же случилось, но чувствовал, что уже случилось. Все были ласковыми и добрыми, и вдруг сразу эта необъяснимая, шипящая в спину: «Он прописан?» — враждебность.

Марусин плечом толкнул дверь. Люда стояла возле стола и перелистывала статью о парках.

Она посмотрела на Марусина и виновато опустила глаза.

— Я читала...— сказала она.— Это нехорошо, да?

— Отчего же? — голос плохо повиновался Марусину.

— Я читала... Ты пишешь о парке, как о живом... Это хорошо?

— Не знаю...— ответил Марусин.— Давай пить кофе.

Люда внимательно посмотрела на него.

— Тебя ругали, да? — спросила она.— Из-за меня?

— Пей кофе...— Марусин пододвинул к девушке чашку.

— Жалко...— сказала Зорина.— Я думала, что хоть тебе будет хорошо от этого...— Она наклонилась над чашкой и, отпив глоток, спросила: — Ты идешь завтра на свадьбу?

— Меня не приглашал никто...

— Пригласят... Я список гостей видела.

— Какой список?!

— Ну, обыкновенный...— Люда сморщила лоб.— В райкоме обсуждались кандидатуры гостей. Твоя фамилия есть в списке.

— А-а... Нет, не знаю. Еще не решил.

— И я не решила...— грустно сказала Люда.

— Ты его любишь?

— Да...

— Тебе будет тяжело, если пойдешь...

— Ему еще тяжелее будет...— Люда заморгала ресницами.— Он тоже меня любит.

— А почему тогда он женится не на тебе? — удивился Марусин.

— Не знаю...— тихо, едва слышно ответила Зорина.— Может, потому, что у меня папа не секретарь райкома.

Марусин растерянно встал. Все, что происходило сегодня, не вмещалось в сознание, он не мог понять этого. Задумчиво остановился возле окна. Остановка уже опустела. Полупустой автобус распахнул двери и, дребезжа, покатил дальше. Начался новый день...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Пузочес медленно открыл глаза. Машина стояла, уткнувшись фарами в чахленький кустарник. За кустарником тянулось поле, закутанное серым предрассветным туманом.

Какая-то девица лежала уткнувшись лицом в его колени и храпела. Пузочес с трудом растолкал ее.

— Что? — спросила она, сонно хлопая ресницами.— Приехали?

— Приехали! — сказал Пузочес, возясь с непослушной дверцей.

— Куда?

— А черт его знает куда...— Пузочес и сам не знал: где они сейчас и куда они должны ехать.

Из вчерашнего он помнил только счет, который принесли ему на серебряном блюде. Пузочес даже не взглянул на него, швырнул на поднос деньги и под изумленными взорами девиц потребовал, чтобы принесли ведро и двадцать бутылок самого дорогого коньяку.

— Самого дорогого? — удивился официант.— Самый дорогой по сорок восемь рублей бутылка.

— Да хоть по сто...— ответил Пузочес и швырнул на блюдо еще одну пачку денег.

Немедленно было доставлено оцинкованное, с оранжевым номером ведро, а следом за ним — официанты шли гуськом — двадцать бутылок французского коньяка.

Пузочес помнил, как сливал он коньяк в ведро, а потом, поддерживаемый девицами, с ведром в руке, медленно двинулся к выходу. Залез в пустое такси.

— В Гатчину...— сказал он, но даже когда сообразил, что оговорился, не стал поправляться. В Гатчину — так в Гатчину. И вот теперь машина стояла, врезавшись в снегозащитную лесопосадку.

Пузочес выбрался и медленно обошел машину. Разбились обе фары, левое крыло было помято. Шофер сидел на валуне и тоскливо смотрел на поле. Чуть в стороне с ведром в руке, пошатываясь, бродила еще одна девица. Тушь на ее глазах расплылась.

— Что? — спросил Пузочес.— Ездить разучился?

— А! — ответил шофер.— Сам не знаю, как зарулил. В ведре-то крепкое, оказывается, налито.

— Здорово врезался?

— И не говори! — шофер вытащил из кармана смятую пачку «Примы» и безнадежно вздохнул.— Рублей на двести ремонта.

Пузочес махнул девице, и она с ведром подошла к нему.

На дне еще плескался коньяк, и Пузочес глотнул его прямо через край.

— Не писай! — утирая рукавом рот, сказал он. Потом засунул руку в карман и вытащил комок денег.— На! Получай, деревня, трактор!

Не веря своим глазам, шофер схватил деньги и быстро пересчитал их. Потом поднял глаза на Пузочеса.

— Нач-чальник! — он схватил Пузочеса за руку.— Ты же человек, начальник! Да я...— шофер торопливо оглянулся по сторонам, пытаясь сообразить, что он такого хорошего может сделать для Пузочеса.— Да я для тебя жизни не пожалею, вот... И не потому, что ты мне двести рублей не пожалел, а потому, что не жлоб ты!

— Ладно! — Пузочес смутился.— Сочтемся при случае. Поехали.

И снова мчалась машина, и Пузочес вместе с девицами пил из оцинкованного ведра коньяк и уже не помнил про те деньги, что дал таксисту на ремонт.

Другое дело таксист. Высадив в Ленинграде необычных пассажиров, он поехал в гараж и там рассказал своему сменщику о щедром пассажире. Сменщик пересказал это приятелю, и вот к концу дня все таксисты города и окрестностей знали об удивительном пассажире, который, не задумываясь, выложил три тысячи за разбитую машину.

— Вот ведь какие люди бывают! — такими словами заключил эту исто-

рию таксист, подвозивший Якова Савельевича Кукушкина к фабрике.— Это я понимаю — люди!

— Мало ли дураков на свете! — миролюбиво отозвался Яков Родионович, роясь в карманах, чтобы точно — копеечка в копеечку — расплатиться с таксистом.— Или, может, бандит какой... Ограбил банк и швыряется деньгами.

— Бан-дит...— презрительно передразнил его таксист.— Это у всех скупердяев: чуть что, так сразу и бандит. А может, он просто человек хороший!

— Сомневаюсь...— сунув таксисту мелочь, ответил Яков Прохорович.— У хороших людей только жалованье, а с зарплаты не станешь бросаться тысячами.

— А! — презрительно скривился таксист, засовывая в карман мелочь.— Мелкий вы человек, папаша, вот и говорите так. Широты в вас нет, понятно?

И чтобы полнее выразить свое презрение, рванул с места так, что прижимистого пассажира обдало едким выхлопным газом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Ряд белоснежных столиков перспективой уходил в глубь кафе... В помещении никого не было, хотя табличка на двери извещала, что мест нет.

Посреди зала сидел Пузочес и задумчиво смотрел на пустые столики. Время от времени он наполнял свой узкий фужер шампанским и, покачиваясь, шел к какому-либо столику, садился там и молча пил. Оробевшие официантки округлившимися от изумления глазами следили за странным клиентом.

Пузочес оплатил все столики и попросил никого не пускать в кафе. Такого в истории заведения еще не было. Теряясь в догадках, официантки рассказывали друг другу, что этот загадочный человек вернулся с Севера, а здесь у него погибла в автомобильной катастрофе вся семья, и теперь он справляет столь необычные поминки. И нашлась даже официантка — молодая совсем девчонка,— которая лично была знакома с этой семьей, и на нее смотрели сейчас с уважением.

Пузочес не опровергал предположений официанток.

— С Севера? Ну, да... Разумеется, с Севера. Полтыщи километров — порт Ванин, три тысячи — Магадан... Да, такие вот дела, уважаемые товарищи женщины. Семья погибла в автомобильной катастрофе? Ну, да... Нечто похожее на катастрофу. Жалко? Конечно, жалко, раз все погибли.

И Пузочес снова торопливо наполнял фужеры и заставлял пить официанток за помин тех, кто погиб в авиационной катастрофе.

— Почему авиационной? Машину загнали на самолет и самолет упал. Разбился... Все погибли... И машина тоже.

И Пузочес так ясно увидел вдруг свою семью, погибшую в авиационной катастрофе, что начал окликать по именам и жену, и дочь с голубыми глазами, и сына — пятилетнего карапуза.

Он снова пил и уговаривал молодую официантку, которая якобы знала его семью, уехать в Сухуми. Когда? Да сейчас же. Немедленно. Сразу и на вокзал! Нет! Лучше в аэропорт. И лететь... Деньги? Деньги вот...

И Пузочес махал перед испуганной официанткой толстой пачкой двадцатипятирублевок.

Потом эта официантка куда-то исчезла, потому что Пузочес, уговаривая, начал расстегивать ее халатик. Исчезли и остальные. Пустота образовалась вдруг, и пустые столики уже не радовали Пузочеса. И тогда-то, сквозь ...ный туман, промелькнуло вдруг в памяти лицо Наташи Самогубовой, Пузочес, хватаясь руками за стол, поднялся.

Прямо на такси он подкатил к фабрике.

...ВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

После собрания Наташа забралась в каморку, в которой обычно обдумывал свои дела Васька-каторжник, и горько заплакала.

Всегда вот так получалось в ее жизни. Она трудилась, она старалась, но чужое и враждебное извне входило в ее жизнь, и все то, что с таким трудом возводила она, безжалостно рассыпалось.

Так было и сегодня. Ее сразу оборвали, когда она попыталась объяснить, что не все в статье, напечатанной сегодня в газете, верно.

— Как это неправильно? — спросил Ольгин, инструктор городского комитета комсомола. Он вел собрание.— Вы не выступали на совещании наставников?

— Выступала...— растерянно ответила Наташа.— Но мне велели...

— Не велели, а попросили! — поправила ее Леночка Кандакова.

— Ну, да...— совсем смутилась Наташа.— Попросили... Но я же не знала.

— Не знала? — Ольгин постучал карандашом по столу, останавливая смех, возникший в зале.— Комсомолец должен знать, к чему приводит тот или иной поступок. Вам доверили выступить, а вы злоупотребили этим доверием — ввели в заблуждение сотрудника редакции, ввели в заблуждение весь коллектив, где вы трудитесь.

Он говорил долго, и слова его хлестали Наташу. Она только к концу собрания опомнилась и хотела было сказать то главное, чего не знал здесь никто. Она хотела сказать, что текст выступления ей принесла Кандакова, но было уже поздно — началось голосование: «Кто против исключения Самогубовой из комсомола? Кто воздержался?» — никто не поднял руку. Наташу исключили единогласно.

И словно бы наступило беспамятство. Наташа очнулась, когда помещение уже опустело, только на сцене, подписывая бумаги, еще сидели Ольгин и Леночка Кандакова. Робко Наташа подошла к ним.

— А мне характеристику надо будет,— сказала она.— Как теперь быть?

— Какую характеристику? — захлопывая папку, поинтересовался Ольгин.

— Я в институт хочу поступать,— кусая губы, чтобы не заплакать, объяснила Наташа.— Я целый год на подготовительных курсах занималась...

— Нет, вы только послушайте ее! — возмутилась Леночка Кандакова.— Она еще и в институт хочет.

— Н-да...— покачал головой Ольгин.— У вас, я так понимаю, девушка, с совестью, прямо скажем, не все в порядке.

— Почему? — совсем не понимая, о чем они говорят, воскликнула Наташа.— Мне же в институт поступать надо! Через месяц экзамены начнутся.

— Не тревожьтесь...— Ольгин встал.— Не начнутся. У вас не начнутся. Вначале подумайте, как вы с такой совестью жить можете, а потом и об институте поговорим.

И они ушли, а Наташа с трудом добралась до закутка за стеллажами и, прижав к лицу руки, горько разрыдалась.

Здесь ее и разыскал протрезвевший Пузочес.

С трудом, слово за слово, вытянул он из Наташи рассказ о том, что случилось. Потом матюгнулся и хлопнул кулаком по столу.

— Вот сволочи, а! — сказал он, и лицо его потемнело.— Ну, подождите...

Он схватился за карман, в котором лежала пачка денег, но тут же сообразил, что сейчас, пожалуй, и деньги не помогут ему. Не взятку же нести в горком комсомола!

Пузочес болезненно усмехнулся, но тут же лицо его посветлело.

— А плюнь ты на ихний комсомол, Наташка! — сказал он.— Пошли всех подальше. Выходи за меня замуж, и без института ихнего проживем.

— Как жить? — улыбаясь сквозь слезы, спросила Наташа.— Тебе же в армию идти...

— Да...— Пузочес снова помрачнел.— В армию...

Ощущение всесильности, что владело им в эти дни, рассеялось. Действительно, сколько ни гуляй он, а в армию идти придется.

Как раз в это время в закуток вошел Васька-каторжник.

— А! — сказал он, увидев Пузочеса.— Брательник... Все гуляешь?

— Гуляю...— ответил Пузочес, бледнея от ярости: перед ним стоял человек, из-за которого начались Наташкины неприятности.— У тебя не спросил.

Васька пристально посмотрел на него.
— Ты дурак, да? — спросил он.
— Какой есть!
— Дурак...— теперь уже утверждая, повторил Васька и вздохнул.— А я для этого дурака стараюсь, елки зеленые...
Гневом обожгло лицо Пузочесу.
— Стараешься?! — пискляво выкрикнул он.— Не надо! Ты вон для Наташки уже постарался! А мне не надо, не надо твоих стараний!
— И в армию пойдешь? — с недоброй насмешкой поинтересовался Васька, и поскольку Пузочес ничего не ответил, торжествующе заключил: — Вот то-то и оно, братуха! Не плюй в колодец. Знаешь такую пословицу? Так-то...— он похлопал Пузочеса по плечу и добавил уже миролюбиво: — Ты за меня держись. Не пропадешь, елки зеленые. Я из тебя человека сделаю.
Если бы брат сказал все это наедине, Пузочес, может быть, и промолчал бы, как отмалчивался обычно, предоставляя брату возможность считать, что он убедил его, но сейчас весь разговор происходил на глазах у Наташи, и Пузочес не выдержал.
— Не надо насчет армии суетиться...— важно сказал он.— Я уже в офицерское училище заявление подал. Понятно?
— Что-о?! — Васькины глаза округлились.— Ты думаешь, и там халяву ловить будешь?
Не любил Васька менять своих решений, не любил подбирать слова, но напрасно снова помянул он о бедственном прошлом Пузочеса. Тот, уже съежившийся от испуга, расправил плечи и презрительно усмехнулся.
— Это я-то халявщик? — спросил он и картинным жестом выхватил из внутреннего кармана несколько скомканных двадцатипятирублевок.— Да у меня денег побольше твоего есть! На! — и он швырнул в лицо Васьки деньги.
Деньги Пузочес швырял зря.
Васька сразу успокоился, и лицо его снова отвердело.
— Богатый жених! — презрительно сказал он и ловко плюнул, угодив слюной на кончик ботинка Пузочеса.— Ладно. Вали домой, сопля вонючая! Я с тобой вечером разберусь...
Пузочес, хотя и не подал вида, растерялся. Он подумал, что Васька уже догадался о деньгах, и от страха на лбу выступил пот.
Выручила Пузочеса Наташа. Позабыв о своей беде, она схватила его за рукав и потащила прочь от брата. Пузочес хотя и сопротивлялся, но только для виду — сам был рад унести ноги.

Дома никого не было. По-видимому, мать ушла в магазин. Пузочес сел на стул и долго смотрел на тайник, пытаясь определить, знает Васька о том, что он взял деньги, или нет... Кусок обоев был не тронут, и контрольная ниточка, которую он приделал на тайник, по-прежнему была не сорвана. Наконец надоело думать, и тогда, закрыв дверь на щеколду, Пузочес открыл тайник и запустил в него руку. Он выудил из дыры еще пять пачек и торопливо распихал их по карманам.
После аккуратно вставил фанерку и приклеил на место кусок обоев. Снова прилепил ниточку и закурил. Теперь нужно было сматываться.
Мысль, что неожиданно пришла ему в голову, когда он разговаривал с Васькой, показалась ему весьма заманчивой. А что? Погулять еще месяц в свое удовольствие, а потом сразу в офицерское училище. Очень даже неплохо. Пусть Васька попробует достать его оттуда.
Пузочес встал и весело засвистел. Перекинув гитару через плечо, вышел на улицу. Не такой он был человек, чтобы откладывать дело в долгий ящик.
Военкомат еще работал, и капитан, к которому обратился Пузочес, нисколько не удивился просьбе. Достал какую-то книгу и вписал туда фамилию Пузочеса.
— И все? — удивился тот.
— Все...— капитан захлопнул книгу и поставил ее в шкаф.— Когда начнется набор, мы вас вызовем.

Что ж... Это тоже устраивало Пузочеса, тем более, что домой он не собирался возвращаться. Ничего... Снимет квартиру, возьмет к себе Наташку и они будут жить, пока не придет пора идти в училище.
Пузочес снова засвистел, но теперь уже грустное: «Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон...»
Впрочем, тут же перестал свистеть.
Ну, да... Он уйдет в училище, а Наташка будет его ждать. Жаль все-таки девку...
Пузочес поскреб пальцами затылок, пытаясь сообразить, что он еще может для нее сделать. В голову ничего не приходило, и он поплелся в ресторан «Волна», что находился недалеко от военкомата.
В ресторан его не пустили.
— Завтра свадьба...— объяснила Пузочесу знакомая официантка.
— Какая еще свадьба?! — возмутился отвыкший за эти дни от запретов Пузочес.— Наплевать на свадьбу...
— Нельзя...— сказала официантка и, оглянувшись по сторонам, добавила: — Первого секретаря дочка замуж выходит.
— Кто это еще?
— Ну, Лена Кандакова! Не знаешь, что ли?
Леночку Кандакову Пузочес знал. Смутная мысль промелькнула в его голове.
— Во сколько свадьба? — спросил он.
— В четыре завтра начнется...— ответила официантка.— Но очень много приготовлений. Поэтому и не работаем сегодня.
— Ну-ну...— Пузочес взял гитару.— Готовьтесь.
Снова он сел на привокзальной площади в такси и помчался в Ленинград. Он остановил машину у комиссионки, и через полчаса вышел оттуда, увешанный фотоаппаратами.

Напрасно сегодня ждал Васька-каторжник брата. Прокуковала восемь часов кукушка, высунувшаяся из ходиков. Васька выматерился и, не ответив матери на ее всегдашнее «Куда ты?», пошел в Матрене Филипповне.
Впервые так рано появился он в ее комнатах, но Матрена Филипповна не удивилась. Словно девочка, обрадовалась ему и сразу побежала на кухню готовить ужин.
А Васька, не снимая ботинок, лег на диван и закинул за голову руки.
В изножье дивана висело зеркало, и Васька отражался в нем весь целиком. Внимательно разглядывал он себя: черные жесткие волосы, черные глаза, не привыкшие улыбаться губы. Расстегнувшаяся рубашка открывала грудь, и на ней виднелась привезенная из заключения наколка: «Не забуду мать родную!»
Рассматривая себя, Васька засвистел.
— Денег не будет! — пошутила Матрена Филипповна. С яичницей, щипящей на сковороде, вернулась она из кухни.
— Будут...— ответил Васька.— У нас все будет.
Неправильно поняла его Матрена Филипповна. Покраснела и торопливо захлопотала возле стола.

А Прохоров и Яков Петрович долго сидели в этот вечер во дворе, и Яков Пахомович рассказывал Прохорову о том, как женился он на тете Рите.
— О, молодой человек...— говорил Яков Параманович и блаженно жмурил глаза.— Какое это было время, молодой человек... Какое это было время! Мы все были комсомольцы, и мы ничего не знали, что уже наступил культ. Мы думали, что перед нами открыты все двери. Я выбирал, в какой институт мне поступить, и везде, я знал, мне будут рады... Вот в эти дни мы и познакомились с Ритой. Она тоже была комсомолка, и тоже думала, что все двери открыты перед ней. Да, молодой человек, мы были тогда молоды, талантливы и счастливы. И вы знаете, молодой человек, все было в магазинах! Ах, какое это было

время! И сейчас, когда прошло столько лет, я закрою глаза и думаю, что я живу тогда... О, какой это красивый был в те годы дом! Поэтому он и дорог для меня... Когда мне дали на фабрике квартиру, я отправил в нее жить сына... Пусть живет. Он молод. Это его время, и пускай у него будет такая квартира, какая нужна сейчас... А я? Я буду доживать в доме моей молодости. Вы знаете, молодой человек, в лагерях, куда я попал во время культа личности, я каждую ночь вспоминал этот дом и только благодаря ему вынес все лишения. О, молодой человек, как много у меня связано с этим домом!

Прохоров сочувственно кивал, слушая Якова Панфиловича. Завтра должен был жениться сын и, конечно же, Якову Панкратовичу хотелось поговорить сегодня.

Прохоров тоже был приглашен на свадьбу.

— Не знаю...— сказал он.— Не знаю, как и пойти. Завтра свадьба, а я еще никакого подарка не купил.

— Молодой человек, молодой человек! — замахал на него руками Яков Олегович.— Зачем подарок? Придете сами, и это будет лучшим подарком. Ваша дружба — вот что важно, а не подарок. Приличные, порядочные люди должны сейчас держаться вместе. Вы уезжаете и будете жить за рубежом. Пусть у моего сына будет друг, который живет за рубежом. Ему нужен такой друг, и пусть это и будет вашим подарком на свадьбу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

И вот наступил день, которого так ждала и так боялась Леночка...

Она проснулась утром от солнца, затопившего всю ее комнату, и сразу вспомнила, какой сегодня день.

Было еще совсем рано, но домработница, тетя Клава, уже возилась на кухне. Сквозь открытую в коридор дверь было видно, как моет она пол.

Тетя Клава мыла пол и тихонько напевала себе под нос. Только прислушавшись, Леночка разобрала слова:

Топится, топится
В огороде баня...
Женится, женится
Мой миленок Ваня...

— пела тетя Клава:

Не топися, не топися
В огороде баня...
Не женися, не женися
Мой миленок Ваня...

Солнечные лучи достигали и коридора, и тетя Клава, окутанная ими, казалась принаряженной даже в своем обычном, выцветшем от частых стирок платье.

Леночка зажмурилась от удовольствия и, потянувшись, соскочила с кровати.

Солнечные лучи, прорвавшись сквозь тюлевые занавески, ударяясь о большое, в овальной рамке, зеркало, висевшее на стене, словно взрывались здесь, переполняя озеро зеркала своим светом.

Леночка торопливо скинула с себя тонкую пижамку и шагнула в этот кипящий солнечный свет. Обнаженная, застыла она перед зеркалом. Словно купаясь в солнечном свете, Леночка медленно подняла вверх руки, выдернула заколки, и темные волосы рассыпались по загорелым плечам.

И так она была хороша сейчас — юная, длинноногая, с торчащими сосками на упругой груди,— что домработница тетя Клава, заглянувшая в комнату, невольно залюбовалась ею, восхищенная, застыла на пороге.

— Проснулась? — тетя Клава окинула девушку долгим и ласковым взглядом и добавила: — Невеста...

— Невеста...— грустно повторила тетя Клава.— Вот и дождались, дожили, слава богу... Хороший тебе день достался...

Передником она смахнула с глаз слезинку и вышла из комнаты.

— Мойся скорее,— сказала она уже из кухни.— Я тебе кофе сварила.

Леночка выбежала следом за ней и порывисто, прижавшись всем телом, обхватила руками шею тети Клавы, уткнулась губами в морщинистую щеку.

— Спасибо...— сказала она и убежала в ванну.

Так начался этот самый счастливый в Леночкиной жизни день. Для всех других — обыкновенный день июля...

Он был счастливым и долгим.

Три часа отняла парикмахерская. Вначале Леночке стало досадно, что так много времени уходит из ее дня, но, когда все было готово и парикмахерша отступила на шаг, оглядывая свою работу, Леночка поняла, что и эти три часа одарили ее щедрее, чем она рассчитывала.

Никогда еще не была она такой красивой, как сегодня.

Когда Леночка вышла из парикмахерской, возле подъезда она столкнулась лицом к лицу с Бонапартом Яковлевичем.

— Жду...— сказал тот и распахнул дверцу новенького «Москвича».

Леночка забралась в машину и спросила:

— А чья машина?

— Теперь моя...— ответил жених и засмеялся.— Отец подарил.

Леночка с заднего сиденья обхватила его за шею и чмокнула в щеку.

Машина резко вильнула в сторону.

— Сумасшедшая! — с трудом выравнивая машину, сказал Бонапарт Яковлевич.— Нам только разбиться не хватало в день свадьбы...

— А что? — Леночка засмеялась, запрокинув вверх голову.— Иногда мне кажется, что лучше всего погибнуть, когда ты — счастливый... А сегодня я такая счастливая, что больше и не бывает.

— Еще найдется, наверное, время...— пошутил Бонапарт Яковлевич и взглянул на Леночкино отражение в зеркальце.— Найдется?

— Не знаю...— ответила Леночка.— Только я сегодня, правда, ужасно счастливая.

Несколько минут проехали молча.

— Как у вас собрание прошло вчера?

Леночка поморщилась.

— Как обычно...— сказала она.— Девочку из комсомола исключили.

— Исключили?

— Исключили... А что?

— Нет, ничего...— Бонапарт Яковлевич пожал плечами.— Только, наверное, зря так...

Леночка нахмурилась еще сильнее.

— А что зря? — сердито сказала она.— Я осенью должна в аппарат перейти, а она мне такие подарки устраивает!

Бонапарт Яковлевич даже залюбовался своей невестой — так сердито заблестели у нее глаза.

— Потом перешла бы...— подзадоривая ее, сказал он.

— А я не хочу! Не хочу потом! Мне сейчас надо!

Бонапарта Яковлевича всегда восхищало в женщинах стремление во что бы то ни стало быть счастливыми. И в Леночке тоже больше всего ему нравилось это. Он засмеялся, и Леночка сердито отвернулась к окну.

— Не сердись! — глядя прямо вперед, сказал Бонапарт Яковлевич.— Я просто так засмеялся. Я сегодня тоже очень счастливый.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Регистрация состоялась в четыре часа.

Возле здания горисполкома, где находился загс, за час до назначенного времени выстроилась колонна автомашин, а просторный вестибюль заполнили гости.

Возле высокого окна стоял отец Лепочки, первый секретарь райкома партии Кандаков с женой — светлой и неподвижной женщиной. Он разговаривал с предриком и весело смеялся. Чуть в стороне от них держались Яков Нилович и тетя Рита.

Лицо тети Риты было покрыто густым слоем краски, но и сквозь краску просачивалась распирающая ее радость.

Причины для радости у тети Риты были. Хотя сын и брал замуж дочку секретаря райкома, но еще стоило подумать: кто кому оказывает честь. Какникак у сына была и двухкомнатная квартира, и машина, а это кое-что да значит. И все это сделали для сына они.

Рита оглянулась на мужа. Яков Никитич стоял рядом и улыбался, прислушиваясь к разговору будущего родственника. Кандаков же, кажется, и не замечал этой улыбки. Говорил с предриком, словно и не стоял рядом Яков Михайлович.

Рита осторожно взяла мужа под локоть.

— А не ошиблись мы? — тихо спросила она.— Очень уж он...— она незаметно кивнула на Кандакова,—...нас не любит.

Мудро улыбнулся в ответ Яков Миронович. Успокаивающе сжал руку жены.

— П-п-п... Стерпится — слюбится...— народной мудростью ответил он и смолк. В распахнутые двери — невеста в белом и жених в черном — входили молодые.

Марусин не смотрел на молодых.

Он не сводил глаз с Зориной. Девушка раскраснелась, глаза ее сияли, и казалось, что это она поднимается сейчас по лестнице, уцепившись за острый локоток Бонапарта Яковлевича.

А наверху, по лестничной площадке бегал Пузочес. В кожаном пиджаке, обвешанный фотоаппаратами, он удивительно походил на репортера с карикатуры в журнале «Крокодил». То припадая на колено, то перевешиваясь всем телом через перила, Пузочес самозабвенно щелкал фотоаппаратом — по лестнице надвигались на него «отцы» города.

А в ресторане появился даже адмирал. Это был отец Прохорова. Обычно он приходил к Кандаковым в гражданском костюме, и сегодня, в форме, первое время сильно важничал, но потом, выпив подряд несколько рюмок, освоился и принялся обсуждать с Кандаковым результаты последней пульки, когда его сын — Прохоров сидел напротив — так грубо ошибся на мизере.

— Грубейшая ошибка! — отчитывал он Прохорова, словно провинившегося офицера.— Чему тебя учили?

Прохоров смущался и — рюмка за рюмкой — пил.

Порядок на свадьбе царил удивительный. Когда гости вошли в зал ресторана, они увидели богато накрытые столы. Перед каждым прибором лежала карточка с фамилией гостя.

Неизвестно, кто придумал рассадить гостей так, но вся редакция «Луча» оказалась на самом конце стола, а редактор сидел рядом с домработницей Кандаковых тетей Клавой. Он был очень обижен своим местом и изо всех сил старался не показать обиды — усиленно ухаживал за тетей Клавой, подливая ей водки.

Марусин сидел напротив и веселился, наблюдая за редактором.

Все тосты за молодых, за родителей, за счастье и здоровье были уже сказаны, когда с рюмкой в руке встал адмирал.

Начало тоста Марусин пропустил, он разговаривал с Зориной, но редактор строго посмотрел на него, и Марусин умолк.

— Я всех приглашаю к себе на дачу! — говорил адмирал.— Всех... Я имею в виду, конечно, жениха с невестой. Давайте за их счастье!

Хотя и смутен был смысл тоста, тем не менее весь стол одобрительно зашумел, радуясь, что адмиралу удалось все-таки связать рассказ о своей даче со свадьбой.

Тут-то и передохнуть бы, но только успели выпить, и сразу — важный и грузный — поднялся редактор. Постучал вилкой по краю тарелки, и все повернулись к нему.

Смело шагая по тропе, проложенной предыдущим оратором, Борис Константинович начал свой тост издалека. Долго он говорил о специфике газетной работы, о том, как трудно быть руководителем в газете, о том, сколько сил он, редактор, вкладывает в воспитание молодых журналистов.

— Это трудное дело! — говорил Борис Константинович.— Но растить молодежь необходимо. Молодежь — наша смена и наше будущее. И настоящий праздник для меня, старого журналиста, когда я вижу, что растет настоящий, принципиальный и честный газетчик. Вот именно такой журналист вырос на моих глазах из товарища Кукушкина.— Редактор указал рукою на жениха, и все зааплодировали, надеясь, что на этом и кончится тост, но Борис Константинович и не подумал свертывать свою речь. Потупившись, он переждал аплодисменты и продолжал дальше.— Наша дорогая невеста — секретарь комитета комсомола большого предприятия. И естественно, что ее деятельность освещается на страницах нашей газеты. Есть в ее работе немало достижений, но изредка случаются и промашки...

На этих словах редактор сделал значительную паузу. Потом обвел глазами присутствующих и лишь затем продолжил.

— Знаменательно! — сказал он.— Знаменательно, что накануне свадьбы в номере газеты, который подготавливал Бонапарт Яковлевич, появился критический материал о комсомольской организации, которой руководит его невеста. В этом...— Борис Константинович значительно поднял палец.— Именно в этом вижу я достойный подражания образец подлинной принципиальности и товарищества. Выпьем же, уважаемые товарищи, за то, чтобы наши молодожены навсегда сохранили в себе эти драгоценные качества.

Гости, уже отчаявшиеся дождаться конца тоста, бешено зааплодировали и торопливо выпили за принципиальность Бонапарта Яковлевича, достойную подражания.

А адмирал уважительно посмотрел на жениха и сказал: «Однако же, обязательно приезжайте на дачу...», пожевал губами и поинтересовался: «А в преферанс играете?». Услышав отрицательный ответ, сокрушенно вздохнул и снова склонился над тарелкой.

События развивались своим чередом, и, когда застолье распалось на мелкие кружки, тетя Рита отправилась в буфет пересчитать оставшиеся бутылки.

Ее едва не сшиб с ног увешанный фотоаппаратами Пузочес.

— Пардон, мадам! — галантно сказал он и, ослепив вспышкой работника горкома комсомола Ольгина, схватил его рюмку. Одним глотком выпил ее и побежал дальше.

Пожалуй, из всех гостей только один Яков Максимович недоумевал, ломая голову над тем, каким образом проник на свадьбу Пузочес.

Гости думали, что фотографа заказали хозяева. Родители невесты считали, что это выдумка жениха. Бонапарт Яковлевич, ослепленный беспрерывными вспышками, досадливо смотрел на отца, удивляясь его причуде, а тот только улыбался тихо и мудро и зажмуривал глаза, когда Пузочес наводил на него вспышку.

Если у Пузочеса был план, если связывал он со свадьбой какие-то свои интересы и не ради минутной прихоти потратил вчера восемьсот рублей на фотоаппараты, то сейчас, казалось, сама судьба подыгрывала ему.

После значительной паузы, которую так томительно долго выдерживал редактор, Пузочес сообразил, о чем он сейчас скажет, и, ослепляя на ходу гостей, рванулся к верхушке стола, где рядом с невестой сидел сам Кандаков.

По дороге он чуть не сшиб с ног тетю Риту, для храбрости схватил со стола

чью-то рюмку и лихо опрокинул ее. И едва смолкли аплодисменты и все дружно выпили, а затем склонились к своим тарелкам, в наступившей тишине вдруг раздался громкий — на весь стол — голос Пузочеса.

— А я думал, чего это Самогубову оклеветали! — сказал Пузочес, глядя прямо в глаза Кандакову.— А вот, оказывается, в чем дело! В принципиальности. Принципиально оклеветали.

Марусин, который резал сейчас мясо, замер, боясь пошевелиться. Начинался какой-то гнусный скандал, и ничем нельзя было остановить его. Почти физически почувствовал Марусин, как напряглись в ожидании и другие гости.

Один лишь Яков Корнеевич не растерялся.

— Молодой человек! — сказал он.— А что это у вас за пленка такая в фотоаппарате? Вы его, кажется, и не перезаряжали еще?

— Во! Во! — готовно поддержал, вскакивая из-за стола, Ольгин.— Я тоже хотел спросить, чего человек бегает, а фотоаппарат не перезаряжает?

— Да...— вздохнул Яков Кондратьевич.— Да... Больно длинная пленка.

Пузочес, рассчитывая устроить на свадьбе скандал, был готов ко всему, но сейчас растерялся.

— Заграничная пленка! — огрызнулся он, и это-то было его ошибкой. Он стоял сейчас рядом с Яковом Кирилловичем, и тот ловко выхватил из чехла фотоаппарат.

— Заграничная? — переспросил он и раскрыл фотоаппарат.— Однако, молодой человек, интересно, посмотреть.

Фотоаппарат был пустым. Пленки в нем не было.

— Гады! — бледная от бессильной ярости, закричал Пузочес.— Думаете, я не найду управы на вас! Да найду, найду! Всем вам по шапке дадут, что девчонке жизнь ломаете!

Но его уже подхватили под руки Ольгин со своим приятелем и потащили к выходу.

Хотя скандал и удалось потушить в самом начале, настроение у всех испортилось.

Кандаков насупился, отодвинул в сторону рюмку и побарабанил пальцами по столу.

— Что у тебя там стряслось! — не глядя на дочь, спросил он.

— Девочка одна на собрании наставников выступала,— пролепетала Леночка,— Наташа Самогубова. И она очень хвалила одного бывшего уголовника. Но потом, когда выяснилась ошибка, мы собрали комсомольское собрание и исключили ее из комсомола.

— Кто готовил собрание наставников?

— Я...— Леночка покраснела.— Но я не знала...

Лицо Кандакова потемнело от сдерживаемого гнева. Не слушая лепетания Леночки, повернулся ко второму секретарю.

— Иван Петрович! — сказал он.— Разберитесь в понедельник с этим делом.

Гроза миновала, но теперь настроение было испорчено окончательно, и даже отчаянные усилия близких друзей и родственников спасти свадьбу усиливали только общее ощущение подавленности.

Снова встал адмирал. Хотя по его виду и нельзя было сказать, что он захмелел, но тост явно не удался. Адмирал уже успел позабыть начало тоста и сейчас, не умея остановиться, пересказывал краткое содержание своих мемуаров, недавно вышедших в Воениздате.

— Очень интересная книга! — скромно сказал адмирал и рюмкой потянулся к жениху.— Обязательно прочитайте.

— Непременно! — одаривая адмирала своей улыбкой американского миллионера, ответил жених и выпил.

И сразу оркестранты заиграли что-то громкое, и музыка заглушила слова.

Марусин оглянулся на дверь. Ребята, что увели Пузочеса, так и не вернулись за стол.

Взгляд Марусина не пропал незамеченным.

— Какая русская свадьба без драки! — подмигнул Марусину Яков Иннокентьевич Кукушкин. Он возвращался сейчас от оркестра на свое место и остановился, полуобнимая соседа.

Марусин машинально кивнул и встал.

Он и не думал уходить, но когда спускался по лестнице, уже знал, что назад, за стол, не вернется.

Внизу, возле полутемного гардероба, трепыхался зажатый комсомольцами Пузочес.

— Пустите его, мужики,— попросил Марусин.— Жених просил.

— А...— с сожалением проговорил Ольгин и вздохнул.— Ну, тогда ладно. А вообще побить не мешало бы.

Он схватил Пузочеса за шиворот и вытолкнул на улицу. Следом за ним другой парень вышвырнул свалившийся фотоаппарат.

Потом оба, как по команде, вытерли брезгливо руки и ушли наверх.

Пузочес сидел на скамейке возле входа в ресторан и, не скрывая слез, плакал. Рядом, на асфальте, лежал выброшенный фотоаппарат. Марусин поднял его и протянул Пузочесу.

— Возьми...— сказал он.— Потеряешь.

Пузочес только махнул рукой.

— На что он мне?

Марусин пожал плечами и положил фотоаппарат на скамейку. Однако безразличие Пузочеса заинтриговало его.

— Не переживай! — усмехаясь, сказал он.— Решил выпить на халяву и выпил... А издержки — что ж? Издержки есть в любой профессии.

— Дурак! — всхлипнул Пузочес.— Ты что, тоже думаешь, что я ради выпивки сюда пришел? Да у меня денег...— он выхватил из кармана пачку денег.— Я весь город споить могу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В парке все еще шло народное гуляние, и привокзальный ресторан пустовал. Швейцар с орденом Красной Звезды на золотом лацкане ливреи вместо того, чтобы кричать: «Осколочным его, суку-у!», как обычно кричал он в этот час, мирно сидел на стуле и читал вслух газету.

«...Сконструировали новую машину»,— прочел он, когда Марусин и Пузочес вошли в ресторан. Поверх очков внимательно посмотрел на Марусина и спросил: — А что есть машина?

Марусин пожал плечами.

— Жаль...— грустно вздохнул швейцар.— Жаль, что не знаешь. Так вот...— он наставительно поднял вверх палец и, помахивая им, отчеканил: — Машина есть механизм, предназначенный для перемещения в пространстве людей и грузов.

— Не задерживайся! — прошептал на ухо Марусину Пузочес.— А то он и про самолет расскажет.

Швейцар остался один, но словно и не заметил этого. Внимательно прислушивался он к все еще звучащей внутри музыке формулировки, а потом строго спросил: «Что есть механизм?»

— Я не знаю, как ты ко мне относишься,— сказал Пузочес, едва они уселись за столик. Он сразу замахал рукой, останавливая протестующие слова Марусина.— Не знаю, но я уверен, что втайне ты мне друг. И сейчас я все расскажу тебе. Я боюсь. Неважно кого и почему, но боюсь. Боюсь, и все тут. И еще: есть один человек, которого я люблю. Этого человека подло оклеветали. Я говорю сейчас о Наташе Самогубовой. Ее выгнали из комсомола. Это, конечно, херня, но теперь ей не поступить в институт. Еще: у меня есть деньги. Очень много денег. Я мог бы купить ей характеристику, мог бы, черт подери, купить диплом, но ей не надо этого. Ей нужно только свое. И поэтому я готов отдать все деньги тому, кто поможет Наташке, кто защитит ее.

Беззащитен и хрупок мир.

Марусин слушал беспорядочный монолог Пузочеса, и ему становилось страшно. Как тогда, в редакции, время снова двигалось рывками. Дрожащим неверным светом освещало оно людей, путало смысл их поступков. Болезненно истончалась справедливость и таяла совсем, превращаясь в призрак.

Марусин не сомневался в правдивости пузочесовского рассказа. Он сам видел, как приносила Кандакова в редакцию текст выступления, и не сомневался, что ею он и был написан. Не удивляло его и поведение Леночки. Слишком много хищной легкости было в этой девушке, чтобы задуматься, правильно ли она поступает.

Нет, не это тревожило и пугало его. Словно бы на глазах переворачивалась ситуация, и суть незаметно и плавно перетекала в свою противоположность.

Задумавшись, Марусин выпил подряд три рюмки коньяку и запьянел. Но и опьянение не приглушило тревоги. Только еще сильнее смешалось окружающее пространство. Вот возник откуда-то швейцар с орденом на золотом лацкане ливреи. Он сидел уже за столиком и, пугливо оглядываясь по сторонам, спрашивал, что такое устройство.

Пытаясь вырваться из обрушившегося на него хаоса, Марусин ответил, что не знает ничего об устройстве, но все устроено очень плохо.

— Что все? — поинтересовался Пузочес, наливая в фужер — с верхом — коньяк для швейцара.

— Все...— сказал Марусин.— Вся страна превратилась в пригород.

Зажмурившись, швейцар выпил коньяк.

— А время? — горестно спросил он.— Почему никто не знает, что такое время?

Он встал и, безнадежно махнув рукой, куда-то исчез, а вместо него...

Марусин удивленно захлопал глазами. В ресторан толпою входили солдаты в зеленых преображенских мундирах, а впереди, высокий и патлатый, с торчащими по сторонам усами, шагал Петр I.

Лица преображенцев раскраснелись. Предвкушая выпивку и закуску, многие потирали руки. Зал сразу наполнился шумом и голосами.

Небрежно отодвинув ногой стул, Петр I опустился рядом с Марусиным.

— Что, братуха? — неожиданно спросил он у Пузочеса.— Жениховские деньги догуливаешь?

— Гуляю...— дерзко и беспечно ответил Пузочес и, чтобы скрыть смущение, крикнул официантке: — Верочка! Три бутылки коньяка для Петра Алексеевича!

— Угощаешь, что ли? — поинтересовался Петр I, и только тут Марусин узнал в нем Ваську-каторжника. Сходство было поразительное! Так вот почему он столько времени ломал себе голову, пытаясь вспомнить, кого же напоминает Васька.

— А чего! — Пузочес деланно засмеялся.— Денег, что ли, мало? Тем более, что на свадьбе фотографом был. Получил, так сказать, аванс. Теперь и выпить можно... Ведь верно я говорю, а? — и он подмигнул Марусину.

Засмеялся и Васька.

— Дурак! — сказал он.— А все равно люблю!

Схватив Пузочеса за волосы, привлек к себе и сочно поцеловал в губы. Марусин даже тряхнул головой. Нет же! Не Васька-каторжник сидел рядом с ним за столом, а Петр, самый настоящий Петр I.

Официантка принесла бутылки, и Васька зубами содрал пробку, а Пузочес отвернулся и украдкой вытер губы уголком скатерти.

— Люблю...— проговорил Васька, разливая коньяк по рюмкам и не оборачиваясь в сторону Пузочеса.— Но говно, конечно, ты, братец, редкое.— И он придавил тяжелым взглядом попытавшегося хмыкнуть брата.— Да! Говно! А из говна нельзя человека сделать. Нет! Тут уже все. Если нет в человеке струны — значит, дерьмо этот человек. А я могу... Я...— он резко повернулся к Марусину и схватил его за плечо.— Хочешь, я из тебя человека сделаю?

Страшно стало Марусину. Лицо с торчащими по сторонам усами, с выкаченными, потемневшими от гнева глазами, было лицом Петра.

— Понравился ты мне! — сказал Петр.— Сам не знаю почему, а понравился. Глаза у тебя хорошие, парень. Видел много? Это хорошо. Но все это херня. Ты тоже, парень, говно, потому что людей жалеешь. А ты презирай их. Ты им в морду плюй, и они тебя любить будут.

Марусин сжал ладонью лицо, пытаясь заслониться от страшного видения, нависшего над ним.

— Не веришь?! — прогремел голос Петра.— А я сейчас продемонстрирую тебе это.

— Я верю...— отнимая от лица руку, устало сказал Марусин. Хмель вроде бы прошел, и снова все стало обычным.— Я даже наверняка это знаю, но что толку, если все равно не можешь не жалеть.

— А-а...— Васька плюхнулся назад на стул.— Ну тогда, парень, да... Тогда фиговое дело. Тут уж не плюнешь никому в лицо. Тебе плевать будут, елки зеленые.

Он подпер кулаком голову и сердито засопел.

— Но ты не теряйся! — сказал он.— Запомни, что главное, чтобы человек не дешевка был. В лагере к нам в барак хлопца определили. И щупленький был, а раз с Чефирем сцепился, ну, и заелись они...

— Ты уже рассказывал про этого парня...— сказал Марусин.

— А ты слушай...— Васька обиделся, что его перебили.— Знаешь, там какие леса? Тыщу километров — Магадан, полторы тыщи — порт Ванин... Куда хочешь беги — все равно в тайге сдохнешь...

— И про это ты рассказывал,— сказал Марусин.— Мы тогда тоже втроем здесь сидели...

И он повернулся к Пузочесу, как бы призывая его в свидетели, но Пузочеса за столиком не было — на его месте сидел какой-то человек, которого Марусин словно бы где-то видел раньше. Этот человек сидел на стуле и болтал в воздухе коротенькими ногами.

— Да...— кивнул Марусину этот человек.— Василий правильно выражает свою мысль. Да. Нужно быть свободным от всего, как утверждает Василий Васильевич Розанов. Без обычаев, без привязанностей. Только ты и тысяча километров до порта Ванина.

— Полторы тыщи...— поправил его Васька.

— Пусть полторы...— легко согласился человек.— Но чтобы больше ни одной души на эти полторы тысячи...

— Я не понимаю...— грустно сказал Марусин.— Мы все живем как-то не всерьез... Мы чем-то больны. Живем в пригороде, и жизнь наша запущенная. Ничего у нас нет, ни поступков, ни судеб... Ничего... Одна рефлексия.

— А тыща километров до порта Ванина? — удивился человек со странно знакомым лицом.

— Полторы...— снова поправил его Васька.

— Тем более. Полторы тыщи... Их куда деть, а? Или это тоже рефлексия?

— Я не понимаю...— сознался Марусин, глядя на человека расширившимися глазами.— Если ты слабый...

Захрипел рядом Петр.

— Ненавижу! — закричал он, и Марусину показалось, что выпучившиеся глаза его выпрыгнут сейчас из орбит.— Ненавижу! Всех ненавижу... Уничтожать надо слабых. Давить, как котят, чтобы не гнили заживо... Чтобы дух не отравляли... Сильными надо быть...

— Что есть сила? — поинтересовался вынырнувший из-под руки Петра швейцар.

Схватил со стола рюмку и затем, подняв вверх палец, произнес: «Сила есть...»

Марусин не помнил, что швейцар говорил дальше. Сознание вдруг оборвалось в нем, и хотя он продолжал сидеть за столом, слушать и говорить, он нутром уже не знал, где пролегла граница яви и сонного кошмара.

Как в кошмарном сне, возникал откуда-то Пузочес с пачкой денег в руке. Разгневанный, выпучив глаза, рвался к нему Петр I в порванном на рукаве мундире, но Пузочес уплывал от него, восседая на унитазе, который несли на плечах дюжие преображенцы...

Марусин очнулся только наутро... Он лежал в своей постели, и гипсовый мальчик со стариковской складкой у рта сочувственно смотрел на него с потолка. Марусин выпил стакан воды и сел за машинку. Прежде всего ему нужно было написать статью о том, что случилось на текстильной фабрике, а потом уже обдумывать все остальное.

Статья придумывалась сама собой, словно Марусин уже видел ее текст и сейчас только перепечатывал его.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Весь вечер Пузочес помнил Наташу и жил и скандалил ради нее, но в ресторане, когда Васька обозвал его говном, обиделся, и в этой обиде позабыл про Наташу. И тогда, выхватив из кармана пачку денег, швырнул ее в зал.

— Пейте! — закричал он, бледнея от страха, что сейчас Васька убьет его.— Пейте, сволочи! Помните Пузочеса!

Но не Васька, а дружелюбные люди прихлынули со всех сторон к Пузочесу, и они пили с ним, и пели, и танцевали, как велел им Пузочес. И тогда, осмелев, Пузочес снова вспомнил про Наташу и в угодливой тишине объявил, что должен идти на свадьбу.

И снова он швырял деньги, и откуда-то возник совершенно новый, голубой унитаз — оказывается, его продавали Пузочесу всего за полторы тысячи. Пузочес купил, не торгуясь. Торжественно спустил штаны и сел на унитаз, а дюжие преображенцы подхватили унитаз на руки, и Пузочес медленно выплыл из ресторана, расшвыривая по сторонам деньги.

К сожалению, в «Волну» он опоздал.

Дюжие преображенцы бережно потаскали уснувшего Пузочеса вокруг ресторана, а потом им стало скучно. Они поставили унитаз с Пузочесом к стеклянной двери и ушли по своим делам, а Пузочес так и проспал всю ночь сидя.

Утром, когда зябкий туман с реки, просочившись сквозь городские кварталы, синеватой пеленой повис над улочкой, где находился ресторан «Волна», Пузочес проснулся от озноба. Встал, натянул штаны и вывернул карманы. Там осталась лишь помятая пачка сигарет, а денег не было ни копейки. Пузочес только поморщился. Главное — остались сигареты, а больше ему ничего и не требовалось сейчас.

Затянувшись горьковатым дымом, Пузочес медленно побрел по пустынной улочке к дому.

Тетя Нина проснулась от колющей боли в груди.

Приближался приступ, но тетя Нина еще полежала в постели, вспоминая сон. Снова снились ей похороны, снова видела она, как плывет роскошный, усыпанный цветами гроб, а сзади бесконечной толпой движутся люди, жмурясь от солнца, пылающего в трубах духового оркестра.

И опять, как и раньше, пыталась узнать тетя Нина, кого же хоронят, но люди странно смотрели на нее, и тетя Нина с ужасом замечала, что лиц у людей нет... Ей было страшно. Расталкивая этих безликих людей, протискивалась она к гробу и, не обращая внимания на одышку, на колющую боль в груди, заглядывала в гроб и снова видела там себя...

Сон приснился точно такой же, как две недели назад, и тетя Нина тяжело вздохнула — жутковатым и недобрым был он. Она с трудом встала, накинула на плечи халат и отдернула занавеску, отделявшую ее кровать от комнаты.

На раскладушке, в туфлях, спал Пузочес, а кровать старшего сына стояла неразобранная.

«Опять внизу ночует...» — тоскливо подумала тетя Нина и направилась к подоконнику. На подоконнике лежала коробка со шприцем.

У окна тетя Нина задержалась. Внизу, во дворике, стояли Васька и Яков Ильич Кукушкин. Они разговаривали о чем-то. Впрочем, говорил только Яков Игнатьевич, а Васька — он был в одной майке — стоял рядом и набычено глядел на него. На плече Васьки, ядовито-фиолетовая, вздувалась наколка: «С юных лет счастья нет». Наколка как раз приходилась на мускул. Тетя Нина знала старшего сына. От ярости он весь словно бы разбухал мускулами.

Вот Яков Иванович возмущенно поднял к небу руки, а Васька выплюнул окурок и, не вынимая рук из карманов, быстро зашагал к дому.

Сердце у тети Нины больно сжалось.

Инстинктивно обернулась она к раскладушке. Лицо Пузочеса, разомлевшее во сне, было мягким и беззащитным.

Дверь распахнулась. С побелевшими от ярости глазами на пороге стоял Васька. Увидев мать, он остановился, но, не умея сдержать гнев, шагнул к раскладушке.

— Вставай!

— Отвали, пожалуйста,— вежливо попросил Пузочес, заворачиваясь в одеяло с головой.

Лицо Васьки потемнело.

— Фраер поганый! — железной рукой он выдернул раскладушку из-под Пузочеса и отшвырнул ее к стене.— Ты где, падла, деньги берешь?

Все раскрывалось. Пузочес знал, что рано или поздно Васька узнает о раскулаченном тайнике, но все-таки он надеялся, что это случится не так. А впрочем, не все ли равно!

— Где надо, там и беру! — нагло ухмыляясь, ответил он.

И все-таки нервы не выдержали. Когда Васька рванулся к нему, Пузочес юркнул за спину матери, и Васька едва не сшиб ее с ног.

Тетя Нина развела в стороны руки, защищая Пузочеса.

— Пусти, маманя...— словно выдохнул из себя Васька.

Мать и сын стояли напротив и смотрели прямо в глаза друг другу. Пульсировал, сжимался и разжимался зрачок в глазу у Васьки. Тете Нине стало страшно.

— Нет! — закричала она.— Нет!!! Не пущу!

— Жалеешь? — Васька судорожно мотнул головой.— Паскуду жалеешь?!

— Меня бей! Меня! — закричала тетя Нина, и Васька отшатнулся назад.

— У-у! — до крови закусывая губу, простонал он.— Он позорит нас, а ты жалеешь! Он у соседа на свадьбе все карманы обчистил! Паскуда.

И изо всей силы ударил кулаком в переплет оконной рамы.

Может быть, Васька просто хотел открыть окно и схватить запекшимися губами воздуха, но в этот момент вся его скопленная внутри сила ушла в этот удар, и... зазвенев, посыпались стекла. Крест оконной рамы, вырванный из пазов, рухнул вниз. Вовлеченная в общее движение, полетела на улицу и коробка со шприцем. Падая, она раскрылась, и из нее, сверкая на солнце, посыпались на асфальт ампулы.

Тетя Нина охнула и медленно, нашаривая рукой стул, начала оседать.

Васька коротко матюгнулся и, сжав зубы, выскочил из комнаты. Хлопнула за ним дверь. Тетя Нина уронила на стол голову и навзрыд заплакала.

Пузочес тоскливо покосился на плачущую мать и тоже вышел из комнаты — он не мог переносить материнских слез.

Во дворе он столкнулся с Яковом Ефимовичем.

— О! — обрадовался тот.— Вот и ангел родины затейливой моей появился!

— Иди ты, старик, в задницу! — посоветовал ему Пузочес, и долго стоял Яков Егорович и смотрел ему вслед, щуря свои мудрые старческие глаза. Благожелательно улыбался он.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Все утро наверху кричали.

Марусин не обращал внимания на крики. Слова сами складывались в предложения, предложения — в абзацы. Марусин уже заканчивал статью, когда на веранду зашел с улицы Прохоров.

— Что это ты дверь нараспашку держишь? — вместо того, чтобы поздороваться, спросил он.

— Душно...— Марусин отстукивал на машинке последние фразы.— Солнца сегодня много.

— Да...— подумав, согласился Прохоров.— Солнца много.

Он сел верхом на стул и свесил через спинку руки. Молча уставился на хозяина. Тот, не обращая внимания, допечатывал статью.

— Интересно...— задумчиво сказал Прохоров, когда Марусин вытащил из машинки лист.

— Что интересно?

— Нет, я так...— Прохоров провел ладонью по лицу.— Просто подумалось... Ты не знаешь, в Африке гипертоников много?

— Не знаю...— Марусин пожал плечами.— А чего это ты за Африку переживать начал?

— Так... Просто, если у человека гипертония, то ему там совсем плохо жить. Там же солнце еще сильнее, чем у нас.

— Сильнее...— согласился Марусин и пытливо взглянул на Прохорова.— Ты долго вчера на свадьбе сидел? — сочувственно спросил он.

— Долго...— Прохоров медленно прошелся по веранде, стараясь не наступать на сочно-желтые пятна солнца.— Дольше всех сидел. Потом еще молодых проводил...

Он помрачнел.

— Вот так, Марусин, жизнь складывается...— сказал он.— А я ведь в Африку уезжаю.

Прохоров совсем загрустил. И, должно быть, рассказал бы он Марусину, как не дождалась его возвращения из Заберег любимая девушка, и теперь надо, черт подери, ехать в Африку, чтобы там под палящим африканским солнцем выжечь из сердца эту любовь, а потом выкупаться в океане и застрелиться, как герой из рассказа Бунина.

Выпелась из похмельной грусти эта фраза, но жуткий раздался сверху крик, и Прохоров испуганно уставился на потолок.

— Кричат...— пожимая плечами, сказал Марусин.— Сегодня все утро кричат.

— Да...— согласился Прохоров.— Я из-за этого и проснулся. Странные люди...

Он не договорил. Еще страшнее, чем первый, снова обрушился крик, и Марусину показалось, что это кричит сам дом, прогнивший до самого сердца. Нечеловеческим был этот крик. Мелькнула, уже на улице, рубашка Прохорова и скрылась за углом дома.

Марусину стало неловко, что он стоит и думает свои мысли, когда, наверное, надо бежать, как Прохоров, и помогать. Но похмелье замедляло движения. Марусину казалось, что он бежит, а на самом деле он едва переставлял ноги.

На лестнице его чуть не сбила с ног Матрена Филипповна. Впервые видел Марусин, как она бежит. Он удивился этому, и снова ему стало неловко — какая-то беда случилась у соседей, а его это совсем не беспокоит. Мотнув головой, он решительно толкнул дверь в комнату Могилиных.

Страшно и нереально, как в жуткий сон, распахнулась комната. На полу лежала тетя Нина. Глаза ее выпучились, словно вырывались из лица, а в уголке открытого рта высовывался толстый посиневший язык.

Рядом на коленях стоял Прохоров и трясущейся рукой пытался нащупать пульс. Другой рукой он зачем-то засовывал назад в рот вываливающийся язык тети Нины.

Марусин зажал рукою рот и выбежал. На крыльце его стошнило.

«Скорая» приехала через полчаса, когда тетя Нина уже умерла.

— Астма...— сказал Прохорову приехавший на вызов врач.— Укол нужно было сделать, Евгений Александрович.

Прохоров молча кивнул ему и прошел мимо.

Тихий наступил вечер.

Улеглась возникшая от неожиданной смерти суета во дворе. Тело тети Нины увезли в морг, и весь дом притих. Надломленный, старчески расползался он по земле, уставившись на примятую протекторами санитарной машины траву...

— Какой дом старый...— вздыхал Яков Дормидонтович, качая головой.— Старый-старый. После смерти жильца дом всегда сильно стареет, а сколько этот дом уже видел смертей!

Прохоров кивал, но вряд ли он слышал, что говорит сейчас мудрый сосед. Рассеянно шевелил он пальцем, высунувшимся сквозь прореху в тапочке, и думал, что надо постричь ногти на ногах, но...— тут в мыслях происходил какой-то поворот — ногти растут и у нее. Растут сейчас, когда она уже мертвая... Прохоров зябко ежился и снова кивал Якову Донатовичу, говорившему что-то умное и подходящее к сегодняшнему настроению.

А Прохоров думал. Думал о том, что он врач, и сегодня на руках у него умерла больная женщина, а он ничего не смог сделать, чтобы помешать смерти. Конечно, он не виноват. Нужно было просто сделать укол, а шприца не было, шприц разбился... Вот они — осколки шприца и поломанные ампулы в металлической коробочке. Коробочка зачем-то стоит на скамейке рядом с Яковом Денисовичем. Аккуратный старик. Он собрал с асфальта битое стекло, чтобы кто-нибудь нечаянно не порезал ногу. Да... Шприца не было... Но все равно. Он — врач, и на руках его умерла больная женщина. Нет вины, но есть совесть...

И тут Прохоров увидел Ваську-каторжника. Спокойно шагал он, словно возвращался, как обычно, с фабрики, а не из морга, где лежала сейчас его мать.

И Прохорову стало понятно, почему не уходил он в свою комнату, а сидел во дворе... Медленно встал навстречу Ваське и с коробкой, в которой гремело битое стекло — руки Прохорова дрожали,— подошел к нему.

— Убийца! — тихо и отчаянно проговорил он и швырнул коробку к ногам Васьки.

— Уй! Уй! — раздался сзади испуганный вскрик Якова Григорьевича.— Что вы наделали, молодой человек! Это же вещественные доказательства!

Но не услышал его Прохоров. Глаза его встретились с глазами Васьки, и Прохоров отшатнулся — пустыми были эти глаза. Нет, не отводя глаз смотрел на него Васька-каторжник, но смотрел, как бы не видя. Насквозь просачивался его взгляд. И дальше Прохоров тоже не понял. Не сворачивая в сторону, словно сквозь него прошел Васька-каторжник, и глухой, смертной тоской сжалось сердце.

Скоро на втором этаже вспыхнул свет. Сквозь выломанное окно было видно Ваську. Сгорбившийся, сидел он у стола и хлебал из белой эмалированной кастрюли суп, еще вчера сваренный тетей Ниной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Суп — сверху плавали белые хлопья жира — был холодный и невкусный, но Васька, старательно склонив голову, ложка за ложкой, хлебал его.

Дважды прокуковала кукушка, высунувшись из часов.

Скрипнула сзади дверь.

Васька не оборачивался. Аккуратно поймал белый кружочек жира и поднес ложку ко рту.

Шаги замерли за спиной.

Проглотив белый кружочек жира, Васька-каторжник старательно облизал ложку и положил ее на стол.

И сразу же — стремительно! — обернулся.

Перед ним, сжимая побелевшими пальцами железный прут, стоял Пузочес, и по щекам его катились слезы.

Васька осторожно протянул вперед руку и, лишь завладев прутом, рванул его на себя и отшвырнул в угол.

— Убить хотел? — тихо спросил он.

Пузочес молчал.

— Хотел...— задумчиво сказал Васька и вдруг, не вставая, резко послал кулак в живот Пузочесу. Пузочес согнулся, словно надломленный, и второй удар — прямо в челюсть — отбросил его к стене.

Васька вытер о штанину разбитый кулак.

— Говно! — сжимая кулаки, проговорил он.— Уж если решил убивать, так убивай! А ты и здесь свильнуть хочешь.

И, задохнувшись от ярости, сел на кровать и заплакал.

Долго не гас в этот вечер свет у Могилиных.

За столом, сгорбленный, сидел Васька и, трудно выдавливая из себя слова, бросал их в съежившегося Пузочеса, который забился от страха в угол и только тихо поскуливал.

— Не хочу... чтоб... братан... падлой... был... Понял?

Он не ждал ответа. Лил в эмалированную кружку спирт и пил его, не морщась, а потом лез целовать перепуганного брата и снова плакал.

— Да...— кусая губы, говорил он.— Да... Херня получается, братуха.

И тогда Пузочес не выдержал.

Заикаясь от страха, покаялся он брату, что раскулачил тайник в стене. Случайно обнаружил его и взял... Немного. Не все... Совсем пустяк. Но больше этого не будет. Он уйдет в офицерское училище, и все... Он бы и раньше ушел. Не уходил из-за матери. Он любил ее. А теперь... Теперь можно и уйти.

И украдкой Пузочес взглянул на брата.

Ничего нельзя было разобрать по его лицу.

— Ну, я же немного! Немного совсем брал! Так... Пустяк! Может, тысячу, может, пять... Чепуху, Васька... Там все цело, как раньше.

Пузочес угодливо подскочил к стене и, выломав фанерку, начал выкидывать на середину комнаты пачки.

— Видишь! — кричал он.— Все на месте.

Засунув руки в карманы, Васька стоял над грудой денег, и снова не сумел разобрать по его лицу Пузочес, что же он сейчас думает.

— Ну, убедился? — робко проговорил он.— Все на месте. Я всего-то, может, и тысячи не взял.— И на всякий случай добавил: — Пересчитай, если хочешь...

Чему-то невесело усмехнулся Васька.

Ладонью провел он по мягким волосам брата, потом несильно оттолкнул его голову.

— Не сикай! — коротко сказал он.— Все на похороны мамани пустим. Ясно?

— Ясно...— тихо, одними губами, прошептал Пузочес.

— Похороним, чтоб все помнили! — сказал Васька, забивая слова как гвозди.— Пусть каждая сука ее помнит.

Потом вытащил из комода наволочку и скидал в нее все пачки. Засунул раздувшуюся наволочку под кровать.

— Теперь...— он повернулся к Пузочесу.— Теперь эти деньги святые. Понял?

— Понял...— Пузочесу сразу стало легко.— Я все, Вася, понял.

И снова чему-то усмехнулся брат, но не сказал ничего.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Свою статью «Обман под аплодисменты» Марусин отправил в московскую газету, где работал его приятель.

Чтобы письмо не болталось по городу, Марусин опустил его на почтамте и опоздал почти на пятнадцать минут на работу.

Все уже сидели на своих местах. В открытую дверь секретариата было видно Бонапарта Яковлевича. Ответственный секретарь был требователен к себе. Он не позволил себе поблажки даже ради свадьбы. В пятницу ушел с работы в восемь вечера, а сегодня, в понедельник, появился точно в девять.

Марусин заглянул в секретариат.

— Как дела? — поинтересовался он.

Дорисовывая на макете заголовок статьи, Бонапарт Яковлевич протянул Марусину руку.

— Нормально! — сказал он.— А ты чего со свадьбы так рано ушел?

— Голова разболелась...— морща нос, ответил Марусин.— Я статью написал... Хотелось бы посоветоваться.

— Ради бога! — воскликнул Бонапарт Яковлевич.— О чем речь?

И он развел руками. Блеснуло на его пальце обручальное кольцо.

Снова сморщил нос Марусин, но отступать было поздно.

— Это вообще-то для центральной газеты статья...— сказал он, опуская глаза.— Туда я уже отправил экземпляр, но хотелось бы посоветоваться.

— Непременно! — проговорил Бонапарт Яковлевич, и Марусину стало как-то неловко.

«Вот...— подумал он.— Человек сочувствует, а сам и не знает, о чем статья...»

Он покраснел и вытащил из портфеля скатанную в трубочку статью.

— Это второй экземпляр. Первый я отправил.

— Хорошо...— Бонапарт Яковлевич положил рукопись на стол.— Я дорисую макет и сразу же прочту.

Но Марусин медлил уходить, и Бонапарт Яковлевич удивленно посмотрел на него.

— Еще что-нибудь?

— Нет... Больше ничего. Ты извини, но я должен был написать это.

Марусин повернулся и столкнулся с редактором.

Тяжело дыша и надувая щеки, Борис Константинович уставился на него.

— Опаздываете? — грозно спросил он.— Когда на работу приходить надо?

Редактор говорил так, потому что успел увидеть портфель в руке Марусина.

— Он здесь был...— раздался из-за спины Марусина спешащий на выручку голос Бонапарта Яковлевича.— Я попросил его зайти. Мы о статье разговаривали.

Редактор не любил, когда перечили его гневу, но сейчас ему пришлось сдержаться.

— В отделе сидеть надо,— буркнул он.

День этот показался Марусину бесконечным.

К двенадцати часам отдел опустел, и Марусин спокойно дописал статью, посвященную театрализованному представлению в парке. Писать было легко, перед Марусиным лежал сценарий празднества, был и на репетициях, а главное — видел в ресторане пришедших из парка преображенцев.

Статья была уже готова, когда вошел в комнату Угрюмов. Под мышкой он зажимал огромные счеты, а все лицо его лучилось приветливостью и доброжелательностью.

— Поздравляю...— сказал он Марусину.— Сейчас Бонапарт Яковлевич вашу статью отнес редактору. Очень, очень хвалил ее.

Он говорил это, возясь с ключом возле сейфа, где хранились партвзносы. Открыл сейф, вытащил баночку из-под леденцов и, продолжая сиять, уселся за стол.

— Богатенький крот! Богатенький крот...— нежно промурлыкал он, вываливая деньги на стол.

Марусин быстро взглянул на него. Крепенький, чем-то очень похожий на майского жука, Угрюмов вдруг сразу, как на ладони, открылся ему, уместившись в случайно оброненном слове.

И сразу — как будто приоткрылась дверь и стало видно всю его жизнь... Сквозь перспективу серыньких лет увидел Марусин Угрюмова, так, словно жил с ним всегда, всю жизнь знал его: сидел за одной партой в школе, вместе

учился в университете. И всегда-то Угрюмов обладал нехитрыми умениями промолчать, когда это надо; не услышать, когда невыгодно слышать; говорить глупости, когда начальство не хочет, чтобы ты был умным... Такой был Угрюмов, простовато и нехитро умел он даже и дышать так, как хотели *там*, наверху, и вот: потихоньку поднимался в чинах и сам.

Конечно, все это Марусин знал и раньше, наблюдая за Угрюмовым, но теперь получалось, словно он знал это всегда, и потому знание это уже не раздражало, было беззлобным, как данность.

— Какой крот? Богатенький? — Марусин невольно улыбнулся.

Угрюмов оторвался от счетов и исподлобья — ну точь-в-точь как в школе — умненько посмотрел на Марусина.

— Богатенький...— сказал он и по-детски доверчиво улыбнулся.— А что? Ответить Марусин не успел.

Зазвенел телефон, и «богатенький крот» схватил трубку.

— Да, да...— сказал он, и улыбка пропала с его лица.— Да. Сию же минуту, Борис Константинович.

Бережно положил трубку на аппарат и, не поднимая глаз, буркнул, чтобы Марусин немедленно шел на ковер.

И не смотреть на человека, когда это было нужно, тоже умел богатенький крот.

Редактор сидел за письменным столом и что-то ожесточенно правил, когда Марусин вошел в кабинет. Марусину был виден только затылок Бориса Константиновича с топорщившимся хохолком.

Разумеется, молодому сотруднику следовало бы, робко покашливая, застыть у двери и ждать, пока начальство обратит на него внимание... Разумеется. Но вместо этого Марусин подошел к журнальному столику, взял свежий номер «Литературной России» и, усевшись на диване, развернул его.

Редактор несколько секунд оторопело смотрел на Марусина, потом отшвырнул в сторону карандаш и, схватив со стола статью «Обман под аплодисменты», потряс ею в воздухе.

— Что это, а?!

Марусин спокойно сложил газету.

— Статья...— он пожал плечами.

Лицо редактора — вначале шея, а потом и двойной подбородок — затекло краской, а глаза выпучились.

— С-с-т-тат-тья? — переспросил он, сильно заикаясь.— Н-нет... Это не с-стат-тья...— он встал.— Это клевета, черт возьми! — и изо всей силы обрушил на стол кулак.

И снова Марусин пожал плечами.

Потом, ни слова не говоря, встал — и вышел из кабинета.

К трем часам на доске объявлений в фойе редакции, висевшей возле фикуса с пожелтевшими листьями, приколотили приказ. За систематическое опоздание на работу корреспонденту Марусину Н. М. объявляется строгий выговор с предупреждением.

— Выгонят тебя, Марусин,— жалостливо сказала Зорина, прочитав приказ.— Зачем ты глупостями занимаешься?

— Зачем-зачем...— пробурчал в ответ Марусин.— Глупый, наверное, просто. А ты зачем? Сегодня опять плакала?

— Плакала...— вздохнула Зорина.— Сегодня я на фабрике была. Наташа Самогубова сделала попытку самоубийства. В больницу ее увезли... А ты куда теперь устраиваться будешь?

— Устроюсь куда-нибудь.

— Устроишься...— Зорина вздохнула.— Тебе хорошо, ты талантливый. Тебя в любую газету возьмут. А я нет... Я — кошка. Помнишь, я тебе говорила, что я — собака. Я раньше так думала. А я к месту привыкаю.— Она подумала и совсем уже печально добавила: — Да и не возьмут меня никуда. Сюда и то по блату устроилась.

Марусин смутился.

— Устроюсь, конечно...— сказал он.— У меня вон тоже блату хоть отбавляй. Возьму и пойду на склад макулатуры бумагу прессовать. Меня теперь там все знают.

— Кто это на склад макулатуры собирается? — вмешался в их разговор проходивший мимо Бонапарт Яковлевич.— Ты, Марусин?!

— Я...

— Подожди немного! — Бонапарт Яковлевич покровительственно подмигнул Марусину.— Еще не все потеряно. Мы еще повоюем за тебя.

— Да я и сам повоюю...— усмехнулся Марусин.— Что я, кочан капустный, что ли, чтобы меня любой козел обгладывать мог?

Бонапарт Яковлевич понимающе улыбнулся.

— А ты злой...— сказала Зорина, когда он отошел.— Значит, тебе плохо.

Внеочередная редакционная летучка собралась сразу после обеда. Редактор долго говорил о редакционной этике и о журналистской совести. Он вспомнил о своем приятеле, спившемся уже журналисте, которого встретил недавно в Ленинграде и который попросил у него двадцать копеек.

— Все бывает в жизни...— жалобно сказал редактор.— А ведь что-то было и в этом человеке. Но опустился... Спился...— он тяжело вздохнул.

Сотрудники редакции сидели и старались не смотреть друг на друга. Борис Константинович отпил воды из стакана, услужливо поставленного перед ним Угрюмовым, и продолжил свою речь.

Теперь он говорил о человеке, который, воспользовавшись доверием товарищей, стремится облить их помоями собственного производства.

И было видно, как тяжело говорить редактору эти слова. Толстые щеки его дергались в нервном тике, и только глаза портили впечатление. Они то и дело убегали в сторону.

Марусин вертел карандаш. Лицо его было бледным. Говорили о нем. В этом не могло быть сомнения, но его равно не хотелось верить, что это о нем. И сам того не замечая, Марусин инстинктивно втягивал в плечи голову, когда слова редактора особенно больно клеймили падшего человека.

В выражениях редактор не стеснялся. Он уже назвал этого человека завистливой бездарностью, уже заклеймил его грязное больное воображение.

— Что бы вы сказали, товарищи, о человеке, которого подобрали на улице, привели в свой дом и обогрели, а он осквернил бы святую святых вашего очага?! — риторически вопрошал редактор.— Как бы вы назвали этого гнусного человечишку?! — редактор гневным взором обвел сотрудников.— И вот такой человек, товарищи, проник в наш коллектив. Я про вас говорю, Марусин!!! Встаньте! Объясните, как вы смеете после этого смотреть в глаза товарищам?!

— Я объясню, Борис Константинович,— бледнея еще сильней, сказал Марусин.— Я все объясню...

Он говорил минут пять.

— Не я, а вы! — гневно сказал он.— Вы злоупотребили доверием читателей! Это вы, Борис Константинович, допустили, что на страницах газеты появилась лживая статья, в корне искажающая действительность! Вы позволили обелить истинных виновников и возвести напраслину на невиноватых. И вот результат злоупотребления доверием читателей...— Марусин сделал значительную паузу, чтобы подчеркнуть важность своего сообщения.— Наташа Самогубова, девушка, которую мы оклеветали, пыталась покончить жизнь самоубийством и лежит сейчас в больнице.

Гнетущая тишина повисла над редакционным столом. Марусин помедлил, вслушиваясь в нее. Стороною мелькнула мысль, что редактор, должно быть, до жалости неумен, если затеял все это, когда у противника на руках такие козыри... Но промелькнуло и пропало это суетливое соображение. Марусин и сам разволновался из-за своих слов.

Редактор написал что-то на листе бумаги и протянул записку Угрюмову. Тот кивнул и быстро вышел из кабинета. Но Марусин ни на что уже не обращал внимания.

— Восемнадцатилетняя девушка, может быть, станет инвалидом...— говорил он.— Ни один честный человек не имеет права молчать, когда на его глазах совершается преступление. А журналист тем более! Правильно, Борис Константинович! Нужно снова и снова говорить о редакционной этике. Она не для того, чтобы покрывать преступление. Не для того, чтобы ради мелкой выгоды приносить в жертву человеческие судьбы. Она для того, чтобы бороться за человека, даже когда этот человек не хочет бороться за себя!

Марусин мог быть доволен. Речь его явно взволновала товарищей.

Несколько минут длилось молчание. Но вот вошел Угрюмов и что-то прошептал на ухо редактору. Тот кивнул.

— Вы все сказали? — спросил наконец он у Марусина.

— Все.

— Ну, значит, так...— Борис Константинович медленно встал. Уже не было в нем растерянности. Твердый и решительный человек начинал свою речь.— Я специально, товарищи, не прерывал Марусина. Специально, чтобы вы могли сами убедиться, каков этот человек. Ради того, чтобы очернить товарищей, ради того, чтобы облить грязью коллектив, он не останавливается ни перед чем. Даже перед явной ложью. Товарищ Угрюмов только что связался с фабрикой. Там произошел несчастный случай. Работница, про которую мы писали, поломала палец. Производственная травма. Это, конечно, печальный случай. Но еще печальнее, что из этого пальца высосал клеветник свое гнусное измышление о попытке самоубийства. Нечаянно палец работницы попал в станок... Какое же это самоубийство? Но Марусину — этому завзятому клеветнику, это не важно. Главное для него — очернить коллектив, меня, Угрюмова, всех нас. Я не хочу останавливаться на содержании его статьи, но уверяю вас, оно так же мало похоже на правду, как и его сообщение о самоубийстве Самогубовой.

И хотя — удивительно порядочный человек! — пытался защищать Бонапарт Яковлевич своего незадачливого товарища (он говорил, что пусть в статье Марусина и сгущены несколько краски, но... з-э, рациональное зерно несомненно присутствует...), увы, должного впечатления его выступление не произвело на сотрудников.

Слушая Марусина, они искренне возмущались редактором, а теперь, когда тот так замечательно разоблачил клеветника, с той же искренностью возмущались им. Они вставали один за другим и говорили о дурных качествах Марусина.

Редактор грустно и сочувственно кивал им.

— Вы все слышали, Марусин? — спросил он в конце летучки.— Все ваши бывшие товарищи осуждают вас. Коллектив не хочет иметь в своих рядах такого человека, как вы!

Марусин поднял голову. Что ж...

— Что ж,— сказал он вслух и попытался усмехнуться.— Что ж, раз так, я готов хоть сейчас написать заявление об увольнении.

— Заявление? — редактор грустно посмотрел на него и вздохнул.— Боюсь, Марусин, что после сегодняшнего разговора ваше заявление уже не потребуется.

Хлопотливое располагалось за окнами редакции железнодорожное хозяйство. Пути, будка, выкрашенная ржавой охрой; такой же, словно бы заржавевший, приземистый склад; полосатые шесты у стены; клумба, аккуратно обложенная белым кирпичом... Женщина в желтой безрукавке ходила возле будки и подметала дорожку. На дальних путях стоял поезд-подкидыш, и его синенькие вагоны сверху казались игрушечными, как и будка, и клумба, и пути... И еще нереальным казалось Марусину, что там ничего не изменилось за эти часы, когда все, все изменилось.

Марусин стоял возле окна и, прижавшись лбом к стеклу, пытался сообразить, что же ему теперь делать, и не мог придумать.

Кто-то подошел сзади и положил ему на плечо руку. Марусин обернулся. Перед ним стоял Бонапарт Яковлевич.

— У тебя еще есть экземпляр статьи?

— Есть...— ответил Марусин.— А зачем он тебе?

— Давай! — Бонапарт Яковлевич осторожно свернул в трубку протянутые Марусиным листочки.— В райком занесу. А ты не вешай нос! Мы... Мы еще повоюем!

— Довоевались...— криво усмехнулся Марусин.— Брось ты это дело. Мне все равно уже не поможешь, а только сам пострадаешь.

— Ты обо мне заботишься?—спросил Бонапарт Яковлевич.— А что же о себе не позаботился, когда за эту девушку решил заступиться? Так что давай, не надо. Не думай, что один ты хороший, а все остальные подлецы.

— Да я и не думаю так...

— Ну и правильно! — Бонапарт Яковлевич улыбнулся.— Так и держись. Он сжал пальцы в кулак и чуть приподнял его над головой, изображая приветствие. Порядочным человеком был Кукушкин. Марусину стало нестерпимо стыдно, что раньше он сомневался в этом.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Огромное солнце жгло город.

Лето в этом году выдалось без дождей, и с городских деревьев уже сейчас, в начале августа, падали засохшие листья. А асфальт нагревался за день так, что становился мягким.

Весь день сегодня Прохоров бегал по городу.

Эти дни он жил у родителей, потому что страшно было оставаться в старом, прогнившем насквозь доме, сквозь стены которого, казалось, и в его комнату проникал трупный запах. В тот момент, когда застыла на руках Прохорова тетя Нина и синеватый язык ее беспомощно вываливался в приоткрытый рот, умер для Прохорова и этот дом...

Утром в понедельник ов позвонил в Ленинград и выяспил, что срок отъезда в Африку зависит сейчас только от него самого.

«Можете ехать хоть завтра...— сказали ему.— Документы уже готовы...»

Все важное в жизни Прохорова случалось как-то мгновенно. Очень быстро, поссорившись с Леночкой Кандаковой, уехал Прохоров в Забереги. Еще быстрее, всего за день, собрался Прохоров, возвращаясь назад. И вот теперь в Африку он тоже собрался очень быстро.

Весь понедельник и вторник он бегал по городу и вот — осталось только сложить в чемодан вещи, проститься с друзьями да суметь сказать родителям, что он уезжает...

Собрался... Прохоров плелся по городу, едва переставляя ноги. Все как-то странно напоминало день отъезда из Заберег. Стоило только закрыть глаза, и сразу возникла река. Назойливо и надсадно жужжал слабосильный мотор, и лодка с трудом поднималась против течения. Из леса, стеной подступившего к берегу, несло гарью. Плыли по реке лоси, и головы их, похожие на огромные коряги, медленно сносило течением. Ветром выдувало из леса золу и тлеющие ветки. Шипя, падал этот мусор на воду, и река была сорной и страшной.

На высоком берегу, недалеко от паромной переправы, где раньше стояла церковь, молились старухи, но с фарватера казалось, что они откачивают утопленника. И некуда было спрятаться от невыносимо тоскливой жары. Прохоров ладонью плескал на лицо воду, но и она не остужала — была теплой и пахла бензином.

Прохоров мотнул головой. Радужные круги плыли в глазах. Он вышел к арке Петергофского шоссе, и мимо неслись пропахшие жарой и бензином грузовики. Ветер от них опалял кожу.

Прохоров усмехнулся. Давно уже нужно было сворачивать к дому, а он вышел сюда. Случайно ли произошла эта ошибка? Нет... Бессознательно он оттягивал время.

Так получилось, что хотя Прохоров и закончил медицинский институт

и ему приходилось бывать и в морге, и в палатах, где лежали умирающие люди, но саму смерть он увидел впервые, и она потрясла его.

На его руках умерла женщина, и он ничем не смог помочь ей. Вины Прохорова не было в этой смерти, но все равно возвращаться туда, где лежала эта женщина, не хотелось.

Трудно было узнать старый дом.

Во дворе стояли два грузовика. С одного багроволицые грузчики стаскивали роскошный дубовый гроб, с другого Пузочес сбрасывал на землю еловые ветки. Несколько мужиков возились на крылечке, обивая вход черным крепом.

На скамеечке под липами сидел Яков Геннадьевич Кукушкин со своей — теперь уже Кукушкиной! — невесткой Леночкой.

Он курил папироску и время от времени добродушно поглядывал на грузовики, а Леночка что-то говорила ему и плакала, вытирая слезы кружевным платочком.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Смерть тети Нины все перевернула на старой даче. Если раньше главным человеком в доме была Матрена Филипповна, и весь сложный уклад жизни зависел только от ее настроения, то в последние дни робкая и незаметная жиличка сверху, которую даже сыновья не принимали всерьез, оттеснила Матрену Филипповну в ее комнаты и — впервые! — Матрена Филипповна торопливо пробегала к себе, чтобы, плотно прикрыв двери, скрыться от запаха воска и еловых веток, от грохота молотков.

Несколько раз за эти дни Матрена Филипповна издали видела Ваську-каторжника, но не решилась даже окликнуть его. Хмурый и злой был Васька. И эта нерешительность тоже была новым для Матрены Филипповны ощущением. Ей делалось страшно. Целыми вечерами неподвижно сидела она в своих комнатах и боялась... И, поднимая к зеркалу глаза, с ужасом замечала, как стремительно стареет она.

В доме же безраздельно властвовала покойная тетя Нина. Это ради нее, такой незаметной и робкой при жизни, с утра до вечера стучали молотки, ревели во дворе грузовики, шастали взад и вперед какие-то серые, жуликоватого вида люди. Ради нее привезли роскошный дубовый гроб, ради нее сгрузили во дворе огромный кусок мрамора и возле него с рассвета до теменок работали бородатые скульпторы.

Через два дня проступили из бесформенной глыбы очертания людей. Над женщиной, лежащей на земле, скорбно склонились двое мужчин.

— Если меня изобразите...— сказал Васька глухо.— Озолочу.

— Изобразим, хозяин,— не вынимая изо рта сигареты, ответил главный бородач.— Будь спокоен.

— Чтоб сходство было...— уточнил Васька.

— Будет,— заверил его бородач.— Будут деньги, будет и сходство. Если хошь, мы и татуировку изобразим.

— Три тыщи накину! — тяжело ступая, Васька побрел к дому.

Бородачи переглянулись. Выплюнули сигареты, и снова застучали их молотки, не давая покоя жителям соседних домов.

И хотя ничего еще, собственно говоря, не произошло, но во всех этих приготовлениях чувствовался такой размах, такая широкость, что все соседи Могилиных как-то притихли, сжались в ожидании страшных и необыкновенных событий.

Яков Вонифатьевич, оберегая свои нервы, перебрался на эти дни к сыну; а его жена, тетя Рита, вспомнила вдруг, что Нина Могилина была ее лучшей подружкой, и теперь ходила по соседним домам, рассказывая об этом.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Проснувшись во вторник, Леночка чуть приподнялась в постели и, опершись на локоть, долго разглядывала спящего рядом мужа.

Свекра уже не было в квартире. Леночка сквозь сон слышала, как уходил он на работу.

Леночка вздохнула. Черты лица Бонапарта Яковлевича во сне были еще безукоризненней, еще правильнее... Прямой, точно выточенный нос, ровные, словно проведенные циркулем полукружья бровей, маленькие, плотно сжатые губы. И даже во сне исходило от Бонапарта Яковлевича ощущение аккуратности и порядочности. Но странно. Хотя черты лица и были по отдельности красивы, хотя и исходило от его лица ощущение порядочности и аккуратности, все равно лицо как бы разваливалось, было в нем что-то отталкивающее.

Испугавшись, Леночка тронула мужа за плечо, и тот сразу, словно он и не спал, открыл глаза.

— Проснулась? — спросил он.

— Проснулась...— ответила Леночка.— А зачем ты вчера к папе ходил?

Бонапарт Яковлевич внимательно посмотрел на нее и сел в кровати.

— Неприятности у нас...— немного погодя сказал он.— Хорошего парня с работы выгнали.

— За что?

— А! — Бонапарт Яковлевич поморщился.— Вторая серия истории о наставниках началась. Только теперь место действия — редакция.

— А обо мне? — Леночка тщательно расправляла складки рубашки, и казалось, что целиком занята этим делом и спрашивает просто так.—Обо мне папа говорил что-нибудь?

— Не помню...— простодушно зевнув, отвечал Бонапарт Яковлевич.— Тут уже не в тебе дело. Сегодня на бюро райкома партии будут обсуждать статью Марусина. Это его уволили из редакции.

— Не помнишь?! — глаза у Леночки расширились, словно от ужаса.— Как это ты не помнишь?

— Не помню...— Бонапарт Яковлевич уже вполне проснулся, и лицо его стало холодным и непроницаемым, как на службе.— Да и что ты беспокоишься? Тебе же это ничем не грозит. Ну, в худшем случае объявят выговор, и все.

— И все?! — Леночка смотрела на Бонапарта Яковлевича так, как будто впервые видела его.— Мне же в аппарат осенью переходить!

— Перейдешь через год...— Бонапарт Яковлевич пожал плечами и встал.

— А я не хочу! — закричала Леночка.— Не хочу через год! Я сейчас хочу! Понимаешь, сейчас!

— Не понимаю...— Бонапарт Яковлевич взял одежду и скрылся в ванной комнате.— Раньше нужно было думать!

Донесся шум воды и снова голос Бонапарта Яковлевича:

— Неужели ты такая эгоистка, а?

Леночка спрыгнула с кровати и, подбежав к ванной, дернула дверь, но дверь была закрыта изнутри.

— Неправда! — закричала она.— Ты неправду говоришь! Я хочу, хочу, чтобы мне было хорошо, но и чтобы всем хорошо было, тоже хочу! А ты! — она повысила голос, чтобы прорваться сквозь шум льющейся воды.— Ты...

И она изо всей силы забарабанила в дверь кулаком.

Дверь распахнулась.

Одетый и причесанный, на пороге стоял Бонапарт Яковлевич и холодно смотрел на нее.

— Ты все сказала? — спросил он.

— Все...— спикая, прошептала Леночка.

— Вот и отлично...— Бонапарт Яковлевич наклонился и поцеловал Леночку в щеку.— А теперь будь умницей. Собирайся. Уже на работу пора.

И, отстранив жену, прошел на кухню.

Бонапарт Яковлевич был известен в городе как человек удивительной порядочности.

Порядочным человеком он стал давно. Еще в детстве, которое проходило в чаду и скандалах коммунальной кухни, понял он, что проще всего в наше время быть порядочным и принципиальным человеком, только нужно уметь проявлять свою принципиальность и порядочность тогда, когда это нужно тебе. Первые плоды своей порядочности Бонапарт Яковлевич пожал еще в школе, когда три месяца подряд принципиально не разговаривал с матерью, наблюдая, как сохнет и бледнеет она с каждым днем. И дальше — всю жизнь принципиальность и порядочность верно служили ему. Порою он даже сам удивлялся своей порядочности. Вот и теперь. Конечно же, прочитав статью Марусина, он сразу понял, какими неприятностями для жены грозит она, но порядочность требовала, чтобы он немедленно отнес ее редактору, и так Бонапарт Яковлевич и поступил. А когда взбешенный Борис Константинович набросился на Марусина, Бонапарт Яковлевич — единственный из сотрудников — пытался защитить молодого журналиста.

Заступничество, правда, не помогло Марусину. Буквально через полчаса после летучки редактор подписал приказ о его увольнении, но это не важно. Важен факт, что Кукушкин заступался за него. И теперь Бонапарт Яковлевич мог бы успокоиться, но нет... Взял статью и, не колеблясь, вошел в кабинет своего тестя.

— Что это? — удивленно спросил тот, подняв на Кукушкина строгие глаза.

Бонапарт Яковлевич не смутился.

Он знал, что Кандаков без восторга отнесся к замужеству дочери — он планировал в женихи Лены своего приятеля по преферансу Прохорова.

Все это Бонапарт Яковлевич знал и тем не менее спокойно встретил недоуменный взгляд Кандакова.

— На свадьбе...— произнес Бонапарт Яковлевич и внутренне усмехнулся, замечая, как построжел, отчужденно выпрямился при этих словах его недалекий, неумный тесть, который больше самого себя любил свою должность.— На свадьбе,— повторил Бонапарт Яковлевич,— как вы помните, был весьма неприятный инцидент. Помните фотографа?

— Да, помню,— сухо ответил Кандаков.— Однако в чем же дело?

— Дело, э-э-э, несколько, э-э-э, деликатное...— проговорил Бонапарт Яковлевич, словно бы с трудом подбирая слова.— Право же, и не знаю, как начать...

— Начинайте,— Кандаков стал еще строже и официальнее.

— Дело, собственно говоря,— опуская глаза, произнес Бонапарт Яковлевич,— в какой-то мере касается и моей жены. Тот парень кричал на свадьбе, что...

— Я помню,— сухо оборвал его Кандаков.— Нет нужды обсуждать этот вопрос. Наш товарищ уже побывал на фабрике и разобрался. Лена допустила грубейшую ошибку в подготовке собрания, а потом свалила вину на комсомолку...— Кандаков заглянул в лежащую перед ним бумажку.— ...Самогубову... Вопрос этот вынесен на бюро горкома комсомола, и думаю, что в него будет внесена ясность. Вас это интересовало?

— Нет! — ответил Бонапарт Яковлевич.— То есть, конечно, и это, но не только это...

— Так что же еще? — Кандаков взглянул на часы.

И тогда, уже не запинаясь и не путая слова, а четко и уверенно, Бонапарт Яковлевич рассказал о том, что произошло сегодня в редакции.

Только в конце он снова смутился.

— Я пытался протестовать...— с трудом проговорил он.

Кандаков с интересом взглянул на него. Затем придвинул к себе статью и начал читать ее.

Он плохо видел, и надев очки, как-то сразу утратил всю свою официальность, сделался домашним и простым.

Бонапарт Яковлевич сидел в кресле так, что в его позе не чувствовалось заискивания, но не было и фамильярности. Он сидел так, как сидел обычно на редакционных летучках — подчеркнуто прямо. Строгий и отчужденный от всего личного.

Кандаков внимательно прочел статью, потом снял очки, но возникшая домашность не исчезала с его лица.

— Н-да...— тяжело вздохнул он.— Черт знает, что делается.

И в этом вздохе тоже было домашнее...

— Вы знаете, мне очень неловко все это...— с трудом подбирая слова, проговорил Бонапарт Яковлевич.— И трудно... Все так завязалось в этом клубке: и семья, и работа, а главное — судьбы людей...

Кандаков понимающе кивнул головой.

— Трудно,— согласился он.— И мне тоже трудно...

И вдруг широко и открыто улыбнулся Кукушкину. Перегнулся через стол и заговорщически шепнул: «Меня сегодня жена все утро пилила».

Если в кабинет первого секретаря райкома Бонапарт Яковлевич входил не слишком любимым родственником, то выходил он оттуда другом и единомышленником хозяина кабинета.

Право же, Леночкины неурядицы по сравнению с этим достижением выглядели сущим пустяком.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Этот разговор Кандакова и Бонапарта Яковлевича Кукушкина состоялся вечером в понедельник, а во вторник, когда Кукушкин поссорился с Леночкой, собралось бюро райкома партии, и после длительных прений редактор газеты «Луч» был отстранен от занимаемой должности.

Исполняющим обязанности редактора назначили на бюро райкома Бонапарта Яковлевича Кукушкина.

Второй секретарь райкома, которого связывала с Кандаковым старая дружба, советовал ему воздержаться от выдвижения Бонапарта Яковлевича.

— Неправильно поймут...— сказал он и отвел в сторону глаза.

Кандаков подождал, пока взгляды их снова встретятся.

— Нет! — твердо сказал он.— Меня поймут правильно. Я считаю, что Кукушкин человек принципиальный и способный к организаторской работе.

— Что ж...— второй секретарь вздохнул.— Лично я верю вам. Я не против вашего решения. Но, разрешите, я предложу кандидатуру Кукушкина.

И снова опустил глаза.

— Нет! — холодно ответил Кондаков.— Не надо. Я считаю, что Кукушкин должен возглавить газету, и я сам предложу его кандидатуру. Извините, Иван Петрович, это слишком принципиальное дело.

Второй секретарь кивнул.

— Сегодня состоится бюро райкома комсомола...— переводя разговор, сказал он.— В райкоме возникло мнение, что следует отстранить от работы Ольгина, проводившего комсомольское собрание на фабрике, а секретарю комсомольской организации объявить выговор.

— Слишком легко отделается! — жестко сказал Кандаков.— Строгий выговор и с занесением в личное дело.

— Зачем же так? — удивился второй секретарь.— Я знаю Лену. Она неплохая девушка. Наказание как раз в меру. Выговор заставит ее задуматься, а остальное придет.

— Я все сказал...— сухо ответил ему Кандаков, и второй секретарь встал.

Впервые они расстались так холодно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Свой чемодан Прохоров собирал три дня.

Оказалось, что это самое трудное. И правда: что брать с собой в Африку? Первым делом Прохоров засунул в чемодан три общих тетради со своими записями, сделанными в Заберегах и здесь, в городке. Сложил в чемодан брит-

ву, зубную щетку и полотенце. Подошел к книжной полке и остановился, задумавшись.

Нет. Он не мог ехать в Африку без книг, не мог оставить здесь и настольную лампу, к которой так привык, это кресло... Не мог...

И снова, в который уже раз, задумался Прохоров.

Раздался стук в дверь.

— Войдите! — раздраженно крикнул Прохоров, не сомневаясь, что стучит еще один заблудившийся могильщик (так невесело каламбурил в эти дни Прохоров, называя «могильщиками» новых друзей — братьев Могилиных).

Он неторопливо повернулся. На пороге стояла Леночка. Прохоров удивленно сморгнул, но Леночка никуда не пропала.

— Можно? — стараясь, чтобы голос ее звучал весело, спросила она.

— Конечно же! — Прохоров вскочил, столкнул со стула стопку книг, подвинул его Леночке.— Садись, пожалуйста.

Аккуратно расправив складки юбки, Леночка села.

— А у тебя все по-прежнему...— оглянувшись, сказала она.— Ничего не изменилось. Такой же беспорядок, как был.

— Да... Я ничего с тех пор не менял...— голос Прохорова дрогнул, и он замолчал.

Он доставал сейчас из буфета чашки, и Леночка не видела его лица.

— Зачем ты тогда уехал? — тихо спросила она.

Чашка упала из рук Прохорова и разлетелась на мелкие осколки.

Прохоров присел на корточки, собирая их.

— Разве ты не счастлива сейчас?

Леночка закрыла лицо руками.

— Я не знаю...— сказала она.— Понимаешь, я его боюсь, Женя... Помнишь, на свадьбе один придурок кричать начал про Наташу Самогубову... Папа тогда страшно рассердился на меня, а в понедельник я пришла на работу и узнала, что Наташа попала в больницу... Я так испугалась, потому что я же хорошая, Женя, я же добрая... Я стала звонить повсюду. А тут еще девочка из редакции пришла, я ей все рассказала. Самоубийство, говорю... Мне так страшно стало. И вот на следующий день мне звонит папа и говорит, чтобы я зашла к нему. Оказывается, Кукушин отнес ему какую-то статью про все это, и папа ругался, а я даже не плакала. Я сидела и не могла понять: ну как же так можно... Он никогда не думает, что кому-то будет больно. Я виновата...— Леночка заплакала.— Но тут совсем другое... Тут что-то не так. Я не умею сказать этого, просто чувствую, что не то, и все... И свекор... Он всегда был таким добрым, а теперь живет у нас и даже не обращает на меня внимания... Как будто и нет меня... А ведь это из-за него и началось все.

Прохоров смотрел на Леночку и не узнавал ее. Ничего не было сейчас в девушке от той победной легкости, с которой она жила всегда. Словно что-то сломалось за эту неделю: безвольно повисли ее руки, а они-то и делали ее такой легкой... Леночка стояла сейчас у окна, и плечи ее вздрагивали.

— При чем тут свекор? — спросил Прохоров.—Зря ты так.

— Не зря! Не зря! — яростно закричала она.— Совсем не зря. Это он посоветовал мне, чтобы на собрании рассказали о Могилине. А зачем? Неужели у нас больше никого не было? И тогда бы не получилось всего этого. И у Наташи было бы хорошо, и я бы в аппарат осенью перешла! А теперь он, конечно, даже и не замечает, что в квартире есть хозяйка...

— Ничего...— стараясь, чтобы голос его звучал бодро, сказал Прохоров.— Не беда, все наладится...

— А что может наладиться? — перебила его Леночка.— Чему налаживаться, если ничего нет... Они же не обижают меня специально... Они все делают правильно, но так правильно, как машины... И только этим и обижают, что они — машины... А я хочу, чтобы меня любили... А разве может любить машина?

— Наладится...— машинально повторил Прохоров, думая о том, что ведь поэтому он и не собирал три дня свой чемодан, что ждал этой встречи, этого разговора...— Все будет хорошо.

Он стоял совсем близко к Леночке, и она неожиданно обхватила его шею руками, уткнулась лицом в его грудь. Плечи ее вздрагивали.

— Ты еще любишь меня?

Прохоров не ответил.

Он стоял лицом к окну. В окне виднелся угол марусинской веранды, желтый флажок остановки, серый асфальт, сломленное грузовиком из похоронного бюро деревцо — весь страшный и ненужный теперь кусок пространства.

— Я уезжаю завтра...— сказал он глухо.

Леночка отстранилась от него и сквозь слезы заглянула ему в лицо.

— Уезжаешь?

— Да...— чужим голосом ответил Прохоров.— Завтра уезжаю в Африку.

— Надолго?

— Да...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Странно и непонятно жил все эти дни Марусин. Утром он варил кофе в большом кофейнике, потом звал бородачей-скульпторов, и они сидели на веранде и пили кофе, разговаривая о том, что жалко портить на пустую халтуру прекрасный мрамор. Марусин слушал бородачей и изредка кивал, думая о своих делах.

Днем он ходил на склад макулатуры, и заведующий складом не ругался теперь, когда Марусин уносил с собой понравившиеся книги.

И все равно какая-то пустота образовалась в жизни, и, не умея ее заполнить, приглашал Марусин по утрам бородачей, он уже привык начинать утро неторопливой беседой с ними.

Но вот наступил день, когда монумент был готов. Бородачи показали свою работу Ваське-каторжнику, тот пожал им руки, потом вытащил из кармана несколько пачек денег. Снова все пожали друг другу руки, и все...

И вот в последний раз бородачи сидели на веранде и пили кофе. И странно, что Марусину до этих случайных людей? Но все равно было горько, что они расстаются сейчас.

Потом бородачи ушли, и, убирая со стола посуду, Марусин нашел двадцатипятирублевую бумажку, оставленную ими, и ему стало совсем грустно. Марусин вздохнул и решил пойти в редакцию, чтобы забрать трудовую книжку.

Во дворе уже собралось довольно много народу, и, проталкиваясь между мужиками, Марусин узнал, что сегодня будут хоронить тетю Нину.

Что ж... Монумент, изображающий скорбящего Ваську, был готов, и можно было теперь хоронить мать, которую наконец-то привезли из морга домой.

В здании редакции, поднимаясь по лестнице, Марусин столкнулся с Зориной.

— Марусин! — радостно воскликнула Люда, словно не видела его уже несколько лет.

— Борис Константинович у себя? — спросил Марусин, и Зорина удивленно захлопала глазами.

Так ничего и не добившись от нее, Марусин вошел в кабинет редактора. Там, за огромным столом, сидел Кукушкин и что-то быстро писал.

Увидев Марусина, он чуть покраснел, однако тут же доброжелательно улыбнулся и вышел навстречу.

— Как дела? — дружески спросил он.

— Нормально...— Марусин пожал плечами, не понимая, зачем задавать этот вопрос: какие дела могут быть у него? — Я за трудовой книжкой пришел. Бориса Константиновича нет сегодня?

— Нет...— возвращаясь за стол, ответил Кукушкин.

— А как же мне быть? — растерянно спросил Марусин.— Мне же на работу устраиваться надо. Что так болтаться?

Бонапарт Яковлевич побарабанил пальцами по столу.

— Его нет...— задумчиво проговорил он.— Я сейчас исполняющий обязанности редактора.

— Так, может, ты поищешь тогда книжку?

— Поищу...— чуть усмехнувшись, ответил Бонапарт Яковлевич. Он нагнулся и вытащил из нижнего ящика стола марусинскую трудовую книжку. Открыл ее.

— Он приказ по редакции издал...— перелистывая книжку, сказал Бонапарт Яковлевич.— Уволить за профнепригодность.

— Я знаю...— сказал Марусин.

— А куда пойдешь с такой формулировкой?

— Не знаю...— Марусин болезненно усмехнулся.— Пойду на склад макулатуры, буду бумагу прессовать, там вообще трудовую книжку не спрашивают.

— Н-да..— Кукушкин тяжело вздохнул.— Не знаю, что и делать. Я сейчас замещаю редактора, и давай я тебя отпущу по собственному желанию...— Кукушкин начал говорить неуверенно, словно бы сам сомневался в разумности и возможности этого, но постепенно сам поверил в возможность возникшего плана и оживился.— У меня, кстати, в Ленинграде знакомый один есть. Он спрашивал, не могу ли я кого порекомендовать редактором в областной дом санитарного просвещения. Слушай! Чем не работа, а? Будешь три листовки в месяц редактировать, и все. А оклад еще больше, чем здесь. Подожди...

И, не дожидаясь согласия Марусина, начал набирать выход в Ленинград.

— Алло! — сказал он в трубку.— Роман Германович? Добрый день. Это Кукушкин. Да... Нет... Да, вот кстати... У меня паренек есть. Он как раз подойдет на должность, про которую вы говорили. Пьет ли? Нет, что вы... Да, да... Очень толковый. Ну, да... Договорились.

Он повесил трубку.

— Порядок...— сказал он и заговорщически подмигнул Марусину.— Вот смотри,— на листке бумаги он быстро написал телефон и чью-то фамилию.— Позвонишь в Ленинград по этому телефону и скажешь, что уже был разговор. Давай, не теряй времени. А сейчас...— он взял трудовую книжку и пошел к двери.— Сейчас оформим, что ты по собственному желанию уволен, а ты пока заявление напиши.

Марусин уже смирился с тем, что остаток дней ему придется проработать на складе макулатуры, и сейчас, когда судьба его счастливо устроилась за несколько минут, не мог прийти в себя от изумления. Все еще не веря своему счастью, он написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию.

— Ну вот! — сказал уже вернувшийся Кукушкин.— Порядок. Заявление подпиши позавчерашним числом.

— Пожалуйста...— Марусин поставил нужную дату, и Бонапарт Яковлевич протянул ему трудовую книжку.

— Ну! — снова одаривая Марусина улыбкой, сказал он.— Желаю успеха.

И он крепко пожал протянутую Марусиным руку.

Еще полчаса назад, сгорбившись, поднимался Марусин по лестнице в редакцию, а сейчас он уверенно вошел в отдел, чтобы забрать из стола свои бумаги, и нисколько не удивился, когда Угрюмов радостно заулыбался ему.

— Товарищ Марусин! — взволнованно сказал он.— Здравствуйте, товарищ Марусин.

— Я бумаги забрать зашел...— Марусин несколько смутился столь радушным приемом.

— Как?! — изумился Угрюмов.— Вы уходите от нас?!

Это изумление после того, что говорили на собрании в понедельник, могло бы показаться лицемерным, но в глазах Угрюмова светилось неподдельное сожаление.

— Как жаль...— сказал он и развел руками, давая понять, что Марусину, конечно, виднее, но он, Угрюмов, очень огорчен этой потерей.

Марусин подошел к своему столу.

За время работы в редакции он уже привык к нему и сейчас сразу заметил что-то неладное. Ну, да... Сбоку лежали чужие бумаги, и перекидной календарь тоже был другим. Марусин удивленно обернулся к Угрюмову.

— Э-э...— чуть смутившись, сказал он.— Э-э... Это, пока вы отсутствовали, мы нового сотрудника посадили сюда... Да вот и он! — и обрадованный Угрюмов указал на Бельё, возникшего на пороге комнаты.

— Здравствуй...— сказал Бельё.— Меня за твой стол посадили. Я сейчас соберу свои бумаги...

— Зачем? — удивился Марусин.— Сиди спокойно. Я здесь больше работать не буду.

— Почему?! — изумился Бельё, и Марусин хотел возмутиться от подобной наглости, но удержался: не все ли равно, если он больше никогда не увидит этих людей.

— Так...— иронично ответил он.— На другую работу перехожу. Редактором в областной дом санитарного просвещения. Там оклад побольше.

— Жаль...— с чувством сказал Бельё, и Марусин, который сейчас, наклонившись, выгребал из ящиков свои бумаги, только покрутил головой — редкостным лицемерием отличались его коллеги.

Он не спеша, аккуратно сложил бумаги и перевязал их бечевкой, что валялась в ящике.

— Ну, что ж! — сказал он, насмешливо посмотрев на Угрюмова.— Пожалуй, я пойду. Передайте привет Борису Константиновичу. Где он сейчас?

— Не знаю...— чужим голосом ответил Угрюмов.— Наверное, дома...

— Почему это он дома сидит? — удивился Марусин.— Заболел?

И он вопросительно посмотрел на Бельё.

— Ладно,— сказал тот.— Кончай куражиться. Это, в конце концов, и неблагородно даже.

Ничего не понимая, Марусин пожал плечами и, прихватив увязанные в стопку бумаги, вышел из комнаты. Обстановка в редакции показалась ему очень странной, но, в конце концов, ему-то до этого какое дело?

На улице он облегченно вздохнул. Все. Кончено. Больше он никогда не покажется сюда.

И сразу же он увидел Зорину. Она шла по противоположной стороне улицы.

— Люда! — закричал Марусин.— Пошли кофе пить.

Люда услышала его. Радостно заулыбалась и остановилась, ожидая, пока Марусин перейдет через улицу.

— Ну, как? — спросила она.

— Нормально...— ответил Марусин и шутливо обнял девушку.— Все в порядке. Не пропадем.

В кафетерии, что располагался под рестораном «Волна», они встали в очередь к кофеварке.

— А я скучала без тебя...— улыбаясь Марусину, проговорила Люда.— Не с кем было кофе ходить пить.

Марусин улыбнулся в ответ девушке. Нет, жизнь была прекрасна. Впереди неплохая работа в Ленинграде, есть жилье, красивая девушка скучает без него — чего еще надо человеку?

— Ты знаешь...— благодарно сказал он.— Я сейчас вышел из редакции и подумал, как хорошо, что больше никогда не появлюсь здесь. А потом увидел тебя и пожалел...

— Ты уходишь? — удивилась Люда.— А куда?

Марусин ответил.

— Обидно...— опустив голову, проговорила Зорина.— А я кошка... Я к месту привыкаю...

— А я собака...— улыбнулся Марусин.— Я к тебе привык.

Зорина внимательно взглянула на него.

— Мы же ведь будем встречаться? — спросила она неуверенно.

— Конечно, будем...

— Хорошо...— Зорина слабо улыбнулась.— А все-таки жаль, что ты уходишь.

Марусин не выдержал.

— Послушай! — сказал он, беря девушку за руку.— Объясни хоть ты, чего это вы все жалеете? Ведь сами же знаете, что меня уволили за профнепригодность.

— Да ты что?! — изумилась Зорина.— Ты что, не знаешь ничего, да?

— Нет...

— Ну, ты даешь... Тут же такой скандал из-за твоей статьи был... Редактора сняли с работы, и его замещает сейчас Бонапарт Яковлевич. О каком увольнении может идти речь? К нам приходил Кандаков и назвал тебя самым способным у нас журналистом...

Люда хотела еще что-то рассказать, но внезапно замерла на полуслове, увидев, как мгновенно посерело лицо Марусина.

— Что с тобой? — спросила она.

— Нет...— сказал Марусин чужим голосом.— Ничего. Значит, такие дела?

— Такие...— опустив голову, ответила Люда.— Мне жаль, что все так получилось. Ведь это ты из-за меня, да? А я еще и про самоубийство ляпнула.

Марусин вздохнул, осторожно погладил руку девушки и встал из-за столика.

— Я пошел,— сказал он и улыбнулся.— Мы еще обязательно увидимся.

От его улыбки Зориной захотелось плакать. Марусин уже ушел, а она все еще сидела за столиком и осторожно покачивала в руках чашечку остывшего кофе.

Выйдя из кафетерия, Марусин пошел прямо по улице, не думая, куда он идет. Все сходилось. И смущение Бонапарта Яковлевича, и поведение Угрюмова, и рассказ Зориной. Кончики ушей Марусина покраснели. Ему просто сунули кусок, от него откупились этой должностью редактора в доме санитарного просвещения.

Он долго шел, не думая о том, куда идет.

Уже давно кончились городские кварталы, и сейчас Марусин брел вдоль заборов, за которыми располагались склады.

Сюда ему и нужно было прийти.

И снова усмехнулся Марусин, думая о том, что, куда он собирался пойти утром, туда и пришел. Он стоял возле ворот, ведущих на склад макулатуры.

Заведующий долго в изумлении листал трудовую книжку Марусина, проверил его паспорт, надеясь найти отметку о судимости, потом поднял глаза на Марусина.

— Конечно...— неуверенно сказал он.— Конечно, вакансии,— он с трудом выговорил это слово, но с Марусиным ему хотелось показать себя культурным человеком,— есть... Но вы ведь знаете, какая у нас работа?

И он взглянул на него с надеждой, что Марусин объяснит ему, почему, имея высшее образование и чистую трудовую книжку, устраивается тот на склад макулатуры. Но...

— Я знаю...— сказал Марусин.

— Ну, и прекрасно...— чтобы скрыть растерянность, проговорил заведующий складом.— Пойдемте, я покажу, где вы будете работать.

Огромное здание склада было пустынным и бесконечным. Над грудами бумаги сиротливо возвышались прессы, но рабочих возле них не было.

— День сегодня какой-то непонятный...— сказал заведующий.— Все люди отпросились с работы... Тетя у кого-то умерла, так они все на похороны пошли.

Марусин грустно кивал ему.

— Ну, вот...— заведующий развел руками.— Я все сказал.

И он ушел, оставив Марусина одного на складе.

Марусин подошел к прессу и первым делом швырнул внутрь его свои рукописи, что унес из редакции «Луча», потом начал заполнять клеть бумагой.

Наверное, недавно привезли списанную библиотеку, потому что вокруг пресса валялись книги.

Несколько часов прессовал их Марусин.

Потом, откатывая в сторону очередной тюк, он вдруг поймал себя на мысли, что засовывать под пресс книги ему доставляет какое-то странное удовольствие, и испугался.

Растерянно сел на тюк, сжав ладонями лицо.

Рядом лежал раскрытый томик стихов.

Не поднимая его, Марусин наклонился и прочитал несколько строчек.

«Не дай мне бог сойти с ума... Уж лучше посох и сума...» — медленно повторил он, и ему стало страшно. Он встал и побрел в светлый проем двери.

Огромное солнце стояло над городом, обрушивая на людей лавину огня.

По пустому Петергофскому шоссе, пошатываясь, словно пьяный, брел человек. Солнце слепило ему глаза, пекло голову, но человек не замечал этого.

Это был Марусин.

— Господи! — отчаянно прошептал он, пытаясь удержать сознание.— Гос-по-ди!

...Он сидел напротив, на обочине шоссе, и вытирал клетчатым платком лоб. Самый обыкновенный, плотный, чуть лысоватый мужчина.

— Это ты? — Марусин внимательно разглядывал его.

— А что? — мужчина улыбнулся и спрятал в карман платок.— Не похож?

— Не знаю...— искренне ответил Марусин.— Но я не об этом. Я про справедливость хочу узнать... Ведь должна же она быть?

— Должна...— неуверенно ответил мужчина и расстегнул пуговицу на вороте рубашки.— Жарко тут у вас...— виновато добавил он.

— Понимаете...— сказал Марусин.— Я, кажется, с ума схожу...

— Н-да...— сказал мужчина.— Что ж... Кто-то ведь должен сойти с ума.

— Но почему, почему я? — спросил Марусин.

Он зажмурил глаза, а когда открыл их, никого уже не было. Только жестко щетинилась покрытая пылью засохшая трава, да на увядшем одуванчике покачивалась в горячем ветре от проходящих машин пчела.

Пытаясь удержать сознание, Марусин протянул к пчеле руку и осторожно толкнул ее пальцем. Пчела сердито зажужжала, полетела прямо в лицо и обожгла его.

Недалеко, возле обочины, стояла легковая машина, и Марусин заковылял к ней. Нагнулся и заглянул в боковое зеркальце.

Багровый волдырь стремительно набухал на носу.

— Господи! — отчаянно прошептал Марусин, разглядывая его.

— Ну? — раздался из глубины машины неприязненный голос.— Что еще надо?

Только тут разглядел Марусин, что в машине сидит плотный, чуть лысоватый мужчина в клетчатой рубашке.

— Ничего...— ответил Марусин.— Я просто так... Я в зеркальце посмотрел. Нос вот, понимаете ли...

— Для того и машина стоит, чтобы нос свой смотреть? — мужчина повернул ключ зажигания, и машина медленно отплыла от Марусина вместе с зеркальцем, в которое он разглядывал свой нос.

Марусин удивленно оглянулся кругом. Он снова стоял возле редакционного скверика.

Непонятная сила тянула его сюда.

Уже все разошлись, и только в секретариате раздавались еще голоса. Марусин подергал закрытые двери отделов, потом направился в секретариат.

Разговаривали машинистки. Они собирались уходить домой.

— Бонапарта Яковлевича нет? — спросил он.

— В горкоме...— ответила пожилая машинистка.

— А Угрюмова?

— Тоже нет. Ушел.

— Куда?

— Он перед нами не отчитывается...

— Извините...— сказал Марусин и осторожно прикрыл дверь.

— Ходит...— осуждающе сказала молодая машинистка.— Высматривает.
— Ага...— кивнула ей пожилая.
— Прыщ на носу, а все равно ходит, высматривает.
— Не прыщ, а фурункул.
— Не моется, вот и фурункул...

Приплетясь домой, Марусин забрался в кровать, но долго не мог уснуть. Над кроватью летал комар, чем-то очень похожий на Бонапарта Яковлевича, и кусал Марусина.

«И чего он не умирает никак? — с головой завертываясь в одеяло, думал Марусин.— Ведь пишут же, что комары совсем не долго живут. Врут, небось... Самих-то не кусают, вот и врут».

В нехорошей и душной пододеяльной темноте сквозь полубред-полусон пытался сообразить он, чем же этот комар похож на Бонапарта Яковлевича, но и отгадывать не нужно было — комар рос, Марусин вглядывался в его лицо и пытался что-то сказать Бонапарту Яковлевичу, но вдруг замолкал, понимая, что перед ним совсем не Бонапарт Яковлевич, а увеличившийся до гигантских размеров комар, и одновременно он понимал, что комар уже догадался об этом... Вот яростно вспыхнули глаза комара, он расправил крылья и полетел прямо в лицо Марусину.

Уже просыпаясь, Марусин успел отклониться, и жало комара скользнуло по щеке. Он открыл глаза. Над ним стоял Прохоров и листком бумаги водил по лицу.

— Ты что, спишь? — спросил он.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Когда Леночка спросила: «Ты меня любишь?», Прохоров испугался. Он любил Леночку, но ему страшно было сказать: «Да!», потому что это «да» могло переменить все планы, отсрочить отъезд, а уезжать было нужно, остаться в этом городке Прохоров не мог.

Но все получилось проще. Леночка только поцеловала его и ушла в свою жизнь... Никто не мешал его отъезду.

Прохоров быстро скидал в чемодан вещи, потом случайно подошел к окну и отшатнулся: весь двор, весь переулок возле дома был запружен народом. Сегодня хоронили тетю Нину.

Болезненно-зловещий вид приобрел за последние дни старый, прогнивший насквозь дом. Словно тяжело больной человек, в организме которого уже кончились силы для сопротивления болезни, дом этот хотя еще и стоял как обычно, но внутри него уже происходили необратимые процессы умирания...

Немыслимые деньги, что пачка за пачкой доставал Васька из грязной наволочки, еще пульсировали, как кровь, и, переходя из рук в руки, создавали видимость жизни и оживления, заставляли всех крутиться и двигаться, но это оживление больше походило на агонию.

Как раздувшийся от жары труп тети Нины, раздувался от чужой крови и старый дом. И страшная в своей нелепости скульптура из мрамора, и грузовики с водкой — весь этот вздувшийся чудовищный ком неотвратимо катился на город.

Весть о необычных похоронах еще с утра распространилась по городку, и к девяти часам возле старого дома начали собираться городские забулдыги. Готовилось что-то немыслимое, что-то небывалое, и присутствующих охватывало беспокойство, причину которого они не могли понять.

Между тем в половине одиннадцатого въехало в переулок четыре грузовика с прикрытыми брезентом кузовами.

Один из мужиков приподнял край брезента, и через минуту весь переулок, а через полчаса и город знали, что в грузовиках — водка для поминок.

Поэтому, когда началась погрузка монумента, нашлось немало охотников помогать, и сообща они благополучно разбили бы статую, но грузчикам, которые были наняты специально для этого дела, удалось оттеснить непрошенных помощников, и вот — монумент был водружен в кузов.

К чести собравшихся надо сказать, что о водке никто ни во дворе, ни в переулке не говорил, даже старались не смотреть на грузовики, разговаривали о монументе, хвалили скульптора да еще с особым вниманием слушали тетю Риту, которая рассказывала о своей лучшей подруге, так безвременно покинувшей ее...

— Мы так любили друг друга...— говорила тетя Рита, вытирая носовым платком глаза.— Дня не могли прожить друг без дружки... А теперь...

Тощенькие косички ее вздрагивали от рыданий.

— Оно, конечно, дело такое...— кашляя в кулак, вздыхали красноносые мужички.— Смерть, конечно, дело ясное...

И опускали глаза, стараясь не смотреть на грузовики с водкой.

В полдень, засунув руки в карманы, вышел на крыльцо Васька-каторжник. Постоял, исподлобья оглядывая собравшихся. Видимо, он решил, что народу собралось уже достаточно... Ссутулившись, направился к музыкантам.

Одетые в черные костюмы, музыканты сидели возле забора обособленной кучкой и грызли сушеную рыбу, запивая ее пивом.

— Что? — спросил у Васьки пожилой музыкант.— Начинаем?

Вытирая о штаны руки, музыканты принялись расчехлять инструменты, и скоро, под скорбные звуки музыки, дюжие мужики вынесли во двор дубовый гроб с тетей Ниной.

Все сразу оживились. Двор вдруг оказался заполненным до отказа, и гроб застрял посреди этой толпы.

Матерясь, Васька-каторжник принялся расталкивать толпу, но оркестр заглушал его слова, и сзади, думая, что уже начали раздавать водку, нажали еще сильнее, и Ваське пришлось попятиться.

— Да заткнитесь вы! — заорал он на музыкантов, и — испуганно! — на полуноте музыка стихла.

— Дайте дорогу, сволочи! — багровея, прокричал Васька.— Пропустите, а то морды бить буду!

И только тогда толпа неохотно разомкнулась, и в образовавшемся проходе Васька начал выстраивать колонну.

Впереди двинулся грузовик с монументом, изображавшим скорбящего Ваську. Следом за монументом бригада дюжих мужиков с дубовым гробом, за гробом — оркестр, за оркестром машина с водкой. Запасные машины замыкали колонну, растянувшуюся на добрый километр.

Впереди процессии, сразу за машиной с водкой, в глухих черных костюмах шли Пузочес и Васька.

Васька принимал из рук бородатого карлика, сидевшего в кузове, открытые поллитры и разливал их в услужливо протянутые стаканы. Потом отшвыривал пустые бутылки и принимал новые. Иногда он и сам прикладывался к горлышку и только после этого разливал водку по стаканам.

Рядом с Васькой шел Пузочес. В новом черном костюме ему было жарко и неудобно, но он боялся расстегнуть пиджак — старшему брату это могло не понравиться. Время от времени Васька совал бутылки и ему, но Пузочес лишь прикладывался губами к горлышку и не пил — водка была противной и теплой.

Скорбно ссутулившись, Пузочес с трудом переставлял ноги и ждал, когда же наконец свалится Васька. Дорога на кладбище была слишком долгой, чтобы успешно пройти ее при таких темпах выпивки.

Последние дни Васька почти не спал. Почти не ел. Держался он только на водке, но и она уже не действовала на него. Вот и сейчас — уже начали пить второй грузовик, а Васька шел рядом и шаг его по-прежнему был твердый.

Уже миновали городскую черту, и по обочинам дороги тянулись серые заборы складов вторсырья.

Впереди уставшие музыканты вразнобой играли что-то непонятное. В длинной процессии то и дело вспыхивали драки, но дерущихся тут же разнимали, и они, утирая руками разбитые носы, пробирались к Ваське, и тот

щедро наполнял их стаканы. И они искренне всхлипывали, поминая покойную... Они называли ее то тетей Шурой, то тетей Машей, но Васька не поправлял их. Отшвыривая пустые бутылки, он обеими руками принимал новые и сразу же из двух горлышек лил водку в подставленные стаканы, не забывал, впрочем, и себя.

И уже кто-то начал отставать. Сходил на обочину и валился лицом в сухую придорожную траву. Но отставшего поднимали и под руки бережно вели вслед за машиной.

А Васька только каменел от выпитой водки. Еще днем, когда стоял он рядом с памятником, трудно было понять — кто каменнее. Тьма сгущалась над ним, и литры водки уже не пьянили его. Он только тяжелел от выпитого...

И когда Пузочес уже отчаялся дождаться освобождения от тяжкой опеки брата, вдруг покачнулся Васька. Чтобы удержать равновесие, схватился за плечо Пузочеса.

Хотя и ждал этого мгновения Пузочес, но испугался.

— Ничего-ничего! — приговаривал он, подхватывая падающего брата.— Давай на машину... Отдохни там немного... Вот так... Я помогу...

С помощью сердобольных мужиков погрузил брата на грузовик. Васька был тяжелый, словно сделанный из свинца, и даже впятером его с трудом погрузили.

А тьма сгущалась над Васькой. Он лежал, уткнувшись носом в дощатое, пропитанное соляркой дно кузова, и ему казалось, что его разрывает изнутри.

И вдруг разомкнулась темнота... В пронзительно ясном свете увидел Васька мать. Не мертвую, и не ту, какой она была последние годы, а молодую и веселую. Смеясь, она бежала к нему через березовую рощу, и он — еще ребенок — протягивал к ней руки и тоже смеялся...

Немыслимо ярким было это видение, и, стряхивая остатки темноты, заворочался Васька на дне кузова и еле слышно прошептал: «Пить...».

Когда Ваську с трудом забросили в кузов, Пузочес с облегчением вытер рукавом пот и, стащив пиджак, швырнул его в кузов вслед за братом.

— Подавай, не зевай! — бодро скомандовал он бородатому карлику, сидевшему в кузове, и тот протянул ему две распечатанные бутылки. Из одной Пузочес с удовольствием отхлебнул.

Процессия одобрительно зашумела, приветствуя столь удачную замену виночерпиев.

Все оживились и как-то позабыли о Ваське-каторжнике, который заворочался сейчас в кузове.

— Пить! — одними губами прошептал Васька, и увлеченный работой бородатый карлик улучил-таки момент и привычно сунул в его руку непочатую бутылку, но его торопили снизу, и он тут же отвернулся, продолжая свою работу.

А Васька, глотнув водки, замер. Пальцы его скорчились, и, выскользнув из них, бутылка покатилась по кузову и, брызнув стеклом, разбилась под ногами Пузочеса.

— А-а! — закричал тот, глядя на посиневшее лицо Васьки.

Этот крик заразил всю процессию. Толпу охватила паника. Словно все спиртовые градусы, сдерживаемые дотоле, прорвались сейчас в головы, лишая людей рассудка. С матюгами бросились мужики на грузовики с водкой. Пузочеса отшвырнули на обочину к чахлым березкам, и тот, едва придя в себя, увидел жуткое зрелище. Толпа сцепилась в ревущий клубок тел. Из этого клубка хлестала кровь и летели по сторонам выбитые зубы — это те, кто уже успел запастись водкой, прокладывали себе обратный путь.

Шоферы грузовиков, боясь раздавить людей, остановили машины, а монумент, гроб и оркестр медленно удалялись, скрываясь уже за верхушкой взгорка.

Пузочес лежал на склоне взгорка и поэтому видел все наклоненным... Но он не мог объяснить себе этого, и ему казалось, что земля накренилась, сбрасывая с себя и машины, нагруженные водкой, и эту бессмысленно и яростно ревущую толпу. Стало страшно, и, чтобы удержаться от падения, неумолимо совершающегося вокруг, Пузочес схватился руками за чахленькую березку, словно только она и могла удержать его на этой земле. Долго и трудно открывал он глаза.

А когда открыл — не поверил... Напротив стояла Наташа Самогубова и протягивала ему руку.

— Ты?

— Я! — Наташа мягко улыбнулась.— Пошли...

На кладбище все было заблаговременно оплачено Васькой, и Пузочес ни во что не вмешивался. Опустили в заранее приготовленную яму гроб, закидали заранее припасенной землей, строители торопливо развели цемент и установили надгробье. Все это произошло так быстро, что Пузочес даже не успел опомниться.

Уже на обратном пути кто-то сказал ему, что Ваську отвезли в больницу, но по дороге он умер. Пузочес только махнул рукой. Он уже не способен был ни на что реагировать.

Наташа проводила его до дома и долго сидела с ним, а потом ушла.

В комнате было страшно. В углу стояли позабытые венки, и от них пахло воском.

Медленно Пузочес оглянул всю комнату. Взгляд его задержался на тайнике.

Узловатые, шевелясь, высовывались из стены чьи-то пальцы.

— А-а! — закричал Пузочес и наутек бросился из комнаты.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Конечно, всех подробностей похорон Прохоров не знал. Он не ходил на кладбище.

Но начало похорон, вид людей, заполнивших двор и переулок, скорбная, рыдающая музыка наполнили его душу неизъяснимой печалью, и он вытащил из чемодана тетрадку и сел к столу, чтобы записать то, что он думал сейчас и чувствовал.

Давненько не брался Прохоров за свой дневник. Последняя запись в нем была сделана еще в Заберегах, почти год назад. Прохоров писал, забывая о времени, страница за страницей покрывались его размашистым неразборчивым почерком. И не было времени... Вся жизнь в этом городке, все эти полгода, так долго сдерживаемые, рванулись сейчас из Прохорова, и он писал, захлебываясь словами, не замечая, как пролетают часы.

Он уезжал, и все, что оставалось в этом городе, все невзгоды и огорчения отодвинулись от него вдаль, словно Прохоров уже уехал и издалека вспоминал сейчас этот город. Вспоминал и не мог, к своему удивлению, вспомнить ничего плохого. Все стало добрым, но стало таким только потому, что он уже уехал. И над всей его здешней жизнью, уже далекой сейчас и отделившейся от него, сияла любовь. Он любил и был любим в этом городе, и если не получилось все-таки счастье, то разве в нем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы находить и терять найденное, лишь тогда оценивая в полной мере потерю...

Прохоров встал из-за стола, когда на часах пробило семь. За это время он исписал почти половину тетрадки, и все равно хотелось сейчас говорить. Ему было грустно, но не тягостно, а светло той грустью, что тянет не к уединению, а к разговору с другом, той грустью, которая радуется сама себе.

Он увидел, что дверь на веранду Марусина открыта и, не стучась, прошел в комнату.

Марусин спал.

Прохоров взял со стола лист бумаги и принялся водить им по щеке приятеля.

— Ты что, спишь? — спросил он, когда Марусин открыл глаза.— Я мимо проходил, смотрю, все двери настежь. Дай, думаю, зайду.

— А...— сказал Марусин, вставая.— А я устал и лег. Сразу и заснул.

— Ты извини...— сказал Прохоров.— Извини, что разбудил. Я ведь, вообще-то, попрощаться зашел.

— Уезжаешь? — Марусин зачерпнул кружкой воды из ведра, стоящего в углу комнаты, и принялся мыть лицо.

— Да... Уезжаю.

— Куда?

— В Африку, Марусин...

— Уже?!

— Уже... Завтра уже уезжаю.

Голос его прозвучал торжественно и грустно. Он принялся рассказывать Марусину о своем отъезде и сам упивался своими словами, источавшими тонкий аромат грусти.

Он рассказал Марусину и о своей любви к Леночке, и о том, что Леночка приходила сегодня к нему. И в этом не было бестактности. Внутренне Прохоров уже уехал, и говорил с Марусиным уже оттуда, издалека... Говорил не о живых людях, а о своих воспоминаниях.

— Она глупая...— Прохоров вздохнул.— Жалуется на мужа, жалуется на свекра. Она придумала даже, что он специально порекомендовал ей Ваську, чтобы заварить всю эту кашу о наставничестве.

И Прохоров иронично усмехнулся.

— Она сама так говорит? — заинтересовался Марусин. Он, кажется, позабыл про все свои невзгоды, занятый обдумыванием ситуации, уже в третий раз переосмысливая ее.

— Говорит...— Прохоров поморщился, потому что Марусин явно отвлекался на несущественные подробности.— Ну и что ж, что говорит? Не это главное... Главное, что я не могу. У меня же все документы оформлены. Я не могу отказаться, да и не хочу. Я не хочу больше здесь жить.

Марусин тряхнул головой. Обдумывать до конца ситуацию, столь много определившую в его жизни, было страшно.

— Ты мне крокодила привези...— попросил он.

Будничные слова его и усмешка, которую Прохоров расценил как ерничество, резко контрастировали с одухотворенной печалью Прохорова.

— Привезу...— сказал Прохоров.— Если вернусь...

— Если вернешься? — Марусин внимательно заглянул ему в глаза.— А может быть, что ты и не вернешься?

— Может быть...— ответил Прохоров.— Все может быть.

Еще мгновение назад Прохоров и не помышлял оставаться за границей, но, сказав случайно об этом, он тут же очень отчетливо представил себе, как останется там...

«Эмигрант...» — торжественно-грустно выплыло в его душе слово и, засвистев: «Над Канадой небо синее, та-та-та-та та-та-та. Хоть похоже на Россию, только это та-та-та...», он подошел к окну и новыми уже глазами оглянул дворик. Все здесь было знакомо ему до последнего камушка, и все это оставалось здесь навсегда, и не было к этому возврата.

Новый ток пьянящe-щемящей грусти пронзил все его существо. Конечно же, с первого дня, когда он узнал об Африке, он думал именно об этом, но только сейчас вполне осознал и наконец признался.

Он обернулся и взглянул на Марусина. На этого человека можно было положиться.

— Да, Марусин...— сказал он твердо, понимая, что об этом, не называя этого, говорили они и с Яковом Владленовичем долгими вечерами на скамеечке под липой.

— Да, Марусин...— повторил он и чуть усмехнулся.— Так что давай простимся... Доведется ли еще свидеться, а?

Странный человек был Марусин. Думая о других, он забывал о своих неприятностях. Так случилось и сейчас. Что значили его неприятности, если перед ним стоял человек, готовый совершить непоправимую ошибку.

— Ты знаешь...— проговорил Марусин задумчиво.— Мы с тобой об этом еще в Заберегах говорили, а сейчас я только до конца это додумал. Вот ты смотри — нам всем через несколько лет стукнет тридцать. Старшего поколения уже нет. Мы — старшие... Теперь мы должны решать... Все решать и за все отвечать. Мы и никто больше.

Напрасно Марусин заговорил так. Слова его как нельзя лучше соответствовали душевному настрою Прохорова, и он, не задумываясь о сути их, снова плыл, убаюкиваемый печалью.

— Я понимаю...— сказал он, чувствуя, как холодеет кожа лица. Встал. Медленно прошел по комнате. Конечно же, он все понимал... Он все понимал, но его никто не мог понять.

— Я понимаю...— повторил он, обернувшись к Марусину.— Разве в этом дело?! Пошли лучше, у меня коньяк есть.

Вещи Прохорова были уже уложены — посреди комнаты стояли два кожаных чемодана.

Марусин сморщил нос, увидев их. Все-таки он, у себя на веранде, не до конца поверил в слова Прохорова. То есть все, что говорили там, он и воспринил именно как слова Прохорова, от которых до дела всегда было очень неблизко.

Теперь же, когда он увидел чемоданы, слова мгновенно превратились в действительность.

— Прохоров,— спросил он,— тебе не страшно, что все сейчас совершается слишком стремительно?

— Как это? — не понял Прохоров. Он разливал коньяк по рюмкам и прервал свое занятие, удивленно оглядываясь на Марусина.

— А мне страшно...— не обращая внимания на вопрос, продолжал Марусин.— Я это только недавно понял... Просто слишком долго и медленно копилось все, поэтому и было незаметным... И вот теперь, когда скопилось так много,— все рушится... Пройдена та критическая точка, когда еще не поздно было остановиться, а теперь уже поздно, и только страшно, что это ты виноват... Ты мог все удержать, но не удержал... Не сделал то, что мог и должен был сделать. Ведь это ты, и только ты за все отвечаешь... Ты понимаешь?

— Я понимаю, Марусин...— Прохоров протянул приятелю рюмку.— Но я не могу... Не могу больше здесь...

Долго в этот вечер говорил Марусин, пытаясь отговорить Прохорова от опрометчивого решения. Прохоров кивал ему, подливал в рюмки коньяк и пил, каждой клеточкой тела ощущая сквознячок печали, пронизывающий его.

Марусин тоже пил, вздыхая, и снова говорил о пригородности России, о разорванности восприятия, о том, как легко принимаются сейчас решения, но легко только потому, что редко задумывается человек о том, что будет после. Легко потому, что, по сути говоря, все существует в данности, и никогда вообще целиком, в длительном времени.

И снова пил, и снова говорил, и где-то к концу бутылки, сначала незаметная, исподволь, сформировалась в нем расчетливая-таки мыслишка, даже не мыслишка, а так — идейка о том, что если как следует подпоить Прохорова, то завтра он не проснется вовремя, проспит, и тогда рухнет вся его Африка, а вместе с ней и легкомысленные, гибельные планы, вынашиваемые Прохоровым.

И так ясно, так очевидно представилась вдруг Марусину вся эта идейка, что даже оглянулся он: не подсказал ли ее кто? Никого не было, и, боясь выдать свое волнение, заговорил Марусин о субъективности, маскируя за разговором коварный план.

— Пусть это субъективно! — восклицал он.— Пусть это только тот мир, что внутри меня. С моими представлениями о людях, с моим ошибочным восприятием. Пусть в объективном мире я бессилен, но здесь-то, здесь-то я мог бы ведь что-то сделать?!

— Да... Да...— кивал ему захмелевший Прохоров.— Да, Марусин, Храм Божий внутри нас, и за храм ты в ответе. Каждый в ответе за него. Ницше говорил, что задача человека в том и заключается, чтобы за жизнь, отпущенную ему, собрать свою душу, рассыпанную в книгах, в природе.

— Не знаю...— сказал Марусин, задумавшись.— Я раньше еще и не читал Евангелие, ты же ведь знаешь, как трудно сейчас с книгами, а уже догадывался о храме... Конечно, все, что мы говорим сейчас,— говорим об этом храме. Ты прав. Но ведь то и страшно, что мир представлений лучше, чем объективный мир... Этого я и боюсь больше всего...

С минуту Прохоров неподвижно смотрел на Марусина, потом молча, с чувством сжал его руку.

— Марусин! — сказал он.— Пойдем на вокзал, Марусин. Я рад, что увидел тебя. Понимаешь, рад... Я же не мог уехать, чудак-человек, не попрощавшись с тобой. Черт подери, Марусин! Пойдем и напьемся сегодня, как свиньи!

Идейка прочно засела в голове Марусина, и твердо и последовательно, как автомат, он осуществлял ее.

Народ уже начинал собираться в ресторане. Швейцар с орденом на лацкане ливреи прервал свои философские размышления над вопросом: «Что есть порядок» — и, побагровев лицом, закричал на Прохорова: «Стой, гад! Стрелять буду!»

Однако Марусин вовремя подтолкнул замешкавшегося приятеля, и они благополучно прошли в зал, оставляя за спиной крик: «Осколочным по гадам! Огонь!»

В ресторане Прохоров сразу разглядел своего *нового знакомого* — Бельё. Тот сидел за столиком у окна и скромно кушал котлетку.

— О! — проговорил Прохоров и потащил к столику Марусина.— Познакомься... Бельё...

— Марусин! — ради хохмы представился Марусин, но Бельё не растерялся.

— Очень приятно...—пожимая протянутую руку, сказал он и обернулся к Прохорову.— А вообще-то мы знакомы...

— Знакомы?! — удивился тот.

— Знакомы...— ответил Бельё и сразу засуетился.— Да вы присаживайтесь к столу, друзья. Есть будете что-нибудь?

— Мы будем пить...— обидевшись, ответил Прохоров.— Если хочешь, давай с нами тоже будешь пить.

Прохоров обиделся, потому что считал себя единственным в этом городе человеком, знакомым с Бельё, а оказалось, что его *нового знакомого* знают и другие.

К тому же сразу вспомнилось то утро, когда он столкнулся возле дома с Бельё, и тот как-то подозрительно засуетился, пригласил к себе и исчез, даже не извинившись. Прохоров обиженно засопел, разглядывая меню.

— А чего бы и не выпить! — задорно сказал Бельё.— Я ведь сегодня первый день на работе.

— Где?

— У них...— Бельё кивнул на Марусина.— В газете.

— Это хорошо...— равнодушно сказал Марусин и, памятуя об идейке, спросил: — Так мы будем пить или нет?

— Будем...— успокоил его Прохоров и остановил пробегавшую мимо официантку.

— За отъезд! — провозгласил он.

— А куда ты уезжаешь? — спросил Бельё у Марусина, и тот хотел было ответить, что он не Маруся Уезжалкина, чтобы уезжать, но Прохоров опередил его.

— Да не он уезжает! — закричал он.— Я! Я в Африку уезжаю.

Идейка прочно засела в голове Марусина, и он уже не отвлекался на посторонние события.

— За крокодилов! — провозгласил он, вновь наполняя рюмки.— За то, что живут крокодилы в Африке, и никого они не трогают, и никто им не нужен.

Прохоров хотя и думал возразить — насчет крокодилов у него было свое мнение,— однако послушно выпил, и Марусин мог предложить следующий тост.

Идейки всегда губили людей. Погубила и Марусина его идейка. Сознание вдруг прекратилось в нем, и, когда Марусин очнулся, он не помнил, что он говорил и делал в беспамятстве, но ведь что-то он делал! Зал ресторана уже битком был забит людьми, и напротив Марусина, где раньше сидел Бельё, находился человек со странно знакомым лицом и болтал в воздухе короткими ножками.

— Да! — говорил он, видимо, продолжая уже давно начатую фразу.— Да. Нужно быть свободным от обычаев и привязанностей. Василий Васильевич Розанов на этом и строил свою философию. Главное — свобода...

И Марусин — он с ужасом осознал это — уже довольно долго слушал этого странного человека, потому что сидел сейчас и размазывал по столу — вверх-вниз, вправо-влево — пролившееся на столик вино. Получался крест. В нем мелькали, отражаясь, обрывки лица. Его лица...

Человек болтал в воздухе ножками и молчал, ожидая, что ответит ему Марусин.

Марусин посмотрел на свой палец. Палец был мокрый, словно им утирали слезы.

— А кто вы такой? — тихо спросил он.

— Я?! — удивился человек, еще сильнее размахивая короткими ножками.— Я — Соловьев...

— Тот?!

— Тот самый! — ухмыльнулся человек.

Марусин задумчиво посмотрел на него и подумал, что если это тот самый Соловьев, то не надо удивляться, надо просто спросить у него, как жить теперь.

Человек с короткими ножками даже подпрыгнул на своем стуле.

— А так и жить! — торопливо, не дожидаясь вопроса, закричал он.— Надо вначале Россию придумать, а потом уже и жить в том, что придумаешь!

— Как это? — удивился Марусин и сморщил нос.— Зачем придумывать?

— Придуманная страна! — отрезал Соловьев.— Полторы тыщи километров — Магадан, две тысячи — порт Ванин. А больше нет ничего. Только ты. Очень даже придуманная страна.

— Да откуда вы можете знать про порт Ванин? — возмутился Марусин.— В-вас же н-не было то-г-да...

От возмущения он начал даже заикаться.

Соловьев странно посмотрел на него.

— Идея нации,— сказал он и пригрозил Марусину пальцем,— не то, что нация о себе думает, а то, что Бог про нее думает.

Марусин с ужасом смотрел на палец и ничего не мог сказать. На пальце — едко-голубая — была вытатуирована Эйфелева башня.

И тут — Марусин заметил это уголком глаза — мелькнул сбоку Прохоров. Как к спасению, метнулся к нему Марусин.

— Ребята! — плюхнувшись за столик, сказал он.— Налейте водки Прохорову...

За столом засмеялись и налили Прохорову, но почему-то налили и Марусину, и хотя он не думал пить, выпил... И снова возник сзади Соловьев.

Он сидел сзади, пристроившись на придвинутом стуле, и дергал Марусина за рукав.

— Часы не нужны?! — спрашивал он и засучивал на ноге штанину. Там, под штаниной, прямо на ноге один к одному желтели кружочки часов.

— Купи! — предлагал Соловьев.— А может, приятелю нужно? Он же завтра в Африку едет...

И, подмигнув Марусину, мерзко захохотал.

Марусин сжал ладонями лицо.

Снова он очнулся, когда его под руки вели к даче Прохоров и Бельё.

— Где Соловьев, ребята? — спросил Марусин.

— Какой Соловьев? — удивился Прохоров.

— Ну, с часами который... На пальце Эйфелева башня вытатуирована...

Прохоров пожал плечами и вопросительно посмотрел на Бельё. Но и тот не знал, о ком спрашивает Марусин.

— А ты и не пьяный совсем...— грустно сказал Марусин, понимая, что не он ведет Прохорова, а Прохоров его.

— Пьяный...— ответил Прохоров.— В этом городе сейчас одни пьяные...

Марусин успокоился.

Но дома, увидев ехидную усмешку ангелочка на потолке, он сразу понял, что ничего из его идейки не получилось, впрочем...

— А и черт с ним! — проговорил он и сразу уснул.

И сразу же проснулся от крика наверху.

— А-а-а! — жутко кричал кто-то. Потом раздался грохот на лестнице. Кто-то, прыгая через ступеньки, сбегал вниз. На несколько минут наступила тишина, и сразу опять что-то загрохотало наверху, и с потолка посыпалась штукатурка.

— Стенька Разин! — сквозь этот грохот различил Марусин крик тети Риты.— Пугачев!

И тут Марусину показалось, что началось землетрясение. Зашатался потолок, и ангелочек с жутким грохотом рухнул на пол. Марусин выскочил на улицу.

Тут уже стояла Матрена Филипповна. Ее бережно поддерживал под локоть приехавший сегодня муж — Коммунар Орестович. Они смотрели наверх. В комнате у Кукушкиных что-то происходило. Яков Вениаминович бегал по комнате и железным ломиком крушил стены.

Тетя Рита, высунувшись в окно, кричала на всю улицу:

— Люди добрые, помогите! Остановите! Это убийца! Это Пугачев! Это Стенька Разин!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Яков Валерьевич все эти дни спокойно жил на квартире у сына и радовался его необыкновенным успехам.

Лишь одно беспокоило его. Машина, которую он, Яков Валентинович, подарил ему на свадьбу, стояла прямо под окнами, и сын часто вставал по ночам, чтобы проверить, не украли ли ее.

А в нынешнем положении ответственного работника сыну необходим был покой.

Несколько дней Яков Борисович рыскал по городу и сегодня нашел-таки то, что ему было нужно. За четыре тысячи продавался великолепный гараж в центре города.

Не откладывая дела в долгий ящик, Яков Африканович сразу же направился домой. Он шел по улице, тихонько напевая себе песенку. Редко бывал Яков Архипович так доволен собой, как сегодня. Тщедушный и маленький, он ощущал себя всесильным — у него были деньги, и с помощью их он, слабенький, мог осчастливить своего большого сына.

Последний раз Яков Артемьевич пользовался тайником месяц назад, когда доставал часть денег на машину. Новых поступлений за этот месяц не было, и Яков Арсеньевич без нужды не трогал тайник.

Дома Яков Антонович сразу отправил жену на кухню, хотя та и порывалась рассказать ему, при каких обстоятельствах помер сегодня Васька Могилин.

— Иди, ужин приготовь...— строго сказал Яков Анисимович.

Тетя Рита знала, что редко муж бывает строгим, но уж если он строг, то перечить нельзя. Она покорно ушла на кухню, недоумевая, почему муж сегодня такой нелюбопытный.

А Яков Андреевич и сам не знал, почему его охватило внезапное беспокойство. Как только вышла тетя Рита, он сразу же отодвинул от стены комод и вытащил дощечки. Осторожно засунул руку и тут же отдернул назад. Тайник был пуст!

Яков Алексеевич опустился на колени и засунул руиу в тайник, хотя ясно уже видел, что там ничего нет. Рука ушла глубоко, и сразу же из-за стены: «А-а-а!» — раздался душераздирающий вопль.

Его обокрали!

Яков Александрович вскочил. Этого не могло быть, но его обвели вокруг пальца как мальчишку!

Теперь-то, наконец, ясно увидел он, что все: и кожаный пиджак Пузочеса, и все эти немыслимо роскошные похороны, и скорбящий мраморный Васька — все было оплачено за его счет.

Якову Акимовичу показалось, что вся кровь ушла из него. Он побледнел и рухнул на пол.

Таким его и увидела вернувшаяся из кухни тетя Рита. На лестнице ее едва не сшиб с ног Пузочес, перепрыгивающий через три ступеньки, а здесь, войдя в комнату, увидела она мужа, распростертого на полу.

С трудом привела его в чувство.

Яков Агафонович долго смотрел на нее мутными глазами.

«Нет! — билось в его мозгу.— Нет! Этого не могло быть. Нет!»

Он вскочил. Ну, конечно же, он просто перепутал сам. Он перепрятал деньги из тайника, потому что дураку ясно, что нельзя оставлять их в стене, смежной с комнатой этих бандитов. Конечно же, перепрятал. Он же сразу подумал об этом, когда Васька вернулся из заключения, и в тот же день перепрятал. Все в порядке. Все хорошо. Надо только вспомнить, куда он их перепрятал. Ага... Кажется, за кровать...

Яков Агафьевич схватил из-за шкафа ломик, который он держал, чтобы было чем отбиваться от грабителей, и изо всей силы ударил по стене над кроватью. Посыпалась гнилая труха. Ломик застрял в бревне.

— Стенька Разин! — закричала сзади жена.— Ты что удумал, бандит?! Емелька Пугачев!

Она попробовала было схватить его, но Яков Автономович легко отшвырнул ее.

Нет, не сюда. Значит, тогда в полу. Точно в полу! И он принялся бить по полу...

Скоро приехала медицинская машина, и крепкие парни в белых халатах погрузили в нее разбушевавшегося Якова Аверкиевича и увезли его. Навсегда замкнулись за ним крепкие ворота учреждения, прозванного в городке домом печали...

Но и там временами находит на Якова Авдеевича что-то, и он начинает метаться по палате, разыскивая спрятанные деньги. И тогда снова появляются крепкие ребята в белых халатах, и снова наступает в палате тишина.

Якова Абакумовича часто навещает тетя Рита, которая навсегда перебралась к сыну. А Бонапарт Яковлевич навещает отца реже — он по-прежнему сильно занят на работе, да и строительство гаража, которое он затеял, тоже отнимает много времени.

ЭПИЛОГ

Наступила в городке осень.

Ранняя она была в этом году. Кончилась жара, и сразу, бесконечные и унылые, зарядили дожди. Ветер выдувал из парка опавшие листья, и они мокрыми грудами лежали в городских переулках.

В конце сентября выпал первый снег.

Марусин по-прежнему жил в своей комнате. Было холодно, а дров Марусин не заготовил и теперь ходил по ночам в парк — там, в центральной аллее, спиливали у деревьев сучья.

Ненужные никому, они лежали в снегу, и Марусин таскал их домой.

Иногда его замечали девушки-сторожа. Подойти ближе они боялись, а издалека невозможно было разглядеть, что тащит человек, и они кричали тоскливо и безнадежно: «Вор, а вор! Положи, что взял!»

Эти сучья Марусин пилил на веранде, а потом колол на мелкие щепки

и ими топил печь. Забота о тепле отнимала у Марусина большую часть суток. Иногда посреди ночи Марусин принимался стучать топором, но теперь никого уже не беспокоил шум — опустел этот старый, назначенный на снос дом.

Перебралась к сыну тетя Рита; уехал в свою Африку — Марусин получил от него письмо — Прохоров. И словно на смену ему вернулся в городок помилованный муж Матрены Филипповны, но и они уже не жили в доме — перебрались в новую квартиру. Исчез куда-то Пузочес...

Растопив печь, Марусин часами сидел у раскрытой железной дверцы и, наблюдая за языками пламени, думал...

Иногда он доставал обрывок разысканной на складе макулатуры книги и читал ее. Тревожным и смутным светом была прохвачена эта книга.

«В горах и далеких окрестностях кто-то стрелял, уничтожая неизвестную жизнь...»

Марусин откладывал книгу и подходил к окну. По ночам, на пустыре, какие-то люди жгли костры, и в багровом тревожном свете метались смутные тени.

Оттуда, с пустыря, однажды и пришел к Марусину Пузочес. Он был вместе с Наташей.

— Во! — похвастался он.— Моя жена.

— Поздравляю...— сказал Марусин.— А живете где?

— О! — сказал Пузочес.— У нас квартира.

— Да...— подтвердила Наташа.— Замечательная квартира. И все свое: и комната, и кухня, и коридор, и ванна, и туалет.

— А как это вам удалось? — улыбнулся Марусин.

— Случайно...— сказал Пузочес.— Меня же не то что в училище, а и в армию не взяли. По зубам не прохожу.

— Я про квартиру спрашиваю...— снова улыбнулся Марусин.

— Да ну... Чего тут интересного. К нам Кандаков приезжал на фабрику, когда статья твоя вышла. Вызвали Наташку и говорят: пишите заявление на квартиру... Ну вот и живем теперь, значит, в новой квартире. Кстати, на одной площадке с Матреной Филипповной.

— Подожди...— остановил его Марусин.— Какая статья?

— Ну как какая? — удивился Пузочес.— Которую в московской газете напечатали... Да она у меня с собой...

И он вытащил из кармана сложенную в четвертушку газету, в редакцию которой Марусин отправил несколько месяцев назад свою статью «Обман под аплодисменты».

— Оставь газетку...— попросил Марусин. И когда ушли гости, принялся за чтение.

Вначале ему показалось, что статью сильно сократили, но, вытащив машинописную копию и сравнив с газетным текстом, удивился — статья была напечатана почти без правок.

Марусин задумчиво посмотрел на огонь.

Ну да... Прошло столько времени...

Машинально Марусин скомкал газету и сунул в печь.

Газета вначале пожелтела, потом сразу вспыхнула ярким огнем и тут же рассыпалась черными хлопьями.

1981 г.

Геннадий
УГРЕНИНОВ



Слобода

1

На песке, на остывшей золе
Все жива слобода на земле.
Переулок —
 дощатый сундук,
Костяной пересушенный стук.
Этот ставенный скрип до зари,
И дома́ на замках, как лари —
На цепях, на болтах, на замках,
На глядящих во тьму стариках.

2

Полотенце бабкой шито
До меня, но для меня...
Что-то ты форсишь не шибко,
Колченогая родня.
И не бойко выступаешь,
И не складно говоришь —
Скатерть вилкой колупаешь,
Ни за что благодаришь.
Словно в тягость и в усталость
Ты давно уже для всех,
Словно даже эта старость
Почитается за грех.

3

Слобода жила чуть-чуть в сторонке:
Обучилась жизненным наукам.
Но уже носили похоронки,
Правда, по соседним переулкам.
А потом в артельскую шарашку,
Навсегда забывшую о модах,
Навезли вдруг шапок и фуражек
В дырах и коричневых разводах.
И теперь у крестной голосили,
Черные платки свои кусали.
Почтари носили и носили,
Писаря писали и писали...
Уж ломало время и морило,
Брало за грудки́, за отвороты,
Только в сорок пятом одарило —
Костылями стукнуло в ворота.

4

Тот в морях, другой в пустыне,
Третий в ла́бухи подался.
Посидим-ка, поостынем,
Посчитаем, кто остался.

Мы и сами-то плутаем,
Черт-те где таскаем тело.
Только дело ли пытаем?
Не «лытаем» ли от дела?

«Не лытаем,— так ответим,—
Что за странные вопросы?»
Посидим еще, посветим
Сигаретой перед носом...

5

Черный козленок притих на руках.
Черный и теплый
 и весь в завитках.
Даже прикрыл для блезиру глаза,
Будто не шкодил,
 коза-дереза,
Мигом с повинной приткнулся у ног —
Черный и теплый
 и звать Цыганок.
Чем не каракуль в руках скорняка?
Вот и пропал он, и нет Цыганка.
Реву-то было...
 да что из того?
Что же я глажу и глажу его?

Марк
КОСТРОВ

ЖИХАРИ ПОЛИСТОВЬЯ

Полистовское болото в своем центре вспухло мхами, как огромная шатровая крыша тверской избы, и стоят на ее скатах острова с остатками деревенек.

На южном склоне Кондратово и Аболонья, на северном — Нивки, на западном, псковском скате, гремит тракторишкой Ратча. Лишь новгородские Лисóвые Горки в последнее время попритихли, задумчиво уставились в небо пожарной треногой-маяком, а живет в них, то одиноко, то в окружении людей, дедка Петя, человек возраста неопределенного. Еще до войны числился он дедом, а потому воевал с фашистами по своей воле, по охоте и ненависти к ним, известен был в Рдейском крае как проводник партизан и конокрад немецких лошадей. «Умру,— говорит,— только тогда, когда моя каланча завалится, ибо должен я по состоянию своего характера каждый день хоть чуточку да постоять на ее вышке, глянуть на мои Болотá».

До войны Лисовые Горки, не в пример хотя бы Ратче, которая имела доставшуюся ей в наследство от барина Гравера больницу, ничем не выделялись. Остров как остров, средних способностей.

Только вдруг в конце сороковых годов пришли на него топографы, несколько дней ходили по Горкам, свои азимуты провешивали, все же триста гектаров участок, слепили жителей теодолитами, руками растерянно разводили. И вдруг после особенно сильного раздора-спора всем скопом ринулись на Петину изобку, она с краю болота на самом высоком, на самом веселом бугорке стояла: «Такой-сякой, куда дел столб бетонный, по-научному репер? На тебя все наши астролябии показывают!»

Пришлось Пете сознаться. Он как из партизанов вышел, деревня гитлеровцами, как и на других островах, сожжена, удумал печь на «даровой» фундамент ставить, избой его окружить. Столбик-то войною тоже был порушен. Невдомек старику — очередная жена его умерла, на вдове женился,— что, балуясь с молодухой, раскачивают они параллели и меридианы всей России. Чуть не плачет начальство, объясняя упрямому жихарю, что если вышку ставить на другом бугорке, как он требует, придется менять карты всей страны или все остальные маяки перестраивать, подлаживая их под Рдейский край.

— Ну и перестраивайте,— не сдается Петя,— мы же — Полистовское верховое болото, растем и растем вверх, придет время — выше всех возвышенностей и холмов, центром России будем. А потому — почему бы отсчета от нас и не вести?

И нипочем бы не съехал, начистил бы свои две медали «Партизану Отечественной войны» и «За победу над Германией», пошел бы ими по инстанциям брякать, не догадайся руководитель экспедиции государственную службу ему предложить — фуражку с желудями, быть в Полистовье лесником. А для такой работы пожарная тренога тоже требуется, смех рядом вторую возводить. Словом, переехал Петр Арсентьевич Коровин на соседний бугорок, избу еще более обширную возвел.

Человек общительный, веселый, жена тоже ровного характера попалась,

работать оба любят, а в праздники умеют и отдыхать. Петя и на гармошке мог, мог и плясать. Не редкость на островах такие люди. Дом, чтоб не заглядывать друг другу за плетень, ставят на расстоянии пяти-шести нырков сороки, а как сойдутся на праздники, кругом доброжелательность и веселье. В меру общительность соблюдают, в меру разобщение.

Ну, и потянулся народ к Коровину. Куда ни идут — на глажи за морошкой, черные старушки в Рдейский монастырь на поклон к Афанасию, косцы-красноборцы, наш брат отпускник-рыболов,— все останавливаются у Пети. Если дело под вечер — на ночлег, днем — квасу яблочного испить, словами с дедом перекинуться.

А самых преданных, самых крепких патриотов Полистовья прельщать стал еще и этот вот самый маяк в Лисовых Горках. У многих привычкой сделалось хоть раз в году взойти на него, обозреть родной край. Рдейский монастырь вдали куполами сверкает, далее блестят группами озера. Из Островистого, Корниловки и Домши ниточкой течет на юг Хлавица, из Русского и Кокарева пошире лента в противоположную сторону — Порусья. Меж ними пробирается группа островов во главе с флагманом Межником. До шестидесятых годов плыл на этих корабликах на северо-восток колхоз «Красный моряк».

А летом, как замшевый, край: верховое болото питает многочисленные реки и речки края. Белка и Уда вливаются в Сороть, Редья — в Ловать. Лишь Полисть протянулась стальной полосою по горизонту самостоятельно, почти до самого Ильменя, и к ней жмутся деревни Партизанского края: Ухошино, Полистовские Ручьи, Глотовское, Переезд, Серболово. Зеленый районный самолетик лягушонком прыгает от острова к острову, иначе как по воздуху не добраться до жилья.

И как только спустится с маяка вниз народ, соберется у дедки Пети за столом, отужинает, ну спорить о судьбах края, и мнения у них самые противоречивые, но в чем единодушны бывшие партизаны — торфопредприятию ЦЕВЛО надо объявить рельсовую войну, а электростанцию в Дедовичах, пока она не заработала на полную мощность,— взорвать.

— Решения двенадцатого съезда — в жизнь! — кричит Петя, показывая на прописанную мелом на стене выписку из документов: «Значительно сократить использование торфа в качестве топлива на тепловых электростанциях».

— А что? В Австралии даже против плотин на реках борются люди, чтоб сохранить красоту и дикость природы,— размахивая журналом «Вокруг света», подхватывает Федя Непьющий,— а нам разве нельзя?

Но не только спорят, а и дело делают: уговаривают остаться тех, кто собирается уезжать на материк. Правда, не всегда увещевания успешны, хотя и положительные результаты есть. Например, с тем же Непьющим.

Я познакомился с краем пятнадцать лет назад. По работе неоднократно летал из Новгорода в Холм, добираться в район при тогдашнем бездорожье лучше всего было с помощью областной авиации, и с воздуха хорошо разглядел острова. Потом стал проводить отпуска в этих местах, и только в этих. Какое-то наваждение — Полистовье притягивает людей, как магнит. Помнится, в те начальные для меня времена выходил из болот через Быки. Еще одна узкоколейка, уже от Новгорода, тоже жует богатства этой земли, точнее Чекуновский лесопункт, но с ним жители мирятся. Чуть ослабнет распашка островов, лес тут же затягивает пашни.

В Быках был разъезд, стояла будочка с телефоном, покрутив ручку которого, я узнал, что мотовоз пойдет только утром. Пришлось пробираться в ближайшую деревню Кокачево, стучаться в крайнюю избу. И скоро я с удивлением рассматривал стены, оклеенные дореформенными цветными рублями.

— Ночуй, не жалко — лавки широкие, вода в кадке,— равнодушно сказал мне маленький, заросший редкой щетиной мужик. Заспанные тараканы сердито шевелили усищами — отступать было поздно.

Я сел на лавку, не спалось и хозяину на печи.

— Вот уеду на Украину, мил человек, в степь,— хозяин закурил,— веришь — лес возненавидел. А раньше жил хорошо: бухгалтером работал. Вез годовые по трудодням — песни пел. Задремал — очнулся в канаве. Без лоша-

ди. Прибежал в Кокачево. Лошадь в конюшне — сумы с деньгами на ней нет. «У нас край святой, у нас украсть не могут — ищи!» — велят старики. Неделю топтал снег — нет сумы и все. Лошадь не спросишь. Собралось собрание, выносят приговор: в тюрьму меня не сажать — в ведомостях всем расписаться, из колхоза исключить. Будешь работать на сторону — платить долг всему краю.

Поклонился миру, и началась моя новая жизнь. Весенняя, осенняя клюква, в перерывах гриб сушу... И все на своем горбу, через болота на большак и далее. Зимой ложки режу. Включишь радио: пятилетки идут, в космос забрались, а для меня жизнь ровно остановилась: сорок тысяч. Врагу своему не пожелаешь! Я горблюсь, Любаша горбится, дочка подросла — тоже в лес погнали. Простудилась на болотах Любаша — зачахла. Схоронил жинку. Врагу своему не пожелаешь! Во всем урезали. Свет и тот не провели, на счетчик поскупились! Не наливай — не пью! Рассчитаюсь — уеду в безлесь, на жинкину родину.

Мужичок уже десять лет выплачивал долг. Виктора Сергеевича зауважали в последние годы: сумел взять себя в руки человек. Дядька Петя повел агитацию на прощение бухгалтера. Съездил в Ленинград, наконец на 3-й Советской нашел работящую дворничиху, мужик-то прозвищем Непьющий, сосватал ее Виктору, подбил колхозников простить осужденному краем долги. Теперь и Виктор с Оксаной частые гости Петра Арсентьевича. Долго стоят на вышке, муж показывает жене лесок, где все же вьюк нашелся, но уже после реформы.

Частая гостья Лисовых Горок и Нинка Петрова из Аболоньи-на-Хлавице. Семнадцатилетней девушкой была, когда гитлеровцы заняли ее деревню. А Лисовые Горки входили в то время в Партизанский край, и Петя удумал — немцы на полуострове коней пасли, и потому охраняли их только с материка — уводить лошадок через топи, по-местному — пронницы, в Горки. Нинка ему в этом помогала. Лыжи сделали с долблеными колодами, ноги лошадей в них вставит, заклинит около копыта и ночью очередную лошадку уведет. Фашисты ничего понять не могут.

Петя как-то за столом удивлялся: приказал комбриг партизанской бригады уничтожить лошадок, чтоб они не служили фашистам, а у меня на них не поднимается наган, и только. Разве они виноваты, что люди-звери ими командуют, я и придумал их выводить на лыжах.

— А что, Петр Арсентьевич,— провоцирую я его,— а если бы так сложилось, что не вывести лошадей — перестреляли бы их?

— Нет,— отвечает Петя, ни секунды не задумываясь.— Нет, браток, я же не горожанка Зоя Космодемьянская, это она хотела поджечь конюшню с лошадьми, так как не общалась с ними, а я не могу, твари не виноваты, что люди передрались.

Ну, а Нинке не повезло на пятом коне, попала с подругой в облаву и была как рабсила отправлена в Германию. Конец войны застал ее в Париже, и вызывают их, всех русских девчонок, на перекомиссию на улицу Монмартр. Флажки, флажки разных наций на круглом столе, и председатель ее спрашивает: «В какую сторону-страну желают ехать, мисс-мадемуазель-сударыня?»

Нинка, естественно, запросилась в Аболонью. Итальянец не дослышал, обрадовался, в Италию почему-то никто не желал ехать, запрыгал на стуле: «К нам, к нам, в Болонью!» — «Ошибаетесь, синьор»,— говорит ему с достоинством и вежливо Петрова. И уезжает в Аболонью-на-Хлавице, в Полистовский край, чтоб продолжать прерванную войной жизнь, работать в колхозе. Только ее жених, ее Федор, брат подруги Нюшки, так и пропал на войне. Мечта о семье не сбылась.

«И вдруг летось в мае месяце по той стороне речки Хлавицы, где дорога все же никакая,— рассказывала Нинка Петрова,— две „Волги" ковыляют, и выходят из них к мосточкам люди. Я стою, жду, сердце забилось: нет-нет, да и вспоминаю пропавшего Федора. Только вижу: впереди идет баба фигуристая, не по-нашему одетая. Остановилась у кадочек, смотрит на меня, я через речку на нее гляжу. Хоть в руках и топор, а все равно боязно по гнилушкам идти: у меня болезнь падучая — сознание теряю, и ворожея велит мне с чем-то тяжелым ходить — с утюгом или топором, мол, это помогает. Но все равно боюсь ступить на мосточки. А с той стороны та баба стоит, меха на солнце так и блещут. Я ей говорю: „Да ты не бойся. Это мне для здоровья надо с топором",— а она отвечает: „Я, Ниночка моя дорогая, и не боюсь!". Поникла головою и заплакала.

Тогда перебежала я бревнышки, обняла Нюшку, заплакала вместе с ней: „Эх, Нюра, Нюра, и зачем ты тогда спряталась, на перекомиссию не пошла?" А она мне отвечает: „Же ву зем" я тогда, а сейчас за матушкой в Гоголево приехала, а мама не хочет в Канаду. „Здесь,— говорит,— родилась, доченька, здесь и помру. Не нужно мне твоих пятидесяти сортов горчицы, двух автомобилей". „А у меня в Канаде — как это по-вашему? — двойнички-мальчики, муж-летчик. Что мне делать, Нинка? Я ведь по молодости думала, время все спишет, сначала и не вспоминала Хлавицу. Вроде в Канаде такие же березки, как и у нас, и морозы, и снег, а как стала делаться старше и старше, не могу, и все тут. Не те клены, не те дожди, не тот вкус у клюквы, а вьюнов, пискунов по-местному, и морошки и вовсе в помине нету. Да и не в этом дело — ох, и глупая я тогда была...»

И снова начала рыдать, а я стою, молчу, немею. Конечно, мать не поедет в Канаду — уже один раз насытилась у дочи, приехала домой — рассказывала про жизнь в этой самой Канаде, чего и говорить — роскошная жизнь. Мы, может, и не скоро достигнем таких вершин — они же не стоят на месте тоже. Да только в сладком ли куске дело? Вместе со страной надо шагать, через все ее радости и горести.

«Уехали, значит,— рассказывала баба Маша,— зять и дочка Нюшка на автомобилях на свои работы, дети в школу отправились, второклассники-близнята, такие курносенькие, белобрысенькие — вылитый дед, а по-русски даже „до свидания" сказать не могут, утром еще немного улыбались бабусе, а как пришли домой, закрылись в своей комнате, молчат, не выходят наружу. „Что такое?" — Маша к ним стучаться давай. Долго стучалась. Тогда один из внучонков открыл дверь, на бабку испуганные глазенки наставил, „враг-враг", говорит. И второй ему из-за спины картавенько вторит: „враг-враг". Рассказали в школе про приезд бабушки и сразу же были обучены единственному русскому слову: „враг-враг".

Прямо страшно подумать, до чего страны научились ненавидеть друг друга. Значок носят „Убей русского", а телевизор у них — словно стоствольный миномет против наших двух каналов. Нет-нет, я не хочу сказать, чтобы и мы носили значки и так далее, лучше бы какой-то из стран первой притихнуть. Хотя бы в нашей районной газете, что на Рдейский край работает, сняли временно лозунг „Пролетарии всех стран, соединяйтесь". Жизнь ведь двигается, надо же сегодня учитывать создавшуюся обстановку, в которую вплелась атомная бомба. Кому это нужно, если идеи на пепле, на безлюдье и развалинах восторжествуют.

Ну, а старшее канадское население, дом такой же блочный и многоквартирный, как и у нас, к „иностранке" хорошо отнеслось. Когда Маруся уезжала, так ее там звали, люди столько ей тряпок нанесли, что они еле-еле в пяти кулях уместились. Правда, четыре тюка на таможне отобрали, но один баба Маша до дому все-таки довезла».

Нинка смотрит на меня внимательно:

— Не веришь, что ли? Так пойдешь мимо Гоголева, увидишь за крайней избой справа чучело в огороде в пластмассовом платье, вороны к нему привыкнуть не могут — оно поминутно от солнца расцветку меняет.

«Ну, а я Нюшку хотела сначала на маяк отвести, чтоб она посмотрела на свою покинутую родину, чтоб осталась, потом передумала: там дети-близнята, муж-летчик, сама себя наказала подруга. Вишь, две машины у них, хоть с бензином и плохо, но все, мол, на деньги купить можно. Только вот Родину нельзя. Поняла подруга, да поздно».

Нинке хоть можно ходить с топором, а вот Миша Басок совсем изработался, однако как свободные минутки, как только появится малость бодрости, тоже ползет на вышку. Какое-то наваждение. Я раньше болотных жихарей не понимал. Слух слушал, мол, есть среди полистовчан чудаки, которых тянет на маяк, ты, мол, как будешь в Горках, не заболей той покорностью к лазанию.

Я пожимал плечами, улыбался, но стоило только побывать на верхотуре, потянуло снова и снова на нее. И не острова рассматривать, не цветовые времена года на земле, хотя и они прекрасны, а просто постоять, облокотившись на перильца, вроде бы ни о чем не думая.

Просто постоять.

Костя Курлапый, тот всегда в небо уставится, на облака. «Смотрю, смотрю до тех пор, пока мне не покажется, что вышка начинает на сторону валиться». Миша Басок горазд плеваться или бросать шишки вниз, с полными карманами шишек лезет. Шура Бусинка выше первой площадки не поднимается, ляжет на настил, подопрет голову, лежит, на мои назойливые вопросы, о чем она думает, отмалчивается.

Каждый как-то по-своему реагирует на виденное с высоты. Симанькова — «писательница», две ее заметки в районной газете опубликовали — вот и «писательница», та стихи на верхотуре сочиняет, без них вниз не слезет. Непьющий на столбики обязательно должен приклеить пару своих дореформенных рубликов. Если кому вздумается побывать на маяке, просьба — не сдирайте их.

Как-то у Пети слушали по радио статью о наших восходителях на Эверест, ужасались трудностям, когда у одного альпиниста сделалось давление пятьдесят на ноль. Дикторский голос звенел, мол, были приняты меры, заказан специальный самолет для больного и через неделю все у него вошло в норму.

«Пятьдесят на ноль! Вот это закалка!» — восклицал я, обводя строгим взглядом присутствующих. Присутствующие молчали.

Потом Симанькова сняла с пальца золотое колечко, не замужем, а носит его, велела Мише закатать рукав, с помощью нитки и линейки стала мерить ему давление.

Я знал этот способ давно. У Миши выходило сорок на ноль.

— И вот он,— убрав свои нехитрые приборы, терпеливо объясняла мне Александра Игнатьевна,— еще в недавние времена уходил с таким давлением на всю зиму на лесоповал, да и мы все ходили — и вокруг нас не тридцать семь градусов, как на Эвересте, а поболее было, и ветры посильнее. Дощатый барак, может, еще похуже и похолоднее двойных польских палаток, и шоколада не давали. Так что неизвестно, Марк, кто из нас важнее подвиги совершал, кто из нас более тренирован,— неожиданное заключение делает она.— Давайте-ка лучше вам стихов свежих наговорю,— и начнет сразу, без перехода: — «Неяркий наш край, болота́ и кусты, на них острова, но они все пусты...»

И, помнится, дальше что-то читала. Всегда разозлит горожанина своими противопоставлениями, а потом начинает читать стихи, да еще и ждет похвалы. Никакой тактики-дипломатии. Я, конечно, стал придираться: «болота́» — ударение не то, острова, получается, на кустах растут. Ну и так далее...

— Ну хорошо, Марк,— не сдавалась Шурочка,— пусть будет по-другому начало, ты выскажись по всему стиху... «Неяркий наш край кусты и болото...» — махнула рукой, задумалась.

— Кончайте болтать, что-то выпить охота! — вдруг вклинился в рифму Петя.

Все рассмеялись...

Налили крохотулечку даже Мише Баску. Он завелся, вознамерился лезть на вышку, я за ним.

Миша один из первых трактористов на селе, создавал колхоз, воевал, после войны, восстанавливая хозяйство, работал «от теми до теми», плюс еще сверх «теми» себе дом рубил. И все время с выдумкой, с огоньком, даже при таком труде шевелил мозгой. «Но с каждым годом,— рассказывал на вышке Басок,— все труднее и труднее самодеятельничать становилось».

Провел он воду в коровник, трубы, два года валяясь на обочине, в землю вросли, их при аварии машина сбросила, а его на следствие, где трубы украл?! «Газик» списали, он его для колхоза отремонтировал. Откуда «газик»? Снова чуть под суд не попал. Одной осенью урожай случился, зерно гнило, арку разобрал, имелось такое указание: арки перед въездом в деревню делать, ток отремонтировал, ему чуть политику не приписали.

Был у них уполномоченный, хороший мужик, не сидел в избе — косил вместе со всеми, пахал, но заика. После войны сразу приехал, собрал собрание: «Кок-кок-кок»,— говорит. То есть за коксагыз агитирует, чтоб мы его сажали. Ничего, конечно, не получилось. Через несколько лет мы слышим от него: «Ку-ку... ку-ку!» — оказывается, кукуруза, которую здесь никогда и не сеяли, выводет нас вперед, за кукурузой — «кы-кы-левер» — клевер, по которому кукурузу сеяли, восстановить требует, потом «ко-ко-ко» пошло — это значит коров своих личных сдавайте; плач по деревне, а я корову не сдаю, у меня трое детей. Меня и так, меня и сяк, заставили сдать. Только сдал, почитай, один и бился с коровой в деревне, под конец даже хорошо стало — травы вволю, опять уполномоченный: велят, мол, «го-го-го!» — «Что го-го-го? Гусей, что ли, заводить?» — «Да нет,— отвечает,— до десяти го-го-голов скота чтоб семья держала!» А в зале я сижу, Коля Курлапый да три старушки — все остальные разъехались. Некому осуществлять «го-го-го». Он ко мне: «Та-та-такая линия — жизнь на месте не стоит». А у меня уже тоже жизнь на месте не стоит — дети выросли, уехали, жена умерла. Я ему в ответ тоже заикаюсь: «А ху-ху-ху не хо-хо-хо, го-го-го!»

Хорошо на вышке. Поблескивает Русское озеро, от него щетинится километровая гривка сосняка, то место, откуда, прежде чем нырнуть подо мхи, вытекает из озера Порусья, но Миша смотрит на северо-восток за купола Рдейского монастыря, там была до недавнего времени его деревенька.

— Теперь тебя никто дразнить не будет,— говорю я ему.

— Да пусть пацанята и дразнят, перетерплю, лишь бы они были.

В деревне, где он раньше жил, стояла школа-четырехлетка, но с тех пор, как после кинофильма «Семнадцать мгновений весны» прошел слух, что Миша Басок вовсе не Миша Басок, а недобитый Гитлер скрывается в их краях, Мише ребятня проходу не стала давать: идут из школы мимо его изобки, скручивают в дудочки тетрадки, и ну дразнить: «Под мостом, под мостом поймали Гитлера с хвостом».

— Кто-то куда-то написал, приехал следователь,— рассказывает Миша,— на мои руки черные, раздавленные глянул, двух пальцев нет, засмеялся, велел только усики сбрить да челку подрезать. Другое в той ситуации меня обидело: «Соседи милые,— говорю,— да разве я Гитлер, мы же с вами вместе росли, учились и работали — дайте показания!» А они в ответ молчат: кто его знает, этого Мишку Баска, может, и в самом деле с войны не он, а Гитлер приехал, лучше на всякий случай промолчать, не вмешиваться в это дело. Дружок особенно удивил — вместе с ним в комсомол вступали, воевали, уж он-то знает, кто я, но и он молчит, а такой бойкий был, с неправдой не уставал бороться, а тут тоже молчит. Во как за последние годы люди изменились! Это меня особенно и сразило. Ведь сейчас же времена другие, а они не верят, на всякий случай молчат. Равнодушие полное. Тем более желудки сейчас у всех прилично набиты.

Ну, а заика наш — хороший мужик был, как на пенсию вышел, как без разговора очутился, ко всем пристает, жену замучил указаниями, а потом пошел в лес и пропал. Искали его всем миром, а он сидит на дереве и кукует: «Ку-ку-ку! Все как один на выборы!» Пришлось его в Наговье к психам отправить.

Казалось бы, не все ли равно, где слушать Мишу Баска: на завалинке его домика, он теперь живет в Лисовых Горках, или на вышке. Ан нет — когда вокруг тебя такие просторы, нехитрые Мишины повествования звучат особенно пронзительно. Курлапова Костю, например, я иначе и не представляю, как стоящего на самой вершине деревянной пирамиды.

Костя после того, как жена покинула его, чаще всех стал посещать Лисовые Горки. Ну, а родился он без правой руки, потому всем и представлялся: «Костя Курлапый». За всю жизнь привык. Мужчина видный, бравый, всегда чисто выбрит, синие-синие, как Русское озеро, глаза, в две стрелки лихие — чапаевские усики. Родился с дефектом, но не упал духом, не сдался — стал лучшим охотником края и плюс еще работал водовозом в коровнике. О нем соседи говорят с уважением: «После войны туго было с продовольствием, с хлебом, а на Костиных лаек давался союзом охотников паек — вот какой у нас Костя охотник!»

Но однажды Костя подобрал в лесу плачущего, величиной с катанок, медвежонка. Положил в мешок, с осторожностями, с оглядками по сторонам принес домой, стал поить из соски молоком и «вдруг,— рассказывал мне Костя,— чувствую спиной — кто-то смотрит на меня через стекло. Я лампу поднес к окну, с той стороны медведица. И веришь или нет, не звериные — человечьи глаза. Душа в них, боль, горе, страх. Медвежонка выпустил и с тех пор задумался — задумался и теперь только щук спиннингую, глаза у них ничего не выражают. А то, что в цирке, в телевизоре показывают, как медведи на задних лапах за подачку ходят, все это не то, не развитие зверя, наоборот, душа ссыхается у него от неволи. Вообразите себе — звери победили, и нас, человеков, дрессируют, заставляют на четвереньках насильно бегать. Конечно, мы постепенно опустимся. Так и зверь — только в своих звериных условиях, в лесах, когда на него сверху не давят, полностью свои способности выявить может».

И с тех пор у Кости стали складываться особые, незримые отношения с животными: они друг друга понимают. Приведу такой случай. Молодые семьи, для обзаведения, для покупки домов, на лето нанимаются пасти совхозных коров. И далее, приобретя все необходимое, снова, но теперь уже по велению сердца, продолжают наниматься просто так, не для денег. Ждут лета, как праздника. Но в семье не без урода. Бросили среди сезона пастьбу Куприяновы из Подберезья, хорошо хоть сообщили об уходе за неделю. И вот другую цыганскую парочку переманил к себе соседний совхоз, прислал за ними трактор, и они, не предупредив никого, покинули Заходы. Для телят начались трудные дни. Стоят взаперти в загоне день, два, три, ревут так, что сердце разрывается на части, лижут по утрам росу с изгороди. Костя сторожем и водовозом при телятах работал, на телефоне день и ночь сидит, просит новых пастухов у управляющего. «Попробуй, выпусти их, ты же пасти не сможешь, пропадет хоть один теленок в лесу — ответишь. Чудак человек, списать легче, если падеж налицо»,— отвечает Косте управляющий. В Вознесенье это случилось, не до нетелей людям. «Тогда,— рассказывает Прасковья Андреевна, вторая жительница Заходов,— Костя пошел к ним в круг, о чем-то долго говорил, махал больной рукой, потом уперся плечом в изгороду, слабо стал ее раскачивать, и вдруг телята один за другим, те, кто еще в силах, стали вставать на ноги, лбами упираться в жердины. Изгородь затрещала и повалилась».

— Костя,— спрашиваю я его,— о чем ты тогда говорил телятам?

Костя смущенно улыбается.

— Да так, пустое, доказывал им не бояться, проявить инициативу и разломать изгороду. Да вишь, телята колхозные, робкие, выросли в одинаковых условиях, все на одно лицо. Частных я бы мгновенно разжег.

Костя приходит к дедке Пете чаще других. Но они мирно обсуждают жизнь недолго. Каждый раз обязательно разругаются. Спор у них о том, чей угол болота краше, лучше, плодороднее. Болото, как любая область, поделено на районы, имеет свои участки: Рдейскую Чисть, Темный Карман, Татинские топи, Дулово. Ну, а Костя живет на Лебединце — огромном, как бы моховом заливе, уже в Калининском регионе.

Начинается у них вроде с подначек: «У нас — у вас», клюква крупнее, рыба слаще, сушеный боровик духовитее. В Лебединце цепь около камня под мох уходит — на конце бочонок с кладом. А у нас в Свинаеве камень с неба упал. Придираются к названиям деревень, к говору: «Сыноцек, там на полоцке в косолоцке иголоцка в клубоцке».

«Чего же ты тогда ходишь сюда?» — приводит последний довод Петя. «Все,— скажет в сердцах Костя,— больше не заявлюсь!» Надвинет кепочку на брови, бежит прочь и тут же начинает через синь в бинокль смотреть на треногу, ждет, когда дядька Петя на ней разложит козу, дым пустит — знак примирения.

Но однажды с Костей приключилась беда. В Заходах закрылся коровник, жена не могла без работы, уехала дояркой под Лугу, уговаривала ехать и мужа. Костя на пробу месяц пожил в лужских местах, в многоэтажке, и тут же вернулся в Заходы. Но дома, в одиночестве, с ним случился инфаркт. Костя очнулся, пополз на подворье, чтоб сообщить людям о своей болезни, высунул голову в квадратное окошко ворот, прорезанное для Дуката. Сутки лежал в подворотне. «Очнусь, мимо шефы ходят, на меня смотрят, думают, наверное, пьяный, снова очнусь, опять ходят,— позже рассказывал Костя,— лежал, пока Петя не забеспокоился: дым пустил, но друг сердечный, спорщик Костя, не идет. А тут и пес Дукат в Горки поскакал, за полу деда в Заходы тянет».

Врач объяснил нетипичную для колхозного человека болезнь теми обстоятельствами, что Костя, будучи при коровнике водовозом, двадцать лет без отпусков и выходных заливал в бочку ведром воду и выливал ее ведром, и все левой, левой, левой рукой. Ну и подорвал сердечную мышцу. После этого Прасковья Андреевна продернула Косте через всю одежду резиночки, сшила торбу под бок: картошку собирать, сходить за двенадцать километров в магазин, на почту. Костя, как только забивает свинью, посылает своим детям в Сибирь две посылки сала.

Теперь после болезни у него и в единственной руке пропала сила. Но он приспособился месить тесто толкушкой, в которую упирается животом, картошку чистит, наколов ее на гвоздь. Видя такое дело, во многом ему стал помогать в прошлом довольно-таки шелопутный Дукат. Пасет под дубами полосатого, как арбуз, кабаненка, подаренного одним охотником, вечером загоняет в хлев овечек. Сварливая коза, купленная Костей за бесценок из-за характера, вдруг перестала брыкаться, стоит смирно во время дойки.

Глядя на него, я часто думаю, что для цирка пропал талантливый дрессировщик. Но скорей всего не для цирка. Он же не дрессирует животных — просто разговаривает с ними, не навязывая никому свои приказы.

Не навязывает никому своего образа жизни и Мертвец Орлов. «А почему мне нельзя пожить на островах, как я хочу? Неужели не имею на это права в конце своей жизни?» — помнится, горячился он в разговоре у костра.

Приплывет к дедке Пете весной, а если дождливое лето, то и летом на своей верной берестяной лодочке... по мхам. Дело в том, что Орлов сделал ее на современной основе — эпоксидном клее и, всегда имея с собой его запас, латает прорванные бока, благо сырье — береста — растет на островах в изобилии.

Болото верховое, по нему в разные стороны текут ручейки, всюду озерца воды, а протоптанные во мху вековые тропки напоминают в дожди каналы, и Орлов от озерка до озерка, от лужицы до топи, отталкиваясь от мхов шестами с поперечными дощечками на концах, словно на костылях, носится по трясинам. Всегда долго стоит на вышке с биноклем, рисует на самодельных картах все новые и новые проходы в сторону Рдейского озера и далее к реке Полисти, главной артерии края. Все огромное, тридцать на сорок километров, болото знает наизусть. Наверное, туристам с ним стоит познакомиться, чтобы освоить новый вид движения в их спорте — водно-моховой.

С Орловым я сошелся в несколько необычной обстановке. Однажды мне довелось шагать от Белебелки вверх по неспешному течению Полисти. Река щучья, лещовая, течет вровень с берегами, и тихие ветлы клонятся к ее воде. У деревни Переезд был предупрежден жителями, что далее на двадцать километров вперед до деревни Глотовской пойдет группа заброшенных селений: Папоротно, Вороново и, главное, чтобы не останавливался около кладбища в Чертовой деревне, там по ночам чудится: плавает мертвец в гробу.

Я не придал значения их словам: уже слышал не раз о староверческих гробах-колодах, которые носятся по волнам Полистовского озера — оно подмывает старинный кладбищенский холм, который расположился на мысочке у костра.

Закатилось солнце, серебряным паучком опускалась к горизонту Венера, и вдруг, подняв голову от огня, увидел, как бесшумно скользит по воде в мою сторону силуэт лодки, пристает к берегу, и из нее выходит высокий человек — ввалившиеся глаза, на плечах драный ватник: «Разрешите представиться — Мертвец Орлов! Выпить есть?»

Ну, раз выпить — отлегло от сердца, да и рука у «мертвеца» была теплая, человеческая. Совсем успокоился, когда он протянул мне справку: «Дана настоящая Орлову С. Т. в том, что он скончался от цирроза печени 17 мая 1978 года. Медсестра Осиповского дома престарелых М. Федорова».

На Болотах всякое бывает, удивляться отвык. Потом мы с Серегой Тимофеевичем пили у костра крепкий заварной чай, а перед чаем кое-что и покрепче пробовали. Орлов свою фамилию оправдывал: клекочащий голос, нос крючком, вместо ногтей настоящие когти. Летом безо всякого инструмента дерет ивовое корье, чем и кормится.

Он почти противоположность Веретелю, о котором ниже, хотя корни у них одни. Вся жизнь Орлова, начиная с молодости, сплошное неподчинение закону, сопротивление, бега. На склоне лет и то не угомонился, как весна, исчезает из дома престарелых, нарушает им отчетность.

— О моей жизни целые ро́маны можно писать,— рассказывал Тимофеич.— В молодости трудолюбивый был, да-да, трудолюбивый, а с тех пор, как нашу семью кулацкой объявили и на Север перевезли (это при двух-то коровах), подался в бега. Всю жизнь теперь бегаю. Привык. Скажи мне сейчас: разрешаем жить по-старому — я им кукиш покажу. Не раз был приговорен к смерти. И наши меня расстреливали, и фашисты, а я все жив,— хохочет «вечный жихарь» Серега Орлов.— Первый раз через кулачество в восемнадцать лет меня кончали. Мой же товарищ, корешок, активист, повел под оружием в сельсовет. В хлавицкой болотине, безо всякого толковища наган мне в спину возьми и нечаянно разрядись — мы за одну девку соперничали. Он отчет за попытку к бегству пошел писать, я хриплю, вылезаю из пропницы. До острова Межника дополз, у председателя Лосева подлечился, его женка мне теткой доводилась.

Второй раз меня снова наши расстреливали в начале войны с германцем. На пять человек одна винтовка — и в бой! Мол, обзаведитесь на нейтральной полосе всем необходимым. А я им — нет, пока винтовку лично мне не дадите — не пойду! Меня — на показательный расстрел перед строем. Раз дала тройка залп — мимо. Стою, немею. Второй раз стреляют. Вижу, у двух руки трясутся — «СВТ» заклинило. Для расстрела новые винтовки выдали, а они пыли боялись, их потом с вооружения сняли. Начальник команды шепчет мне: «Выручай, браток, падай на землю!» Ну, я вижу, надо помогать человеку, после третьей осечки взял и упал. Меня за ноги, голова об камни бьется, «осторожнее, черти»,— поволокли в машину. Сейчас вот смешно, а тогда не до смеху было... Уже позже на свободе свечечки за здравие и за упокой конструктору Токареву ставил.

Потом в танке горел, потом немецкий плен, бежал, поймали, снова расстрел, немцы — спецы по этому делу, но я тоже с опытом: упал на дольку секунды раньше залпа. Лежал целый день под трупами, под землей, могила зимой мелкая, слушал, как у соседа кировские часы тикают, в те времена без знака качества их делали, просто за страх. После войны опять не вытерпел — бежал, за плен наши срок подкинули, получил четвертной, вышел по амнистии после смерти Сталина, к концу жизни попал в дом престарелых. И тут уже врачи меня к смерти приговаривают: «Жить тебе, Орлов, осталось не более года — рак у тебя внутри». А я нисколечко им не верю, не боюсь: только что нормы ГТО в доме сдавал, самого директора обогнал, опозорил перед старушками. Он меня вызывает и за подрыв авторитета приговаривает на неделю к лишению компота. Да что за жизнь такая, все только и приговаривают! Я разозлился и снова ударился в бега.

С одной бабкой разговорился в автобусе, она на родину ехала. Среди полистовских болот остров сухой, а на нем деревня — Ратчей звать. Мне это все известно, но слушаю, как Маня в Ленинграде на «Химике» раньше работала и тоже врачами к смерти приговорена была, а как стала лесной ягодой питаться — морошкой, малиной, брусникой — вот уже десять лет живет, и хоть бы что. Звала меня к себе в гости, но я отказался, поселился в шалаше сам по себе на соседнем острове Домша возле Русского озера. Осину с пчелами завалил, ягодами, рыбой питаюсь. На Рядохе лесные орехи, на Межнике — белый гриб. Осенью являюсь в интернат, а меня не принимают, решили — помер, взяли и списали.

«Да какое на это право у вас,— шумлю,— я законы знаю, только после трех лет отсутствия можете человека списывать». А профорг мне отвечает: «Не надо было подрывать авторитет директора!» Пришлось тон сбавить. «Дайте хоть какую-нито справку, что я Орлов!» — прошу, а они мне свидетельство о смерти протягивают. Я спорить не стал, работаю у них зимами на подхвате и кухонным мужиком, пью сушеные венички из морошки, и все лучше и лучше мне.

Правда, полюбил уже разные места, всю реку от деревни Переезд до Полистовского озера. Такой уж характер кочевой от времени сделался. Сначала в брошенных домах останавливался: сегодня в Вязовке живу, там же и баньку топлю, завтра в Папоротно в школе, в сельсовете в Гривах. В Вороново, пока деревня под покосившимся неотключенным током стояла, телевизор смотрел, шефы с радиозавода брошенный «Волхов» подремонтировали. Ток кончился — книголюбом заделался. С чердаков книги стаскиваю в серболовский лес, в дот, где у партизан партконференции проходили. «Далеко от Москвы» почти до половины прочитал.

И еще в каждой стоянке грядочки содержу: в одной лук многолетний пропалываю, в другой клубнику обрываю. Картошку вот в этой Чертовой деревне за пустым коровником посадил, ужо завтра с тобой подкопаем, а яблочки, почитай, на каждом бугре краснеют, особенно по скобскому левому берегу моей Полисти, где раньше хутора стояли. Осенью загрузишь лодку и плавишь ее вниз по течению до Белебелки. Клюкву сдаю, грибы — жить можно. Ну, а как избы рушиться стали, без присмотра дома долго не стоят, укрытия около огородов поставил. Дернин нарежешь, на жерди уложишь со щелью по коньку для дыма,— приспособился за день шалаш ставить. Катаюсь по родине от одной землянки до другой.

Полюбил реку, познал: к примеру, леща беру на Шульгинской яме, щук у хутора Лисичкина. С бобрами здороваюсь. Тяну до самых белых мух, еще и сбегаю по первому ледку на Русское озеро, очень уж там сладок окунь, с добычей в комплекс заявлюсь, старикам уху на весь дом престарелых состряпаю, рассказами о прожитом только и держусь до следующей весны.

В апреле «ау», нет меня в апреле в доме престарелых.

Пять лет так живу, и совесть не мучает меня, молодею и молодею, впору женой обзаводиться...

«Да кто за тебя пойдет»,— кричит Веретель на Мертвеца Орлова, если эти два антипода сходятся в Лисовых Горках. Веретель из псковского Сихова, сидень по характеру, не то что в Пскове, ни разу в райцентре Бежаницы не бывал, некогда ему — все время вкалывает, вертится, ни минутки не посидит без работы, вот поэтому и Веретель. Он выходит на Лисовые Горки послушать и посмотреть Валентина. Новгородцы наняли для прокладки электролинии через болота шабашников, и те, пробив метровые толщи торфа, на совесть вкопали во мхи прямые, как свечечки, столбы. А у псковичей работала государственная ПМК, через год линия кеглями стала заваливаться на стороны, и в основном почему-то в дни, когда идет передача про изобретателей.

Дело в том, что Веретель устал ждать [1] разрешения от правительства на обработку островов частниками, мечтает иметь маленький домашний трактор для своего огорода, да и годы идут, он взял и написал изобретателю Валентину в телевизионную передачу. Но когда Валентин выставил на экране мешки писем по поводу этого мини-трактора, беспомощно разводя руками, мол, товарищи, сил моих нет всех удовлетворить чертежами, Веретель так яро заплевался, что кинескоп, сделанный со знаком качества, лопнул, и теперь их за домом на огороде валяется уже парочка. В первый телевизор ахнул из двухстволки Петя, когда сельскохозяйственный комментатор Иващенко, сладко улыбаясь, сообщил, что в деревне Лисовые Горки ударно вывезли сено на материк. (Зима в тот год стояла квелая, и зимник на острова так и не удалось проложить.)

А недавно, зимой восемьдесят пятого года, от Веретеля пришло письмо к Алле Николаевне Т. Она, северянка, с деньгами, жила на станции Бологое и все мечтала выстроить на одном из островов дом, чтоб в нем жили и набирались сил бездомные, начинающие поэты (см. «Рдейский край»). Но мечты свои эта экзальтированная женщина не осуществила полностью, хотя с одним

[1] См. мою книгу «Рдейский край», изд-во «Сов. писатель», 1984, с. 240—244.

поэтом бездомным она все-таки сошлась, но вместо островов (а как восторгалась когда-то Болотом на вышке!) переехала из Бологого в кооперативную квартиру в Новгород. Но и ее чем-то притянул край, изредка наведывалась в Горки, вела переписку с полистовскими жихарями, и на днях показала мне это самое письмо.

Алла Николаевна смеется: «Начала читать и ничего не пойму, Веретель меня просит купить трактор. Я думала сначала, что это марка стиральной машины или холодильника, но потом разобралась». Пишет, что он слышал, что «поэты» жрать и пить горазды, он готов, если Аллочка достанет ему маленький трактор, о котором писала «Новгородская правда», снабжать Николаевну маслом, медом, белым грибом и клюквой до последних дней ее жизни.

А в конце письма к его просьбе приписались и другие жители Лисовых Горок: дед Петя, Непьющий, Петя Горбунов, Шура Бусинка и даже однорукий Костя Курлапый. Всего десять подписей стояло под письмом.

— Как Костя будет управляться с механикой, не представляю,— удивляется Алла Николаевна.— Разобьюсь в лепешку, друзей мужа разыщу (покойный муж ее был на Севере большим начальником), это ж надо — до конца жизни буду обеспечена продуктами. Продовольственная программа — программой, но на всякий случай надо подстраховаться.

Я рад письму Веретеля. Прошлый год влюбился в Ладогу и все лето бродил по ее берегам, думал, что совсем распались Лисовые Горки, но нет — скрипят, живут, сопротивляются разным обстоятельствам жизни. Нынче на Пасху, например, приехал из-под Ленинграда в Горки Кляпенок. Николай Петрович Васильев вот уже три года как съехал с Груховки — соседнего острова. Ждал-ждал разрешения правительства на индивидуальную обработку ста гектаров земли вокруг его хутора, не дождался и, как говорится, последним из могикан покинул остров, поехал к дочке Надежде в Гатчину, где она работает после института агрономом.

И вот потянуло тоже постоять на маяке, окинуть взором родное Болото. Да и не только окинуть, Кляпенок человек деловой, набрать заодно клюковки-веснянки, она на базаре городском «рупь — стакан». Привез с собой жену Зинаиду, сына Валентина, который недавно женился и живет теперь в Новгороде в примаках. Но, увы, поедут этой весной обратно не солоно хлебавши. Надо им было письмо в Горки написать, разведать обстановку — ничто и на болотах не стоит на месте.

Моховщина с повышением заготовительных цен на ягоду все более и более подвергается круговой осаде горожан. В Лисовые Горки повадились ездить двенадцать москвичей. Нанимают в Холме у связистов вездеходную танкетку за сто рублей и, пожалуйста, через два часа они на острове. Болото постепенно покрывается незаживающими следами от гусениц, но кому какое дело до этого, если и холмское и новгородское начальство тоже ездят на охоты-рыбалки, по клюкву на этой амфибии. Да и не только за клюквой, очень легко догоняют копытных по снегу с помощью вертолета, который по рации наводит их на острова, а уж далее дело «танкистов», так их прозвали местные жители. Последнего кабана в Груховке, например, взяли в эту зиму (восемьдесят пятый год).

— Гады эти горожане,— помнится, ярился на вышке Кляпенок, когда увидел после ночного теплого дождя освобожденную от снега, но без обычного красноватого клюквенного оттенка, болотную замшу.— Добралась и до нас Москва — ненасытная прорва! Мало ей, что в ее огромное брюхо жратву поездами валят, еще и наши края приехали грабить! Да, рупь — стаканец, они у нас через колхозы мясо-сало брали, должны же мы ответно как-то и их щипать. Моя б воля, создал на стыке трех областей Болотную республику, у них иногородним запрещено прописываться, а мы бы кордоны на дорогах против их «жигулят» поставили.

— Но, Коля, ты же потерял право голоса, теперь и ты сторонний наблюдатель,— на первый настил не спеша взобралась Кокушка, крестная Валентина. Когда-то в двадцатые годы была послана в местную коммуну из Ленинграда, но та скоро распалась, Кокушка вышла замуж за брата Кляпенка (его убьют в войну), да и прижилась в Груховке. А как Васильев съехал, перешла в Лисовые Горки в дом к Шуре Бусинке и с ней коротает век.

Потом мы спустились на землю, сидели в домике у Шуры, строили полушутливые планы. Николай Петрович по уму мог бы быть болотным министром, он не просто говорун, критикан, у которого свое хозяйство в развале, есть и такие люди в Рдейском крае, вся семья Васильевых трудолюбива до предела.

На земле зашел разговор менее откровенный, чем на «небесах». Так лисовчане в шутку называют свои походы к маяку: «полезли на небеса».

На земле Николай говорил о создании на территории полистовского болота Рдейского национального парка-заповедника, его давнишней, навязчивой мечты. Но как-то вяло говорил, без энтузиазма: он же теперь не полистовский жихарь. Но если все-таки его записку примут, он вернется домой.

Я читал его «Проект о сохранении и дальнейшей жизни Рдейского края в качестве самостоятельной и культурной экологической единицы». Да-да, вот такой был мудреный заголовок, словно к какой-то научной статье, но и это не помогло, записка, отправленная пять лет назад, увязла где-то в инстанциях. А ведь был в ней, мне кажется, глубокий смысл, так как составлена она местным человеком, насквозь знающим свою малую родину, и, к сожалению, ирония, высокомерие многочисленных ответов были порой очень неуместны.

Николай Петрович Васильев предлагал еще тогда сократить до минимума посещения края иноболотными людьми (помню, так и было у него написано — «иноболотными»), а если выдавать лицензии на сбор ягоды, то обязательно запретить клюквенные комбайны. Приводил в пример Ратчу, где из года в год в пустующих домах деревни собираются осенью куйбышевские добытчики, и до того ободрали они вокруг острова клюквенную многолетнюю поросль, что ягода там измельчала до бузины, да и вкус у нее стал какой-то горький, вредоносный.

Не хочу подробно распространяться о Проекте Васильева — это отдельная тема, еще скажу только, что суть его заключается в том, что через «Парк» ли, «Республику» Васильев предлагает на болоте держать *равновесие.* Пусть продолжается все, как сегодня есть, считает он. Работает торфопредприятие ЦЕВЛО, добывая столько торфа, сколько его нарастает за год (1,5 мм $\times$ 1200 кв. км), иначе куда же людей деть, тлеют немногочисленные деревеньки на островах, местные жители пусть сеют, как и сеяли раньше, хлеб, охотятся, рыбачат, собирают грибы, ягоды. Васильев допускает даже, что можно оставить на болоте и танкетку. По этому поводу у них с дедкой Петей произошел спор, отчего мы сегодня и сидим у Шуры Бусинки.

Добавлю только от себя, что даже болотоступы, на них я ходил по межницким трясинам, когда целых полгода жил на болоте, почти на пятилетие оставили незаживающие следы. Очень и очень осторожно надо подходить к внедрению любого новшества, даже крохотного, на тонкой, устоявшейся тысячелетиями болотной корочке хрупкого Рдейского края.

Помню, как яро плевался и шипел Петя, когда по телевизору представляли когорту изобретателей и рационализаторов с их дикими прожектами (кроме Валентина, естественно). Прямо-таки рвался вывести из строя очередной кинескоп, особенно если с экрана смотрело на нас и верно какое-то неподвижное, бездуховное лицо главного редактора журнала «Конструктор». Редактор, не подумав, опубликовал чертежи самодельного вездехода на трех полуспущенных самолетных баллонах, и теперь их носится по болоту в чаде и трескотне целых шесть штук. Один даже со странным сооружением — граблями за кормой, после которого не то что ягодинки, листочка зеленого не остается.

Словом, разговоры наши у Шуры были не очень-то радостные, и я, чтобы как-то отдохнуть от них, предложил после обеда вновь отправиться «на небо». И полезли, благо погода состоялась в ту Пасху теплая, солнечная, видны были и без бинокля решетки Рдейского монастыря, острова Кожмино и Шапково, даже дымовой гриб строящейся электростанции в Дедовичах просматривался. Вся надежда на то, что станцию, которая по плану должна сожрать и превратить в золу за сто пятьдесят лет дефицитный торф (недавно из него научились добывать даже кормовой сахар), будут строить не меньшее количество време-

ни, и нам, пращурам будущих своих, уж не таких и далеких, потомков, может быть, не придется ворочаться в гробах.

Сидели на помосте, ласкал нас теплый ветерок, Груховка как на ладони была.

— Ведь мой отец после революции ставил здесь Советскую власть,— рассказывал Николай Петрович,— селились на острове, в основном, бывшие бойцы Красной Армии: конники Котовского, партизаны разных течений, украинцев много понаехало, латышей, немцев-колонистов — всем места хватало. Постепенно окрепли, зажились, до десяти коров в семьях держали.

И вдруг тридцатые годы накатили, то, что не могли за сотни лет сделать силачи,— богатырь Святогор только на волосок приподнял котомку Микулы Селяниновича, помните, в ней лежала тяга к земле,— Иосиф Виссарионович сделал за два года. Как? Почему такое случилось? Да потому, что нашлись такие, что поддержали Сталина. И не только нищие, лежебоки и всякая тунеядствующая сволочь, позарившаяся на трудовое чужое добро, пена, которая по закону жизни в любом обществе всегда будет, но и середняк, крепкий крестьянин был околпачен. Вроде задумка-то ему была предложена неплохая: сообща, без межей работать, мол, выгодней, сподручней это. Труда будет вкладывать меньше, а отдача увеличится.

На вышке разговоры всегда более откровенные, чем внизу, там вокруг деревья, бугорки, кустики, а здесь небо, воздух, все стихло вокруг, редкий день в апреле такой хороший, даже ветра нет — некого опасаться, и Васильев совсем разошелся,— но не учли одного: раз не мое, а наше, стали прятаться за спину друг друга. Вроде бы хорошо для города: бери из общественного амбара сколько хочешь, греби подчистую, но это только хорошо на первых порах, в первые индустриальные пятилетки. А далее так получилось, начали мы все сообща подрывать корни дуба, от которого шла жизнь в стране. Мы городу не противимся, и город уже не задумывается, как выход найти из трудных положений, раз хлеб и сало на поверхности лежат. Все и попали в ловушку. Ох, какое трудное наследство досталось нынешним властям!

Прямо непонятно, как это все легко произошло. Мы же до того земельные люди были, дрожали за каждый бугорок. Дед рассказывал, как Лисовые Горки бились с Груховкой за дорогу. Чтобы от материка проехать в Горки, надо вперед было нашу Груховку пересечь, а мы ни в какую не даем разрешения на дорогу — пропадает сколько-то земли. Какое нам дело до тупиковой Горки. Даже к царю от них ходоки ходили, и царь золотом у наших дорогу для Горок откупил.

А возьми наш образ жизни доколхозный, нет, он был не темный, ты не презирай нас, горожанин, он был другой, островной, сложившийся тысячелетиями. Словно мы на луне жили и никогда не должны с солнцем, то есть с материком, соприкоснуться.

Помню, это было в начале тридцатых, у нас на болоте торфяная экспедиция работала, совершенно, с нашего взгляда, непонятная, лишняя для нас организация. Наняли они подводы, на станцию везти образцы торфа, раньше Груховка имела насыпную дорогу на материк, меня батя с собой взял, и вот до сих пор засело в памяти, как один из наших при расчете в Локне стал возмущаться, мол, почему другим возчикам начальница дала 50 рублей десятью бумажками, а ему одну. Ивонна Донатовна, начальница ихняя, пошла в магазин, разменяла тройками и рублями — опять мужик в обиде: надо, чтоб было дадено ему десять бумажек, как у других.

Я уже учился в школе, вроде понимаю, что дядя Степа неправ: на одну ли бумажку, на десять купить можно одинаковое количество товару, даже смешно вроде, но когда Богдановская моему отцу предложила обменяться со Степой — сам возревновал, чувствую, хочу, чтоб было то же, как у всех — десять бумажек! Не отсюда ли слабинка от жития в деревне обществом, трещинка, по которой колхозная система в наши души пробралась?

И вот на нас свалился колхоз. Вперед явился один просто в шляпе, с портфелем за колхоз агитировать, мужики — ни в какую. На смену нового прислали, в черной коже, вместо портфеля — наган. У бати он остановился. Отец у Буденного в помкомвзводах ходил, активист вроде.

У кожанки просто дело пошло: «бух-бух» в потолок — подписывай заявление, «бух-бух» — подписывай. Я гордый хожу перед приятелями, как револьвер перегреется, мне, мальчонке, доверяют его чистить, дядя Виля в это время новые заявления заготавливает с пустым местом для подписки. Словом, оба времени зря не теряем. Патроны кончились, съездил — новую коробку привез.

«Бух-бух» — в неделю создал коллективное хозяйство, даже эстонцев, они в глуби, ближе к Темному Карману селились, охватил.

Уехал с положительным отчетом. «Что делать-то будем, мужики?» — тужит общество. «Релять!» — отвечает Сима-двоечник, бывший ильменский рыбак, ну то есть лавировать между волнами.

Ну и стали мы в дальнейшей жизни «релять»-лавировать. Да и начальство на материке поумнее кожанки оказалось, сквозь пальцы смотрело, что мы коров вместе не сводим, пашню по отдельности, как и ранее, пашем. Начальство в корень смотрело: сдаете продукции на душу поболее, чем в колхозах,— живите хуторами, не препятствуем. К тому же остров наш в стороне от ревизорских тропок стоял. Мы ведь порою и за настоящие колхозы старались. Приедет уполномоченный: «Выручайте, мужики, надо!» Покряхтим, разбросим по дворам натурный сверхналог, и далее до полугода спокойно существуем.

И в войну «реляли», хоть и к Партизанскому краю Груховка приписана была, на границе враждебных сил мы оказались, как бы меж двух огней. До большака, до Сопок, где контроль фашистский, от острова семь километров, а под северным боком — наши. Ночью партизаны в двери сучат, днем немцы продовольствие требуют. Все один и тот же заготовитель с командой приезжал, из фельдфебелей, по-русски мог калякать. Поговорить любитель, повозмущаться на наше хозяйство: какие вы странные, в Сопках бери сколько хочешь в колхозе, никто слова не скажет, они, немцы, даже в Сухареве для опыта совхоз распускать не стали, а у вас в Груховке все почему-то колхозиых коров с плачем и воем отдают.

Так оно и было у нас — отдавали с плачем, сопротивляться не моги — фашист сразу за наган хватается. Это с партизанами проще было — все же свои, не застрелят. Да еще, если баба цепкая да шуба крепкая, так и уйдут ни с чем.

Мы, в основном, только отряд Ивана Ивановича Грозного ценили. Те никогда прикладом в дверь не стукнут, войдут, вежливо поздороваются, попросят чего надо: полотенец, простыней на перевязки. Ведь мы ж за вас, черти, воюем. Ну и бойцов держал в порядке. За мародерство — расстрел.

А с фельдфебелем тем, Фридрихом, помню, его звали, батя все спорил. Помню, фельдфебель как-то разговорился (угостил его батя), все планы строил, вот если бы он был Гитлером, он Партизанского края бы не допустил. Русский, славянин, мол, не выдерживает палки, чуть что, в бега ударится. Приводил в пример казаков, ни в каком государстве такого беглого сословия нет, у других люди терпят, кряхтят, а не бегут. Такой культурный немец попался в золотых очках. Со славянином, мол, только ласково надо обходиться. Пусть даже поперву он убьет сколько-то германской нации — надо сжать зубы и перетерпеть. А мы, мол, сразу уже узаконили: любой солдат без суда может стрелять в коммуниста, еврея и цыгана. Ну, людям выхода и нет — они в лес побежали прятаться, а потом уже началось продолжение: в лесу поодиночке страшно, добыли оружия, объединились, плюс поддержка десантом с государства.

А батя ему в ответ, батя тоже выпил, да и видит, фельдфебель демократический, рискнул: «Вы,— говорит,— забываете еще одну нашу особенность. Как бы ни было плохо в доме, но это наш дом, мы сами его будем убирать и ремонтировать, релять, если нужно, но не потерпим советчиков со стороны, какую бы вы ни вели политику, вы — чужестранцы, и силой сломали наши двери».

Тут и Кокушка вмешалась, говорит немцу, она бухгалтером в Новоржевском районе работала: «Более ста колхозов в районе было, Фридрих Иванович, по шесть голов скота на человека держали, зачем же им добро от добра искать.

И пусть бы нам налог малый установили, но не в нем дело. Душу вместе с налогом не хотим продавать, пусть хлеб будет хлебом, а не „бротом“. А то, что вы про Сухарево говорите, цыплят по осени считают».

И верно, как в воду глядела тетя Ника, сухаревцы осенью весь урожай успели передать партизанам. На моих глазах Фридриха партизанская сестра милосердия убила. Ворвались в Груховку, я уже в партизаны ушел, а он, раненый, около избы лежит. «Мертвый? — спрашивает Людка, а Фридрих Иванович открыл глаза, смотрит на меня, узнал,— хочешь его пристрелить?» — у нее специальный мелкокалиберный пистолетик был, ранки не видать в виске — дернется человек и все, в плен и раненым не положено сдаваться. И хоть она на меня ругалась и грозилась, отказался я наотрез. Никогда ни с какой стороны не любил принуждения.

Вообще, я тебе скажу, в войну бы не выстояла Груховка, если б мы тоже в демократию не играли, если б жизнь не научила релять-лавировать.

Помню такой случай: с одного боку немцы в Груховку вошли, с другого, днем,— партизаны. Они со временем осмелели, силу свою почувствовали. Староста верхом на лошади мечется между ними. И немцев надо обеспечить млеком, и наших не обидеть молоком. Конечно, партизанам рассказал про немцев, только молит партизан, чуть не на колени встает, просит, чтобы они немцев не уничтожали, берите сколько надо коров, лошадей, только на фашистов не нападайте, иначе Груховке конец. Вы уйдете, а ее сожгут, потеряете продовольственную базу.

Умный был мужик, мы его уговорили за мир пострадать. Он и старался, страдал, и после войны страдал: что-то не смог увязать перед нашим следователем. У него заведено было: немцы входят — Гитлера вешает, наши — Сталина, и однажды, в последний раз, наши навечно в деревню вошли, а он оплошал, перепутал склеенный портрет. Потом десять лет на Колыме трудился. Недавно ездил в Холм хоронить его, так веришь, человек сто собралось, помянули Ивана Петровича добром, пусть земля ему будет пухом. Вот о таких людях почему-то никто не напишет, о старостах, которые между молотом и наковальней были. Даже Иван Иванович Грозный приезжал на похороны со своей Слободки, домик своими руками построил и живет себе скромно в деревеньке на Ловати. Потом сидели, вспоминали войну, как Иван Иванович, когда отряд его шел на Холм, у нас останавливался. Большинство в кепочках, в ботинках, обмороженные, голодные шли Холм отвоевывать. Три дня в сорокаградусный мороз снега в болотах торили, и ведь ни один из грозновцев насильно на одежду не посягнул. Высокой партизанской культуры отряд! Ну уж бабы груховские их и встретили, всех обули в валенки, полушубков набрали, кормили всем, что было и от немцев и от других партизан припрятано. А может, те, другие, и не партизаны — диких отрядов хватало под видом партизан.

Помню, вбегает в избу один мужичок, в чем душа держится, нет даже рукавиц, потрясает автоматом: «Край создали, отваги требуют, а снабжения никакого? Выходит, не доверяют нам? Надоело побираться у мирного населения, ограблю сегодня ночью кого-нибудь и все! А иначе не пойду дальше!»

Другой бы командир накричал, приказал, по стойке смирно поставил, а Иван Иванович чапаевского склада человек: посадил соратника за стол, в стакан ему налил, перчатки свои протягивает — сам-то тоже в ватничке захудалом, такой же катуль за плечами, как и у других. Так сказать, никогда «пыжиковых» кубанок не признавал. Ленинская традиция. Вон Кокушка рассказывала, как у них в Питере на митинге Цурюпа упал в обморок. Врач осмотрел его, говорит: от недоедания. А ведь Цурюпа был наркомом продовольствия. Были, конечно, и другого толка командиры; жизнь есть жизнь, к примеру, капитан Конкин, у него ординарец свое и его барахло таскал. Конкин как барин ходил в ремнях, полушубках. А Иван Иванович и его штаб ничем не выделялись из масс, за то его и любили люди. С Иваном Ивановичем ушел я тогда в партизаны и Холм брал. Очень не хотел партизанить, однако пришлось. Меня вперед уговаривали, ссылались на Леню Голикова, на Гайдара, на Уточку, была такая у них партизаночка четырнадцатилетняя, росточком не вышла, все ей канаву не перескочить, все купалась в лужах, вот ее уточкой и прозвали, а мой батя им отвечает: «Гайдар, товарищи, для меня не пример. Я против того, чтобы женщины и дети воевали — это наша с вами недоработка. Позор — в разведку под видом нищего или поблядушки мальца или девушку отправлять. Война — дело взрослых мужиков, ведь они ее придумывают и зачинают. И потом, а кто же вас кормить будет?»

А комиссар ему так ответил: «Поймите, гражданин, страна в страшном напряжении. Недаром товарищ Сталин назвал нас братьями и сестрами в своем выступлении, вопрос стоит — быть или не быть нам, но мы победим. Немцы, вон, трубят, вообще не по правилам воюем, раз Край создали. Как будто против фашизма какие-то правила должны быть. Когда плохо, трудно, Родина всех на помощь зовет — подожди немного, пойдем в наступление, молодежь отпустим, но помяни мое слово, под Берлином немчура точно в такую же позицию встанет. Попомни, Васильев! Ну, а насчет кормить, ты, конечно, прав, но сына все-таки нам отдай!»

Я сижу ни жив ни мертв. В Груховке мы так воспитывались: слово отца — закон, да и без слова не хочется в партизаны, страшно. Думаю, может, палец себе указательный отрубить — поздно уже, раньше надо было думать. Ну, не уродился я Леней Голиковым и все тут, меня больше к земле тянет, ее хочу переворачивать. Бывало, как начну грядки пластать лопатой, не остановиться — по нынешним меркам вроде как болезнь какая-то,— или за плугом идти, чтоб больше, больше, больше земли вспахать. Сижу, бледнею, краснею, и отец насупился, молчит.

«Ну, коли так,— говорит комиссар и достает бумагу,— есть приказ Сталина, с шестнадцати лет все мужское население Края должно идти в партизаны. Собирайся, сынок».

И брал я Холм спустя неделю. Помню, лежим мы в снегу, Иван Иванович перебегает от одного к другому: «Продержитесь, ребята, сейчас, вот сейчас дивизия Морозова подойдет, все согласовано». Мы уже почти весь Холм взяли, остались собор и тюрьма. Здесь фрицы еще сопротивлялись. Мы как раз против тюрьмы лежим, а оттуда, из-за решеток, заключенные поют «Интернационал», сам слышал: «Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но паразиты — никогда».

И потом уже, после Победы (как тогда в Холме, ведь так и не подошли морозовцы, пришлось город сдать), верили в помощь извне, уж такие мы русские уродились, погладят по головке и размякли. Понимали, порушенное войной хозяйство восстанавливаем, за палочки работаем, надо было — и терпели. А как стали названия колхозов меняться — «имени Сталина», «имени Жукова», «имени Хрущева» и так далее,— народ уже недоверчив сделался. Все это вместе на психику повлияло, а палочки уж больно на долгий срок растянулись, ну и побежал народ кто куда, раз веру потеряли.

Скажу тебе, после всех этих сверху спускаемых новшеств до того в них разуверились, что прямо-таки, может, и хорошие советы, стали все подряд в штыки принимать. Как-то так несознательно, что ли, не сговариваясь, каждый сам по себе, можно сказать, вредителем заделался. Помню, кукуруза стала хорошо на наших землях приживаться, тем более мхи как бы климат утепляют, так мы ее по ночам марганцовочкой, марганцовочкой... Дождь прошел, она и поникла. Начальство что-то заподозрило, зайди сейчас в любую аптеку, теперь марганцовки больше пакетика в руки не дают. В Новгороде ее тоже больше одной упаковки не отпускают, конечно, дело не в их «вредительстве» подсознательном. Да скорее всего это был апрельский розыгрыш Васильева, он на такие штуки мастак. Хотя и есть в его «откровениях» какая-то доля истины.

Мы со всеми удобствами расположились на настиле, у Пети на нем столик, скамеечки, ну и, естественно, раз Пасха, еще кое-что на столешнице. Апрель месяц капризный, но сегодня нам везет на погоду. Хорошо-то как кругом, Господи!

— А как разоблачили царицу полей,— продолжает Кляпенок,— как перестали на нее внимание обращать, мы ее для личного пользования по огородам у себя посеяли, початки до зерна доводили. Особенно сахарная кукуруза удавалась, мы ее даже консервировали,— и, заметив мой недоверчивый взгляд, кивает на жену: — Зин, скажи товарищу!

— Консервировали, консервировали,— отрывается от просторов молчаливая Зина.— И пусть начальство это учитывает, когда будет новые нови нам предлагать.

— Не удался опыт, найдите в себе силу переиграть его,— перебивает жену Николай Петрович,— нельзя же так чохом на всю страну его внедрять. Конечно, я понимаю, у руля всегда умные люди стояли, но они же в основном горожане, психологию крестьянина мало кто понимал, будем надеяться, что теперь изменится обстановка, юридическое плюс агрономическое образование у человека.

Сказал и смотрит на меня со значением. Ох, и дипломат этот Кляпенок:

— Ленин же с коммунами вперед небольшую попытку делал. Кокушка, расскажи.

Не берет нас хмель на чистом воздухе, сижу, слушаю Кокушку, тихий ее голосок.

— Я ведь сама питерская, только гимназию кончила, гражданская война, голод, разруха. Родители умерли. На работу не устроиться, курсы счетоводов кончила. уехала бухгалтером на Псковщину, это на запад от Груховки. В имении «Опочки» создали коммуну «Путь к социализму». А жили все в барском доме. Где библиотека была — парни, а в гостиной — девки. Танцевальный зал оставили для клуба. А если кто семейный, комнаты прислуги занимали. На пруду баня была, по колоколу — обед. Сначала так все хорошо мне показалось, народ подобрался дружный, отзывчивый, один парень все меня опекал. «Ну, Веруха, где лучше: в городе или в деревне, давай-ка с тобой обсудим», и пойдет доводы против питерской жизни приводить. Я, конечно, в долгу не остаюсь: учет запущен, рентабельности никакой, доказываю коммунарам, что нужно доходных свиней разводить, в основном лен сеять, и чувствую, никак к их сознанию не пробиться: а зачем о доходах думать — хватит! В старой жизни копеечку берегли, в лаптях ходили, руки к потолку — постановили уравниловку: «от каждого — по способности, каждому — сколько съест», думали сразу с помощью лозунга в коммунизме очутиться. И верно, вроде неплохо живем, из месяца в месяц дотацию получаем, баретки скороходовские выдали, мармелад от кондитерской фабрики коробками поступает, как выедем на пашню, обед в поле привезут, замполит забегает, зашепчет: «Чавкайте дружнее, коммунары»,— это чтобы единоличники, которые обратом да жмыхами давятся, время было голодное, видели, как мы хорошо живем, чтоб тоже в коммунары организовывались.

А я как-то и задумалась: коммунары постановили — незачем бухгалтеру целый день щелкать на счетах, пусть полдня в поле. А если все вступят в коммуну, где же тогда дотаций столько взять? Замполит на меня наскочил: «А ну, шевели челюстями, чего задумалась!»

Прошел год, и стала меня эта жизнь тяготить: и звонок на обед надоел, опоздаешь — уйдешь голодным, и кино без выбора — что привезут, и бесплатные зубной порошок и мыло в общем умывальнике все перепутаны, у всех грибки на ногах приключились, да и друг к дружке пригляделись сто человек, вызнали друг друга до потрохов. Этот, который надо мной шефствовал, ну раз можно поговорить, что деревня лучше города, ну два, а тут снова и снова, тупица проклятый, одну и ту же шарманку заводит. Старухе одной зубы вставили — как обед, ходит, кланяется портретам цэ-ка: «Спасибо правительству», всем свою розовую челюсть показывает, анекдотчик был, сначала смеялась его рассказам, но он же не бесконечный, давно выдавил их из себя, повторяется. Вижу, чавкаем уже вразнобой. Прошлый год в Старой Руссе в санатории лечилась, народу до тысячи, за месяц все надоело. А тут уже два года прошло. Да и уравниловка как-то незаметно испарилась. Председатель в кабинете барина стал жить, его зам помещение управляющего занял, мне дали комнату экономки. Правда, полировочки не было: два ящика — диван, бочка и доска — стол, в углу — зеркальце, просто жили, этого не отнимешь, в плен быт не брал, а все равно скучно. Как заведем политическую дискуссию о жизни при коммунизме, половина заснет, потому что неоднократно беседа такая проводилась. У меня была подружка, уборщица Маша, уже комнаты нам убирают другие, с кого больше спрашивается, тому больше и дается — лозунги поменялись, вдруг вижу, она куда-то отлучается. Однажды пошла за ней, подсмотрела, а у нее в лесной чаще грядочка вскопана, лучок посажен — поливать его ходит. Я ее стыдить: ну зачем тебе, у нас общего лука сколько хочешь, а она и объяснить не может. Первая покинула коммуну, за ней другие слабаки потянулись. Люди всякие шли: кто верил в идею, кто в общее одеяло, ленивые и работящие, коммуна на всяких людей и была рассчитана, ее задача — их дисциплинировать, объединить, перевоспитывать. Нельзя так сразу все решать. Ленин был бы жив, с колхозами бы в прореху не попали, тоже бы с малых количеств начали. Гигантомании не любил, забыли его завещания. Все хотим махом решить, по-скорому.

— Да, тогда с дырами батяня памятно поступил,— смеется Николай Петрович.— Спрашивает меня: «Ты, Колька, кожанке наган чистил, вы оба, кажется, без дела не сидели?» — «Не сидели,— отвечаю я гордо.— Когда вырасту, тоже, как дядя Виль, чекистом буду».— «Но для этого надо вперед школу кончить, счет освоить. Вы до скольки считать сегодня учились?» Я только что в первый класс пошел. Посреди Груховки и школа была, и сельсовет, и почта. «До пяти,— отвечаю,— проверяй, если хочешь».— «Хочу,— говорит отец,— с „решета“ сегодня и начнем».— «С какого решета?» — «Вот тебе ножичек, иди в дубки, срежь пять веток, выстругай кляпы и со стола забей пять дырочек в потолке. А завтра забьешь на сколько дальше счету пройдете. Так и изучишь всю арифметику. Исправлять надо потолок, вы же с дядей Вилем зря без дела не сидели».

И начались для меня дни скучные. Мальчишки гуляют, а я иду палочки строгать, затычки забиваю и чтоб заподлицо, чтобы прочно — батяня железным прутом тыкает в кляпы, проверяет мою работу. Двести три дырки заделал к ноябрьским праздникам, до сих пор помню. С тех пор у меня прозвище «Кляпенок» появилось,— смеется дядя Коля, смеется Зинаида Тимофеевна, смеется примак города Новгорода, их сын Валька.

— Ну, а Виля этого вскоре в Холме и порешили. Заспорил он с посетителями о чем-то в чайной, по уже необходимой привычке «бух-бух», но там ему не дали потолок портить, из обреза в лоб одного раза хватило. Надо же, за неделю наши души, жизнь, что складывалась сотнями лет, удумал перевернуть! А с другой стороны и торопиться надо. С цифрами в Продовольственной программе не согласен. Записано в ней увеличить дневную выработку на трактор за десятилетие на двадцать процентов — мало это, картошки произвести в один и два десятых раза — тоже мало. Про зерно и говорить не хочется. Ведь будет и прирост населения за эти годы. Не такой, конечно, как ранее. Получается повышение производительности на душу в год на полтора процента. Мало! Правда, в Программе написано, что это цифры минимальные, мол, думайте, люди, дальше, предлагайте — простор для мысли оставлен,— это я одобряю.

Поэтому выход, дорогой мой, вижу в одном и для сельского хозяйства, и для промышленности,— резкое повышение производительности труда. Это же так просто: добросовестно работать положенное законом время. Не филонить в рабочие часы, не пить на работе. И для этого правительство, считаю, должно все обговорить откровенно, опубликовать душевное Обращение к нам. Мол, так и так, люди, Родине трудно! Помогите выйти из сложного положения. Прямо, без обиняков сказать. Думаешь, советский человек не откликнется? Всегда откликались, и снова, если к нам с просьбой, с низким поклоном — откликнемся! Могу свои мечты об единоличном острове и отбросить. Лишь бы Родине, России было хорошо.

В конечном итоге, если страна в прорыве — неважно, как ее из тупика вывести! А потом уже счеты будем сводить.

Вот такой у меня знакомый Кляпенок, все подсчитывает, вечно спорит, и очень жаль, что он съехал с Груховки. Очень жаль. Край, как прилив-отлив на море, то исчезали Лисовые Горки, то появлялись вновь: варяги, князья, литовцы, Аракчеев. Был и в недавние, шестидесятые годы у них сложный период, когда деревню и маяк объявили неперспективными, но они не поддались провокации, выстояли очередное лихолетье. Один год казалось, что все, конец Лисовым Горкам. Чтоб первыми по району поставить галочки, занять хотя бы по списанию призовое место, дедку Петю включили в «Красную кни-

гу». Так Петя с горькой шутливостью называл список пенсионеров, подлежащих отправке. В области открылся показательный дом престарелых, и к концу года, чтобы в новом сезоне не срезали лимита, нужно было срочно укомплектовать комплекс подопечными. Старцев хватали где только могли. Люди при виде желтого фургона разбегались, прятались по лесам, словно в войну.

Явилась по зимнику целая бригада санитаров и к дедке Пете. Он обладал медвежьей силой, поэтому его подпоили. Очнулся он уже на тракторных санях под Варавинкой, путы разорвал, раскидал во все стороны служителей... После этого случая его еще дважды приходили брать, но уже сельсоветчики — он все портил и портил отчетность по укрупнению деревень, но каждый раз дед выставлял в окно против них свою «тулку».

И продержался. Правительство, наконец, поняло, что без малых деревень все еще не обойтись, вновь их объявило перспективными. Правда, власти на местах очень уж тугодумны и неповоротливы, да и где при такой производительности сил денег взять, чтоб восстановить порушенное. Спасибо им, что хоть не стали мешать людям, которые вновь вернулись в Лисовые Горки.

Первым приехал, точнее, переехал на остров подалее от начальства, Петя Горубнов. Он бывший горожанин, вперед по незнанию поселился на полуострове юго-восточной части болота, в деревне Юренки, но так как ему было только пятьдесят лет, как ни совал под нос милиции трудовую книжку с законно выработанным стажем в тридцать пять лет, все равно земельный участок был обрезан по крыльцо, хотя его самого и не тронули. Он жил с женой Валей от клюквы, а теперь, когда ему исполнилось шестьдесят, тоже стоит в том же списке на трактор.

Вернулась в Лисовые Горки и Шура Бусинка. Я с ней познакомился, когда внедрял в Холме свои изделия ширпотреба, подделки под янтарь: жучки, запонки, бусы, кулоны.

Как-то в один из приездов обратил внимание на худенькую, остроносую женщину, она никак не могла поймать паяльником стык ножек жука — так сильно у нее тряслись руки. Шура подняла голову — черные, как черничинки, глаза ее были заплаканы.

— Что с ней? — спросил я бригадира Ольгу Жильцову. Когда-то мы с Ольгой осваивали жуков, и я не мог не порадоваться ее точным, экономным движениям. Ольга схватывала все быстро и четко.

— А то! — сказала Ольга гневно, сузив и без того узкие свои глаза.— Раньше с «Красной доски» не слезали, а теперь из-за нее второй месяц не можем получить классное место! На наши головы эту кляксу в бригаду сунули — мы же на один наряд работаем. Верно, девчата, я говорю? — Ольга говорила все это показательно, громко, на зрителя.

У женщины еще сильнее затряслись руки, блеснули слезы на черных длинных ресницах, она вскочила и побежала прочь от цеха.

И тут в цехе начался гвалт. Одни кричали, что Ольга не права, подумаешь, пять рублей каждая из бригады временно теряет, другие защищали Ольгу.

— Возьмите Бусинку себе, что ж вы себе ее не возьмете!

— Не надо над ней издеваться, она тихая, она не может дать сдачи, зачем ей вчера привязали хвостик и хлеб эпоксидной смолой вместо меда намазали? Раньше у нее получалось, а как стали на нее кричать, так руки у нее и затряслись! На наши души выдумали этот один наряд. Уравниловкой всех оплели. Жильцова своим голосищем кого хочешь в страх вгонит!

В раздевалке, уткнувшись в пальтушки, рыдала маленькая женщина. Я пошел сначала к парторгу. Парторгу было некогда, он вместе с художником готовил к Первому мая лозунги. Начальнику тоже было не до конфликта, Евгений Федорович сидел на телефоне, выбивал через ПМК кран, чтобы поставить вокруг цеха ограду. Вот если бы это произошло несколько лет назад, когда заводик начинался с ширпотреба, но потом на доходы от жуков стали строить цеха основного производства. Построили, запустили, и начальник по макушку завяз в главных делах. Ширпотреб, словно мать, вырастила нелюбезного сыночка на свою шею, и теперь «дитятя» даже не желало платить алименты.

— А мне, что ли, больше всех надо? — сказал я себе и тоже принялся

работать, за что вскоре и был наказан: собрался уезжать домой 30 апреля, но местное радио объявило, что в связи с распутицей дорога на Новгород закрыта, а аэродромчик раскис. Пришлось Первого мая идти на демонстрацию с холмскими мастерами. Меня как гостя пригласили в первые ряды.

Майское солнышко сияло, люди порасстегивали свои плащи. Впереди шла Ольга Жильцова. Все-таки она добилась права на несение флага. К тому же у нее уже была медаль «За трудовую доблесть». Она, пока единственная, получила ее на производстве. Сзади нас шли бригады, выстроенные парторгом согласно занимаемым ими местам.

И вдруг по рядам пробежал шепот, люди оборачивались куда-то назад, что-то говорили.

Обернулись и мы из первого ряда. Колонна была не ахти какая большая, человек пятьдесят пришло, и я увидел в задних рядах Шуру. Ветерок распахнул полы ее старенького пальтишка, и на груди у нее звонко засияли два ордена Ленина, Трудовое Красное Знамя, еще ордена и медали...

— Почему мне ничего не сказали, почему я ничего не знаю? — шептал начальник цеха парторгу.

Парторг зло косился на кадровика. Но тут мы подошли к трибунам: «Советским ширпотребщикам — ура!» — закричали с трибуны.

— Ура! — ответили мы.

После демонстрации я пошел провожать Александру Петровну. Она снимала угол на краю города. Разговорились. Оказывается, Шура раньше была дояркой в Лисовых Горках и прозвище у нее там было другое — Ресничка, но у нее заболели руки, тогда еще не было доильных аппаратов и разных механизированных комплексов, а потом коровник, как и в других неперспективных деревнях, закрыли. Детей они с мужем не народили, не до детей было, когда боролась, ох и глупая, «за славу», за удои, а тут Васька начал пить. Она виновата, однажды не дала ему пятерку, он в Высоком сломал магазин. Теперь каждый раз, когда выходит из заключения, ломает магазин, полюбил почему-то тюрьму, это сделалось у него привычкой. А последний раз ему не повезло: залез на другой день после подорожания коньяка, и сумма набежала приличная. Теперь выйдет не скоро. Сестра у нее умерла, она дом заколотила и подалась в люди, в Холм. Но маяк ей чуть ли не каждый день продолжает сниться, очень уж она скучает по Лисовым Горкам. А до пенсии осталось пять лет, но в уборщицы она ни за что не пойдет, не позволяет гордость.

Я решил обучать Александру Петровну, был предельно вежлив и ласков с ней, не торопил ее, не спешил. И дело у нее пошло на лад, она довольно быстро освоила новое изделие — ожерелье.

В общем, я воображал, как Шура становится бригадиром и обучает Жильцову изготовлять бусы. Но это не придуманный рассказ, это жизнь,— концовки не получилось. Как только я уехал домой, через месяц пришла из городка весть: Степанова с завода уволилась, снова уехала в деревню, благо дом ее бесхозный все это время, пока она мытарилась в городе, не успел сгореть. Дедка Петя следил все эти годы за деревней, охраняя ее от случайного пала, который может невесть откуда прийти по сухой траве. И теперь руки у Шуры вновь не дрожат, когда она доит свою корову. И тоже замахнулась на трактор, скорее всего, по выработавшейся у людей привычке: неважно что, раз дают, раз достать можно, надо брать впрок, авось потом сгодится. Тем более деньги у сельчан имеются.

Да, как бы ни хотелось, но не получается закругленной концовки очерка. Леша, Марго и Фекла Круглова тракторов не заказали.

Марго, по фамилии Хромова, в очередной, бессчетный раз, была послана недавно из Лисовых Горок, где она прописана, в деревню Заболотье, теперь уже на укрепление торгового фронта. Да если бы ее и не направили, все равно Хромовой не на что было бы купить трактор.

Когда-то, в далекие-предалекие времена, в Горках еще существовал телятник, и она представлялась мне так: «Коллективный агитатор и организатор Хромова». Она всегда была на передовом посту, поддерживала всегда и во всем линию правительства. Нет, я не хочу сказать, что другие ее не поддерживали, попробуй не поддержи, просто Марго была всегда застрельщицей любых

зачинаний: займ ли это, дополнительная отправка из колхоза зерна, принудвербовка парней в ремеслуху или там кампания по укрупнению деревень. Бескорыстная, беднейшая женщина, все, что на ней — и есть ее достояние. У поселян «шкапы» ломятся от обнов, а ей, как она любит выражаться по Маяковскому, «кроме свежевыстиранной сорочки» ничего не надо. Как-то имела неосторожность об этом на собрании сказать, и долго потом доводили ее мужики: «Мань, покажи свою свежевыстиранную сорочку». Марго к тому же еще не очень-то и чистюля. Это всем известно. Но она стойко переносила насмешки деревенских, только однажды рыдала, да и то от двойной причины: при перевыборах в сельсовет не только ее не избрали вновь секретарем, но еще, вдобавок, украли старую, трудовую, еще тридцатых годов, кожанку.

Мечтательница и горячий агитатор новой жизни, кем только она ни была: корреспондентом, страхагентом, замом по политчасти в колхозах и МТС; в детстве, в пионерах, мечтала быть Павликом Морозовым. «Эх, папка-мамка,— восклицала не раз, придя из школы (до войны она жила с родителями в Груховке),— почему вы не кулаки? Уж я бы вас пораньше Павлика разоблачила».

Родители у Марго были бедняки из бедняков. Их жизнь мне как-то описывал Кляпенок. Начал про свой род, а потом перешел и на Хромовых.

— Отец у нас,— рассказывал Николай Павлович,— трудяга был, просто так зря не посидит, и других, которые без дела болтаются, терпеть не мог. Вечно парней брал от ленивых родителей на перевоспитание. Если б остров не в стороне стоял, очень даже просто могли ему в те времена приписать эксплуатацию чужого труда,— сейчас бы он наставником назывался. Жили в километре от нас те самые Хромовы. Дядя Федя тоже воевал, тоже получил землю, сначала пятнадцать своих десятин старательно обихаживал, а как в жены взял удалую да раввеселую девушку из Холма — все-то у них наперекосяк и пошло. Скотина непоеная ревет, хлеба немолотые-несжатые стоят, то День Парижской коммуны справят, то Пасху, как говорится, лишь бы причина была — «выпьем за колховы в Индии».

Женка сидит-сидит на завалинке, встрепенется, на станцию Локня Федя ее доставит, а оттуда поезд в Петроград, в торгсин. Золотишка и добра у него полная тачанка после гражданской войны привезена была. Навезут вин дорогих, конфет шоколадных, а Федя с Холма — муки тачанку. И опять гульба! Виданное ли дело: пашня своя зарастает, а они с материка, со стороны за золото жратву покупают? Однажды взяли и все засеяли семечками — душа красоты, мол, требует. Граммофон завели, других с пути сбивают — культура в кавычках. Отец не выдержит, пойдет к ним ругаться: «Ну ладно ты, Федор, пропадаешь — детей пожалей, уроды же ленивые, на тебя глядя, вырастут. С легкого капиталу самое последнее дело жить — потом же никому твои девки не нужны будут». У Федора один парень и трое девчонок. А Федя знай смеется: «Я, Петрович, недаром кровь за счастливую жизнь проливал, и дети ее заслужили».

Ну, а как кончилось золотишко, Хромовым за ум взяться, а лень и сладкая жизнь их уже расхолодила, не способны ровно работать. То вдруг загорятся, день-два ломят семьею, потом неделю загорают, прохлаждаются. Страшная это вещь, если человек хлебнул безделья, очень трудно втянуться снова в работу. Мне вообще непонятно, как это так — не работать. Еще с кино «Веселые ребята» поразился: тысячи людей лежат неподвижно днями, неделями, месяцами на пляже. Или слоняются по санаториям из угла в угол и не знают, как «время убить» — ишь какое слово выдумали, в карты начинают играть, блядство разводят, пьют — это называется тридцать дней законного отдыха. Отчего, спрашивается? Предкам бы глянуть на нашу жизнь сегодня — руками бы всплеснули. Как это можно отдыхать столько времени? Пить от безделья некоторые начинают. Отдыха добились, а что с ним делать — не знают. Эх, медленнее этот отдых входил бы в нашу неумелую жизнь, два дня выходных зачем-то имеем... Душа наша еще уж больно лохматая. Ну, я понимаю, разнообразить жизнь требуется, не хлебом единым жив человек. В воскресенье, на праздник попеть, поплясать, за моим домом карусельный столб вкопан был, для танцев пятачок, скамеечки, чтоб желающие могли сойтись, поговорить

о жизни. Хутора хуторами, но чтоб на мычание коровы друг от друга, не более. Человеку требуется общение. Но отдыхать подряд столько дней?! Ну, пашешь землю, ты и лошадь устали, отдохнули немного и дальше работаешь, а тут человек месяц лежит на пляже, да разве ж это нетрудно? Ему потом уже надо, когда приедет в город, отдыхать от лежания. Ну, я понимаю, до революции была кучка, которые могли не работать, это не страшно для государства, для нации — маленькая болячечка богачей, каких-то два-три процента, но теперь все ринулись на пляж. Я бы не возражал, пусть. Но ведь жратвы в стране мало, земли пустуют! Загорайте себе, но вперед задел в смысле продовольствия организуйте, случись война — страшно подумать. Получается уже опасная в организме болезнь, большая болячка, как бы она не обернулась каким-нибудь инфарктом или раком.

— Так же вот непонятно и печально, может, и ошибаюсь в этом,— горячился Николай,— когда люди по конторам сидят, перышками скрипят. Всю историю человеческую люди трудились физически, и вдруг — трах-бах — в считанные годы на сидячий труд перешли. Это же для организма огромный урон, миллион лет насмáрку, организм снова должен приспосабливаться. Только приспособится ли? Все наоборот получается. Вон у нас трактористы шумят (я к Красному Бору прикрепленный), давай им, как и на заводах, пятидневку, а не дадите — сами ее объявим. Напьемся и объявим. А чего, и объявят! Вон бабы отказались на третью дойку ходить, и все тут. И главное, некоторое начальство стало робкое и забитое, такое впечатление, ему все до лампочки, до фени, даже за место не держится. Нам бы безработицы небольшой.

И сын мой Валентин в какой-то мере прав, что уехал в город, не хочет быть винтиком в колхозе, по технологической карте работать. Токарю па заводе можно предложение подать — вмиг рассмотрят, а уж в колхозе вряд ли и внимание на рационализацию обратят, коли карта — закон. Я иногда думаю, технологов с образованием, может, выгоднее поставить не технологию расписывать, а всех на трактора. Трактористами подучить, и пусть без технологий бригадами на землю накинутся — у них же знания есть, ориентир общий смогут держать и, если надо, всякое может быть в пути, в работе, смотря по погоде и другим обстоятельствам, отклонения от нормы проведут без бюрократизма, сразу же, на месте. Та же карта, но отданная на откуп умельцу, крестьянству. А так жди указаний... Чиновников по району почитай с тысячу — столько же, сколько колхозников.

Петрович разошелся, раскричался, замахал руками. Пришлось его, помнится, поправить, напомнить, что он о Хромовых вел речь.

— Ну, а как Хромовым есть нечего стало, мой батя их сынишку к себе и взял, от девок отказался, а парня взял. Сам в работе, нас заставляет и Пашке спуску не дает. Тот два раза сбежал, да в доме шаром покати, а у нас и работу спрашивают, но и еда соответственно на высоте. И в конце концов исправил мальца, приучил его к труду. Года три назад встретил его в телевизоре. Шахтер-ветеран, Герой соцтруда Павел Хромов. Вот и все, чего тебе еще надо о Хромовых?

О Хромовых-родителях мне более ничего и не надо, слушайте далее о их дочке Марго, которая не подписалась на трактор.

Но прежде несколько слов о структуре и происхождении Полистовского болота. Десять-пятнадцать тысяч лет тому назад скандинавский ледник, наступая-отступая, пропахал в землях Нечерноземья долины-углубления. Большинство почв поддавалось леднику — он пер к югу, как дорожный снегоочиститель. Но Полистовское болото, если глянуть на цветную карту, сопротивлялось иноземцу. В зелень мхов со всех сторон вклиниваются пальцами минеральные высоты, на концах которых — деревни. Некоторые из них дождались дорог, мелиорации и теперь постепенно возрождаются.

В одной из них, а именно в Заболотье, есть временами работающие магазин, почта и медпункт. Очень уж трудно найти, в случае замены, на эти места новых работников. Словом, райпо на товарооборот в данной деревне (не путать с недавно организованным рапо) давно махнуло рукой. Но вдруг с появлением откуда-то со стороны некой Веры Нисской план стал выполняться, а потом и расти. В чем дело? Оказывается, в начале каждого месяца,

а позже во второй его половине, словно по графику, Вера, покачиваясь, выходила на крыльцо, кричала вниз, в ожидающую открытия магазина толпу: «Молодые мужики и пожилые бабы,— почему-то она всегда так к людям обращалась,— сегодня объявляется в моей лавочке коммунизм: заходите, берите, что хотите и сколько хотите бесплатно!» (Это до постановления о майском запрещении продажи вин было.) И, конечно, на предложения Нисской откликались. Сахаром, крупами, другими «колониальными» товарами сельских жителей теперь не удивишь, брали, сколько душе угодно, самое Главное. Вера же равнодушно стояла на крыльце, смотрела вдаль на болота, на вышку, еще куда-то, то есть не вела никакого учета. Но все знали, что если они не вернут деньги, Веру просто-напросто посадят, а магазин надолго опечатают. Да и не только в этом дело. Я все сбиваюсь на наше материковое житье-бытье, смотрю на жизнь края со своей кочечки, философии рядового обывателя, забывая о том, что у людей Рдейского края сохранились еще старомодные взгляды на жизнь: взял — отдай все до копеечки безо всяких бумажек и ведомостей.

Так и шла своей колеей жизнь в одной из деревень Полистовья, план выполнялся-перевыполнялся, Нисскую помещали на разные Доски почета, вплоть до областной, пока не поселился на покое в их деревне подполковник в отставке. Стриженый затылок его побагровел мгновенно, когда Иван Иванович увидел на крыльце Веру, приколачивающую лозунг к фасаду магазина. Свиридов стал писать усиленно в разные инстанции. И особенно почему-то делал упор на том, что она прибивала кумачи не молотком, а булыганом. Вероятно, был немного не в себе человек, но справки о том, что он не в себе, у инстанций, в которые он писал, не имелось, и его жалоба получила ход, тем более на его сторону встала и всем известная активистка.

Пришлось торгу разложить недоборы Заболотья по водке на другие деревни — никто же не позволит снижать в целом по району план товарооборота.

Подполковник ходил именинником по селу,— еще бы, добился полного прекращения продажи вина. Марго тоже улыбалась, а Вера Нисская выпила стакан дихлорэтана и, не доехав до больницы, скончалась в «скорой помощи». Работала до магазина где-то на лесоповале — то ли в Чекунове, то ли в Сопках, была в самых последних поблядушках, а тут ее зауважали... и вдруг все рухнуло. Ошиблась ли она, нарочно ли выпила ядовитую жидкость, людям это неизвестно.

Ну, а раз Марго воевала вкупе с подполковником за трезвость, ей настоятельно рекомендовали возглавить заболотскую торговую точку. Так у нас уж принято: доводи начатое дело до конца, к тому же подполковник командовать магазином категорически отказался.

В деревне началась новая, необычная жизнь: мужики ходили квелые, скучные, невыспавшиеся. Новоповешенными призывами пьян не будешь: Марго развесила по стенам магазина изречения Сенеки, Августа Фореля, каких-то еще мудрецов о вреде алкоголя. Не помню их дословно, но я спросил как-то ее: «А вы знаете, кто этот Форель?» — «Ученый,— ответила она,— потом я же с опытом, сама не собираюсь проявлять инициативы, мне его рекомендовали в наглядной агитации, во втором отделе информационного сектора торга. Вот!»

К тому же газетчики раздули почин Марго (ей бы держаться в середке), жители других деревень тоже решили ставить вопрос о прекращении винной торговли на сходах. Торговцы схватились за головы.

Нового завмага вызывали, с ним беседовали и так и сяк, мол, если она будет брать вино, то к ящикам добавят и товаров повышенного спроса, так заведено в торговле с давних пор и не нам это переиначивать. Даже райисполкомовцы с ней говорили, но она твердо стояла на своем — сход постановил! «Да мы не возражаем,— отвечали ей, продолжайте вести свою линию, а винцом понемногу из-под прилавка торгуйте! Ведь если мы не выполним план, чем будем платить совхозным рабочим? Ну, а если вас контроль оштрафует, не беспокойтесь, мы возместим убытки, в накладе не будете. Ведь всем известно, в вашем совхозе зарплата за последние годы вон как выросла, а производство продукции стоит на месте, а по животноводству, зерну и картофелю даже и снижается».

Но и эти бы веские доводы не повлияли на Марго, если бы не давление своих кровных сельчан, местного мужичья. Если бы они к ней с угрозами, брали бы ее на испуг, мол, в темном углу подкараулим, дом подожжем и так далее, старая активистка, вспомнив боевое прошлое или Николая Островского, была бы в своем привычном деле, дала бы им отпор, но они, хитрецы, переменили тактику. Вдруг вспомнили, что она совсем и не Марго, а Мария Ивановна Хромова. Завалили ее дровами, сеном, вычистили колодец, на «вы» к ней стали обращаться, комплимент за комплиментом преподносили ее мужественному поведению... и растаяла женщина. Жить-то ей далее с сельчанами, а не с торгом, тем более уже и некоторые подружки на нее коситься стали. То голосовали против вина, а теперь вдруг тоже хмурятся: куда нам деть свободные деньги, твой склад ничего взамен вина не поставляет в магазин.

А тут как раз новое типовое помещение взамен лавочки-изобки построили, специалисты эргономики и дизайна изобразили на стенах из битого кирпича рога́ плодородия, создали удобные подлокотные поручни для стояния в очередях, внутри под разными углами зеркала закрепили — положишь спичечный коробок на полку, а он как будто и не один, как будто тысячи коробков по всему залу сверкают изобилием.

В управлении, конечно, воспользовались и этим случаем. Под такую новинку и роскошь снова стали обрабатывать Хромову. Мол, вы, Мария Ивановна, должны эту стройку окупить ударным планом. Вон, Вера Нисская месяцами висела на Доске почета, а вы что ж? Нехорошо — все борются за звание ударника, а вы, старый кадр, отстаете. Нехорошо-с!

В конце концов доконали Марию сверху и снизу агитацией — одинокую поковку, уложенную жизнью меж молотом и наковальней.

И сразу же все переменилось: лучше, ценнее Марии Ивановны на селе и человека нет. Завмаг «с апельсинами», так на жаргоне торгового начальства зовется продавец, продающий вино из-под прилавка.

Как это все у нас нетвердо, только что Марго разоблачила Нисскую за «культ личности», за то, что ее мужики чуть ли не носят на руках, и тут же сама попалась на эту удочку.

Помню, как-то я выходил из болот, прямо-таки рвался отощавший и изголодавшийся до магазина, и вдруг вместо распахнутой двери меня встретили косяки старых и новых объявлений: «Мы на совещании в торге», «К нам сегодня приехал племянник», «Пасем овечек», «Топим баню», «Садим картошку» и так далее и тому подобное. «Мы, мы, мы...»

А уж если откроет магазин — настоишься. После стольких лет общественных работ почему-то не в ладах с арифметикой оказалась Маня. И потому делала так: вперед выдаст всем буханками однотипный хлеб, за него рассчитаешься, потом что-то другое, однообразное отпустит, частик, там, в томате, сахар, дефицитные на сегодня мулине, а уж под конец вино и тоже по сортам.

По полдня проводили люди в очередях, и не пикни. Уволится — и вообще подобную лавочку прикроют.

Однажды вот так приехала со склада, продуктов навезла, а на другой день снова не до покупателей — красиво оформляла в новом магазине витрину: вот-вот должны нагрянуть две комиссии — районная и областная. Два дня переставляла коробки так и сяк наша Марго. Потом «День политграмоты» объявила, встречу с пионерами, с пенсионерами. Дальше выборы в местные советы подоспели, Мария, как известно, старейший агитатор края по букве «В» — самой ходовой и бойкой букве в округе: край-то сплошные Васильевы.

Мужики ходят мимо разноцветных головок за стеклами, чтоб магазин не обворовали, фонари даже ночью горят.

Конечно, все мы смотрим «Знатоков» и другие коммерческие фильмы, теоретически, так сказать, подкованы, но порой тонкие нюансы не учитываем. Не учел качества клея на бутылочных этикетках и Игнат Васильев. Пошли бабы полоскать белье на Тулузовку, смотрят — плывут по речке, как утята, зелененькие этикетки, к дому участкового милиционера, и тоже Васильева, но

Николая, плывут... Игнат ящик с вином в омут опустил, камешком прижал, кто мог подумать, что химия подведет?

Был суд. Показательный. Это случилось как раз в одно из многочисленных постановлений о борьбе с пьянством. До нынешнего, хочется надеяться, серьезного, наконец [1]. Правда, по поводу прогулов Марго суд вынес частное определение. Но все же пришлось Марии Ивановне Хромовой вновь возвратиться в Лисовые Горки.

Ну, и еще несколько слов о Фекле и Леше, и буду завершать свои писания, а то ведь можно бесконечно рассказывать о *жихарях Полистовья.* Фекле Кругловой трактор тоже теперь ни к чему — она умрет нынче летом. Так нагадала ей на рубль проезжавшая через их Рдейский край цыганка Люба. Гадает, как говорят, одну только правду. «Люба,— спросишь ее,— что нас ждет впереди?» — «Дай рубль — отвечу»,— отвечает она.

У Феклы из жизненных сил остался только один голос. Она, согласно карточному приговору, в июле восемьдесят седьмого года, в самый разгар сенокоса, должна выйти на берег Русского озера, запеть негромко, душою: «Средь высоких хлебов затерялося небогатое наше село». К ней подъедут на байдарках туристы, будут слушать ее, восхищаться, попросят еще напеть песен, будут записывать их на магнитофон. Фекла постарается сверх нормы. Потом отдыхающие поплывут к себе в Москву, а она побредет в Лисовые Горки. Силы, по приговору Любы, должны покинуть ее у самой деревни...

Сельсоветы в таких случаях в эти, забытые райсобесами и Богом, места, следствие не вызывают, поступают в таких случаях без бюрократии. У них заранее заготовлены пачечки блеклых, отпечатанных на машинке бланков: «Умерла от гипотонии», и далее точки, точки, чтоб вместо них проставить очередную фамилию.

Закончить записки хочу рассказом о Леше — третьем человеке, отказавшемся от трактора. Он еще совсем молод, а потому легко поддается разным влияниям. В край приехал из Караганды, начитавшись моих очерков. Точнее, трое парней приехало, по двоих задержал магазин в Заполье, и через месяц они уехали обратно, а Леша Беляев живет уже полгода в Лисовых Горках. Не знаю, как сейчас редакторы относятся к славянофилам, Леша из их рода. По крайней мере, он так уверяет. Беляев против тракторов, против переброски вод северных рек на юг (тут я с ним согласен), по его расчетам весь Рдейский край, как и Новгород, от этого прожекта будет подтоплен, а может быть, и затоплен. Леша где-то подобрал списанную лошадку и летом собирается перебраться на Межник поближе к Русскому озеру.

Через пару недель, как только машинистка перепечатает «Жихарей Полистовья», я уйду на болото. Так что о жизни парня, если все будет хорошо, девку бы ему соответствующую, напишу попозже.

До межника добираться можно или через Новгородчину: Холм — Замошье, на легковой машине (в Замошье Павел Сергеевич Краснов поставит вас на тропу), или через Псковскую область, десять минут лета от райцентра Бежаницы до Полистовских Ручьев, где в Ратче укажет вам путь через мхи Миша Сорокин.

Написал конкретный маршрут движения и теперь вот задумался: не получится ли с Рдейским краем то же, что с Мещерской стороной Паустовского? Какое мнение на этот счет, читатели? Особенно пугает меня все возрастающее количество клюквособирателей с комбайнами на вездеходах, танкетках и торфопредприятие под названием ЦЕВЛО.

1986 г.

[1] Увы, надежды наши не оправдались *(прим. автора).*

Нонна СЛЕПАКОВА



Разлученье

Нежный отход, утепленный обман...
Грянуться оземь? Предложен диван.
Слезы? Сухая подставлена горсть.
Ночь одинока? Является гость.

Добрый обман, милосердный отход...
Даже надеется, даже зовет:
Где-нибудь, как-нибудь, дескать, авось...

Экое горе-то — видеть насквозь.

Исповедь молодости

Кровь, оглушая, шумела в ушах.
Зренье моим же заткалось портретом,
Ибо на каждый упругий свой шаг
Со стороны я смотрела при этом.

Двигалась я, наблюдая *свое,*
Самолюбуясь на самоэкране.
Мимо сновало чужое житье
В серой ненужности, в скучном тумане.

Было устроено все — для *меня.*
Брат-совладетель мне был неприметен.
И не хватало ни ночи, ни дня,
Чтоб насладиться владычеством этим.

Знала про все лишь *моя* голова,
Мутью тускнея, искрясь от алмазов.
Как я ревнива была и черства!
Мстительна как! Моментально — зуб за зуб!

Видимый весь и невидимый мир —
Только *мои,* со слезами, страстями.
Так проходил мой языческий пир,
Без приглашенных, однако с гостями.

Так что осенним осмысленным днем
Младости, ясно завидевшей старость,
Вспомнить о власти — о рабстве своем —
И отвернуться — одно и осталось.

Небывший грех

Всего чудовищней один небывший грех,
Что тайные мои промелькиванья вызнал,
Немыслимым обжег и стал страшнее всех
Тем, что помыслен был и противленье вызвал.

Он, остановленный, изъятый на плаву
Из темного, сквозь мозг бегущего потока,
Как рыба плоская, был плюхнут на траву,
Стал зрим в подробностях и жадно, однобоко
Дышал. И вот, с грехом я начинаю бой,—
Хоть пополам с грехом! Давить! Не поддаваться!
Но, Боже, если он забыт, прощен Тобой,
То мной-то не забыт... Куда теперь деваться?

Жеребенок

Мальчик мой, нет, не мой, а всеобщий и вовсе чужой,
Жеребенок джинсовый, отродье всего поколенья,
Ты не тронут кнутом, понуканьем, оглоблей, вожжой,
Ни подковой еще, ни гвоздем золотого каленья.

Объясни, стригунок, почему от ребячеких ласк,
Отиранья средь нас, от поддакиванья, созерцанья
Оказался так близок полет над землею в распласт,
Иноходный уход, одинокий поскок отрицанья?

Ты не мал и не глуп, на бегу ты способен понять,
Над травою паря и сшибая цветы иван-чая,
Что да что мы спасли, что на что нам пришлось променять
В том стоячем тумане, где жили, тебя обучая.

Мы покуда вокруг — но смотреть ты не хочешь вокруг:
Скорость — тоже туман: в нем знакомые пастбища тонут,
И речушка мутна, и порядком повытоптан луг,
И денник устарел, и овес радиацией тронут.

Ноги ставя кой-как, изможденные свесив умы,
Твой усталый табун без тебя допасется в распряге.
Жми — неважно, куда, важно, что не заметили мы,
Как ты птицею стал, позабыв, что рожден от коняги.

Валентин
ТУБЛИН

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Роман

24.12.1978 года. 21 час 02 минуты. Чижов отошел от окна. Жаль, сказал он, и это была правда. Ему было жаль написанного, хотя его уже не существовало, хотя оно было уничтожено и исчезло. Исчезло разорванное, разорванное в мелкие клочки, исчезло в корзине для бумаг. Что делать, что делать? Делать было нечего. Надо было садиться, да, снова садиться за стол. Взять себя за шиворот, встряхнуть, стряхнуть с себя все, что мешало ему, набраться сил. Эта работа не доставляла ему никакого удовольствия. Кто это выдумал, что пишет тот, кто не может не писать? Не может не писать лишь графоман, то есть человек с определенными психофизическими отклонениями. Все остальные вполне могли бы обойтись без писания, если были бы в состоянии утвердить себя на каком-либо ином поприще. Почти всегда толчком к занятию литературой является укол неудовлетворенного честолюбия, а то и тщеславия. Какая мука! Как раз в том, что казалось бы проще всего. Сесть за стол. Взять перо. Пододвинуть лист. Вывести слово.

Слово. Слово. Черт возьми, только лишь слово. Любое, на выбор. Первое. Из тысяч и тысяч последующих. Несколько букв. Напиши его. Ну что же ты? Что за мучение. Адский труд. Долгий, тяжелый. А может быть, и бесполезный. Но, может быть, даже бесславный. Может? Вполне. Почему же он не бросит это занятие, не пошлет его ко всем чертям?

Потому что...

Потому что нет мира, кроме слова, а пишущий — пророк его. Потому что писание — это нечто, сходное с религией, в которой, как и во всякой религии, есть и свои святые, и свои чудотворцы, и свои юродивые, и свои кликуши.

А кто я сам?

На этот вопрос он не захотел отвечать. Может быть, потому что не знал ответа? Или, наоборот, потому что знал?

Как просто все, как доступно. Любому, любому. Каждый может стать писателем, было бы желание. Взял и стал. Вот вы... или вы... Хотите приобщиться благодати? Посмотреть, как это легко, как это доступно, доступно каждому. Давайте, давайте. Ну, смелей, в эпоху всеобщей грамотности занятие литературой доступно каждому, как чтение газет, ведь писатели — это люди, не преуспевшие в основной профессии. Бывшие штурманы дальнего плаванья, бывшие математики, физики, крановщики, продавцы универсальных магазинов, инженеры-механики, дрессировщики цирковых собачек, вахтеры, брошенные жены, специалисты по автотранспорту, делопроизводители, шоферы, аспиранты. Все сюда, садитесь теснее, рядом. Начали. И помните, что бумага все терпит.

Так говорил Чижов. Но кому он говорил это? Им, себе? В первом случае в этом был хоть какой-то (хотя неизвестно какой) смысл, а во втором? В чем дело? Почему он не садится и не пишет, почему ходит вокруг стола, словно кот у крынки со сметаной, примеряется и так и этак. Разве это ему в новинку? Разве этого он уже не делал? Разве его, как говорится, перу не принадлежат повести и романы, напечатанные пусть и под псевдонимом, но вошедшие к читателю многотысячным тиражом. И вы читали эти книги, и вы... и вы тоже; читали книги и смотрели фильмы, снятые по ним. «Универсам», «Автомагистраль», «Северный причал». Это все он написал, он, Чижов, пусть даже и в маске анаграммы. ВОЖИЧ! Вспомнили? Прочитайте теперь справа налево. То-то. Знаменитый автор, разруганный в десятках рецензий. Советский Хейли! Ругай не ругай, а читатель в восторге, читатель берет нарасхват, рвет из рук, переплетает отдельными книжками вырезки из журнальных публикаций, ксерокопирует. Ну, так

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 10.

что же? Значит, умеет, может. Или сейчас ему мешает что-то? Но что? Может быть, шум телевизора за тонкой стенкой? *Вот команды выстраиваются в центре.* Нет, ерунда. Никто ему не мешает. Никто и ничто. Полная свобода. В нашей стране, как нигде, существует полная свобода творчества, большей уже не бывает, не может быть, большая свобода не нужна. Делай, что хочешь. Пиши, что взбредет в голову. Только не зарывайся. Не трогай основ. Не посягай на святыни, не задевай сегодняшних богов. Подожди. Подожди немного, может быть, до завтра, когда окажется, что и они допускали... и вот тогда. Поступай с ними тогда, как поступил в свое время римский народ со статуями Домициана.

Итак — смелее. Горные выси ждут. Дух не знает преград, не боится запретов, он свободней ветра. Небо над головой ожидает отважных, оно открыто смельчакам. Расправь крылья и взлетай, взлетай к вершинам духа. *Чижов — горный орел.*

Чижов — горный орел. Но он не взлетает. Почему? Непонятно. Он и сам не понимает, он и сам в растерянности. Может быть, в нем угасло желание? Может быть, ему расхотелось летать? Нет, он хочет. Он хочет. Но что-то ему мешает. Крылья не расправились. Воздушные потоки не подхватили его, и он остался на месте, остался на земле. Как Прометей, прикованный к скале. Жара, тишина, только плеск волн нарушает однообразие. Сколько ему еще страдать, сколько ждать, сколько томиться. Он раскрывает глаза, он смотрит в небо, он смотрит в бескрайнюю синь с опаской, он смотрит с мукой. Не летит ли орел, посланный Зевсом? Хотя бы глоток воды. Где же Геракл, который освободит его? Исклеванная печень кровоточит, на небе ни облачка. Вот она, плата за бессмертие — невозможность распорядиться своей жизнью. В этом — изощренная месть богов. Он вполне созрел для того, чтобы умереть, забвение ему не грозит, свой жребий он исполнил. Принес людям огонь, научил ремеслам. Не ошибся ли он? Не навлек ли беду на род человеческий? Иногда в бреду он видел облако, похожее на гигантский гриб, и ему становилось страшно — сквозь облако проглядывала смерть. Разве этого он хотел? Нет, нет и нет.

Как шумит это море. Как печет солнце. Год активного солнца — вот как это называется на самом деле, ему сопутствует повышенная радиоактивность. И ни души кругом. Хоть криком кричи — один, совсем один, и неоткуда ждать поддержки.

Совсем один.

Я знаю это чувство. Это ощущение одиночества. Ощущение пустоты. Один. Один, как перст. Один во всем мире. Перед тобою вселенная, она перед тобой в вокруг тебя, вокруг тебя огромный мир, но мира в себе ты не ощущаешь. Ты ищешь пустоту, огромную, как мир, и большую, чем мир, который смотрит на тебя сквозь тысячи световых лет миллиардами невидимых глаз. Мир молчит, он притаился, он ждет. Но никто в нем не спешит тебе на помощь, никто не торопится протянуть руку. *В начале было слово.* Но где же оно? Кто произнесет его, кто подскажет? Может быть, надо просто прислушаться?

Чижов прислушался. Я слушал очень внимательно, я старался изо всех сил, но ничего не услышал. Вселенная молчала. Миром овладела немота. Этот мир был заколдован, и требовалось заклинание, чтобы расколдовать его. Я сидел за своим столом перед чистым листом бумаги, один во всей вселенной, которая мигала глазами звезд, угрюмо всасывала материю в черные дыры, разбегалась, вспыхивала пожаром сверхновых, играла в невесомости космоса белыми и желтыми карликами и ничего не знала о существе по имени Чижов. Чижов уже не сидел за столом. Он встал, он ходил, он метался по комнате. Он глядел напряженно, глядел перед собой, но ничего не видел. Все исчезло: стол, комната, он сам. Весь мир и вселенная тоже.

Из угла в угол, из угла в угол. Словно он был на войне. Словно шел в атаку, словно пробивался сквозь огонь. Сквозь черный пороховой дым. Он был на поле, это было поле сражения. Он сражался с целым миром. Миром немоты. Он был полководцем, он был и маршалом и солдатом, а кто был враг? Чистый лист бумаги. Он же был и полем сражения, а первое слово было залогом победы. Но разве в этих сраженьях возможна победа? Но Чижов не думал об этом. Вперед! Солнце Аустерлица то всходило над ним, то скрывалось, но, может быть, это было уже Ватерлоо? Вперед же, и будь что будет. Боевые знамена висели вкривь и вкось. Что там случилось? Где Груши? Он не явился вовремя, и Наполеон проиграл решающую битву, ибо даже гении нуждаются в помощи, пришедшей вовремя, что же говорить о других? О Чижове, например. Кто поможет Чижову? Где его генералы?

Один, совсем один должен был сражаться он и победить или погибнуть и исчезнуть навсегда в могучем водовороте времени.

Сколько времени мы еще простоим? Минут пять? Шесть? Мне самому смешно — я волнуюсь, словно нам действительно предстоит опасное путешествие. К берегам Африки на поиски Левингстона. Или в Австралию. Или еще куда. Когда-то, очень давно на экранах шел фильм — «Путешествие будет опасным», о чем он, я уже не помню, помню только ощущение. Оно было таким же, как сейчас, и так же билось сердце, когда мы, сбежав с уроков, Вовка Гаврилов, Филимон, я и Сомов покупали пятнадцатикопеечные билеты в «Экран» и, замерев, сидели на последнем ряду, боясь даже шумно вздохнуть.

Телевизоров в то время еще не было.

Двое тружеников, распив желто-зеленую жидкость, ушли. Теперь на этом месте стояли трое мальчишек. Они стояли молча, не сводя с корабля глаз.

Я дорого дал бы, чтобы узнать, о чем они думают, чего им хочется. С нами? В далекое море? На вид им лет по тринадцать, возраст, в котором самое время читать «Остров сокровищ» и грезить о далеких морях, штормах, пиратах, романтических красавицах, которые встречаются только в книгах.

Я молча стою на зеленой палубе. За моей спиной — золотисто-желтые бруски древесины. Их погрузили в Финляндии, а теперь должны доставить в Иран. Разве это менее романтично, чем поиски сокровищ?

Я подумал о сокровищах.

Я подумал о красавицах.

Я подумал о Тане. Я мог еще позвонить ей, будка была в десяти метрах, прямо на набережной. Я мог позвонить ей на работу, мог еще раз, может быть в последний, услышать ее голос, от которого у меня всегда что-то обрывалось внутри, обрывалось и холодело, словно я нечаянно проглотил кусок льда. Я успел бы еще позвонить...

За моей спиной капитан говорил со старпомом. Они обсуждали вопрос, где лучше заправляться горючим. Старпом сказал, что в Рыбинске. Слишком рано, возразил капитан. Да и волокита там всегда. Тогда в Куйбышеве, сказал старпом. И капитан согласился с ним. В Куйбышеве, сказал он, будет в самый раз.

Я все еще думал о том, как я сейчас позвоню Тане. Но что я скажу ей? Я мог сказать ей только то, что я неудачник и что хотел бы все начать сначала?

«Провожающим покинуть борт».

Провожающих было немного. И они покинули борт.

Капитан наклонился к микрофону. В профиль он был до удивления похож на Николая Васильевича Гоголя, и мне показалось, что он сейчас скажет в микрофон: «Эх, тройка, птица-тройка...» В свое время мы выучили весь этот отрывок наизусть. Но капитан ни словом не обмолвился о птице-тройке. Он был лет на пятнадцать моложе меня, и вполне возможно, что у них в школе никто не заставлял учеников заучивать наизусть большие куски прозы. Так или иначе, но капитан сказал:

«Спасибо за тепло и до встречи»...

«В будущем»,— вот что он имел в виду. До встречи с будущим. Против этого я ничего не имел. Но с прошлым я не хотел встречаться. Вот только деться от него было некуда. Некуда было сбежать и невозможно было скрыться от прошлого, как невозможно сбежать или скрыться от самого себя. И я вернулся в то время, где: космонавт Гаврилов все еще прочерчивал свой невидимый миру путь среди звезд, я сам метался по комнате в поисках того слова, что откроет мне пещеру Аладдина, а Сомов, кося по сторонам, несся вперед к собственной смерти.

Для того, чтобы избежать ее, у него еще было в запасе минут десять. А может быть, даже больше. Вполне может быть.

Я сам выстроил цепь ассоциативных рядов, которые должны были, как мне казалось, возникнуть в его мозгу. Значит, так: он включил приемник, и приемник рассказал ему о животрепещущих событиях этой минуты (часы показывали двадцать один час): о матче по хоккею, о космонавте Гаврилове, стремительно бороздившем черноту космоса, а он, Сомов, тут же вспомнил о Шплинте и о том, как он сгинул в конце концов в одной из тюрем, а потом, тут же скорее всего, о собственной судьбе и о тюрьме и расстроился, и занервничал, потерял бдительность, проявил горячность, забыв об осторожности, и что? — врезался в такси и, перевернувшись, разбился вдребезги...

Но так ли это было?

Бесспорно было одно: Сомов не мог отнестись безучастно к сообщению о космонавте Гаврилове.

Мы были с ним знакомы. Сомов, я, Филимонов. Некогда. Когда мы учились вместе. Не просто в одной школе — в одном классе. В свое время нынешний космонавт Гаврилов был просто местной знаменитостью; подобно метеору пронесся он сквозь боевые порядки нескольких школ Петроградской стороны (в основном, в районе Геслеровского проспекта и Большой Зелениной, включая школу рабочей молодежи номер 21 на Пионерской). Пронесся, оставив за собой длинный шлейф подвигов, закрепившихся в устных преданиях. От некоторых подвигов сильно попахивало уголовщиной, но тогда (в 1950, к примеру) к таким вещам относились снисходительнее.

Более того, мы все жили в одном доме. Только в разных дворах: я в первом, Сомов во втором, а будущий космонавт — в третьем, последнем. Он жил вместе с большой своей семьей в маленькой надстройке над прачечной.

Но ни мы с Сомовым, ни даже Вовка Гаврилов, прокладывавший декабрьским днем 1978 года свой долгий путь под звездами, да, ни каждый в отдельности, ни все вместе мы не были звездами первой величины.

Такой звездой был Шплинт. Шплинт, проходивший свои жизненные университеты на барахолке, что занимала в свое время огромное пространство на Лиговке у Новокаменного моста, там, где сегодня, окутанная черным дымом «икарусов», расположена городская автостанция. Обращаясь к эпосу, Шплинта с условной натяжкой можно было сравнить с Ахиллом: не боящаяся ничего на свете лиговская шпана становилась при нем кроткой и тихой. Натяжка относится исключительно к внешнему виду Шплинта. В свои двадцать лет он был похож на тринадцатилетнего подростка и возвышался над землей он вряд ли больше, чем на полтора метра.

Настоящее его имя, боюсь, известное лишь в уголовном розыске и у нас во дворе, было Мурад.

Я не раз встречал его в одной из комнат надстройки над прачечной, в которой давно уже никто не стирал. Мать будущего космонавта Вовки Гаврилова подкармливала Шплинта. До войны она дружила с его матерью, дворничихой третьего двора. Они обе были татарки. Мать Шплинта умерла в блокаду. Если бы Шплинт хотел, он мог бы жить вместе с Гавриловым, несмотря на то, что в двух десятиметровых комнатах над прачечной не без труда размещались восемь человек, включая разбитую параличом старую тетку будущего космонавта, которая, несмотря опять же на свой паралич, ухитрилась дожить до девяноста четырех лет.

Но Шплинт не хотел жить с Гавриловыми. Шестиметровая комната матери досталась ему в наследство по праву. А место за столом и так оставлялось ему всегда. Тетя Галима, Вовкина мать, выставляя на стол чугунок с картошкой, никогда не забывала сказать: «Кто позовет Мурадика?»

И будущий космонавт В. Гаврилов шел за Шплинтом.

А иногда за Шплинтом срывался я. Или Сомов.

А что Шплинт? Приходил ли он?

Он приходил. Маленький, тощий, молчаливый. «Ну, все в сборе»,— говорила тетя Галима. И, действительно, все были в сборе. Большая и дружная семья будущего космонавта. Его мать. Он сам. Его старшая сестра, без трех минут невеста, его младшие братья и сестры. Его парализованная тетка, отличавшаяся отменным аппетитом. Его друзья — некто Чижов и Сомов.

И Шплинт, которому судьба была сгинуть бесследно в колымских лагерях.

Я никак не мог вспомнить имя парализованной тетки. Зачем мне это было? Но я мучал и мучал свою память, пока это имя не всплыло, подобно обломкам давнего кораблекрушения. Тетку звали Фарида.

Почему вообще надо вспоминать о тех временах? Ведь прошло уже более тридцати лет.

Шплинта арестовали в тысяча девятьсот сорок девятом. Будущий космонавт Гаврилов, которого сопровождал то я, то Сомов, носил в тюрьму передачи от тети Галимы. В тюрьме Шплинта остригли, стриженный, он казался еще меньше. Он брал пироги, которые специально для него пекла мать будущего космонавта Гаврилова. Она знала, что он любит пироги с капустой, и она пекла их к каждой передаче. Шплинт ничего не говорил. Он был похож на лисенка, попавшего в капкан. Мы даже не знали толком, на чем его поймали. Шплинт брал передачу и молчал. Только один раз, накануне суда, он сказал: «Пацаны... я еще выйду»... Как сейчас вижу его. Маленький, тщедушный, два зуба впереди выбиты. Он был уверен, что выйдет. Но он ошибся.

Он не вышел. Он получил двадцать лет и сгинул, и больше мы никогда его не видели.

Так это было со Шплинтом. К чему я вспомнил об этом? А к тому, что его судьба — это и наша судьба. И с нами могло случиться что-то подобное, не это, так другое. Потому что тогда, сразу после войны, мы вовсе не были смирными пай-мальчиками, тихими и послушными. Тихими и послушными мы стали позднее. Когда выросли и повзрослели. И стали очень умными.

Так что и с будущим космонавтом Гавриловым могло все это произойти. С ним, быть может, скорее даже, чем с любым другим. Только его, как говорится, бог уберег. В его биографии, которой сопровождалось сообщение о запуске его на околоземную орбиту, не было об этом ни слова. И может быть, там, в космосе, глядя, как мелькают внизу быстро сменяющиеся огни больших городов, он вспоминал о времени, когда вот так же быстро менял он школы: из тридцать третьей в пятидесятую, оттуда в двадцать первую, оттуда в сороковую. Мелькали школы, лица директоров, фамилии учителей. Только друзья оставались все те же — Сомов, я и Филимонов.

Почему он не сорвался? Для меня — да и для него, пожалуй,— это так и осталось загадкой. Все в нашей жизни зависит от крошечного «чуть-чуть». Подумать только — сработай «чуть-чуть» в другую сторону, и Вовка Гаврилов, не ставший новым Икаром, вполне разделил бы участь Шплинта, получив возможность появиться на страницах прессы только в рубрике «Из зала суда». А ведь это был бы тот же Гаврилов. Тот же самый.

Подумав об этом, нельзя было не рассмеяться. И я рассмеялся.

Только когда? Сейчас или восемь лет назад? Мне показалось, что смех мой донесся до меня оттуда.

Тогда он тоже рассмеялся, хотя причин для смеха у него не было. Он рассмеялся над собой. Что это? Что это с ним происходит? Он не узнавал себя, нет, не узнавал. Уж не потерял ли он веру, веру в себя? Нет, конечно, нет. С чего бы? Он написал не одну книгу, не две, не три, напишет и эту. Конечно. Разве не был он всемогущ, разве не был подобен богу, не был подобен тому, кто из глины и праха сотворил этот мир, мир видимый и невидимый, необъятный и непостижимый, сотворил одним только желаньем, одним усилием воли, сотворил из ничего творческим актом, воплощенным в широкоизвестных словах: «Да будет». И он, Чижов, и он при всей своей несравнимой малости, был таким же. И он творил свой мир словами, творил из ничего, одной лишь силой воображенья, из мозга, серого и рыхлого вещества, нечувствительного к боли, как глина. И пусть он был не столь изощрен и искусен, как тот анонимный автор, что уложился в классические шесть дней; пусть ему, Чижову, для много меньшего требовался десятикратно и двадцатикратно больший срок — что это меняло? Главное было здесь не в различиях, а в сходстве: как и тот, кто был Самым Первым, Чижов начинал свои творения и заканчивал их.

Так или иначе.

Так что же изменилось? Ничего. Это он сказал, это он сказал сам себе. Сказал упрямо: первая попытка не удалась, высота не засчитана. Глина сопротивлялась, на этот раз она не захотела принять задуманной формы. Сегодня бога из него не получилось, точнее, из него вышел сегодня неумелый и бессильный бог, бог, отставший от своего времени, не понявший его запросов, а потому и ненужный ему, бог, утративший свое искусство. А может быть, он просто устал? Вполне может быть. Тогда он оставался богом, но таким, которому требовалась передышка. Которому нужен был перерыв. Или отдых.

В случае с космонавтом Гавриловым тоже нужен был отдых. Ему тоже требовался перерыв, хотя он был более дееспособным богом, чем его земной друг Чижов, более, чем кто бы то ни было на отливавшей голубизной планете под ним. Его космические часы показывали девять часов вечера, точнее, девять часов и одну минуту. В это время он должен был уже отдыхать; более того, он должен был спать. Сон полагался космонавту Гаврилову по распорядку дня, но, кроме того, он был просто ему нужен, нужен и жизненно необходим. Распорядок дня был составлен на земле, там он был и утвержден и не подлежал отмене. Он был запланирован, он был обязателен для космонавта, чего не скажешь ни о переживаниях, ни о снах. Они не предусматривались. Только отдых, полный отдых: запланированное забытье, целебное расслабление, реабилитация, восстановление сил. Так было сто дней назад, пятьдесят, позавчера и вчера. Как завтра и послезавтра, во все время, что ему предстояло еще провести в невесомости, в состоянии, согласном природе. Природе космоса, но враждебном человеческому естеству.

Он не мог бы объяснить это том, кто оставался на земле. Тем, кто давал ему команды. Кто отдавал приказания.

Космонавт Гаврилов был человеком дисциплинированным. В девять часов вечера он должен был отойти ко сну и отошел. Он лежал с закрытыми глазами. По программе ему был положен сон, и он спал. Но сны ему по программе положены не были. Они были противопоказаны, а, может быть, и вредны, так как оказались сферой, не подвластной тем, кто следил за полетом, а этого быть не должно. В уникальном эксперименте по многодневному пребыванию человека в космосе должна была учитываться каждая мелочь, и сны были исключением, ибо они не подлежали ни учету, ни контролю, ни проверке. Но вопреки всему этому космонавт Гаврилов видел сны, хотя он и не докладывал об этом вниз, в Центр управления полетом (ЦУП), где, естественно, никто ни о чем не догадывался.

Почему же космонавт Гаврилов не докладывал о своих снах?

Может быть, потому, что тогда он должен был бы рассказать и о другом? О том, что он испытывал каждый раз, просыпаясь?

Он испытывал одно и то же. В своем огражденном от мира мирке, в невесомости, оторванный от земных забот, тревог, страхов и сомнений, он всякий раз испытывал тоскливое чувство разрыва с землей.

К этому он так и не смог привыкнуть.

Привыкнуть можно ко всему. К тому, что мотаешься на работе, как собака, к тому, что ешь на ходу, где придется и что придется, к тому, что ни в чем нет порядка и на нашей жизни уже и не будет, к тому, что надо в Рождество сдавать недостроенные дома, и к тому, что за рулем в каждой второй машине сидят идиоты. И к светофорам, натыканным на каждом углу, тоже можно привыкнуть настолько, что они тебя уже и не

сердят. Мелькает снег, мелькают «дворники», мелькают прохожие, мелькают огни — зеленые, желтые, красные. От усталости темнеет в глазах. Опять красный? Пусть горит. Пусть.

Потому что он уже дома. Рядом с домом, совсем рядом. Еще десять, от силы пятнадцать минут. Он глядит на часы. Две, нет, три минуты десятого. Так, так. Красный свет светофора раздражает Сомова, хотя он и не бык. Но он берет себя в руки. Постоянно держать себя в руках — это словно вторая профессия. Он не поддается раздражению. Он дисциплинированный водитель. Двадцать пять лет за рулем. Никаких происшествий. Неведомый миру идеал ГАИ. Свой первый автомобиль он купил, вернувшись из Китая. То был «Москвич-401», мир праху его. Потом были другие машины. Теперь — «шестерка». А надо бы «Волгу» — проще с ремонтом. И вообще. В министерстве обещали выделить, да, видно, запамятовали. Ничего, ему не к спеху.

Вот так. Стоит только запастись терпением — и дождешься всего. И того, что из тюрьмы выпустят, и того, что судимость снимут. И что в партии восстановят. Вот только жизнь не вернешь, ту, что была, да сплыла.

Об этом не надо, сказал себе Сомов. Вполне можно предположить, что именно так он себе сказал. Именно так и именно это.

Поскольку здесь был тот случай, когда никакое терпение ничего не решало.

Стой и жди. Золотое правило. Сам придерживаюсь и другим советую. Годится на все случаи жизни. Вот он и ждет, Сомов. Может, семафор не в порядке. Все равно — стой и жди. И не нервничай, это вредно для здоровья. Жди и думай, ведь всегда есть о чем. О производстве, например, вот о чем всегда можно думать.

Хватит с него производства. На сегодня — хватит.

Можно думать о том, как ехать дальше. Можно так, а можно этак. Скажем — поехать прямо. До проспекта Гагарина. А там — направо. Все по проспекту, не заметишь, как парк Победы, Кузнецовская, еще чуть-чуть, и дома. Дома, дома. Горячий душ, да. Прежде всего. А вообще — давно не ходили в сауну. Да. Нужно позвонить Филимонову, он это любит. Советская власть — вот кто такой Филимонов, живу у него в районе, как у Христа за пазухой. С гаражом — в одно касание. Мгновение — и есть гараж. И вообще.

И вообще.

Что это мигает? О, черт, это указатель уровня бензина. Он забыл, совсем забыл. Он давно уже мигает, этот указатель. Но как давно? Стрелка уже не на нуле, она забилась в левый угол и даже не дрожит. Только этого еще не хватало — не хватает застрять посреди улицы с пустым баком и канючить литр бензина. Сомов, ты растяпа. Ничего себе. Ничего себе покатался по делам службы. Утром, когда он выезжал из гаража, бак был полным. А теперь займемся арифметикой. Полный бак — сорок литров — это шестнадцать рублей. Шестнадцать рублей за сутки превратились в нечто эфемерное, в отработанный газ, эти шестнадцать рублей и отравляют сейчас атмосферу вместе с многими другими рублями. Можно сказать, что вся ионосфера состоит из рублей. Но разве это неправильно? Это правильно. Хочешь ездить с комфортом — плати. За все надо платить, за все в этой жизни приходится платить. Таковы правила. Правила игры. Разве жизнь — не игра? Игра. Вот и плати. Взялся играть — играй. И не жалуйся. Если проиграл — плати, если выиграл, держи выигрыш. И не плутуй. Это — главное.

Сам он не плутует. Никогда.

Проклятый семафор. Он стоит здесь уже час. Или больше?

На часах — три минуты десятого. Четыре...

Значит, так. На заправку он не поедет. И домой он не поедет. А поедет он в гараж, хоть это и чуть дальше. В гараж. Это рядом, совсем рядом. Гаражный кооператив номер тринадцать. На Витебском проспекте, вдоль железной дороги, триста пятьдесят металлических домиков, приткнувшихся один к другому, длинный серый ряд, железные стойла для металлических коней, саркофаги для желающих укрыть свои сокровища. Каждый владелец мечтает о таком убежище, тот, у кого оно есть, может спать спокойно, все пространство обнесено решеткой, а где решетка, там и охрана. Сомов в этом убедился.

Он — владелец. И если ставит машину в гараж, то и он спит спокойным сном, не думая ни о колесах, которые так легко снять, ни о магнитоле, которую так легко вынуть. И снится ему в такие дни легко и спокойно, и в снах его нет ни угонщика, ни зияющей пустоты на месте лобового стекла; сердце его во сне не дает перебоев. Хорошо.

Неплохо, конечно. Но не очень удобно. Особенно, когда устал — вот так, как сегодня. Близко ли, далеко ли, а от гаража шагать еще минут двадцать по занесенным снегом улицам. Куда как удобнее поставить машину под окнами. Он так делает иногда. Чаще — летом, почти никогда — зимой. Сейчас в его сердце сомнение. Перед глазами

вдруг поплыли круги. Что это? Круги поплыли и исчезли. Возраст? Сорок пять лет — это не возраст. Для мужчины. Да, для мужчины. Для него, для Сомова. Он просто устал. Он мотает головой — точь-в-точь как лошадь, которую донимают слепни. Ему вдруг начинает казаться, что он спит и все это ему снится, или что он движется в странном сне, и нет на самом деле никакого движения, и он стоит на месте, стоит уже давно, может быть, с незапамятных времен, что он пустил корни и врос в землю.

Но это не так. Нечего и говорить — это не так. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно было бы бросить взгляд на спидометр. Но он не делает этого.

На спидометр он не смотрит. Зачем? Это ему не нужно. Он профессионал, за двадцать пять лет он научился обходиться без спидометра, каждая клеточка его тела показывает скорость не менее точно, чем самый точный прибор. Шестьдесят километров в час — не больше и не меньше. Уважение к правилам — правило его жизни, дисциплина у него в крови. Дисциплина и чувство ответственности. Всегда и во всем.

Взгляд в зеркало заднего вида. Взгляд перед собой. А слева? Нормально. А справа? Тоже. Круговой обзор успокоил Сомова, предусмотрительность никому еще не помешала. Предусмотрительность это тоже достоинство, большое достоинство. Многим оно не присуще. Но не ему. Ему самому оно присуще. Ему присущи все достоинства, которым должен обладать герой. Герой нашего времени. Значит, он, Сомов, герой? Этот вопрос остается без ответа. Поговорить бы об этом с Чижиком. Он у нас специалист по героям. И тем не менее. *Анатолий Сомов — кладезь различных достоинств.* Жаль только, что это не уберегло его от тюрьмы.

Есть ли смысл думать об этом? Нет. Смысла нет. Он и не думает. Здесь, сейчас. В сложной дорожной обстановке водитель не должен отвлекаться. Сложная дорожная обстановка располагает ко вниманию. Она обязывает. Он обязан быть внимательным, предусмотрительным, обязан быть начеку, иначе не избежать беды. Кое-кто и не избежит этой беды сегодня, думает Сомов. Не он, но кое-кто сегодня пострадает.

Часы показывали двадцать один час четыре минуты. В это мгновение такси, за рулем которого был водитель Королев Д. М., остановилось у киоска, где, привалившись головой к стенке, дремал согретый «Солнцедаром» продавец Князев. Пассажир Сенотов достал из кармана десятку и протянул шоферу. «Возьми бутылку»,— сказал он. Шофер молчал. Сенотов долго не мог понять, потом понял и достал еще пятерку. Шофер Королев Д. М. вылез из машины, аккуратно, чтобы не выдуло тепло, прикрыл дверцу.

Соня Королева, дочь майора в отставке, спала в это время в мастерской художника Осетрова на седьмом этаже здания, расположенного на Литейном проспекте, дом 55. Она была беременна, но во сне это ее не мучило. Она спала и улыбалась своей прекрасной текучей улыбкой, за которую я ее так любил. Это было давно, летом и осенью семьдесят второго года в Одессе. Ей тогда было восемнадцать лет, и она хотела посвятить свою жизнь поэзии. К сожалению, она посвятила ее не только поэзии. Увы.

Я все еще стоял на зеленой палубе «Ладоги-14». «Спасибо за внимание,— сказал похожий на Гоголя капитан, наклонившись к микрофону.— Спасибо за внимание, и до встречи». Хотя нет. Спасибо за тепло. Спасибо за тепло — так он сказал.

«Ладога-14», мелко подрагивая, отваливала от стенки. «Принять швартовы с правого борта. По местам стоять, со швартовых сниматься».

Мальчишки на набережной стоят, замерев.

«Ладога-14» аккуратно выбирается на открытую воду, стараясь не задеть огромный ледокол «Капитан Зацепин». И не задела, пройдя почти впритирку. Берег дрогнул и стал медленно отползать. На берегу стояла жена боцмана, та, что была похожа на девочку. Она плакала, вытирая слезы рукавом. Ее собственная дочь смотрела на нее с испугом. В руках у девочки был большой желтый медведь.

Чижов повернулся и по трапу взбежал на капитанский мостик. Отсюда все было видно гораздо лучше. И вдруг неведомая и непонятная радость охватила его. Он почувствовал, как все страхи уходят и уходят назад. Он не думал ни о чем. Кто знает, может быть, ему и впрямь забыть прошлое?

Я смотрел и не мог насмотреться. Вокруг меня была жизнь. Она мне нравилась. Светило солнце.

На парапете одиноко стояла бутылка из-под «Лимонной горькой». Мальчишки исчезли. Жена боцмана тоже исчезла. Но все остальное никуда не исчезло, весь мир. Автобусы, грузовики и легковушки все так же бежали вдоль набережной.

Чайки взмывали и падали.

На противоположном берегу бетонные плиты, словно обломки рухнувшего мира, все так же громоздились в небо.

Моторная лодка, похожая на назойливую муху, лихо выписывала вензеля перед самым носом у сухогруза. Что делают, что думают сейчас те, кто остался на берегу, подумал Чвжов. И еще он подумал: не исключено, что многое зависит от того, где находишься ты сам. Одно дело — взгляд на реку с берега, совсем другое — с реки на берег.

Берега отползали и отползали. Чижов смотрел, будто ему только что вернули зрение после долгих лет темноты, глядел и не мог наглядеться. Ему казалось очень важным ничего не упустить, ему казалось очень важным запомнить все. Все без исключения. Ведь не исключено, что это начиналась новая жизнь. Вот почему ему хотелось запомнить все это, вот почему он должен был ничего не забыть...

Он должен был что-то вспомнить, но голова была тяжелой и память отказывалась от какой бы то ни было работы. Вячеслав Князев повернулся на стуле, и стул жалобно скрипнул. Сейчас, сейчас.

В эту минуту кто-то стукнул в дверцу. Потом еще. Князев не знал, кто это, но он догадывался. Здесь ему не нужно было ломать голову. После девяти могли стучать только таксисты, у которых под рукой не оказалось своей бутылки. А у него эта бутылка была. Это все Зина придумала, это была ее идея. Вот почему он и сидел в своей будке до десяти — стоит потерпеть немного, и дюжина бутылок разойдется, как сахар в воде, без следа.

Он открыл дверцу и увидел майора в отставке Королева. Князев знал майора в отставке, тот заезжал к нему не в первый раз. Просунулась рука с деньгами. Князев взял деньги, взглянул. Все было правильно. Он спрятал пятнадцать рублей в карман на животе и, нагнувшись, достал из-под ног поллитровку. А затем вложил ее, горлышком вперед, в широкую ладонь майора в отставке. Ладонь сомкнулась, и похоже было, что она сжимает гранату. Потом рука вместе с гранатой исчезла, и бывший чемпион по боксу снова остался один. Он закрыл глаза и снова погрузился во тьму.

Часы на его руке показывали три минуты десятого.

С неба падал снег.

Он падал и падал. На крыши, дороги, под колеса машин. Но главное — на крыши. Да, главное. Вот именно — на крыши, в первую очередь на них. В том-то все и дело, в том-то и беда. Его, Сомова, беда. Его, Сомова, проблемы. Природа против него, снег задевает его лично. Проблема крыши, на которую падает снег, вообще проблема кровли. Проблема кровельщиков. Потому-то и есть эта проблема, проблема кровли, что нет кровельщиков. Но снег не знает об этом, он не хочет об этом знать и знай себе падает и сыплет. Словно все строения подведены под крышу.

А это не так.

Черт бы побрал этих кровельщиков. Черт бы побрал всех кровельщиков на свете, этих и тех. Они так же редки в природе, как черные жемчужины. Всего хватает под луной, всего в нашей стране с избытком; хватает генералов, хватает поэтов, особенно великих, хватает лауреатов, и секретарей райкомов и даже членов ЦК. А вот кровельщиков нет. Их не хватает. И не просто, а катастрофически. Нет и нет. Может быть, им мало платят? Нет, им платят много. Не меньше, чем генералам, и больше, чем генеральным директорам. Может быть, им надо платить по маршальским ставкам?

Вот где проблема из проблем. Ведь если здание построено, если объект готов — как обойтись без кровли? Это понятно вообще, но особенно — в такой вот день. В день, когда с рождественского неба падает пушистый снег. Даже в яслях, где лежит святое дитя, может быть тепло только в том случае, если над яслями кровля, уже в древности понимали важность этого вопроса. С веками он стал менее важным. Вот именно.

Один объект Сомов сегодня сдал, еще один остался. И Сомов снова там. Всей душой, душой и измученным телом. Кто не поймет его, кто не посочувствует. На его объекте: над его объектом — дыра, провал, который черным глазом смотрит в небо, густо запорошенное снегом, над провалом, над отсутствующей кровлей нет «дворников», какие есть на лобовом стекле автомобиля, никто и ничто не сгребает этот снег и он ложится на чердачное перекрытие толстым пушистым слоем.

Приемник, наполнявший салон машины шипением и треском, заявил вдруг разборчиво и сухо:

«... Таким образом команда Трои имеет реальный шанс взять у греков реванш за сокрушительное поражение в прошлом году».

В прошлом году, подумал Сомов, в прошлом году. Вот и еще один год пролетел.

В прошлом году. Неужели и впрямь целый год, год жизни, прошел, пролетел, промчался. Что же это? Что же это за жизнь, в которой один день неотличим от другого, и годы, что, пролетая, похожи на дни. Что там было, в прошлом году? Не отрывая глаз от дороги (предусмотрительность, осторожность), он попытался вспомнить. Ничего не было. И ничего он не вспомнил. Все то же. Бесчисленные постановления, бесчисленные

решения. На всех уровнях. Только не на уровне жизни. Разве что на уровне смерти. В этом, пожалуй, и состояла разница. Потому что тогда, вспомнилось ему с трудом, он, Сомов, не был еще заместителем генерального директора по капитальному строительству. Им был тогда Милюков. Борис Иванович Милюков. Маленький, тощий, застенчивый. Милюков собирался тогда на пенсию. На заслуженный, как говорится, отдых. Ему было шестьдесят восемь лет, из которых он проработал пятьдесят четыре. Пятьдесят лет он был в партии. У него было три ордена, семь медалей, два инфаркта и один инсульт, все как положено. Вот его и провожали всей фирмой, провожали по высшему разряду. Зимой это было, зимой прошлого года, так и есть — год назад. Греки выиграли прошлогодний «Балканский кубок» у троянцев с каким-то фантастическим счетом, а Милюков уходил на пенсию. Два оклада тогда выписал генеральный директор своему заместителю, а общественность поднесла будущему садоводу-любителю цветной телевизор — сиди на даче, выращивай цветочки. Гвоздики. Все это знали — Милюков любил гвоздики, все мечтал вывести какой-то необыкновенный махровый сорт.

Не вырастил. Милюкова хоронили через полгода. Второй инсульт. В крематорий было не протолкнуться, и людей и цветов было такое множество, словно хоронили не строителя, пусть даже и заслуженного, а эстрадную певицу. Никто не забыл, что Милюков любил гвоздики, их принесли ему сотни — белые, красные, желтые, розовые. Вот и все, что осталось от Милюкова. Бедный Милюков, кто знал, что этот год был для него самым последним годом и другого у него уже не будет.

Приемник снова протрещал, кашлянул и добавил:

«...Другого случая уже не будет. Сейчас на лед выйдут следующие пятерки: у Трои — Эней, Акамант, Сарпедон, Главк и Эпикл. У греков...»

Треск заглушил слова комментатора. Затем раздались гудки...

Что? Почему? Что случилось?

Гудки раздавались со всех сторон. Сомов помотал головой. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Обтекая его, катилась плотная масса машин, а те, что стояли за ним, гудели надсадно и громко. А он? Он стоял. Сколько времени он уже стоял так? Он что, уснул? Потерял сознание? Забылся? Он не мог понять. Он не помнил. Не мог вспомнить ничего. Он остановился у светофора, и вдруг все поплыло. Что-то ударило в голову и глаза закрылись. А когда открылись, красного не было, уже горел зеленый и все гуделя, а ему-то казалось, что он все еще едет, и он даже ухватил ускользавшее воспоминание о том, о чем он думал: о Милюкове, которого он сменил на посту заместителя генерального директора. Он бросил взгляд на часы, может быть, они ему что-нибудь подскажут. Но они ничего не подсказывали. Они показывали точное время — *двадцать один час четыре минуты.*

Он снова нажал на педаль. Он тронулся с места, мягко, тихо, только улица поплыла назад своими домами, людьми, фонарями. Что же это было? Его не покидает ощущение нереальности происходящего, или реальности, которая повторяет сама себя, как ряд отражающихся друг в друге зеркал. С ним уже было такое. Такое, или что-то подобное. Когда-то, где-то, по какой-то причине. Он даже знал, когда.

Это было в тот день, когда от него ушла жена. Вернее, уехала. Уехала навсегда, в Москву, уехала, не тронув в комнате ничего и увезя с собою только сына. Но записку она оставила. *«Я уезжаю от тебя. Навсегда. Лида»*. Вот что было в записке. Он до сих пор помнит свое ощущение. Ощущение непоправимой беды. Какой-то фатальной нелепости. Какого-то нелепого абсурда. Но это были ощущения. А он был человеком действия. Он догадывался, куда она уехала, он почти это знал. Он знал и другое — если он успеет добраться до Москвы раньше нее и встретить Лиду на вокзале, он еще сможет ее вернуть. Возможно, что сможет. Какое-то мгновенье он решал — самолет? Машина? Машина, решил он, и больше ни о чем не думал. Глядя прямо перед собой, прижимал педаль, сбрасывая газ лишь у постов ГАИ. Мелькали указатели. Новгород, Крестцы, Валдай. Потом Торжок. Спидометр возле цифры сто двадцать. Он не останавливался, но где-то под Москвой он заснул за рулем. Глаза его закрылись, а когда открылись, он был уже на обочине трехметровой насыпи. Когда я как он успел затормозить и что было дальше, он так никогда и не узнал, как не узнал, для чего хранила его судьба; в следующее мгновенье он уже спал. Он понял смысл происходящего, только проснувшись. Было утро, кричали птицы, какие-то поля простирались влево и вправо, сливаясь с мягкими холмами, вдали угадывалась речка. И он был жив. В этом и состоял урок, который давала ему судьба, она предупреждала его, она как бы грозила ему пальцем — в последний раз. Она требовала от Сомова понимания и смирения. Смириться он не смирился, но понял. Он развернулся и поехал обратно. Обратно он ехал не спеша. Потому что спешить ему было некуда. То, что он потерял, было потеряно навсегда.

«...Еще не все потеряно,— доверительно сообщил приемник, вновь обретя голос.— *В пользу греков... На двадцать второй забросил Патрокл... Несмотря на отсутствие знаменитого лидера команды Ахилла, тренер греческой команды Терсит уверен...»*

Сомов, вновь обретая увереняость, ведет машину в общем потоке машин. Его силы на исходе. Каждая секунда равна вечности. Он по-прежнему бдителен, но, может быть, этого недостаточно для безопасного движения в условиях обледенелого дорожного покрытия и плохой видимости? Прямо перед ним возникает огромный «Икарус». Он рычит, он окутан черным дымом. В глазах черные точки.

«...На глазах у тысяч зрителей. У команды Трои начинают сдавать нервы».

Как у Сомова. У него тоже стали сдавать нервы. Правильнее было бы сказать, что они уже давно у него ни к черту. Совсем не годятся, да. И это его не удивляет. Если даже у хоккеистов случается такое. А ведь хоккей не работа, это игра. Что же говорить о работе? Такой, как у него? Сдадут, даже если они стальные. Хоккей — это три периода по двадцать минут в два перерыва. А у него перерывов нет. По своему полю он бежит с утра и до вечера, бежит беа остановки. Сегодня, например. Приехал из Москвы в половине девятого и с тех пор бежит. Что там говорит приемник. *Смена составов?* Ну да. Конечно. Чтобы спортсмен не выдохся, не потерял форму. Забота о человеке или, как теперь принято говорить, человеческий фактор. Ну а он? Он какой фактор? У него какая смена? Никакой. Никакой смены нет; ни сегодня, ни вчера, ни завтра. Он сам себе команда, он сам себе и нападающий и защитник, он сам себе запасной. Все бежит и бежит. В неведому даль. По родной стране. От объекта к объекту. От одного к другому. А от того к третьему. На запад, на восток. На север. На юг. Как это пелось? «С южных гор до северных морей». Старая песня. «Человек проходит как хозяин»... Вранье. Абсолютная чушь, бессмыслица. Если человек хозяин, то он не проходит. Проходит посторонний. Если ему наплевать, что здесь происходит, кто здесь работает и что здесь делается. А хозяин — тот не пройдет. А иногда не то, что пройти — и проехать нельзя. Дорожный вопрос по-прежнему не решен. Был бы он... был бы он тем человеком, которому дано принимать решения... и не только принимать, таких хватает, но и иметь достаточно власти, чтобы добиться исполнения того, что решено, он объявил бы пятилетку строительства дорог. А то под самым городом...

Вот, как Кизяков. В прошлый раз так и сказал — не смог проехать, застрял. Кизяков из одиннадцатого треста. И сегодня на приемку не явился, прислал какого-то мальчишку. А почему? Это еще предстоит Сомову выяснить. И он выяснит. Кизяков, конечно, фрукт, начнет юлить, придумает что-нибудь. Но вечно врать не может никто; долго — можно, но все время — никто. Тем более Кизяков. Завтра же выяснится, почему он не приехал на приемку. А может быть, даже и сегодня. Так что напрасно радуется этот Кизяков. И надеется напрасно. Его люди давным-давно должны были подать кран на вторую площадку, а где он? Где кран? Нет крана. И Кизякова поэтому нет. Потому что без крана и ему Кизякову, цена копейка.

Нет, нет, нет. Хватит. Видно, доверие идет не впрок таким, как Кизяков. Еще три дня назад был разговор в исполкоме у Дудкина. В глаза глядел Кизяков, руку к сердцу прикладывал, к тому месту, где у людей сердце. Клялся, что больше накладок не будет. Но клятвы — не кран, да. И вот нет ни крана, ни Кизякова. Ну, не стервец ли. И что? Ведь годами так тянется, годами. Ну, вытянут они с Дудкиным его на райком, ну, закрутится, как пес, начнет снова клясться и божиться. Это у них там, в одиннадцатом тресте, похоже, так заведено. Традиция такая — врать, глядя в глаза. И Теteркин был такой же. Петька Тетеркин, выпускник того же строительного факультета, годом позже кончал. Точно такой был. Схлопотал два инфаркта — и нет Петьки, Кизяков вместо него. На восемь лет моложе, а такой же враль. Сомов, вспомнив покойного Тетеркина, вспомнил и о том, что остался должен ему Петька по банному делу восемь рублей. В «Астории» дело было. Ну, теперь не получишь с Тетеркина. Не отдаст. Разве что на том свете. Да и то неизвестно еще, отдаст ли.

«...И Одиссей пытается отдать шайбу, сказал приемник. Но судья дает свисток. Нарушение правил».

Чего никогда не делал продавец Князев. Никогда. Здесь все дело в правильной установке, а установку ему давала Зина. Вот она-то и сказала ему о правилах игры, которые нарушать нельзя, если не хочешь, чтобы тебе же потом было хуже. Так что он запомнил это, запомнил намертво, словно в торговле родился и вырос, разбуди его, скажет то же самое, что говорила Зина. Слово в слово. Каждому свое.

Все. Нет больше сил. Он закрывает лавочку. Прячет под прилавок остатки товара. Он не боится, что взломают его фанерную конуру — как раз напротвв, в нескольких шагах, круглые сутки дежурит милиционер. Он выворачивает карманы. В магазине напротив двери закрыты и свет потушен, но он-то знает, что там еще кипит жизнь, там подводят итоги сегодняшнего дня. Без его, Князева, лепты этот итог будет неполным, его там ждут.

И он снова выворачивает карманы. Бумажки, бумажки. В них все, в этих бумажках — желтых, красных, синих и зеленых. В них и власть и слава. Ради них люди идут на преступление и на риск, они сидят по тюрьмам и валят лес в лагерях. Ничего в мире не изменилось. Капитализм, социализм. Ничего. Бытие по-прежнему определяет сознание, а какое бытие без денег. Зато с деньгами бытие может быть замечательным. Оно может быть прекрасным и удивительным, и таким же, вслед за бытием, становится сознание.

Он откладывает в сторону сиреневую бумажку. Двадцать пять рублей — это его оброк. Это дань. Он выплачивает ее ежедневно Светлане. Светлане Петровне, директору магазина. Это ее законная доля.

Князев не завидует.

Его место — в самом низу, у самого подножья пирамиды. Не место — золотое дно. Здесь что требуется? Умение считать до десяти. Умеешь — и радуйся. Для этого не надо было кончать институт, это ясно. Не надо было темными ночами штудировать теоретическую механику, сопротивление материалов, высшую математику, английский язык. Что ж, так случилось. Никто не знает своего будущего, вот и он не знал. Как там у Пушкина — «Грядущие годы таятся во мгле». О своем высшем техническом образовании Князев в анкете умолчал, здесь афишировать не нужно. Охотнее всего он и сам позабыл бы обо всем, только иногда, когда поутру проснешься неожиданно и голова не трещит с похмелья, лежишь в темноте и думаешь, ты это или кто другой. Неужели это он учился в институте, занимался боксом, поднимался на пьедестал, подставляя шею под медаль, подвешенную на ленте, неужели это он поехал однажды в Китай; неужели это он получал в праздник открытки, валяющиеся где-то среди хлама: «Дорогому товарищу Вячеславу Князеву от китайских друзей первой группы Третьего отдела».

Забыть, все забыть.

Проклятый «Солнцедар». Забыть. Забыться.

Продавец Князев считает выручку.

Нет, забывать ничего не нужно. Наоборот. Надо помнить, что Светлапа Петровна не любит, когда ее подчиненные на работе пьют «Солнцедар». Она сразу говорила об втом, когда Зина, связанная со Светланой Петровной какими-то старыми делами, привела Князева в магазин. «Только не пить»,— сказала Светлана Петровна, и вскользь мазанула глазами по Князеву. Сучка, подумал тогда Князев. «Не нарушать трудовой дисциплины». Быть выдержанным, с продавцами, с покупателями... со всеми. Выдержанным бывает только коньяк. Он с удовольствием пил бы коньяк, но коньяк ему, Князеву, еще не по карману. Он еще раз внимательно осматривает карманы, не завалялось ли чего, деньги любят счет, он их подсчитает. И даже пересчитает, если так уж нужно. Если они это любят. Ибо любовь, как утверждал Достоевский, спасет мир.

Великий писатель был прав.

А что любит Князев? Что любит бывший инженер, бывший чемпион, бывший... да, во всем бывший, а в настоящее время передовой труженик прилавка, продавец апельсинов торговой точки номер шесть? Он ухмыляется, резиновая улыбка растягивает непослушные губы. Он знает. Только он знает, что он любит. Это его тайна, его секрет. О, настанет время. Кружи, финти, ныряй, уклоняйся от ударов, от ударов судьбы, терпи их, покрывайся потом, чувствуй, как останавливается дыхание, как свинцом наливаются ноги, ио двигайся, держи удар и не раскрывайся, а потом вложи все в один удар...

Так он и поступит. Не сейчас, нет.

Надо подождать, продержаться. Еще немного, еще чуть-чуть. И тогда настанет его время. Тогда он выберется из угла, куда загнала его судьба, тогда он перейдет в наступление. В свое время, в свой час. И этот час уже близок...

Часы на его руке показывают точное время: десять часов четыре минуты.

Сомов в это время был еще жив. Я думаю об этом, стоя рядом с капитаном «Ладоги-14» на мостике. Берега реки неспешно уходят назад. Мне уже за пятьдесят, но я не был здесь ни разу. «В гранит оделася Нева». Но здесь она отнюдь не оделася в гранит. Здесь она еще плещет свои мутные волны о низкие берега, усеянные какими-то сараями, сарайчиками и сараюшками, здесь Нева такая же, какой она была и пятьдесят, и сто лет назад, и гранитные берега, похоже, ей не грозят. Обилие сарайчиков наводит на мысль о том, что население прибрежных районов сплошь разводит кроликов. Но каких? Морских? Речных? Я не удивился бы этому. Ведь есть морские коровы и морские лисицы, почему бы не быть морским кроликам?

Чуть мерцая, течет навстречу жемчужная поверхность реки, расцвеченная красивыми нефтяными пятнами. Слева и справа, приткнувшись к берегу, стоят суда, запущенные, ржавые, они похожи на огромных доисторических животных. Как их звали? Чтобы вспомнить, надо напрячь память. Я спрашиваю об этом старпома. Он

чуть моложе меня, значит, мы в одно время ходили в школу. Он должен помнить. Старпом долго смотрит на меня. Он до сих пор не может решить, кто я на самом деле, и на всякий случай держится настороже. Доисторические животные? Немного подумав, он уже готов что-то сказать, но в это время рулевой произносит: «Мамонт». Старпом недовольно хмурится, похоже, он сам хотел сказать про мамонта. Вместо этого он произносит: «Внимательней на руле». «Есть внимательней на руле»,— отвечает рулевой.

Я вижу, как он улыбается. Ему чуть больше двадцати, прекрасный возраст, и мне кажется, что и я и старпом попросту завидуем этому мальчику, у которого впереди вся жизнь.

Я от всей души желаю ему, чтобы его жизнь была лучше нашей. Хотя прежде всего стоило бы пожелать, чтобы просто была хоть какая-нибудь жизнь к тому моменту, когда он достигнет нашего со старпомом возраста. То есть лет через тридцать. Судя по накалу борьбы за разоружение, этого может и не произойти.

Так я думаю, глядя в спину рулевому.

Что думает старпом, я не знаю. Да и вообще я мало что знаю, и вопреки распространенному мнению, с годами знаю все меньше и меньше. Может быть, потому я так напряженно возвращаюсь мыслью на восемь лет назад, стараясь вызвать к жизни невозвратно канувшие в небытие те пятнадцать минут, что длился заключительный период хоккейного матча, которого тоже уже никто не помнит, когда Сомов еще думал о будущем, а я, дав клятву сойти с прибыльного, но достаточно бесчестного пути, проложенного нам в мире нашим крестным отцом Артуром Хейли, пытался написать роман об одном прямодушном человеке, жившем четыреста пятьдесят лет тому назад в Англии при короле Генрихе Восьмом, известном своими многочисленными женами, которых он время от времени отправлял на плаху...

Но кое-что о старпоме я все-таки уже знаю. В свое время он окончил военно-морское училище имени Фрунзе, попасть в которое было заветной мечтой любого мальчишки послевоенного времени, и не только потому, что девочки, встречаясь с «фрунзаками» где-нибудь в кировском ДК или в любом танцевальном зале города, и смотреть не хотели в сторону бедно одетой шантрапы, среди которой всем нам было самое место.

У них были длинные палаши. Но, что важнее всего, у них было будущее. Чего про нас сказать было нельзя.

Многие из них вышли в отставку в адмиральских чинах и украшенные орденами, не понюхав даже пороху, но и здесь они оказались вне конкуренции — разве можно сравнить жизнь отставного военного с бедным гражданским пенсионером?

Во мне говорила зависть будущего бедного гражданского пенсионера, которого в свое время не приняли в военно-морское училище. У меня было плоскостопие и зрение минус единица. Так страна лишилась выдающегося флотоводца.

Вячеслав Алексеевич — так звали старпома. Это он сказал мне сразу. И про училище Фрунзе тоже. Про все остальное он тоже скажет. Это произойдет много позже. А пока что он произносит: «Подходим к Кривому колену», и я ощущаю дуновение романтических морских ветров.

Собственно, ради этого я и тронулся в путь именно таким способом. Я полагаю, что во мне так и не прошла обида на приемную комиссию, забраковавшую меня по причине плоскостопия. В рядах нашей писательской организации есть немало маринистов, которым дано со знанием дела воспевать романтику морских просторов; не проходит и года, чтобы в мир не выплескивалась еще одна, не без блеска написанная книга из бесконечной серии подобных же книг, которым рано или поздно предстоит вычерпать океан. Не веря им, я в то же время полон зависти ко всем этим островам Зеленого Мыса, проливам Лаперуза и Баб-эль-Мандеб и прочей мужественной маринистско-географической чепухе: грозные опасности современных мореплавателей таковы, что за год на реках и озерах одной нашей области гибнет народу больше, чем на всех кораблях, бороздивших бурные воды вокруг Мыса Доброй Надежды.

Тем не менее, я полон зависти. Ведь самому мне никогда не увидать, как парит над поверхностью океана стая летучих рыб. Мой удел — это смотреть, как сухогруз «Ладога-14» подходит по разноцветной речной воде к Кривому колену, о чем на весь свет оповещает диспетчер. Так выглядел пролог моей новой жизни.

Чижов шагал вниз, он шагал вниз по трапу. Слово застряло в мозгу, как заноза, и теперь будоражило и терзало память чем-то далеким и забытым, от чего можно было избавиться только вспомнив и снова забыв. Слово «пролог» снова вернуло его в прошлое. Пролог. «Итак, мы начинаем». Леонкавалло, «Паяцы», одноактная опера, на которую он попал случайно, давно и не в этой стране. Название было симптоматичным, точнее, многозначительным. Ведь оно имело к нему самому прямое отношение. Он тоже был паяцем. Только в отличие от Канио он не испытывал страданий, а выдумывал их.

От чего он только не страдал. И каких только страданий не доставлял другим. Не исключено, что страдания, доставляемые другим, были настоящими, но об этом он тогда не думал. Он думал о своих выдуманных страданиях, которые были ему дороже настоящих. В глубине души он даже гордился своими страданиями, в этом было что-то от утонченности, от аристократизма духа, от избранности, а разве не в том, чтобы пробиться в ряды избранных, истинный смысл жизни?

«Нет в мире мук сильнее муки слова». Вот так-то. Это и были его муки.

Я испытывал их каждый раз, начиная новую повесть, или роман, или рассказ. В тот день, когда разбился Сомов, быть может, в те самые минуты я никак не мог понять, каким же будет начало этого нового сочинения, которое, по моему замыслу, должно было обелить меня в глазах потомков, но прежде всего в собственных глазах, которым надоело видеть мою перевернутую фамилию — Вожич — на книжных прилавках. Я ощущал, что эта фамилия уже неотделима от меня, что маска приросла к лицу, и я хотел сорвать ее — пусть даже вместе с кожей и кусками мяса. Тот роман, который я тогда замыслил, должен был вернуть мне лицо. Мое собственное лицо, если оно у меня только осталось.

Пролог — это не просто начало. Это гораздо больше. Это означает, что надежда еще не потеряна.

Знаменитая опера Леонкавалло «Паяцы», которую Чижов впервые в жизни получил возможность послушать в Бухаресте в тысяча девятьсот семьдесят седьмом году, в декабре, начинается с Пролога. Занавес пошел, и открылось что-то вроде поляны. Как он понял (не знаю только, тогда или сейчас), поляна — это пространство самой жизни, на которой разворачиваются самые разнообразные события. В том числе и эта: трагическая история любви. А если быть совсем точным, трагическая история того, что любви достигнуть невозможно, если это любовь красавицы и урода. Тема не нова, ее же трактует сказка, известная под названием «Аленький цветочек», но там поцелуй девушки приводит к счастливому концу, о котором нет и речи в одноактной опере. Этот же сюжет или его вариация разработана молодым Виктором Гюго в знаменитом романе «Собор Парижской богоматери»; при желании можно было бы найти и другие аналоги. Итак, банальный, как всегда банальна сама жизнь: урод с душою, восприимчивой к красоте, тщетно пытается добиться взаимности от красавицы, склонной отдать себя красивому молодому человеку. Банальность есть всего лишь обычность и обыденность, и так оно обычно и бывает, поскольку естественное движение сердца к прекрасному, даже если это прекрасное лишь внешне. Горбун отвратителен, а потому, умен он или нет, не имеет значения. Кому нужны сокровища, предстающие в виде, вызывающем неприязнь и брезгливость?

Древние греки ставили красоту выше ума, что дает нам право заключить, что красавица была права, а горбун нет.

Значит, пространство поляны. На ней — передвижной театр, собственно кибитка на колесах, этакий огромный передвижной фургон, на которых американские переселенцы середины прошлого века осваивали дикий Запад, уничтожая по пути назойливых индейцев, не понимающих, что за приобщение к будущей цивилизации надо платить; такой фургон при нужде вполне мог служить и сценой.

Ни о каких индейцах, разумеется, разговора нет.

Фургон стоит слева, затем поляна, дальше — нечто античное, полуразрушенное, скажем, амфитеатр.

Входит Пролог.

Он грустен, он чем-то опечален, это видно сразу. Ибо он знает все. Он — это судьба, от которой не уйти и не скрыться. Пролог — мужская роль, хотя древние греки да и римляне считали, что судьбами заведуют женщины, с чем нельзя не согласиться, Мойры или Парки. Тем не менее...

Пролог начинает объяснять публике, что к чему. Он начинает рассказывать то, что немного спустя произойдет на глазах у зрителей.

Зритель заслуживает того, чтобы знать правду, каждый человек заслуживает этого. Ибо всегда надо быть готовым ко всему, даже к самому страшному. Для того, чтобы сохранить спокойствие, лучше всего знать наперед, что тебя ожидает. Тогда есть надежда, что удастся держать себя в руках...

Я сижу в своей каюте. Над моей головой дрожит полка с книгами. Книг три: стенографический отчет о Восемнадцатом съезде партии, статистический справочник народного хозяйства за прошлый год и однотомник аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса, родившегося в 1899 году; эту книгу я всюду вожу с собой в то время, как предыдущие две достались мне в наследство от моего предшественника, о котором я ничего не знаю. Мы все еще стоим у Кривого колена.

Взять себя в руки? Это звучит как символ. Почти так же, как выражение «рука судьбы».

Сидя в темноте, она ощущает свои руки, лежащие на коленях. Лежащие на коленях и на книге. Руки красивые и холеные, хотя и несколько большие. Она — это Людмила Викторовна Филимонова, руководитель проектной группы некоего института, ветеран труда, передовик производства. Всегда выдержанная, всегда спокойная, она служит примером для подчиненных и образцом для окружающих. Она — член парткома и так далее. Человек весьма достойный, хотя в темноте этого можно не разглядеть.

Ее выдержка — от самой жизни. Прежде чем вывести ее из низов на относительные вершины, жизнь выдержала ее в нелегких условиях, и ей самой пришлось в этой жизни немало терпеть и немало выдержать. Но она не жалуется. Она не жалуется никогда. Поскольку жизнь свою она держит в собственных руках — пусть несколько великоватых, но достойно холеных и безусловно красивых.

Красивыми и холеными они стали не в последнюю очередь благодаря тому, что пятнадцать рублей — тремя бумажками по пять — два часа назад перешли в еще более холеные руки ее давней приятельницы Зины, маникюрши. Пятнадцать рублей — это сто пятьдесят «по-старому», ибо Людмила Викторовна еще не забыла те времена, и, вспоминая о них, она против воли покрывается краской. То, что она платит — пусть даже самой модной в городе маникюрше — пятнадцать рублей — безобразие, даже если та приходит к ней на дом; в этом она не призналась бы никому, ей стыдно. Но это так удобно, а деньги... это всего лишь деньги.

Тем не менее она каждый месяц звонит Зине, и Зина к ней приходит домой; иногда, но редко, Зина приходит к ней и два раза в месяц.

Кроме того, Зина — источник сведений о современной жизни, который не сравним ни с чем. Это настоящая женщина, это современная женщина, очаровательная, как модель фирмы «Карден», и деловая, как Джон Пирпонт Морган во времена своего расцвета.

Зине — тридцать три года, Людмиле Викторовне скоро пятьдесят, но по жизненному опыту она перед Зиной сущий ребенок. Зина прониклась к Людмиле Викторовне трудно объяснимым доверием, хотя, глядя на Зину, трудно предположить, что она может испытывать доверие к кому-нибудь, кроме собственной сберегательной книжки; не исключено, что это и не доверие, а просто жалость, подобная той, которую могучий и полный сил атлет испытывает к убогому калеке. Посудите сами — эта самая Людмила Викторовна не знает, откуда берутся модные вещи. Господи, да ведь это теперь известно любой малявке, едва она только перестает ходить под себя. Вещи не берутся. Они *достаются.*

— Да,— говорит Людмила Викторовна.— Я понимаю.

— Достать можно все,— говорит Зина, и она знает, что она говорит. Это отдельный мир, сотни и сотни людей, в руках которых большие деньги. Тысячи, десятки, сотни тысяч. Может быть, даже миллионы. Все сплетено в одну сеть, все сплелось, как тысяча гадюк. Одни добывают валюту, другие обращают ее в деньги и вещи, вещи снова превращаются в деньги, а те снова в валюту. Работают сотни девочек, едва только снявших свои пионерские галстуки, ублажая пресыщенных и оголодавших иностранцев, работают шустрые мальчики, следящие за тем, чтобы у девочек не было простоя, работают лихие парни, наладившие связи со шлюхами Скандинавии и подонками Европы, привозятся и провозятся радиоаппаратура и презервативы с физиономиями президентов, видеокассеты с порнофильмами, японские телевизоры и тайваньские электронные часы, кроссовки и марлевые юбки, нательное, исподнее, все, что может быть продано, что может дать прибыль, и здесь не надо ни уговаривать, ни объявлять соцсоревнование, ни брать повышенные обязательства, здесь каждый трудится на себя, не за страх, а за совесть, хотя гонит их дальше и дальше именно страх, холодный и липкий страх. От него не уйти, не укрыться ни на Черном море, которое разбивает свои темно-зеленые волны о набережную, куда выходят номера «люкс», ни на знаменитом горном курорте, где собираются пестро одетые любители зимнего загара и лыжного спорта, ни в Средней Азии, где-нибудь в Бухаре или Хиве, куда на два дня можно всей компанией махнуть при помощи готового к услугам Аэрофлота. Страх гонит и гонит — из кабака в кабак, из постели в постель, от одного опостылевшего удовольствия к другому, гонит, как некогда гнал овод превращенную в корову Ио — давняя история, о которой никто в компании Зины не имел никакого представления.

Людмила Викторовна, чьей любимой книгой по случайному стечению обстоятельств были «Метаморфозы» древнеримского поэта Публия Овидия Назона, знала об этом. Имела представление.

Эта книга была всегда с нею. И сейчас тоже.

Зине тридцать три года, и в эти тридцать три года она уже побывала замужем и за футболистом из команды «Гурия», и за моряком торгфлота, и за директором магазина «Березка», которого, к сожалению, два года назад посадили. Пятнадцать лет разлуки.

— Он был слишком доверчивым,— сообщает Зина.

Сейчас у нее есть любовник. Его зовут Слава, Слава Князев. Мужик что надо. Она устроила его в торговую точку. Самое место для того, кто не ленится.

— Если он не приносит мне за день полтинник,— говорит Зина, аккуратно обрабатывая щипчиками очередной ноготь,— я, Людмила Викторовна, не пускаю его в постель. Вот так.

И Зина смеется. Смех у нее теплый и какой-то домашний, словно воркованье горлинки.

Она многое могла бы рассказать Людмиле Викторовне. Неизвестно почему, она испытывает к ней доверие. Саму Зину это немного удивляет — в этом мире никому нельзя доверять, даже родной матери. Даже человеку, который спит с тобой в одной постели.

Вячеславу Князеву, например, бывшему боксеру.

Чтобы не подвергать его искушениям, она прячет от него и деньги, и свои драгоценности. Береженого бог бережет.

— Покажите мне как-нибудь свои камешки...

— Что? — говорит Людмила Викторовна.— Камешки?

— Ну... брюлики там всякие...

И тут она неожиданно для самой себя узнает, что у этой женщины в пятьдесят лет нет ни одного самого маленького бриллианта. Поразительно! Этого не может быть! Она смотрит на Людмилу Викторовну, муж которой — председатель райисполкома. Квартиры! Это же золотое дно. Это же тысячи и тысячи они просто лежат под ногами.

— Этого не может быть,— говорит она.— Не может быть.

Ее пронизывает острая жалость. Ей хочется... ей хочется... к ее собственному изумлению, ей хочется погладить Людмилу Викторовну по аккуратно причесанным длинным волосам. Но она, разумеется, не делает этого. Вместо этого она говорит:

— В ваших руках, Людмила Викторовна, видна порода.

Лицо Людмилы Викторовны освещает слабая и удовлетворенная (как чудится Зине) улыбка. Спасибо. Спасибо, Зина. Порода. Вот, значит, что. Так, так. Очень хорошо. Хорошо, что правда, настоящая правда, может выглядеть и вот так. Бедная правда.

Людмила Викторовна могла бы... Она могла бы рассказать. Кое-что. О себе. О себе и своих руках. Какими они были. Давно, давным-давно. В то примерно время, когда сама Зина появилась на свет в коммунальной квартире на Большой Посадской улице. В те времена Людмила Викторовна была еще просто деревенской девчонкой и ни сном ни духом не ведала, что есть на свете такое... все такое — и такие города, и такие дома, и такие женщины, чьей профессией может быть догляд за чужими ногтями. Руки. Они всегда были при ней. Надо полагать, что и порода была тоже, вот только мало кто обращал тогда на нее внимания. Точнее, обращали... но не на красоту ее рук.

В восемнадцать лет... в восемнадцать лет ее изнасиловал, провожая с танцулек возле сельсовета, Петька Матвеев, сосед. Это произошло на кладбище. Он выбил ей два зуба, потому что она была сильная и вот этими вот руками пыталась оттолкнуть от себя пьяную Петькину рожу. Вот тогда, чуть отстранившись, он прохрипел: «Н-нет, с-сука, не хочешь...» — и, коротко размахнувшись, по-десантному врезал ей...

А утром вместе с другими ребятами вымазал ей дегтем ворота.

Дело было в деревне Заводская Решетка Барышского района Саратовской области. Суровые нравственные устои деревни, столь любимые нашими писателями-почвенниками (за что они, в свою очередь, столь любимы и народом — в случае, если это читающий народ,— и раздающим бесчисленные ордена начальством, вне зависимости, читающее это начальство или нет), не позволили Людмиле Викторовне оставаться в доме удочерившей ее родной тетки более суток, по истечении которых она и отправилась на торжище цивилизации, в город, имея при себе свидетельство об окончании десятилетки, паспорт и двадцать семь рублей денег.

Ее руки были при ней. Голова тоже. Поскольку до последнего дня жизни в деревне она возилась этими руками в земле, возилась в хлеву и возилась на кухне, руки были сильными, обветренными и большими.

Она шла на станцию. Ходить ей было не привыкать, в школе она тоже отхаживала ежедневно десять километров туда и столько же обратно. В голове ее бился один вопрос — идти дальше или, дойдя до речки, утопиться.

Ведь она сама была виновата. Во всем. Она хотела, как лучше. Она хотела красоты в этой жизни, и, думая о красоте, она переписала однажды, взяв у учительницы книгу, письмо Татьяны к Онегину, положила в конверт и надписала Петькин адрес.

Петька был парнем что надо и уже отслужил действительную в небольшой, но далекой и дружественной стране...

Тридцать лет жизни в городе преобразили ее руки, теперь это можно было признать. Но, может быть, не только руки?

Сидя возле иллюминатора, я пытаюсь разглядеть противоположный берег. Набегает туман, и из него, словно лишенные голов торсы великанов, проступают громады

четырнадцатиэтажных домов, присутствие которых здесь кажется нелепым и неуместным. Я думаю о Люде Филимоновой, которая меня невзлюбила с той поры, когда ей стало ясно, что я знаю об их отношениях с Сомовым. Я думаю о Филимонове, о Пашке Филимонове, толстом, обидчивом, напористом, вздорном, о верном друге Пашке, которому еще молотить и молотить сотни долгих дней на лесоповале, но я не могу удержать эти мысли, и они, едва появившись, расплываются и исчезают, как расплываются в небе облака и как исчезает сон после того, как ты проснешься.

Чего я хочу, чего добиваюсь?

Круг моих поисков, пространство моих умозаключений все уменьшается, съеживается подобно шагреневой коже. Сначала я хотел объять весь мир, теперь не могу удержаться в пределах установленной мною самим цифры четыре. Сомов. Я сам. Филимонов и Вовка Гаврилов... Это четыре необъятных мира.

На периферии которого подобно розовой краске, растекающейся поутру над серой поверхностью воды, встают и требуют своего пространства Люда Филимонова, Соня, какой-то Князев, Зина, еще какие-то люди, которым нет места в этой истории. Все эти персонажи ненаписанного романа должны исчезнуть один в другом, как исчезают матрешки. Пока не останется одна, последняя.

Я сам. Или кто-то другой.

Почему же, почему и зачем я день за днем ворошу и переворачиваю сухие листья давно минувших дней и событий. Чего я жду — в том даже случае, если мои поиски увенчает удача.

А что таков — удача?

Наугад я раскрываю страницу книги, которую беру с полки у себя над головой...

Обряд гадания по книге не нов. Он столь же древен, как и ауспиции, гадание по внутренностям жертвенных животных и прочие магические обряды. Он не помнит точно, но ему кажется, что дельфийский оракул обращался в своих прорицаниях к «Илиаде» Гомера.

Но «Илиады» нет на сухогрузе «Ладога-14» и Чижову предстоит довольствоваться тем, что посылает ему судьба. Он протягивает руку наугад, и ему остается лишь надеяться, что судьба пошлет ему для прорицаний не статистический справочник народного хозяйства и не стенографический отчет Восемнадцатого партсъезда, проходившего в Москве в марте тридцать девятого года.

Так оно и получается. В его руках все тот же Хорхе Луис Борхес, слепой библиотекарь из Аргентины, автор «Всеобщей истории бесчестья» и многих других сборников. Чижов наугад открывает книгу, он открывает ее примерно на середине и на странице 166 читает две самые верхние строчки. Они гласят:

«...если бы нам удалось понять хотя бы один цветок, мы бы узнали, кто мы и что собою представляет весь мир».

Из примечания к рассказу «Заир» (примечания эти составляют далеко не самую неинтересную часть книги) любознательный может узнать, что строки эти принадлежат Альфреду Теннисону (1809—1892) и взяты из его лирического фрагмента «Цветок на треснувшей стене».

Для меня эти строчки тем знаменательнее, что я обратил на них внимание много ранее того, как впервые взял в руки книгу самого Борхеса. Не стану убеждать коголибо, что я читал творения Альфреда Теннисона. Я не уверен даже, что они доступны для чтения, поскольку мне кажется, что Теннисон у нас не переводился вообще. Но выражение «трещинка в лютне», принадлежащее тому же Теннисону и выражающее тот фальшивый звук, который издает всякая, пусть даже хорошо замаскированная ложь, мне запомнилось своей выразительной лапидарностью. Что касается приведенных Борхесом строк, я обратил на них внимание еще в шестьдесят восьмом году, когда в полном остолбенении читал «Всю королевскую рать» Роберта Пена Уоррена, а обратив внимание, выписал тогда же в записную книжку, где содержатся многие замечательные и никому не нужные вещи, подобно тем же самым строкам английского и классово чуждого нам поэта. Они гласят:

Цветок на растрескавшейся стене,
я срываю тебя из расселины
и держу перед глазами — весь с корешком;
маленький цветок — но если бы я мог понять,
что ты такое — корешок и остальное, целиком,
я знал бы, что такое бог и человек.

Вот такие строки. Совершенно бессмысленные для того, кто подобно мне летом тысяча девятьсот восемьдесят шестого года попытался бы понять смысл его собственного существования, сидя у иллюминатора сухогруза «Ладога-14», идущего с грузом древесины из одной страны в другую.

Но он должен был это понять, Чижов. Если он хотел понять хоть что-то, он должен был понять и смысл дважды повторенных ему судьбою строк Альфреда Теннисона. Что

было «цветком в расселине» — жизнь Сомова или его смерть? Или, быть может, этим цветком было метание космонавта Гаврилова в черном и безмолвном космосе? Как были взаимосвязаны такие события, как смерть его, Чижова, жены от рака легких с тем, что он сбежал через несколько лет из опостылевшего и пустого дома, бросив все на произвол судьбы? И какое отношение имела ко всему этому Соня, с которой Чижов провел месяц в Одессе много лет тому назад — после чего и ушла от него жена, которую он любил больше всего на свете?

Это предстояло решить. Где-то была допущена ошибка. Где-то. У какой-то развилки. «Налево пойдешь — гибель найдешь, направо пойдешь — без коня уйдешь». Надо было вернуться во времени — не для того, чтобы что-то исправить, нет, исправить уже ничего было нельзя, а для того, чтобы понять. Понять.

Потому что, если бы я понял, мне легче было бы принять решение. Я должен был решить, жить ли мне дальше, а если жить, то как. Я не хотел больше врать. Ни себе, ни другим, но главное — себе. Жить так, как я прожил предыдущие пятьдесят два года, не имело смысла. Никакого.

Вот для этого и нужен был Теннисон. И цветок в расселине. И Сомов. И Филимонов. И Соня.

И все остальные.

Тем временем туман, наползая, поглотил все — и дома, и воду, и берега. Что-то это мне напоминало, где-то я то ли видел это, то ли думал. Много позже я понял, что именно напоминал этот поглотивший все туман: Стикс, реку мертвых, за которой живут только тени некогда живших людей. Лету, в которой все канет...

Канио — так звали горбуна, влюбленного в красавицу из оперы Леонкавалло «Паяцы», которую Чижов впервые в своей жизни удосужился прослушать на пятом десятке своих лет, да и то лишь потому, что это входило в программу культурного обслуживания гостей, прибывших в Бухарест по приглашению творческого союза. В Бухаресте Чижов был впервые, впрочем, и за границей он был впервые тоже. Но не это было самым удивительным, хотя и было удивительным, а то, что он с детства любил повторять знаменитые слова этого самого Канио: «Смейся, паяц, над разбитой любовью», да и не только он, трудно вообще найти человека, которому эти слова были бы неизвестны, паяцев так много, и многим из них приходится плакать в этой жизни, хотя, быть может, по-итальянски все это звучит, надо полагать, иначе, может быть, мягче, может быть, не так безнадежно, о чем мы судить не можем.

Само собой, в бухарестском театре пели по-румынски, это звучало достаточно мелодично, хотя хотелось верить в то, что итальянский был бы более уместен. Но не Чижову было привередничать и придираться, не Чижову, окончившему в свое, уже далекое теперь время технический институт, где от него никаких, кроме чисто технических, знаний (сопротивление материалов, теоретическая механика, строительство зданий и сооружений и так далее) не требовалось, не требовалось знание музыки, равно как литературы и искусства, он мог на здоровье путать Моне и Мане, Тициана с Лисициановом и так далее, поскольку культура была, есть и будет и делом и уделом каждого, его личным интимным делом, до которого никому нет дела, как нет никому дела, какой культурой обладает тот или иной министр культуры, это было делом несущественным и, признаемся, просто второстепенным, так что Чижову не нужно было, сидя в бархатном кресле не слишком переполненного зала, ни краснеть, ни стесняться своей глубокой музыкальной безграмотности, поскольку для общения ему вполне хватало той культурной мозаики, которую он успел поднакопить, беря отовсюду понемногу, к зрелым своим годам; да, даже этих разрозненных обломков хватало ему для повседневного безбедного интеллектуального существования, тем более, что он изо дня в день жил и ходил по улицам города, издавна (заслуженно или нет — сейчас не имеет значения) известного как один из центров мировой культуры. Но именно в этой связи довольно нелепо выглядел именно тот факт, что ему понадобилось впервые в жизни, как это уже отмечалось, пересечь границы своей страны, чтобы, очутившись за тысячи километров от дома, прослушать знаменитую оперу знаменитого Леонкавалло, которую и исполняли, кроме всего прочего, на языке, в котором ни одного слова, кроме «паяццо», он не мог разобрать.

Впрочем, основное было ему понятно и ясно и без разбора. Потому что, и об этом упоминалось сразу, духовно по крайней мере горбун Канио был поздним, но таким же неудачливым потомком другого горбуна, чье имя, сколь ни удивительным могло бы это показаться, начинается с той же буквы, а именно Квазимодо, и Чижов, вспомнив об этом, вспомнил и тот фильм, наверное, трофейный, который ему довелось видеть дома: Квазимодо был воистину страшен, а цыганка прекрасна, и не было ничего удивительного, что она плевать хотела на сгоравшего от страсти урода, будучи по уши влюблена в красавца офицера, которого, если Чижову не изменяла память, звали Феб. То, что Феб означает Аполлон,— это известно, разумеется, каждому; у греков он был богом света, они проходили это в школе. А вот того, что красивые девушки любят красивых мужчин,— этого в школе не проходили, и Чижову предстояло узнать это из самой

жизни, что он и не преминул сделать; для этого ему даже не пришлось дожидаться окончания десятого класса, хотя, справедливости ради, следует совершенно определенно сказать, что он был много красивее и Квазимодо, и его позднего потомка Канио. Чижову не нужно было лишний раз стоять у зеркала (единственной стоящей вещи, украшавшей комнату в коммунальной квартире, где они впятером с дочерьми усыновившей его тетки и с ее тем или иным мужем жили до тех пор, пока волею судеб он не зажил самостоятельно), чтобы понять всю меру своей некрасивости: горба у него определенно не было — ни тогда, ни в более поздние времена, но из-за систематического недоедания как в момент рождении, в тысяча девятьсот тридцать третьем году, так и в поздние, особенно военные времена, он выдержал натиск всех известных медицине детских и не только детских болезней, в том числе и рахита, отчего плечи у него остались узкими, а грудные кости срослись под некоторым углом, образовав так называемую килевую грудь, свойственную пернатым, и долгое, очень долгое время его юности проклятая килевая грудь была предметом его постоянных тайных и горьких мучений, ибо из-за нее ему стыдно было раздеться на пляже. И только потом, через многие годы занятий спортом — а занимался он подрид всем, от плаванья и гребли до фехтования на штыках и штанги,— грудь у него понемногу и как бы нехотя раздалась, плечи налились и выровнялись и от килевой груди не осталось и воспоминания — как раз к тому времени, когда он понял окончательно и бесповоротно, что на самом деле женщинам абсолютно наплевать на то, какая форма груди у мужчины, что никакой горб не может их остановить, если им очень уж захочется; а на то, что им время от времени хочется как раз полюбить именно горбатого мужчину, указывает пример с королевой Марией Стюарт и маленьким итальянским музыкантом по имени Риччи...

Я всегда любил историю. Объяснить это я не могу.
Но на этом, быть может, стоит немного остановиться, потому что в Бухарест я попал именно из-за своей любви к истории, которую я объяснить не в силах...

Как не поддается объяснению и многое другое. Так, например, Чижов ни до, ни после своей поездки в Румынию не мог объяснить, каким образом он туда попал — на симпозиум авторов, пишущих на историческую тему. С самого начала Чижов считал все происходящее не поддающимся объяснению недоразумением, тем более, что на самом симпозиуме и в самом деле прозвучало немало славных и более чем достойных имен; имена эти прозвучали как во время самих заседаний, так и в кулуарах, и это были всем известные и, прямо скажем, известные по достоинству имена. Тем более уместен был бы вопрос об уместности в этом собрании самого Чижова, поскольку не только в международном масштабе, но и у себя дома, беря это выражение в самом узком его значении, то есть в масштабах даже его родного города, он был вполне и законченно безвестен, принадлежа к тем, имя которым легион. Он был заслуженно безвестен. И тем не менее!

В этом и была загадка. В этом и была тайна. Не в том, что он был никому неведом — в этом как раз никакой тайны не было. А в том, что на столь представительный симпозиум в Бухарест пригласили все-таки его, вернее, именно его, его персонально.

И хотя это случилось, загадочности от этого не стало меньше. Это был круг, замкнутый круг. Оставалось лишь утешаться самим, не поддающимся сомнению фактом, что он, Чижов, попал в Бухарест, чего никак не мог предполагать, и там попал в оперу, чего мог предполагать еще меньше. И тут уже, в том состоянии, в котором он пребывал все эти две зарубежные недели, ему стало казаться, что далее с ним может уже произойти все что угодно...

Сомов принял вправо, принял резко, забыв включить указатель поворота, что в другом случае могло бы плохо кончиться, он принял окончательное решение, он решил загнать машину в гараж и больше не думать ни о чем, береженого бог бережет, поставит машину, а потом пойдет потихоньку в пустой свой дом, а заодно и проветрится.

Да и тремя светофорами меньше.

Часы в его машине показывали пять минут десятого.

В глазах у него рябило. Попало что-то? Надо проморгаться, но так, чтобы не проморгать поворот. Он усмехнулся нечаянному каламбуру, значит, не все еще плохо. Но было плохо, плоховато он себя чувствовал, и без свидетелей мог вполне себе в этом признаться. Рот был полон клейкой слюны, и вкус ее был кислым. Согнувшись над баранкой, он втянул живот, пытаясь удержать тошноту и прогнать боль в желудке, это он уже давно понял: если втянуть живот и задержать дыхание, боль пройдет. Снег стал падать гуще, и он переключил «дворники» на второй режим, это пришлось им по вкусу,

они очнулись от дремоты, пришли в себя, задвигались, зашуровали, они добросовестно старались облегчить Сомову жизнь, чтобы он мог увидеть как можно больше.

Но разве он просил кого-нибудь об этом? Хоть раз в жизни? Спросили его, хочет ли он видеть больше, чем это абсолютно необходимо?

Он не хотел. Нет, он не хотел. Ничего он уже не хотел ни видеть, ни слышать. Провалилась бы вся эта распрекрасная жизнь, провалилась бы в тартарары. Сейчас, сию секунду. Это все работа, его работа. Он отравился ею. Мало сказать, что он был сыт ею по горло, его тошнило от работы; кислый вкус во рту — это и был вкус его работы, а ничего другого в его жизни не было.

И не будет, подумал он. Никаких больше желаний. Никаких.

Но тут же он подумал, что так не бывает. Не бывает так, чтобы не было желаний, до самого смертного часа они есть и никуда не деваются, не исчезают. Пока жив человек, его желания живы тоже. И он, Сомов, не был исключением. Ни вообще, ни сейчас. Понял он это, подумав о бане. Да, было у него желание — оказаться сейчас, в эту вот минуту, в бане. И не просто в бане, а в сауне, именно в сауне, потому что настоящие бани, заслуживающие этого названия, остались только в Москве, в древней столице ухитрились каким-то образом сохранить Сандуны, и московских старожилов не затянешь в сауну и волоком.

Здесь же прогресс и сауны. Что тоже неплохо. Неплохо, нет. И дает возможность уединиться. Собраться своей компанией, без случайных людей, без посторонних, что ценно уже само по себе. А в банях, само собой, этого не избежать. Хочешь, не хочешь. Нет, лучше уж без этого. Без посторонних. Чтобы расслабиться не только от сухого пара, от температуры градусов так под сто двадцать, а и от того, что вокруг все свои. Небольшая дружеская чисто мужская компания. Человек этак на шесть. Да, шесть человек и часа три, а еще лучше четыре свободного времени.

Только свои. А кто они — свои-то?

Ну, ясно, кто. Чижов, вот кто. И Вовка Гаврилов, само собой, хотя черт его занес прямо в небо, не спустится он из космоса, но помечтать-то можно, значит, Чижов и Вовка... и Филимон.

Филимон.

Здесь Сомов запнулся. Да, пусть он будет. Здесь Сомов вспомнил Люду, и на душе у него стало нехорошо. Нечиста у него была совесть перед Филимоном. И пусть сам Филимон, не подозревая ничего, хоть в тысячный раз рассказывает ему о своих загулах, и пусть Люда, отворачиваясь, снова говорит, что уже давно их с Филимоном связывает только общая прописка и одинаковая фамилия, а все равно нехорошо, и надо развязывать этот клубок. Виноват Филимон, не виноват... все равно.

Филимон...

«И спросил Господь Каина: „Где брат твой Авель?"
И ответил Каин: „Разве я сторож брату моему?"»

Если только не изменяет память...

Филимону, человеку партийному, даже нельзя толком развестись. Он слишком высоко забрался, он на виду, он всем виден, видный человек Павел Филимонов, номенклатура, большой человек, моральный облик его должен быть безупречен. Значит, выхода нет?

Выхода нет. А коли так, то и думать не о чем. Но значит ли это, что Филимона не нужно брать с собой в сауну?

Я умываю руки, подумал Сомов. Сначала умою руки, потом лицо. Но и этого мало. Я не просто буду мыться, отныне я со всею решительностью вступаю в борьбу за чистоту. За чистоту тела, но также и духа. А помыслов? И помыслов тоже.

Борьба — символ революционных преобразований. Все борются, кто за что. Нация борцов.

В институте Вовка Гаврилов был чемпионом в наилегчайшей весовой категории, а Филимонов — в тяжелой. Теперь ему бы выступать в борьбе сумо, где требуется вес не менее ста двадцати килограммов, в прошлый раз, когда они мылись в сауне «Англетера», он чуть не сломал весы. Весы показывали сто двадцать два килограмма.

Разжирел, как свинья, сказал Чижов.

Хорошего человека должно быть много, сказал Филимонов.

И он в свою очередь похлопал Чижа по тощему заду, прикрытому полотенцем в красную и белую полоску. Филимонов был подобен величественной башне, которая заканчивалась фетровой шляпой, он возвышался над тощим Чижовым и над средней упитанности Сомовым, а ведь когда-то Филимон был строен, как античный герой.

Что бы там ни было, Филимон был свой. Свой в доску.

А Люда? Люда... Люда... Она...

Она...

«Команда приглашается на обед»,— сказал динамик, спрятанный за книжной полкой. Потом динамик повторил приглашение. Здесь было над чем подумать, я еще не

пришел в себя от завтрака, от финской колбасы, шведского масла, какой-то каши, еще чего-то.

«Судовое время — семнадцать часов». Мои собственные часы, подаренные мне тетушкой в день моего поступления в институт, массивные карманные часы, выпускавшиеся когда-то Кировским заводом, отставали на минуту.

Минута текла за минутой, а она все сидела, не шевелясь сидела в темноте, сидела в кресле, задернув шторы и не зажигая огня. С книгой, с книгой на коленях, положив на книгу свои большие руки, наслаждаясь покоем, теплом и темнотой. Из соседней комнаты доносился какой-то шум, там кипели страсти, там работал телевизор, хотя Филимонова там не было. Обычно он был там, сидел, с трудом втиснувшись в кресло, поставив возле ног бутылку, поставив на подлокотник рюмку, рюмку с коньяком, который, как он говорил, был исключительно полезен для пищеварения. Толстая дверь разделяла комнаты надежней, чем стена камеры. Людмила Викторовна никогда не бывала в камере — ни в одиночной, ни в общей, но Сомов (и стоило ей даже не произнести его фамилию, а просто подумать, как что-то останавливалось в груди, и только несколько мгновений спустя можно было дышать), да, Сомов ей рассказывал, и она знала, что это такое.

Сомов, думала она. Сомов, Сомов...

Китайская стена. А за стеной — ее муж. Филимонов.

Ей все равно, почему он сегодня задержался. Кажется... да, кажется, что он собирался пойти в парикмахерскую. Ей все равно. Даже если он на этот раз в виде исключения говорит ей правду, ей это все равно.

Я стараюсь представить себе состояние женщины, которая собирается уйти от мужа, которого давно уже не любит, с которым прожила двадцать лет. Которому родила сына. Которая любит другого.

По всем правилам жанра это должна быть трагедия. Но трагедии в наши дни не происходит, максимум, с чем мы сталкиваемся в быту, это драма. Или фарс.

В этот день Филимонов действительно пошел в парикмахерскую. Я спрашивал его, и он вспомнил все точно. Он записался к своему мастеру, Нине Долгоруковой, ровно на девять, но когда он пришел, кресло было занято и ему пришлось подождать в холле у телевизора. Матч греков с троянцами он помнил хорошо, он был завзятый болельщик. И Нина помнила тот вечер, он запомнился ей не в связи с матчем и не в связи с Филимоновым даже, хотя она знала его уже больше двадцати лет, с тех пор, как семнадцатилетней девчонкой пришла в мастерскую возле кинотеатра «Колизей». В этот день ее дочь снова вернулась к мужу, вот почему она запомнила его. Документы на развод были уже в суде, когда мичман Догоняйло прилетел в Ленинград с Дальнего Востока, и ее дочь, не оставив даже записки, улетела с ним обратно вечерним рейсом. Не дочь, а сучка, сказала мне Нина, когда я месяц спустя пришел к ней.

Сомова она знала тоже. Мы все у нее стриглись, но никто из нас не пользовался ее интимным вниманием. Росту в ней было вряд ли метр пятьдесят, но духом она была гигант и, может, именно поэтому в любовники себе она выбирала только баскетболистов или, как минимум, игроков в водное поло.

Филимонов мог бы ей подойти, но не подошел. Я знаю, он хотел подойти, но не нашел подхода. Так что Люда зря подозревала Пашку во всех грехах. Грехи у него были, но только не те, о которых она думала.

Если только она об этом думала.

Мне почему-то кажется, что Сомов звонил ей в этот вечер. Но она сидела далеко от телефона, и дверь была закрыта, а кроме всего, орал телевизор. Пашка любил, придя с работы, сразу включиться в пульсирующую жизнь планеты, так он мне говорил.

Поэтому не нужно было обладать богатым воображением, чтобы представить этот вечер. Представить, как Люда Филимонова сидит в темной комнате, сидит, не зажигая света, сидит, задернув плотные шторы, а в соседней комнате, где сейчас, развалясь в кресле, должен сидеть Пашка Филимонов, не сидит никто. Потому что в эту минуту он сидит в совсем другом кресле, обтянутом треснувшим дерматином темно-малинового цвета, и, глядя на огромный экран выставленного в холле телевизора (комбинат бытового обслуживания не скупится на расходы), пытается, с одной стороны, не пропустить всех деталей ледовой битвы, с другой,— не пропустить, когда освободится кресло у Нинончика, а, в-третьих,— и тут в своей способности в одно и то же время заниматься такими различными предметами он, на наш взгляд, вплотную приближался к Гаю Юлию Цезарю, в-третьих, он пытается угадать, кого в самые ближайшие дни назначат (выберут, если уж хотите соблюсти все формальности) новым председателем

горисполкома взамен ушедшего «наверх» Мишукова. Часы над проемом, ведущим в зал, где работают все двенадцать мастеров этого лучшего в городе специализированного мужского салона, показывают точное время: двадцать один час шесть минут.

Краем глаза Филимонов видит, что клиент, занимавший его, Филимонова, место, пошел расплачиваться к кассе.

Сам Филимонов никогда к кассе не идет. Он просто оставляет в одном из укромных уголков, под бутылкой ланолинового шампуня например, свои десять рублей.

Он никогда не вспоминает о том, как, открыв однажды ящик своего стола в кабинете председателя райисполкома, он обнаружил в нем започатанную пачку денег. В ней была ровно тысяча рублей. Это была не слишком толстая пачка десятирублевок.

Я забыл о ней, сказал он мне много лет спустя, когда шел процесс и мне с трудом удалось пробиться к нему, я никогда о ней не вспоминал, словно это мне приснилось.

На эти деньги — приложив еще столько же,— он отправил Люду в круиз вокруг Европы. Первым классом.

Он признался мне, что в глубине души допускал, что мэром города могут выбрать его самого. У него были основания так думать. Но его не выбрали. А потом всплыла эта история с квартирами, в которой он не играл никакой роли и только раз подписал какой-то список, подсунутый ему заведующим райжилобменом по фамилии Вьюнов. А спустя неделю, открыв средний ящик стола, обнаружил ту самую тысячу...

Куафюрных дел мастер Нина Долгорукова, бросив мимолетный взгляд на часы — двадцать один час шесть минут, кивнула Филимонову своей кудрявой головой. Как раз в это время греческая команда перешла в контратаку, и Филимонов поднялся из малинового кресла, подумав, что надо было позвонить домой, а диктор закричал, что *двадцать тысяч в едином порыве*, и Филимонов пошел к отдаленному креслу, поглядывая на девушек в голубых халатах, склонившихся над клиентами с выражением озабоченности на лицах, в это время Людмила Викторовна, руки на коленях, нога к ноге, сидя в темноте, думала, что надо что-то делать, наконец надо что-то делать, решать; что это не может так больше длиться, и думала о Сомове, и о том, когда она снова его увидит, опять у него беспорядок, и холодильник пустой, и опять он станет смотреть на нее, и «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия в суперобложке с рисунком Пикассо соскользнут с ее коленей и упадут на ковер, а она даже не шевельнется, и вспомнит вдруг свою деревню и сырой запах земли по весне, и птиц, галдящих над полями, с которых еще не сошел снег, и подумает о городе, в котором она прожила уже большую теперь часть жизни: ничего хорошего здесь нет. Нет, ничего нет — город как город, бывшая столица, но не более того, и все здесь бывшее, все в прошлом — былое великолепие ныне обшарпанных домов, бывшие очаги культуры, от которой с каждым годом остается все меньше и меньше, зато небо, затянутое пеленой слоистого дыма,— это настоящее, равно как и воздух, отравленный выхлопами миллиона автомобилей, это и настоящее и будущее, и ее пятьдесят три года — это настоящее, но даже без будущего, а Сомов — тут она вздохнула, и вздох этот был, как всхлип, ох, Сомов, это уже не поймешь, что: то ли прошлое без будущего, то ли вообще химера и мираж, и он прав, когда, освобождаясь из ее объятий, говорит, что это нехорошо, и бог этого не любит, и так им это не пройдет, но это все слова, мимо которых женщина, даже согласная с ними, проходит, не оборачиваясь, но кто знает, может быть, бог и вправду есть, и тогда ему придется разобраться в очень многих историях, распутать запутанный донельзя клубок, который называется жизнью, и определить, где чья вина, и кто знает, может быть, белое окажется тогда не таким уж белым, а черное совсем не черным, но, может быть, лучше Филимонову согласиться на ту должность, что ему предлагают в Москве,— и тогда все решится просто и само собою, и пусть Филимонов едет в Москву, ведь все хотят уехать в Москву, а ее пусть оставит, а когда их сын вернется с границы, что ж, он уже взрослый, и они во всем разберутся... может быть... и тогда, думала она, сидя в темноте и чувствуя, как начинает пылать ее лицо, тогда, быть может, Сомов поймет, что она ему нужна, и поймет, *как* она ему нужна, и позовет ее... позовет... и она сидела, глядя куда-то очень далеко, сидела в темноте, сидела, чутко прислушиваясь, боясь пропустить и ожидая зова, а в голове у нее возникали строфы восточного поэта, где сквозь изящество формы проступала горечь:

> На розах блистанье росы новогодней — прекрасно.
> И ты, что любима, творенье господне,— прекрасна.
> Жалеть ли о прошлом, бранить ли его мудрецу?
> Забудем, что было. Ведь то, что сегодня,— прекрасно.

В Ширазе, где никто не вспоминал давно уже ни о розах, ни о соловьях, толпа правоверных мусульман громила помещение американо-иранской дружбы...

...Что, если задуматься, стало возможным лишь в мире, из которого вместе с мифами исчезли или до неузнаваемости видоизменились многие другие понятия, бывшие некогда общеупотребительными, понятия, хотя и сохранившие нетронутым чисто фонетическое звучание, но полностью утратившие некогда содержавшийся в них смысл. В старые меха было влито новое вино, многим оно пришлось по вкусу, многие думали, что оно и не имело иного вкуса, так или иначе, это был вкус новизны, и лучше всего это видно из рассмотрения метаморфозы, постигшей понятие дружбы. Теперь под этим словом могло скрываться что угодно: средство от пота, рок-ансамбль, кафе-мороженое или ванильный шоколад, равно как и носильные вещи — из хлопка или шерсти, которые производил Китай. Интересно поразмыслить, какое отношение имели китайские рубашки к отношениям Чижова и Сомова? Были ли эти отношения так же чисты или они были крепки, а может быть, в них отсутствовала примесь? И что делать с непрерывно парящим над планетой космонавтом Гавриловым, который наверняка не имел в виду ванильного привкуса в своих воспоминаниях о друзьях, о которых он часто думал, бороздя равнодушное черное небо, думал о том же Сомове, и о Чижове, и, кто знает, о Филимонове, и вовсе не исключено, что и о сгинувшем в колымских лесах Шплинте, о котором никогда не забывала тетя Галя, совсем уже старая мать замечательного космонавта? Кто знает, кто может сказать, что вкладывал он в это слово,— он, освобожденный от земного притяжения и тем самым от условностей, так или иначе тяготевших над ним на Земле? Чижов не исключал, что, паря над голубеющей под ним Землей, он вкладывал в это слово добрый старый смысл или, говоря иначе, попросту возвращал ему смысл первоначальный, и не исключено, что единственный...

Как, наверное, единственным был я сам, когда раздумывал, идти мне или нет туда, куда звал меня гостеприимный голос из динамика, туда, где уже дымится борщ, который разливает в глубокие фаянсовые тарелки симпатичная девушка-кок.

Я уже познакомился с нею. Ей двадцать лет. Это ее четвертый рейс. Она смущает меня как тем, что носит прозрачные блузки, так и тем, что не носит лифчика.

Но кто я такой, чтобы смущаться?

Я — самозванец, хотя в моем бумажнике есть по всем правилам выправленное удостоверение, которое и объясняет мое присутствие на этом сухогрузе.

Но разве можно верить бумагам и удостоверениям?

В моем бумажнике есть удостоверение члена Союза писателей СССР. Но разве это делает человека писателем?

Что есть истина?

В настоящий момент истина в том, что некий человек по фамилии Чижов обладает неподдельными, заверенными печатью и подписью документами, которые удостоверяют то, чего на самом деле нет.

А что есть?

Есть человек, который прожил свою жизнь, играя чужие роли. Человек, который все потерял и решил, что жизнь никогда не поздно начать сначала.

Начать сначала летним днем тысяча девятьсот восемьдесят шестого года на борту сухогруза «Ладога-14».

Я поднялся с койки и пошел обедать...

В этот день Сомов не успел пообедать. Поужинать он не успел тоже. Он попытался вспомнить, ел ли он сегодня вообще, и если ел, то что именно. Какой-то пирожок, черный от масла, вспоминался ему, какая-то белесая бурда... Задумавшись, он чуть не нарушил правила дорожного движения, он стал перестраиваться в правый ряд, ему нужно было остановиться у тротуара, найти автомат и позвонить Люде или Чижову, слева к нему привалилось маршрутное такси, он прибавил газу и подрезал нос тому, что был справа от него. Но и увидев искаженное лицо у того, справа, он только мельком отметил его в памяти; виновным он себя не почувствовал. Чертов кровельщик — вот кто был во всем виноват. И Сомов даже не оглянулся на «горбыля», с размаху въехавшего в сугроб, где, выпучив глаза и ошалело глядя перед собой, сидел какой-то бедолага — «чайник», которому сидеть бы в это время на печи у бабки.

Тем более, что и номер у него был областной.

Сомов был несправедлив. Он был несправедлив к владельцу «горбыля» с областным номером, он был тем более несправедлив, что «горбыль» был с ручным управлением, а у его владельца не было левой ноги, оставшейся где-то в Синявинских болотах, но разве он, Сомов, был в этом виноват? И разве можно было говорить о какой бы то ни было справедливости в этом мире, где кровельщик стоил больше, чем заместитель генерального директора, а может быть, и сам генеральный директор, поскольку означенный кровельщик мог без них обойтись, а они без него нет. Это было несправедливо, и несправедливость эта добавляла кислоты в ощущения Сомова. А тут еще этот Кизяков. Ну, на Кизякова еще можно было найти управу — через райком, через горком, скажем. А на кровельщика?

Кровельщик был неуязвим. И на Сомова ему было наплевать.

Может быть, он, Сомов, немного недожал? Может быть, надо было рискнуть? Предложить ему гарантированные четыреста? Пятьсот?

За пятьсот рублей в месяц имело смысл самому лезть на крышу. Имело смысл коренным образом поменять профессию. Например, *Анатолий Васильевич Сомов — знатный кровельщик*. Все его знают, всем он нужен, всеми любим. Гордость рабочего класса, никто на него не кричит. *Золотые руки кровельщика.* Он везде нарасхват, а поскольку он хват, то он диктует свои условия.

И ни за что не отвечает..

Вот это жизнь, думает Сомов, это и есть жизнь. Раньше знать надо было, не стоило и институт заканчивать. Инженер... кому он нужен, кто его уважает? Да и как его уважать, если вон их сколько! Кишат. А руководитель производства — кому он нужен? Чем выше уровень, тем меньше спрос. Он где-то в самом низу той пирамиды спроса, на вершине которой, на самом острие — кровельщик. Который нужен всем. Всем и всегда.

Сомов не верил в перевоплощение душ. Этого, конечно, быть не могло, он был материалистом, чего уж тут, но если бы он обречен был прожить еще одну жизнь, то он стал бы кровельщиком. Только им и больше никем.

Ничего нельзя было понять в этой жизни. А тут еще этот снег. Потому-то он так и привязался к злополучному кровельщику, который, выйдя на пенсию, полагал, что имеет законное право отметить рождество со свояком, в кои-то веки выбравшимся из своих Тетюшей. А снег, что снег? На то и зима, чтобы снег.

Что делать, думал Сомов. Что делать?

Он проскочил телефонную будку.

Он не знал, что ему делать. Может быть, отложить приемку? Взять и отложить. А? Так и следовало сделать, он знал это, как знал и другое — делать этого нельзя и никто ему этого не позволит, а прежде всего он не позволит себе этого сам.

Даже если ему придется еще раз отправиться в тюрьму.

Черт, подумал Сомов, черт бы забрал всех нас, провалиться бы всей этой строительной системе, которая заставляет сдавать недостроенные дома, чтобы коллектив... коллектив не сидел без премий, чтобы эти вонючие чиновники в министерстве не сидели без премий, чтобы эти липовые цифры выполнения капстроительства вошли в липовый отчет, чтобы черт...

Нечистая сила радостно отозвалась. У Сомова резануло в желудке, да так, словно ножом, словно бритвой прошлись, но он не удивился. С ним это уже бывало. Давно этого уже не было у него. Сначала редко, потом чаще, а в последнее время едва не каждый день. К врачу бы надо, подумал он, и вспомнил Люду Филимонову, это она сказала, что надо к врачу, а он сказал, что наплевать, никто никому в этом мире не нужен, и чем быстрее подохнешь, тем лучше, хоть не в тюрьме — и то ладно, глядишь, и некролог напечатают в какой-нибудь паршивой газетенке, а Люда сказала, что он идиот и что...

Он запретил себе думать о Люде еще раз. Он уже много раз запрещал себе думать о ней. Но совесть... она у него вся в ржавчине, коррозия ее разъедает, надо решать, да, с Людой, с Пашкой Филимоновым, с собой... раз и навсегда.

Необходимо обследование, сказала Люда.

Ерунда. Он знал, что это все ерунда, ничего не надо обследовать, и так все ясно. Все болезни от нервов. Да, именно так. В том, что это так, он убежден был нутром, которое ему никогда не врало. От нервов, больше не от чего. Это было в порядке вещей, это было понятно, как и то, что Кизяков сегодня не приехал. Более того, он и не собирался приезжать. Само по себе это было не хорошо и не плохо, а вот то, что это было в порядке вещей или, наоборот, естественным образом вытекало из общего порядка — это было плохо. Это было из рук вон плохо. Плох был этот порядок вещей, не отличимый от узаконенного беспорядка, это снова или, наоборот, все еще была игра, игра словами, подстановки и перестановка, жонглирование, обман и взаимное надувательство, которое тем не менее всех устраивало. Так стоило ли удивляться, что после всего этого болело брюхо? Целый день мотаешься, а пожрать и некогда и негде, потому что и в общественном питании во всех бумагах — порядок. И везде так. По всей стране и в любой отрасли. Кроме, может быть, оборонных дел. Там — действительно порядок, подумал Сомов. Да, там порядок.

А потом и здесь засомневался. Откуда мы знаем, порядок у военных или нет. *Они* говорят, что порядок. Так ведь и мы говорим. И общепит. И обувщики. Все говорят, а копни — что увидишь? Он вспомнил довоенные песни — в них тоже был полный порядок. Но сурово брови мы насупим, так, кажется, пели. И еще что-то в этом роде, очень грозное. А потом началась война, и насупленные брови не помогли. Или помогли, но очень не скоро.

Сомов провел в городе всю блокаду. Все девятьсот дней. Поэтому он не верил ни в какие болезни. Все страшное было там и тогда, когда он днями лежал в холодной комнате под тремя одеялами и ждал, пока мать вернется с работы и что-нибудь принесет.

При воспоминании о блокаде из желудка поднялся прогорклый запах съеденного сгоряча пирожка. Не нужно было его есть. Но об этом было поздно жалеть и думать. Да и некогда. Не было на это времени. Вперед, таков был девиз дня, девиз жизни. Как там сказал поэт? Все вперед и вперед, отступления нет, победа или смерть. Вот так. Именно так. Это и есть его девиз. Сегодня, вчера, завтра. И послезавтра. И всю жизнь. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Волна жизни вздымала Сомова вместе со всей страной, а затем швыряла в бездну, в черное ничто — вот откуда была у него эта резь в желудке, и не нужен был ему никакой рентген. Это была социальная боль, и против нее еще не придумано было лекарство. Ощущение такое, словно летишь и летишь куда-то, в шахту, в бездонную пустоту. И не мудрено, что летишь. Потому что вокруг — такие же умные умники, такие же ловкие ловчилы. Как он сам.

Лучше об этом было не думать.

Часы показывали двадцать один час и семь минут.

На обед я пришел последним. Борщ, картошка с мясом и компот были выше всяких похвал. Мне явно не грозила смерть от истощения. Отсутствие лифчика у нашего кока по-прежнему смущало меня по причине, мне не известной, мои шансы в борьбе за внимание этой двадцатилетней красавицы были явно меньше нуля. Ничуть не расстроенный этим в общем-то обидным обстоятельством, я отправился в свою отдельную каюту, где попытался дедуктивным методом определить характер человека, занимавшего ее до меня. Единственным моим открытием, кроме упомянутых книг — статистического справочника народного хозяйства, из которого я со временем почерпнул много интересного, и стенографического отчета о Восемнадцатом съезде ВКП(б), состоявшемся в конце марта 1939 года с программной речью Сталина, я обнаружил под грудой старых газет еще одну книгу, принадлежавшую перу ныне широко известного автора — писателя N. Под названием «Нравственность есть правда».

Я знал писателя N. Теперь он был столь знаменит, что временами я сомневался в самом факте нашего знакомства. Но в тот момент писатель N. был далеко не так знаменит. Тогда он был довольно известен как актер и режиссер. Он умер в 1974 году на съемках одного военного фильма. Кроме того, писатель N. отдавал часть своего времени литературе, написав хороший исторический роман.

К сожалению, писатель N. принадлежал к тем «почвенникам», которые искренне (или не совсем искренне) считали, что город и прогресс развратили русский народ. Эта хорошо распространенная точка зрения почему-то не находила во мне отклика, а потому дальше шапочного знакомства с писателем N. не получилось и не пошло. Если я помню верно, я прошелся насчет тех его друзей, которые узурпировали любовь к родине, сделав из нее довольно прибыльную профессию, если принять во внимание то количество орденов и премий, которыми их наградила власть. Писатель N. посмотрел на меня с таким презрением, что я счел необходимым объяснить свою точку зрения на награды. Я считал (вместе с Сарояном, который отказался от Пулитцеровской премии, и с Сартром, который отказался от Нобелевской), что никто не вправе награждать пишущего, поскольку никто не вправе оценивать его труды — кроме, разумеется, времени. Что касается орденов, то я сослался на Эрика Сати, сказавшего, что недостаточно отказаться от ордена, но надо его еще не заслужить.

Писатель N. сказал, что русский человек никогда не сослался бы на какого-то задрипанного Сати. На этом наше знакомство закончилось.

Несмотря на это я по-прежнему считаю писателя N. прежде всего режиссером, потом актером и уже потом писателем. Мое мнение, разумеется, обязательно только для меня самого.

Я не могу быть экспертом по части наград. У меня их нет, не было и не будет. Сомневаюсь, чтобы я набрался смелости отказаться даже от медали. Во всяком случае история нашей культуры таких отказов не знает. Это может означать всего лишь, что все награжденные совершенно искренне считали себя достойными наград, а я просто-напросто завистник, толкующий о том, сколь зелен виноград.

Воспоминания о N. Он был, подобно всем своим собратьям, в постоянном возбуждении, 90% которого было вызвано злобой и обидами на город, хотя никто не мешал и ему и всем прочим жить там, где им нравится. Меня всегда удивляла и в нем и в других представителях «натуральной школы» их стойкая и ничуть не скрываемая ненависть ко всему, что так или иначе связано с культурой.

Писатель N. умер в возрасте сорока пяти лет. Если бы он смог ожить, он очень удивился бы именно своей писательской славе, ставшей поистине всенародной. Не исключено, что ему стало бы горько, ибо то, чего он никак не мог добиться при жизни, он добился, умерев.

Жизнь писателя N. была нелегка, это отрицать невозможно. В каком-то смысле она очень поучительна. Но в каком?

Я сидел с книжкой в руках и думал о писателе N.

Я думал о писателе N. и обо всем, связанном с его внезапно вспыхнувшей славой, и пришел к выводу, что слава — это когда на полуразрушенной стене загаженного Кенигсбергского собора над твоею могилой прибита доска, на которой высечено:

Иммануил Кант.

И две даты — рождения и смерти.

Я сам был очень удивлен тем, что это меня утешило.

...Ее могло бы утешить зеркало, которое показало бы ей удлиненное и бледное лицо интеллигентной женщины, лишенной воздуха; возраст — чуть за сорок, русые волосы, в которых почти не видна седина, красивые, холеные, хотя и чуть крупноватые руки, которые благодарно отзываются на уход. Глупые девчонки из ее группы непрерывно шушукаются за ее спиной. «Наша Люда — высший класс!» Людмила Викторовна Филимонова делает вид, что ничего не замечает. Девчушек, озабоченных тем, чем озабочены все незамужние женщины от восемнадцати до восьмидесяти, разбирает любопытство — кто у нее любовник. Мнения расходятся. Одни считают, что это какой-то чин в министерстве, другие — что это дипломат.

«Наша Люда — просто прелесть».

Глупые девчонки.

Если бы не работа — можно было бы наложить на себя руки. Если бы не работа и не ее группа. Несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, Людмила Викторовна для девочек — кумир и пример для подражания.

«Вот увидите, увидите»,— слышит она за спиной жаркий шепот, в то время, как все должны ломать голову над проектом, призванным спасти то, что спасению уже почти не поддается,— чистоту Ладожского озера, в которое вот уже двадцать лет мутным потоком вливаются сточные воды целлюлозного комбината, так и не построившего (нет денег) очистных сооружений. Ответственнейшее и срочное задание, находящееся на контроле Совмина, комбинат по требованию общественности закрыт уже полгода, из министерства что ни день, то звонки, а эти дурочки как ни в чем не бывало обсуждают вопрос о ее гипотетическом любовнике.

«Вот увидите, девчонки, вот увидите, что я права».

«А я тебе говорю, что этого быть не может».

«У тебя, Трофимова, вечно не может быть. А почему? Ну скажи, почему не может быть? Молчишь?»

«Господи, неужели не понятно? Да хотя бы потому, что все министры в Москве. А когда она в последний раз была в Москве? В прошлом году? Вот то-то и оно. Какой же это любовник?»

«Понимала бы ты. Ей же не двадцать... Это тебе надо, чтобы... а у нее, может, большая любовь...»

«Понимала бы ты чего. Как будто это от возраста зависит... Да чего ты привязалась. Я же не говорю, что нет. Я говорю, что это не министр...»

«А я думаю, что это дипломат. Из Болгарии».

«Точно. Только не из Болгарии, а из ГДР...»

Людмиле Викторовне смешно. И приятно, хотя и не без грусти. Словно кто-то гладит тебя и тебе приятно это прикосновение, только вот нельзя поднять голову, чтобы посмотреть, кто это.

Она поднимает голову от доски, и шум за ее спиной мгновенно стихает.

— Расшифровку аэрофотосъемки принесли?

Кто-то за ее спиной ахает и срывается с места.

Некоторое время царит тишина. А потом ломкий голос Антоновой ставит последнюю точку:

«Вы все неправы. Не из Болгарии и не из ГДР. Он из Румынии...»

Румыния появилась внезапно. Я стоял у окна и думал о какой-то чепухе, и вдруг понял, что что-то изменилось. Народ высыпал из своих купе, заволновался и зашумел, задвигался и заговорил, и в воздухе повеяло таможней, контрабандой и наркотиками, и тут же оказалось, что мы подъезжаем к границе.

Граница надвигалась, приближалась с каждым метром, с каждой секундой, с каждым стуком колес, пока не приблизилась вплотную, и тут поезд остановился. Какие-то люди засуетились снаружи, потом вагон вздрогнул, под него подвели домкраты, за границей колея имела другие параметры, и каждый раз по всему составу происходила смена колесных тележек, и тут же появились пограничники, представители таможенной службы — высокий рост, черные волосы, оливковая форма, орлиный нос. Потомки даков попросили предъявить паспорта. Всеобщая суета достигла апогея, и Чижов внес сюда свою лепту, хотя он мог бы и не суетиться — насколько он мог судить о собственных делах, контрабанды у него не было. Он заискивающе улыбнулся

оливковым красавцам, но те посмотрели на него сурово, и Чижов понял их мысли — кто это, что это за человек и что он собирается делать в нашей дружественной, но бдительной стране? В свое оправдание Чижов мог бы показать стражам правопорядка московскую газету, которая уведомляла читателей о том, что *делегация советских писателей отбыла в Бухарест*, Чижов читал это собственными глазами, но могли ли прочесть это румынские пограничники, а кроме того, сообщение носило именно такой обобщающий характер, и фамилий никаких не приводилось. И все-таки Чижов мог бы обойтись и без улыбок — информация столичной газеты соответствовала действительности, и на этот раз целиком и полностью — делегация существовала, хотя и состояла всего из двух человек, одним из которых, а именно членом, состоял Чижов, а руководил ею мрачный и красивый незнакомец в отлично пошитом костюме, которого, как оказалось уже в поезде, звали Тогрул. Это был поистине выдающийся человек, обладающий таким количеством необыкновенных достоинств, что позже, пытаясь классифицировать их в порядке значимости, Чижов в конце концов признал свое бессилие и оставил этот вопрос открытым, поскольку не мог понять, что в этом человеке является причиной, а что следствием. Думается, что эта задача была бы не по плечу и любому другому среднему человеку, не обладающему талантами комиссара Мегрэ, ибо только Мегрэ мог бы решить, стал ли Тогрул руководителем творческого союза одной из восточных республик по причине его женитьбы на племяннице первого секретаря ЦК этой республики или он смог на ней жениться из-за принадлежности к этому союзу, будучи, кроме всего прочего, специалистом по налаживанию связей с зарубежными странами, знатоком тюркских языков и кооперированным членом одной из подкомиссий ЮНЕСКО, занимавшейся изучением вопроса об устранении неграмотности среди народов Центральной Африки. Так или иначе, путешествие в дружественную социалистическую страну было для него столь же привычным и маловолнительным делом, как для самого Чижова поездка в метро от «Московских ворот» до «Черной речки». Он был вне подозрений, Тогрул, чего нельзя, нет, никак нельзя было сказать про Чижова, и не случайно суровые взгляды пограничников приводили его в трепет. Ага, вот он, можно было прочитать в этих проницательных черных глазах,— вот он. Сейчас мы все выясним.

— Ваши паспорта,— строго сказал старший из оливковых на своем родном, но неизвестном Чижову языке, который он, несмотря на это, совершенно свободно понял. Стараясь вспомнить, куда он засунул этот треклятый паспорт, Чижов принялся лихорадочно и некрасиво выворачивать карманы, чего от него, надо признать, никто не требовал, в то время как мрачный и красивый специалист по культурным связям не торопясь полез в боковой карман, и Чижову показалось вдруг,— но это было уже полным сумасшествием,— что вместо паспорта Тогрул выхватит вдруг спрятанный под мышкой кольт тридцать восьмого калибра и оливковый красавец согнется пополам и медленно повалится на пол...

Мгновение длилось вечно, оцепеневшая рука Чижова наконец-то нащупала его собственный злосчастный паспорт, и он бросил темно-красный прямоугольник на столик, словно это была козырная десятка. Но тут произошло нечто, к чему ни Чижов, ни оливковые таможенники готовы не были — Тогрул вытащил руку, но в ней был не кольт, а нечто гораздо более существенное — в ней, в этой руке, был паспорт, но не темно-красный, как у простого гражданина своей страны Чижова, а *темно-зеленый*, дипломатический, что избавляло его владельца от всякого досмотра — подобно козырному тузу он лег поверх чижовского прямоугольника, и проверяющие, взяв под козырек, сразу утратили к данному купе всякий интерес.

Вскоре их суровые голоса донеслись из соседнего купе.

Чижов смотрел на руководителя делегации во все глаза, он смотрел на него новыми глазами. Ему показалось даже, что вокруг аккуратно причесанной головы Тогрула он видит нечто, похожее на нимб. На языке у Чижова вертелся один, нет, два вопроса, и он уже раскрыл было рот, чтобы задать первый из них... но тут же закрыл рот и не промолвил ни слова. Он чувствовал, что приобщился неких тайн, и это накладывало на него обет молчания и выдержанности.

Я думал о судьбе писателя N. Чем-то она меня задевала. Может быть, я завидовал его посмертной славе? Но что мешало мне последовать его примеру?

Мне было жалко, что больше не удастся с ним поговорить, мне хотелось бы узнать причину его постоянного озлобления. Ведь, что ни говори, для мальчишки из дальнего алтайского села он проделал головокружительный путь наверх. Так что же не давало ему покоя? Почему он так суетился, дергался, спешил, мельтешил; старался поспеть туда и сюда, объять необъятное, не давая никому ни передышки, ни...

И тут он уснул. Он и сам не понял, как это случилось: он думал о писателе N., потом посмотрел в иллюминатор: черные клубы дыма напомнили ему годы войны, которые он провел в Сталинграде у дальних родственников, но *этот* дым был мирным,

как бывает мирным атом — всего лишь ТЭЦ, а затем туман рассеялся, и он увидел какое-то свечение. Это были фонари на берегу, и они похожи были на светляков. Воздух в сумерках оказался вдруг густым и синим. Дрожащие полосы света отражались в темной стеклянной воде.

У Чижова сомкнулись веки, и он заснул, положив голову на скрещенные руки, уснул сидя, забыв и о писателе N., и обо всем на свете. Последнее, что он запомнил, было ощущение необыкновенного счастья — если только оно еще существовало на свете. Уже во сне он увидел птицу — ту самую, что все это время летала за кораблем, и, увидев ее, он подумал еще, что интересно было бы узнать когда-нибудь, что же это была все-таки за птица, и что она думала о жизни и за кого принимала всех их — и людей, и корабль...

Приняв решение ехать в гараж, Сомов больше не мучился сомнениями. Он перебрался в правый ряд и намерен был двигаться так до самого поворота, который вывел бы его кратчайшим путем на Витебский, ибо на Витебском и был его гараж, прекрасный, замечательный капитальный гараж, которым, право же, можно было гордиться, что Сомов и делал. Тут была и прямая и обратная связь, а именно: все, что Сомов любил, он делал капитально и превосходно, а все, что было сделано капитально и превосходно, он, будучи строителем, любил, и, может быть, потому вовсе не случайно судьбе угодно было так распорядиться его судьбой, чтобы в конце концов свести его жизнь именно к строительству, хотя поначалу было похоже, что у нее — у судьбы — несколько иные намерения. Так или иначе, Сомов думал сейчас о своем гараже, который, как и все, что Сомов строил с любовью, был самого высшего класса, ибо Сомов, принимаясь за дело, халтуры не терпел, как ни тяжело в это поверить, хотя бы косвенно зная положение в строительстве.

И тем не менее это было так. Или почти так.

Он строил со страстью. Он даже не всегда знал с достаточной точностью, что именно будет производиться в тех цехах, которые он должен был возвести и сдать, это была не его епархия, это было дело технологов и других специалистов, ибо продукция, выпускавшаяся этой фирмой, была самого, как бы это уклончивее сказать, деликатного свойства, о которой чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Его же делом была сама стройка. Это было его делом, а может быть, и его уделом — строить. Новые здания, новые цеха, корпуса, лаборатории, производственные помещения всех мыслимых разновидностей, но равным образом и жилье — обычные и не совсем обычные дома для рабочих и служащих, да, вполне возможно, что и для служащих тоже, а также детские сады, школы и, если удастся, даже ясли. Его страстью было делать это — взять какой-то объем воздуха в чистом поле и окружить его, замкнуть навсегда стенами из кирпича, бетона с алюминием, и сделать это как можно быстрее и как можно лучше, пусть даже первое противоречит второму. Да, именно это он чувствовал призванным себя делать — все время, все лучше и лучше и во всевозрастающем объеме. Иногда — но не очень часто, потому что свободного времени у него было слишком мало,— он задумывался, почему он так любит строить, и тогда он говорил себе, что потому, наверное, что из всех известных ему дел это было, пожалуй, самым чистым. Оно было чистым и честным, оно делалось у всех на глазах, его можно было во всякий час потрогать руками, оно было всем нужным, и ничего более важного он, Сомов, лично придумать не мог.

И еще одно. У него это получалось. И снова непонятна здесь связь первичного со вторичным: у нас лучше всего получается то, что мы делаем с любовью, или наоборот? По крайней мере неоспоримо, что то, что мы любим и умеем лучше других, мы готовы делать, не считаясь со временем.

Так что у Сомова, похоже, тут все сплелось — он любил строить, и он строил, то есть делал то, что любил. Это как на картах цыганки — исполнение желаний. А за это полагается платить. И за эти самые желания, и за возможность их осуществить. Поскольку любовь, приложенная к возможности ее реализации, есть не что иное, как творчество, которое есть в свою очередь способность создавать *нечто* из ничего. Из груды глины, отформованной в бездушные и безликие кирпичи, из тяжелых и серых бетонных блоков, бессмысленных самих по себе вне человеческой воли и воображения и не имевших никакой иной цены, кроме того, что затрачена была на их изготовление. Без него, Сомова, и без таких, как он, все это было лишь прахом, мертвой и бездушной материей, и нужен был сам Господь Бог — или такой вот, как Сомов, его уполномоченный по капитальному строительству, короче говоря, кто-то, способный произнести магическое «да будет»...

Богу на все и про все хватило шести дней, на седьмой он опочил. Но то был бог. Сомову не хватало на его дела всей жизни. Время — вот был его враг номер один, время, вернее, нехватка его. Всю жизнь, сколько он себя помнил, он торопился, торопился и спешил. Успевал он при этом, увы, не всегда. Нет, не всегда, далеко не всегда. Кое-что, конечно, успевал, и многое, очень многое сделал, но только он один знал, сколько он *не успел*. Он ли один? Нет, конечно. И другие не успевали. Но он не успел.

И не преуспел.

А другие?

Тут как поглядеть. Если бы его, Сомова, спросили, он сказал бы, что Вовка Гаврилов и успел и преуспел. И Филимонов, председатель исполкома, Филимонов, с которым рано или поздно надо будет ему, Сомову, вести долгий разговор... потому что когда так получается, что жена твоего друга вдруг захочет тебя полюбить, и приходит к тебе, и убирает твою захламленную квартиру, и стелет простыни на продавленном диване, тут без разговора не обойтись... И Чижов, конечно, которому не нужно каждый день являться к стольки-то ноль-ноль на службу, Чижов тоже преуспел, а вот он, Сомов, нет, он не преуспел, и при здравом размышлении каждый, считал он сам, согласился бы с ним, что он просто и недвусмысленно отстал.

Отстал. И ему надо бы этого стыдиться.

Но вот тут-то и было все дело — он не стыдился. Не стыдился своего отставания. И вообще ничего не стыдился. А тюрьмы? И тюрьмы тоже. Это было вообще-то удивительно, он и сам удивлялся, Сомов. Но тюрьмы он не стыдился. Интересно, почему? Быть может, потому, что он знал себе цену?

Есть люди мысли, есть люди дела. Он — из последних. Человек дела — совсем не плохо. Быть может, даже важнее всего, не исключено, что быть таким человеком — самое главное. Разве не так? Веление жизни разве не в этом? Разве не требовала она от всех и от него, Сомова, чтобы в начале было не слово, а дело? От слов, от всяких и всяческих слов и словес уже шумело в ушах. Слишком много было еще недоделано и не сделано, слишком много было дел, не требующих диссертаций, слишком многое было незавершенным, недостроенным, брошенным на полпути. Это был печальный парадокс, не поддававшийся осмыслению: с каждым годом строилось все больше и больше, и чем больше строилось, тем больше было недостроенного. В этом было нечто роковое, загадочное. Это была загадка нового сфинкса, и, похоже, требовался новый Эдип, способный разгадать ее, дать на нее правильный ответ.

Только в отличие от глубокой древности никто не рвался в Эдипы. И как тут было не вспомнить слова Маркса о том, что история повторяется дважды: в первый раз в виде трагедии, во второй в виде фарса.

Но, может быть, так оно и должно было быть?

Как бы то ни было, у Сомова были все основания гордиться собой. И своей профессией. Ведь она была древней, и не исключено, что она была древнейшей. Разве вся цивилизация не держалась испокон веку на таких вот, как Сомов? На тысячах и тысячах безвестных Сомовых, которые только и делали, что строили, строили, строили. Строили то, что потом с не меньшим успехом разрушалось — по большей части с помощью человека, но иногда и без него. А когда это случалось — все равно, в первом случае или во втором, когда это случалось, снова приходили бесчисленные Сомовы и в очередной или внеочередной раз начинали поднимать этот мир из руин, поднимать его из пепла, праха и пыли и строить, строить, строить без конца: пирамиды в Газе, маяк на острове Фарос, колизей Флавиев в Риме и многое другое. И падающую до сих пор башню в Пизе, и Дворец дожей в Венеции, и кремль в Москве, и сверкающие дворцы в Петербурге, а потом — в наше, совсем близкое время, и плотину в Асуане, и — при всей их непривлекательности — новые города в Сибири...

Не говоря уже о постройках другого рода, которые, что ни говори, ведь тоже кто-то же строил... не говоря о разных там линиях Мажино и Маннергейма, о дотах и дзотах, ничего не говоря о бомбоубежищах, противотанковых рвах и блиндажах, и уж совсем ничего не говоря о крематориях, лагерях и многом, слишком многом другом.

Ничего не говоря.

За исключением того, о чем мы говорить не будем, придется признать, что и на самом деле у Сомова была прекрасная профессия. Почетная, солидная. И тогда мы вполне в состоянии понять, насколько он не кривил душой, когда говорил, что не завидует никому — ни кандидатам, ни даже докторам, ибо, как сказано в одной неглупой книге — кесарево кесарю...

Значит, не завидовал. Так ли это?

Конечно, это не так. Ну, скажем, не совсем так.

Были такие. Которым он завидовал. Были такие люди. Те, что имели доступ к большим делам. К *большим*, ясно? К таким, которые Сомову недоступны, были ему не по зубам. Эти люди обитали в иных высях, дышали иным воздухом, воздухом вершин. И туда-то он и стремился. Ввысь. Там уж он расправил бы крылья, там обрел бы свой размах. Этот размах был как раз по нему, он был ему по силам. Ему нужны были возможности. Точнее, *иные возможности*. Тут у него был пунктик. Он изо всех сил держал его в тайне. Но не удержал, раскололся. Произошло это в сауне, куда собрались гурьбой, да, именно в сауне, где отсутствие галстука и брюк располагает к откровенности; недаром, если верить фильмам, самые изощренные агенты вражеских разведок встречаются в банях. Но это было не в «Европе», она была в тот раз закрыта то ли на пересчет полотенец, то ли на обслуживание делегации Танганьики, так что дружеской

компании пришлось перебазироваться в «Англетер», ту самую гостиницу, где сгоряча покончил с собой Сергей Есенин и которую через девять лет так же, похоже, сгоряча местный муниципалитет сровняет с землей, несмотря на вялый протест общественности.

Итак, дело было в сауне «Англетера» при температуре около ста двадцати градусов. На Сомове не было ничего, кроме зеленой, скорее всего зеленой, войлочной шляпы. На Чижове не было и шляпы.

— Ну, говори,— сказал истекающий потом Чижов, которому очень хотелось нырнуть под холодный душ, а потом выйти в гостиную и выпить стакан пива.— Говори, что тебя мучает.

Сомов внимательно рассматривал потолок.

— Здесь должна быть осина,— сказал он.— А это что?

— Действительно, что? — спросил Чижов.

— Сосна это. Вот только почему она смолу не гонит?

— Это и все, что тебе не дает спать по ночам?

Сомов пытался отковырнуть щепку.

— Простора хочу,— сказал он.— Хочу большого дела. *Большого*, понимаешь, Чижик. Тесно мне. Помирать скоро, а все не могу развернуться.

Чижов вспомнил в то время, как Сомов *развернулся* однажды и загремел на полную катушку на казенное питание. Не так уж давно это было. Но он был настроен примирительно. От жары.

— Ну, дали тебе, к примеру, главк. И что?

Сомов посмотрел на него из-под зеленой, да, точно, зеленой шляпы.

— Литератор,— сказал он с презрением.— Литератор, у тебя полет, как у предназначенного в суп петуха. Низко берешь.

Чижов обиделся. Наверное, на «литератора», а может, и от жары. Дышать было уже просто невозможно. Главка ему мало!

— Что,— бросил он не без язвительности,— в министры захотел?

— Эх ты, Лев Николаевич Толстой. Полностью оторвался от реальной жизни. Министр! На хрена мне быть министром. Такая же пешка. Разве что от бедности. На крайний, так сказать, случай.

Чижов сел. До этого он лежал, подстелив под себя махровую простыню, а теперь сел и потрогал затылок. Надо было, конечно, надеть такую же шляпу. Он посмотрел на Сомова, потом на термометр.

Термометр показывал все те же сто двадцать градусов, но Чижову показалось, что он не совсем точен, термометр. Было явно больше.

— Послушай,— сказал Чижов с беспокойством.— Послушай, Толя...

— Ага,— мстительно сказал Сомов.— Струхнул. У тебя, как и у всех нас, врожденный пиетет перед чинами. Чего же ты смолк?

— Да нет у меня пиетета,— вяло возразил Чижов.— Ну, понял я тебя. Фантазер ты. Никогда не руководить тебе Совмином. Я бы на твоем месте согласился на Госплан.

— Не нужен,— отрезал Сомов.— Даром не нужен.

Если не уйти сейчас, эти орлы там, в гостиной, выпьют все пиво. Это не подлежало сомнению. Самое лучшее было — уйти, каким-то образом оставив за собой последнее слово.

— Ты не думай, Толя, что я тебе не верю.— Чижов стоял уже у двери, завернувшись в махровую, красную с белым простыню, словно сенатор, покидающий термы Каракаллы.— Ты мог бы возглавить и бедный наш Совмин и все что угодно. Только не было в нашей истории такого, чтобы во главе столь почетного органа стоял человек, отсидевший в каталажке. Увы...

У Сомова глаза полезли из орбит, но Чижов оказался проворней, и он рванул к своему пиву...

Я знаю, о чем думал Толя Сомов, оставшись один в парилке в своей дурацкой шляпе, когда я опрометью выскочил за дверь, чтобы не опоздать к раздаче, он подумал, что никто, совершенно никто его не понимает. Даже я, его самый закадычный друг. Не в том было дело, что он не получит своего большого дела. А в том, что он ничего не мог доказать. А ведь он сделал бы. Сделал бы все, что надо, и все так, как надо. Сделал бы все так, что глухие услышали бы, а у слепых, таких, как Чижов, открылись бы глаза.

Сомову казалось, что этой дороге не будет конца, как сну, который все длится и длится. Красный, желтый, зеленый... Огни прыгали у него в глазах, красный запрещал, зеленый разрешал, но желтый предостерегал от поспешных решений, он предупреждал, он удерживал от поспешности, он напоминал об опасности. Желтая опасность? Это Япония. Ведь не Китай же, в самом деле. Но Сомов в жизни своей не имел с японца-

ми дела. Значит, все же китайцы. С ними он был знаком, очень даже хорошо знаком. Он учился вместе с ними. В пятидесятых. А что? Нормальные ребята. Сомову они нравились, он был интернационалист, никакой опасности от них не исходило. Тихие, вежливые. Древняя, что ни говори, культура, кто мог тогда подумать о культурной революции? Нет, определенно, никакой опасности. Только потом он узнал, что у них ген-доминанта, но ему-то что за дело до этого? Это представляло интерес только для девочек, которые собирались вступить с китайцами в брак.

Нет, Сомову китайцы нравились. Потому-то он так и обрадовался, когда в пятьдесят девятом ему предложили поехать в Китай. Он тогда сильно шел наверх по комсомольской линии, был уже комсоргом в своем ГСПИ, в райкоме комсомола стал совсем своим, брали его уже инструктором... он согласился на Китай и ни разу об этом не пожалел. Там было хорошо. Трудно, тяжко, но хорошо. Даже очень хорошо было там сначала, потом что-то случилось в недрах государства и стало чуть похуже. Странно это все происходило, это изменение, почти незаметно. Чуть-чуть похуже, самую малость — ну, нельзя туда, куда еще вчера было можно, ну, улыбки стали чуть уже... Кто был виноват в том, что все менялось,— может быть, ген-доминанта? Это было неизвестно. Трудно что-либо понять, когда тебе, улыбаясь, запрещают все больше и больше. Сомову некогда было задумываться над мелочами, а когда он задумывался, то решал, что все эти изменения идут откуда-то из космических высей, куда ни ему, ни другим хода не было. И он, и другие стояли на земле, головой не касаясь небесных сфер, так что не его ума это было дело.

А потом все вдруг кончилось. Именно так: вдруг, разом. Количество перешло в качество, и против диалектики такого рода возражать было нечего. Ну, этого... боксера... его выслали раньше всех. В течение суток. Девушка была там замешана, кажется, китаянка... это было другое. У него-то, у Сомова, никаких девушек не было. И у тех, кто работал в Третьем министерстве, их почему-то отправили домой раньше других. А потом и до остальных дошла очередь.

За что их отправили?

Советник в посольстве мычал что-то невнятное, дипломатическое. Это только потом стало многое ясно, а тогда...

Зеленеющие рисовые поля снились Сомову еще три года.

Впереди горел зеленый свет...

Света...

Бывший боксер Князев качался на стуле. Все хорошо, все хорошо. Все идет нормально, все нормально. Вот только Света не идет из ума, Светик-семицветик, дорогой товарищ начальник, директор и диктатор, Светлана Петровна, откормленная перепелка, лакомый кусочек, гляди и облизывайся, Князев, гляди и облизывайся, только слюни не пускай да рот не разевай. Света умница-разумница, знает все и вся, что и почем, знает цену любому и каждому в будний день и в святое воскресенье, Света, пестрая птичка, пташечка-канашечка, лакомый кусочек, да не для твоих зубов. Ну, об этом не надо, об этом еще рано говорить, еще рано, рано. Нет еще ничего, о чем стоило бы говорить, надо молчать, молчать, между ними ничего нет, пока еще нет и слава богу, что нет, не то узнала бы Зина, и тут началось бы такое, но слава богу, что пока ничего еще нет. Пока что Света, лучшая подруга Зины, знает его с самой лучшей стороны, она знает ему цену, она его ценит, нельзя отрицать, что цена эта невелика, еще невелика, но пройдет время, и она повысится, она становится выше с каждым днем, несколько дней назад она заглянула после окончания трудового, так сказать, рабочего дня вот в эту будку и мазнула по нему сучьим взглядом своих прекрасных зеленых глаз, он в таких делах сроду не ошибался. Растет ему цена, он это чувствует, ощущает всей поверхностью кожи, Света приценивается к нему, и спешить здесь не следует. Не спешить, не спугнуть раньше времени, ждать, ждать и ждать. Всему свое время. Всему свое, и Свете тоже. Сучка. Но деловая, деловая... кто-то ведет ее в той игре, которую она ведет, а игра идет большая, на десятки тысяч, а может, и на сотни.

Спокойно, Князев, спокойно...

Света. Вот на ком надо жениться. На Светлане Петровне, директоре магазина. А Зина? При чем тут Зина? «Солнцедар» дает себя знать, Князев ударился в рифмы. Зина — магазина. Света — до рассвета... При чем тут его высшее техническое образование? Абсолютно ни при чем. Сопромат, самонат. Нет, ни при чем. Ну и рыло было у этого... ну, у того водилы, что притащился за бутылкой. А, черт с ним, деньги не пахнут. Кто это сказал впервые? Он знал это, Князев. Только забыл. Черт, забыл, а? Столько выпито, что не мудрено. На чем он остановился? А, на Свете. Жениться. Да.

Крепко. Крепко поставлено дело у Светланы Петровны. Случайные люди здесь не работают, все свои. Правила игры всем известны — свое оставь, чужое отдай. Только в обратном порядке — сначала отдай, потом оставь. Ну вот он — двадцать пять рублей в день. Из рук в руки, изо дня в день, отдай и не греши, бери, где хочешь, и если хочешь

работать дальше, добудь, хоть роди. Крепко, круто. И никто не спрашивает про образование.

Он восхищен. Это хватка, это постановка вопроса. И никаких тебе лозунгов, никакой борьбы за то и за это. И разве он обижен? Или обделен? Нет и нет. Катается, как сыр в масле. Не обделен ни судьбой, ни жизнью. Все повидал, всего попробовал. Только вот тогда, в Китае...

Спокойно, Князев, спокойно. Желтый свет бьет в глаза. Это — предупреждение. Молчок, тишина. Кто это сказал о Китае? И что это вообще за птица? Забыто, забыто. Все забыто.

Он раскачивается на стуле, пот течет по его лицу, желтый свет бьет в глаза, Света все не идет и не идет. Он подождет ее. Подождет. Он умеет ждать. Ждешь, ждешь, терпишь удары, вот уже и ноги подкашиваются и руки тяжелеют, но ты не сдавайся, терпи и кружи, выглядывай, нащупывай слабые места, а потом все вложи в один удар. Вложи! А перчатка войдет, как в тесто, как в квашню, и тело дрогнет и начнет оседать, и ты увидишь, как подгибаются у противника колени... увидишь... Терпи.

Света придет. Раньше или позже. А ты жди. Ведь у тебя крепкий тыл, у тебя есть Зина. Зина — магазина. И стоит она не меньше Светы. Хотя она и не директор магазина. Дамский мастер, вот кто она. Мастер своего дела. Да, она стоит Светы и еще троих. А может, и четверых. Она все может. Зина.

Света все не идет. Такой день. Он у нее не один, нет, не один. Света умеет торговать, временные точки выброшены и на Загородном, и на Социалистической, а может, и на Джамбула, его это не касается. Внезапно ему показалось, что он ошибся в итоге. Не может быть. Он снова вываливает бумажки, сортирует их, разглаживает. Все проверить. Он должен все записать. Подвести итог. Желтые к желтым, красные к красным. Это сейчас главное. Остальное забыть. Забыть, забыть, забыть, все забыть, забыть, какое небо было там над головой, забыть, как он был счастлив, забыть, как шли они, держась за руки, по аккуратным, словно игрушечным дорожкам, забыть звонкий голос экскурсовода, синеву над пагодами, причудливые крыши дворцов, пагод, молелен, пять тысяч лет культуры, войны, стихи и стихии, порох и бумага, плотины, джонки, шелковые свитки, шелковистые волосы, черные, как ночь, забыть. По жилам текут уже другие реки, ни в одну из них нельзя войти дважды, это реки выпитого портвейна и бормотухи, они текут, ударяя в затылок, и в глазах становится темно. Все забыто. Где-то растет дерево — из него сделают крест; где-то в яслях заплакал младенец — над ним склонилась Мария. Какая между этим связь? Уставшие волхвы щелкают пальцами, гремят погремушкой, в небольшом имении под Римом в короткой детской одежде бегает маленький мальчик, его зовут Понтий Пилат, он ловит бабочку, он смеется. Где-то выбросил первые побеги терновый куст, он еще без колючек. Всему свое время. Все случится. Где-то, когда-то. Маленькая девочка Е-Кэтон, которую он любил когда-то, в ином веке, в ином месте человек по имени Князев, где-то она сейчас, где ее коротко стриженные волосы, где ее руки, обнимавшие его, ее маленькие груди, твердые, как камешки. Где-то, а может, нигде. Все исчезло. Ничего нет. А жизнь? И жизни нет. А Князев? Уж он-то наверняка есть, Славка Князев, куда же он мог бы задеваться, чемпион, сталинский стипендиат, красавец и умница, светлая голова, умелые руки. Есть он или нет?

Его нет. Нет его, нет. Молчок, все тихо. Но дыши, считай бумажки, улов хорош, сегодня Зина будет довольна, она пустит его в постель, она будет его любить. Кого — его?

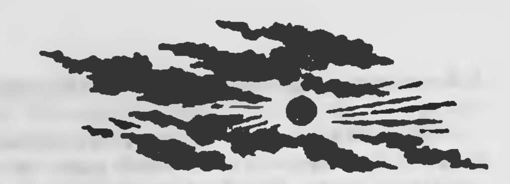
Молчок. Нет больше Князева. Все.

Что-то происходит. Что-то взрывается, взрывается что-то в груди того, кто был когда-то Князевым. Что-то такое. В груди. Да что же это? Он сжимает кулаки. Сволочи. Кто это? Сволочи. Что-то такое жжет, что-то такое не дает дышать. Воздух взрывается у него со свистом, кулаки сжаты. Что? Что? Что вы со мною делаете, что вы со мною сделали, что я сам сделал с собою...

Он бьет по прилавку. Тишина. Гудят какие-то машины. Кто-то скребется в дверь. Прочь. Он бьет еще раз. Будка вздрагивает, ей больно, за спиной с грохотом валятся ящики из-под мандаринов. Он бьет по прилавку, словно найдя виновника — раз, и другой, и третий. Где Князев? Где он? Прежний, не этот? Он бьет. Будка трясется. Она вот-вот развалится, она не рассчитана на это, на взрыв страстей, на удары кулаком. Грузный человек в грязном переднике бьет снова и снова, словно молотом, ударяя кулаком по прилавку. Подобно листве, подхваченной ветром, летят на заплеванный пол бумажные листья — зеленые, красные, синие. Лысая лампочка на потолке истекает желтым болезненным светом, синие мухи в испуге забились в угол. Все трясется, лампочка вздрагивает, она словно живая, она похожа на фантастический глаз неведомого животного, повисший на зрительном нерве. Свесившись с потолка, глаз видит человека, по лицу которого текут мутные слезы...

Окончание следует

Всеволод АЗАРОВ



◆◆◆

Это было недавно,
Это было давно.
Песня

Горьковатый привкус детства,
Мушмулу и халвичок,
Мне знакомую Одессу
Сберегу на долгий срок.

Там опять звучит шарманка
В наступившей тишине.
В щуплой лапке обезьянка
Предлагает счастье мне.

Крик пронесся водовоза,
Тучка вынесла грозу.
Полыхают жарко розы
У цветочницы в тазу.

Словно я рожден в рубашке,
Что угодно для души,
Розовые промокашки,
Хаммера карандаши.

Запах ельтерской и сена,
В пузырьках воды стакан.
На Привозе, не на Сене,
В углях бронзовый каштан.

Попугай кричит: «Пиастры!»,
Робинзон на скалы влез.
Там, горн светло и властно,
Нам распахнут мир чудес.

Вновь надежде ветер вторит,
Отгоняя прочь печаль.
Всюду солнце, всюду море,
Увлекающее вдаль!

Дочери командира «С-13»

Мой отец одесситом был,
И, сроднившись с морем судьбою,
Он всем сердцем своим любил
Шум волны и шорох прибоя.
Татьяна Маринеско

Поедемте, Таня, в Одессу на спуск Маринеско,
Где тени платанов со всех обступают сторон,
Где сильные краны, где моря тяжелые всплески,
Где в яркой лазури сверкающий день отражен.

Мне жаль, что я с вашим отцом не ходил в мореходку,
Не плыл от «спасалки», тревожный услышав сигнал,
Не вел, навалившись на весла, просторную лодку,
Не драил медяшку, когда объявляли аврал.

«Летучею мышью» светя, не сходил в катакомбы,
И парус ребяческой сильной рукой не крепил,
Что гулко подошвами не отбивал «Тиритомбу»,
Не пел, не отплясывал среди друзей-заводил.

...Над сумрачной Балтикой встали осенние тучи,
Подводная лодка скользила среди глубины,
Когда прокатился торпеды удар неминучий,
Скостивший, быть может, последние сроки войны.

Двенадцати «эскам» погибшим со дна не подняться,
Но эта жива и за них счет продолжила свой,
И ветер взвивает протравленный флаг «С-13»,
Ей честь отдает кораблей невернувшихся строй.

И в небо взлетают салюта ракетные вспышки,
Легла справедливости тяжесть на чашу весов.
И чтят своего командира седые мальчишки,
И море гудит от приветственных их голосов.

Он сызнова молод. Его окрыляет бесстрашье,
Бездонных морей и взметнувшихся гордо небес,
И девочка, имя в честь деда носящая Саша,
Вступает с тем именем в мир обретенных чудес.

И снова, душой простодушен и весел по-детски,
Он видит ночей полнолунье и волн серебро...
Поедемте, Таня, в Одессу на спуск Маринеско,
Как в сказку, где злу вопреки торжествует добро!

Женам товарищей

Я встречаю вас нечасто,
Ах, нечасто, так нечасто,
Давних жен, подружек верных
Боевых моих друзей.
Вам хватило бы надолго
Уготовленного счастья,
Если б не войны прошедшей
Беспощадный суховей.

Вспоминаю в синем дыме,
Озорными, не седыми,
Пустяковыми цветами
Украшавшими наш быт.
А еще припоминаю
Вас счастливыми такими,
Как Коммуны девам юным
Быть, наверно, надлежит.

Помню жесткие ладошки,
Помню ваши постирушки,
Синих примусов на кухне
Керосиновую вонь.
А еще припоминаю
Наши бедные пирушки
И русалочьих зеленых,
Золотистых глаз огонь.

Перед вами выступая,
Словно барды в тронном зале,
Пожинали самый скромный,
Самый первый свой успех.
А стихи, что сочиняли,
Посвящали, вам читали,
Нам казались в эту пору
Наилучшими из всех.

Спят друзья в Балтийском море,
На Карельском перешейке,
В глубине траншей блокадных,
На последних рубежах.
Партизанские землянки,
Пулеметные ячейки,
Те, кто там погиб, остались
В ваших трепетных сердцах.

Постарели наши жены,
Типографской нонпарели
Их зрачкам, от слез поблекшим,
Быстро так не разглядеть.
А слова, что в полный голос
Невернувшиеся пели,—
Оживают над землею,
Как трубы продрогшей медь.

Я встречаю вас нечасто,
Ах, нечасто, так нечасто,
Заменила волос черный
Паутинки белой нить,—
Эти строчки только отблеск
Той весны, сокрывшей счастье,
Все, что памятью своею
Вы могли бы заслужить!

◆◆◆

Парадный ход и черный ход —
Таких сегодня нет в помине,
Зачем же эти двери, свод
Ко мне во снах приходят ныне,

И младший брат, отец и мать...
Храню на брата похоронку
И не пытаюсь открывать
Ту дверь, куда входил ребенком.

Прошел я множество дверей
И долгий срок живу на свете,
Но, спящий, в памяти своей
Я открываю только эти.

Что́ здесь — поминки, торжество?
Свет ясный или тьма сырая?
Но что за дверью никого —
Я, спящий, так и не узнаю.

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Суд начинается

19 августа в 12 часов 10 минут в Октябрьском зале Дома Союзов в Москве открылось судебное заседание военной коллегии Верховного суда СССР. Предыдущие показательные процессы шли в огромном Колонном зале того же здания, но сейчас был избран более скромный по размерам Октябрьский. Когда-то это был один из бальных залов Дворянского собрания — просторное помещение с высоким потолком, с коринфскими колоннами у светло-голубых стен, декорированное в русском стиле XIX века. В зале хватало места приблизительно для 150 с небольшим советских граждан и 30 с лишним иностранных журналистов и дипломатов. Присутствие иностранцев было очень важно для всего спектакля. Единодушная отрицательная реакция иностранцев могла приостановить последующие представления такого рода. Увы, слишком многие из этих привилегированных гостей позволили себя обмануть, поверили невероятному заговору и фантастическим его подробностям. Советские же зрители все были подобраны НКВД и являлись главным образом сотрудниками и руководящими работниками этого наркомата. Есть свидетельства, что аудитория была специально проинструктирована — она должна была проявлять волнение по сигналу, если вдруг возникла бы необходимость покрыть шумом зала нежелательное высказывание кого-либо из обвиняемых. Руководители партии и правительства не присутствовали. Не было также родственников обвиняемых.

Комендант суда, одетый в форму со знаками различия НКВД, провозгласил: «Встать, суд идет!». Все встали, и судьи заняли свои места. Председательствовал Ульрих — толстяк со свисающими, как у старого пса, щеками и маленькими свиными глазками. Голова его с заостренной макушкой была наголо выбрита, и его жирный затылок нависал над воротником кителя. Голос Ульриха был мягким и масляным. Он имел большой опыт в политических процессах.

Справа от Ульриха сидел другой ветеран подобных процессов, Матулевич. Этот председательствовал в декабре 1934 года на суде над ленинградскими так называемыми «белогвардейцами», которые все были уничтожены. Слева от председателя сидела личность, интересовавшая гостей с Запада,— бесцветный, худощавый диввоенюрист И. Т. Никитченко. Десять лет спустя он появился в Международном трибунале в Нюрнберге, где вместе с виднейшими судьями Великобритании, Америки и Франции председательствовал на процессе над главными военными преступниками. В Нюрнберге Никитченко представлял юридическую систему, настолько отличную от остальных, представленных в Трибунале, что само его присутствие могло показаться издевательством над судебной процедурой [1].

Одно важное обстоятельство отличало советскую юстицию от тех остальных, с которыми Никитченко предстояло позже встретиться в Нюрнберге. Обстоятельство состояло в том, что приговоры в Советском Союзе составлялись заранее и отнюдь не судебными органами. На закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев сказал буквально следующее: «НКВД стал применять преступный метод заготовления списков лиц, дела которых подпадали под юрисдикцию коллегии военных трибуналов. При этом приговоры заготавливались заранее. Ежов обычно посылал эти списки лично Сталину, который утверждал предложенную меру наказания». Шелепин на XXII съезде сообщил, что «Каганович до окончания судебных заседаний по различным делам лично редактировал проекты приговоров и произвольно вносил в них угодные ему изменения, вроде того, что против его персоны якобы готовились террористические акты». Молотов же, по словам Суслова, когда списки осужденных проходили через его руки, изменял приговоры, увеличивая при этом «во многих случаях» меру наказания. Так, в одном примере, данном Сусловым, он, простой пометкой «ВМН» (высшая мера наказания) на полях списка, изменил на расстрел приговор к тюремному заключению одной из жен «врагов народа» [2]. В процессе, который теперь предстояло провести Никитченко и его коллегам, приговоры, без сомнения, были частью подготовленного сценария, и эти приговоры были навязаны самим генеральным секретарем. Как, впрочем, подтверждает и произведенное в 1968 году чехословацкое расследование фальсификации процесса Сланского; согласно этому расследованию «индивидуальные приговоры заранее устанавливались в политическом секретариате».

[1] Никитченко упоминается также в воспоминаниях генерала Горбатова, по свидетельству которого он, по-видимому, был председателем суда, осудившего Горбатова. См. «Новый мир», 1964, № 4, с. 122. В отдельном издании книги Горбатова «Годы и войны» (М., 1965, с. 134) это упоминание упущено. Никитченко умер в 1967 году, не понеся никакой ответственности за свою деятельность в годы сталинского террора.

[2] См. «Правду», 3 апр. 1964, с. 7 (Доклад М. А. Суслова на Пленуме ЦК КПСС 14 февраля 1964 года).

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9, 10.

Три крупных, здоровенных бойца НКВД с винтовками и примкнутыми штыками ввели подсудимых и разместили их за низким деревянным барьером вдоль правой стены зала. Потом эти трое вооруженных людей замерли в позе часовых. В последние дни перед процессом обвиняемые немного прибавили в весе и им была дана возможность выспаться. Все же они выглядели бледными и измотанными.

Перед самым судом Ягода и Ежов провели совещание с Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским и Тер-Ваганяном. Ежов повторил сталинское обещание, что им будет сохранена жизнь, и тут же предупредил, что любая индивидуальная попытка «предательства» будет рассматриваться как заговор всей группы в целом.

Теперь эти главные обвиняемые сидели в тревоге, вперемежку с агентами-провокаторами, равномерно распределенными среди них и отделявшими их друг от друга. Практика добавления второразрядных мошенников (или якобы мошенников) к группе важных политических фигур и одновременный суд над теми и этими, составляющими якобы одну общую группу,— техника не новая. Из истории французской революции мы знаем, что в процессе над Дантоном и умеренными 13—14 жерминаля сам Дантон и четверо его ближайших сторонников были смешаны с мелкими ворами и шпионами, причем каждый из главных обвиняемых был тщательно связан с другими общим обвинением.

Теперь советская печать делала совершенно то же. Газеты вели злобную обвинительную кампанию против подсудимых, в то же время публикуя материалы, так сказать, противоположного свойства — например, почти ежедневно давая фотографии знаменитых летчиков, совсем так же, как поколением позже давались фотографии космонавтов. На снимках фигурировали Чкалов с командой, пролетевшие на новом советском самолете вдоль границ страны и обратно; фигурировал Владимир Коккинаки, поставивший несколько рекордов высоты. Летчиков фотографировали со Сталиным и другими, фотографировали во время приемов в Политбюро, во время награждения орденами и просто поодиночке. Таким путем симулировалась атмосфера молодости и прогресса, победа молодого сталинского поколения, а в то же время создавалось впечатление, что рассеивались темные силы, представленные на суде старыми большевиками.

У левой стены зала, как раз напротив обреченных представителей антисталинизма, сидел за небольшим столом Вышинский, человек с аккуратной прической, седыми, тщательно подстриженными усиками, в безупречно сшитом темном костюме, крахмальном воротничке и галстуке.

Ульрих выполнил все формальности по идентификации обвиняемых, спросил их по поводу возможных отводов составу суда и по поводу желания обвиняемых иметь защитников. На два последних вопроса ответом было единодушное «нет». Затем секретарь суда огласил обвинительное заключение. Оно основывалось на материалах январского процесса 1935 года, на котором, как говорилось, Зиновьев и его коллеги скрыли свою прямую ответственность за убийство Кирова. После этого якобы вскрылись обстоятельства, показывающие, что зиновьевцы и троцкисты, которые занимались террористической деятельностью еще раньше, сформировали общий блок уже к концу 1932 года. К блоку будто бы присоединилась также группа Ломинадзе. Через особых агентов они получали инструкции Троцкого.

Согласно этим инструкциям, обвиняемые якобы организовали террористические группы, готовившие «ряд практических мероприятий» * для убийства Сталина, Ворошилова, Кагановича, Кирова, Орджоникидзе, Жданова, Косиора, Постышева и других; одна из этих террористических групп сумела, дескать, убить Кирова. Никакой другой программы, кроме убийства, у этих людей якобы не было.

Согласно обвинительному заключению, Троцкий посылал письменные инструкции Дрейцеру, который передавал их Мрачковскому. Инструкции требовали убийства Сталина и Ворошилова. Пятеро младших обвиняемых, вместе с Гольцманом, были лично посланы Троцким или его сыном Седовым для помощи в этих террористических актах. Ольберг, к тому же, имел связи с гестапо. Все обвиняемые полностью признали себя виновными, за исключением И. Н. Смирнова, чья полная виновность была, однако, подтверждена показаниями других обвиняемых. Сам он сделал лишь частичное признание — в том, что принадлежал к «объединенному центру» и что был лично связан с Троцким до времени своего ареста в 1933 году. Смирнов также показал, что в 1932 году получил инструкции Троцкого об организации террора. Однако он отрицал свое участие в террористической деятельности.

Обвинительное заключение заканчива-

лось перечислением имен людей, которые подлежали суду отдельно: «Дела Гертика, Гринберга, Ю. Гавена, Карева, Кузьмичева, Константа, Маторина, Павла Ольберга, Радина, Сафоновой, Файвиловича, Д. Шмидта и Эстермана выделены в особое производство в связи с тем, что следствие по этим делам еще продолжается» *. О Маторине, личном секретаре Зиновьева, в ходе суда было сказано еще раз, что он находится под следствием и будет судим позже «в связи с другим делом» *. Но ни один из названных людей никогда больше не появился перед открытым судом, и в большинстве случаев мы ничего не знаем об их судьбах.

После чтения обвинительного заключения обвиняемые признали себя виновными полностью — за исключением Смирнова и Гольцмана. Смирнов признал свою принадлежность к «центру» и получение инструкций о терроре от Троцкого, но отрицал участие в подготовке или исполнении террористических актов. Гольцман тоже, хотя и признал, что передавал инструкции о терроре от Троцкого, отрицал свое участие в терроре. После 15-минутного перерыва Мрачковский был вызван первым для дачи показаний.

Отвечая на вопросы Вышинского, Мрачковский рассказал о формировании «центра» и о подготовке террора по инструкциям, полученным от Троцкого и его сына Седова. Эти инструкции якобы частично передавались через Смирнова, а частично были получены в письме Троцкого, написанном невидимыми чернилами и посланном через Дрейцера. Была создана троцкистская группа под руководством Смирнова, куда входил сам Мрачковский, Тер-Ваганян и бывшая жена Смирнова Сафонова. К ним примыкали Дрейцер и ряд заговорщиков меньшего масштаба.

Когда Мрачковский обвинил Смирнова в прямой террористической деятельности, Смирнов несколько раз отрицал правильность этих показаний, и между ним и Вышинским вспыхивали горячие споры. Для подкрепления показаний Мрачковского был привлечен Зиновьев. Он поднялся и заявил, что убийство Кирова было совместным предприятием, участие в котором принимали как зиновьевцы, так и троцкисты, включая Смирнова. То же самое подтвердил и Каменев. Таким путем уже в самом начале процесса была обозначена некая общая террористическая сеть. Для полноты картины Мрачковский также сообщил об участии Ломинадзе (покончившего самоубийством за год до процесса) и о существовании группы убийц в Красной Армии во главе с комдивом Дмитрием Шмидтом. Это последнее обвинение, как выяснилось, было вставлено в показании Мрачковского с дальним прицелом и весьма многозначительно.

После Мрачковского допрашивали Евдокимова, который заявил, что в январе 1935 года он обманул суд. Он объяснил затем, как он сам, а также Бакаев, Зиновьев и Каменев организовали убийство Кирова. План, оказывается, состоял в том, чтобы убить Сталина в тот же самый момент: «...Бакаев предупредил Николаева и его соучастников, что они должны были ждать сигнала Зиновьева,— сказал Евдокимов,— и стрелять одновременно с выстрелами в Москве и Киеве» *. В обвинительном заключении цитировались показания Мрачковского, данные им на предварительном следствии, о том, что «Сталина предполагалось убить первым» *, и, во всяком случае, Кирова не собирались будто бы отправить на тот свет раньше генерального секретаря. Евдокимов в своих показаниях впервые упомянул имя старого большевика Григория Сокольникова, в прошлом кандидата в члены Политбюро и в то время все еще кандидата в члены ЦК.

В ходе допроса Евдокимова Смирнов, против которого опять давались показания, снова отрицал их правильность.

На вечернем заседании показания давал Дрейцер. Он «вспомнил» свои связи с сыном Троцкого Седовым и показал, что он организовал две другие террористические группы для убийства соответственно Сталина и Ворошилова. По поводу Смирнова — «заместителя Троцкого в СССР» *— Дрейцер злобно заметил: «Никто не мог действовать по собственной инициативе, без дирижера мы не составляли бы оркестра. Я удивлен заявлениями Смирнова, который, по его словам, одновременно и знал и не знал, и говорил и не говорил, и действовал и не действовал. Это неправда» *. Смирнов вновь отрицал верность этих показаний и заявил, что он никогда не обсуждал вопросы террора с Дрейцером. Опять был вызван Зиновьев, чтобы подтвердить роль Смирнова,— и он сделал это длинно и обстоятельно.

Следующим был Рейнгольд. Он расширил границы заговора, показав о переговорах с Рыковым, Бухариным и Томским, а также упомянул еще о двух террористических группах, возглавляемых «правыми» — Слепковым и Эйсмонтом. Рейнгольд сообщил также о плане Зиновьева и Каменева поставить после прихода к власти на пост главы НКВД Бакаева с тем, чтобы тот уничтожил всех сотрудников НКВД, которые «могли держать в руках нити заговора» *, а также «всех прямых исполнителей террористических актов» *. Эти показания насчет убийства исполнителей террора, как мы уже упоминали, интересны тем, что показывают, в каком направлении работал ум Сталина.

Последовавший за Рейнгольдом Бакаев «признался» в организации убийства Кирова и планировании убийства Сталина:

Вышинский: Вы приняли ряд практических мер по выполнению этих инструкций, а именно по организации нескольких покушений на жизнь тов. Сталина, которые провалились не по вашей вине?

Бакаев: Да, это так.*

Однако Бакаев сделал оговорку того типа, какие отмечались и на последующих процессах; он заявил, что о других заговорах, ныне приписываемых обвиняемым, он узнал впервые при чтении обвинительного заключения. Он сделал также несколько менее значительных оговорок, сказав, например, что не ездил в Ленинград для встречи с Владимиром Левиным (одним из участников «группы» Николаева) и не обсуждал с ним вопросов террора. Эти незначительные отрицания не шли, конечно, ни в какое сравнение с основными признаниями. Тем не менее их можно, вероятно, рассматривать как слабые, жалкие попытки дать понять, что показания эти нельзя считать правдивыми.

Настала очередь Пикеля. Он сообщил, что согласился принять участие в покушении на жизнь Сталина. Он упомянул о трагедии 1933 года, когда секретарь Зиновьева Богдан покончил самоубийством в знак протеста против чисток партии. В уста Пикеля была вложена новая интерпретация этого события. Действительно, сказал Пикель, Богдан «оставил записку о том, что якобы был жертвой партийной чистки» *, но фактически имел приказ Бакаева либо устроить покушение на Сталина, либо покончить с собой. Даже эта невероятная сказка не возбудила недоверия ряда лиц, сидевших в ложе прессы.

Пикель некоторое время находился на Шпицбергене: как член Союза писателей он имел назначение работать там при советских угольных концессиях. На суде это было представлено как его попытка быть в отъезде, чтобы избежать разоблачения. Таким образом, если человек был в отъезде, это означало, что он террорист, пытающийся избежать разоблачения, а если (как сделал Пикель) он приезжал обратно, то он был террористом, возобновившим работу,— в данном случае дальнейшие попытки устроить покушение на жизнь Кагановича, Ворошилова и других.

На следующее утро, 20 августа, давал показания Каменев. Сперва он говорил с определенным достоинством, но когда начался перекрестный допрос, это достоинство стало исчезать. Он сделал почти полное признание, отрицая лишь намерение заговорщиков якобы скрыть следы своих преступлений физическим уничтожением сотрудников НКВД и всех, кто мог знать о заговоре. По поводу отрицания Смирновым своей вины Каменев сказал: «Это смешные увертки, создающие только комическое впечатление» *.

В показаниях Рейнгольда Сокольников был назван как полноправный член «центра». Каменев, однако, изложил это несколько по-другому:

Каменев: ...Среди руководителей заговора можно назвать еще одно лицо, фактически одного из руководителей, который, однако, в связи с особыми планами, существовавшими у нас в отношении его работы, не привлекался к практическим делам. Я имею в виду Сокольникова.

Вышинский: Который был членом «центра», но чья роль хранилась в строгом секрете?

Каменев: Да. Понимая, что мы могли быть разоблачены, мы назначили небольшую группу для продолжения нашей террористической деятельности. Для этой цели мы и выделили Сокольникова. Нам казалось, что со стороны троцкистов такую роль могли успешно выполнять Серебряков и Радек.*

Каменев также еще больше расширил рамки заговора, включив в него бывшую «рабочую оппозицию» Шляпникова.

Что касается роли «правых», то Каменев сказал следующее: «В 1932, 1933 и 1934 годах я лично поддерживал связи с Томским и Бухариным и выяснял их политические взгляды. Они нам симпатизировали. Когда я спросил Томского об умонастроениях Рыкова, тот ответил: „Рыков думает то же, что и я“. В ответ на мой вопрос о том, что думает Бухарин, он сказал: „Бухарин думает то же самое, что и я, но придерживается несколько другой тактики: он не согласен с партийной линией, однако держится тактики настойчивого проникновения в партию и завоевания личного доверия у руководства“» *.

Это не было еще полным обвинением — во всяком случае теоретически,— но вряд ли могло означать что-либо другое, кроме намерения Сталина посадить Бухарина и его последователей на скамью подсудимых.

Потом в зале появился «свидетель», профессор Яковлев. Он подтвердил ранее данные обвиняемыми показания. Яковлев заявил, что Каменев поставил его руководить террористической группой в Академии наук.

Теперь настала очередь Зиновьева давать свои основные показания. Он выглядел запуганным. В прошлом красноречивый оратор, Зиновьев еле двигал губами. Лицо его было серым и отечным, он говорил с астматической одышкой. Его признание вины было полным, он сказал не только о своем руководстве зиновьевской террористической группой, но также и о сотрудничестве с М. Лурье, якобы подосланным Троцким. Зиновьев недвусмысленно говорил о виновности Томского, а также назвал ветерана ленинского ЦК Смилгу, который при захвате власти большевиками стоял во главе Балтийского флота. Заявив о своей постоянной свя-

зи со Смирновым, Зиновьев добавил следующее:

«...В этой ситуации я имел встречи со Смирновым, который здесь обвинял меня в том, что я часто говорю неправду. Да, я часто говорил неправду. Я начал лгать в тот момент, когда стал бороться против большевистской партии. Постольку, поскольку Смирнов стал на путь антипартийной борьбы, он тоже говорит неправду. Но мне кажется, что разница между нами состоит в том, что я твердо и безусловно решил говорить в этот последний момент правду, в то время как он, по-видимому, принял другое решение» *.

Затем появилась — в качестве свидетельницы — бывшая жена Смирнова Сафонова. Она заявила, что Смирнов передавал инструкции Троцкого о терроре я энергично их поддерживал. Смирнов твердо отрицал эти показания, но другие обвиняемые немедленно подтвердили слова Сафоновой. Затем состоялся следующий обмен репликами между Вышинским и Смирновым:

Вышинский: В каких отношениях вы были с Сафоновой?

Смирнов: В хороших.

Вышинский: А более того?

Смирнов: Мы состояли в близких отношениях.

Вышинский: Вы были мужем и женой?

Смирнов: Да.

Вышинский: Между вами не было личной неприязни?

Смирнов: Нет.*

Следующее заседание началось с допроса Смирнова. Он продолжал давать лишь частичные показания. Да, передавал идеи Троцкого и Седова относительно террора, но не разделял этих идей; никакой другой противозаконной деятельностью не занимался. Вот отрывок из стенограммы процесса:

Смирнов: Я признаю, что принадлежал к подпольной троцкистской организации, присоединился к блоку и центру этого блока, виделся с Седовым в 1931 году в Берлине, выслушивал его соображения о терроре и передал эти соображения в Москву. Я признаю, что получал инструкции Троцкого о терроре от Гавена и, хотя я не был с ним согласен, передавал их зиновьевцам через Тер-Ваганяна.

Вышинский (иронически): Когда вы покинули «центр»?

Смирнов: У меня не было намерения покидать; не было что покидать.

Вышинский: Центр существовал?

Смирнов: Какой «центр»..?

Вышинский: Мрачковский, центр был?

Мрачковский: Да.

Вышинский: Зиновьев, центр был?

Зиновьев: Был.

Вышинский: Евдокимов, центр был?

Евдокимов: Да.

Вышинский: Бакаев, центр был?

Бакаев: Да.

Вышинский: Ну что, Смирнов, будете и теперь продолжать настаивать, что центра не было? *

Смирнов снова сказал, что никаких собраний такого «центра» никогда не было, и опять три других члена этого «центра» были вызваны, чтобы его опровергнуть. После показаний других о том, что он возглавлял троцкистскую часть заговора, Смирнов повернулся к ним и сардонически сказал: «Вам нужен вождь? Ладно, берите меня!» *. Даже Вышинский комментировал эту реплику замечанием, что она была сделана «в несколько шутливой форме» *.

Смирнову было очень трудно продолжать свою линию частичных признаний, но в целом он преуспел в одном: он основательно спутал все карты. Когда противоречия в его показаниях становились для него особенно трудными, он просто не отвечал на вопросы.

Следующий обвиняемый, Ольберг, сообщил, что долго был членом немецкой троцкистской организации, встречался с Седовым и с помощью фальшивого гондурасского паспорта приехал в Советский Союз. Он не объяснил, каким образом со своей туристской визой в центральноамериканском паспорте он получил работу в Горьковском педагогическом институте; но именно там он, оказывается, готовил террористический акт, который должен был быть осуществлен в Москве 1 мая 1936 года. Согласно показаниям Ольберга, его план убийства Сталина провалился потому, что он был арестован. Ольберг был одним из тех обвиняемых, относительно которых даже тогда было замечено, что они давали показания почти что в бойкой манере. Ту же ошибку допустили затем Фриц-Давид и оба Лурье. Ряд наблюдателей сразу же пришел к выводу, что эти люди были провокаторами.

После Ольберга Берман-Юрин заявил, что Троцкий лично послал его застрелить Сталина на конгрессе Коминтерна. Берман-Юрин дал очень подробный отчет о встрече с Троцким и его свитой в Копенгагене в ноябре 1932 года. Этот отчет состряпали в НКВД следующим образом.

Советский шпион Джек Собл, чья карьера закончилась только в 1957 году с его арестом в Нью-Йорке, проник в окружение Троцкого в 1931 году. Последняя встреча этого Собла с Троцким произошла в Копенгагене в декабре 1932 года, когда Троцкий приезжал в Данию для прочтения лекций. После этого Собл потерял доверие Троцкого. Однако его отчет о передвижениях Троцкого в Копенгагене был передан в НКВД, там отредактирован и положен в основу показаний Юрина.[1]

[1] I s a a c D o n L e v i n e. «The Mind of an Assassin». New York, 1959, p. 26.

Берман-Юрин закончил свои показания, сказав, что не сумел достать билет на XIII пленум Коминтерна и поэтому не смог застрелить на этом пленуме Сталина.

С момента публикации обвинительного заключения советская пресса настойчиво требовала смертной казни обвиняемых. Печатались резолюции, принятые на собраниях во всех концах страны. Рабочие киевского завода «Красное знамя» и сталинградского тракторного имени Дзержинского, члены казахстанских колхозов и ленинградской партийной организации — все требовали расстрела обвиняемых, изо дня в день нагнетая напряжение. А утром 21 августа «Правда» опубликовала нечто новое. В этом номере «Правды» были все те же десятки резолюций, были верноподданнические стишки рифмоплета Демьяна Бедного под заголовком «Пощады нет!». Но, помимо этого, в газете были опубликованы заявления Раковского, Рыкова и Пятакова, продемонстрировавшие еще одну сторону партийной дисциплины. Эти трое тоже требовали смертной казни. Заявление Раковского называлось «Не должно быть никакой пощады!». Рыков настаивал, чтобы Зиновьеву не было оказано милосердия. Об общем тоне всех заявлений можно судить по тексту, подписанному Пятаковым, который гласил:

«Не хватает слов, чтобы полностью выразить свое негодование и омерзение. Это люди, потерявшие последние черты человеческого облика. Их надо уничтожать, уничтожать как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух советской страны, падаль опасную, могущую причинить смерть нашим вождям и уже причинившую смерть одному из самых лучших людей нашей страны — такому чудесному товарищу и руководителю, как С. М. Киров...

Многие из нас, и я в том числе, своим ротозейством, благодушием, невнимательным отношением к окружающим, сами того не замечая, облегчали этим бандитам делать свое черное дело.

Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду. Хорошо, что ее можно уничтожить — честь и слава работникам НКВД!»[1)]

Под этим нарастающим давлением обвиняемые продолжали свои показания. К 21 августа, последнему дню судебного следствия, осталась лишь одна видная фигура — Тер-Ваганян. Кроме него, было лишь трое «убийц» и так называемый эмиссар Троцкого Гольцман.

Этот Гольцман, действительно бывший троцкист невысокого ранга, был личным другом Смирнова. Его показания оказались в высшей степени неудовлетворительными для обвинения по двум причинам.

Во-первых, Гольцман, несомненно по примеру Смирнова, изменил позицию с полного отрицания того, что ему приписывало обвинительное заключение, к отрицанию своего участия в терроризме. Он теперь твердо заявил, что хотя он передавал точку зрения Троцкого, но, подобно Смирнову, «не разделял» взглядов Троцкого о необходимости террора. Вышинский сумел лишь добиться от Гольцмана признания, что он оставался членом троцкистской организации, после чего прокурор заявил, что это — то же самое.

Второе обстоятельство было иного характера. Гольцман показал, что встречался со старшим сыном Троцкого Львом Седовым в Копенгагене. Было условлено, что в этом городе он должен был остановиться в отеле «Бристоль» и там встретиться с Седовым. Гольцман заявил, что поехал в гостиницу прямо с вокзала и встретил Седова в вестибюле.

Как только показания Гольцмана были опубликованы, Троцкий объявил их фальшивыми и опубликовал требование, чтобы суд спросил Гольцмана, по какому паспорту и под каким именем он приехал в Данию — это ведь могло бы сразу проверено с помощью датских иммиграционных властей. К такому обороту дела обвинение не было подготовлено, и суд, естественно, не обратил на это никакого внимания. Но вскоре после окончания процесса орган датской социал-демократической партии указал, что отель «Бристоль» в Копенгагене был снесен в 1917 году. Советской пропаганде было очень трудно обойти этот пункт, и в конце концов была выдвинута запоздалая теория, что Гольцман встречался с Седовым в кафе «Бристоль», которое якобы находилось вблизи гостиницы под другим названием, где Гольцман остановился. Эта версия не совпадала с показаниями на процессе. В довершение всего было опубликовано убедительное свидетельство, что Лев Седов в те самые дни (в 1932 году), когда, согласно показаниям Гольцмана, ему следовало быть в Копенгагене, держал экзамены в высшей технической школе в Берлине.

Существует версия, что ошибка с гостиницей «Бристоль» родилась следующим образом. Ежов решил, что эта воображаемая встреча должна была состояться в гостинице, и попросил Молчанова дать название гостиницы. Молчанов обратился в иностранный отдел НКВД. Чтобы скрыть суть дела, он потребовал названия нескольких гостиниц в Осло и в Копенгагене, якобы для того, чтобы разместить там группу важных советских делегатов. Секретарь Молчанова бегло записал список названий, который ему продиктовали по телефону, и затем, перепечатывая список, по ошибке дал названия гостиниц в Осло под рубрикой «Копенгаген».

За Гольцманом были вызваны двое

Лурье. Их родство неопределенно — они не были братьями. Работали они вместе. Натан Лурье, по профессии хирург, дал показания, что заграничные троцкисты прислали его для организации покушения на Ворошилова. Он якобы работал над этим с сентября 1932 до весны 1933 года вместе с двумя соучастниками, и они «часто ходили на улицу Фрунзе и прилегающие улицы, вооруженные револьверами» *.

Дальше произошел следующий диалог:

Председательствующий: Итак, вы совершили бы террористический акт, если бы представился благоприятный момент? Почему вам это не удалось?

Лурье: Мы видели автомобиль Ворошилова, движущийся вдоль улицы Фрунзе. Он шел слишком быстро. Было безнадежно стрелять по такому быстродвижущемуся автомобилю. Мы решили, что это будет бесполезно.*

После этого Н. Лурье был якобы послан в Челябинск, где старался встретить Кагановича и Орджоникидзе во время их посещения этого города. План, весьма простой, выглядел следующим образом. Моисей Лурье велел Натану Лурье «использовать возможный визит товарища Орджоникидзе на Челябинский тракторный завод, чтобы совершить по отношению к нему террористический акт» *. Н. Лурье «постарался встретить» * обоих вождей, но «он не сумел выполнить свое намерение» *.

Этот малообещающий убийца был затем переведен в Ленинград, где его связали с «террористической группой Зейделя» (одна из смешанных террористических групп, упомянутых в ходе процесса: Зейдель был историком). Здесь инструкции Н. Лурье предусматривали уже убийство Жданова. Он планировал это сделать во время демонстрации 1 мая. Ульрих установил в деталях тип пистолета (браунинг среднего размера), но поскольку Лурье не использовал этого воображаемого оружия, данный пункт вообще потерял значение. Вот типичные вопрос и ответ на суде:

Председательствующий: Почему вам не удалось покушение на жизнь Жданова?

Лурье: Мы шли слишком далеко от трибуны.*

Итак, обвиняемый участвовал в «попытках покушения» на четырех руководящих деятелей, но ни в одном случае не были предприняты сколько-нибудь явные действия. В сопоставлении с успешными действиями убийцы Кирова это выглядело странно.

Показания Моисея Лурье были того же типа. Он тоже имел инструкции от Троцкого, переданные якобы через оппозиционных немецких коммунистических лидеров Рут Фишер и Маслова, он тоже встречался с Зиновьевым. Он готовил своего однофамильца к различным покушениям.

Следующим был назван Тер-Ваганян. Он вовлек в дело новую группу — грузинских уклонистов, которые, «как хорошо известно» *, были террористами с самого 1928 года. По-видимому, речь шла о Мдивани и его сторонниках, но Тер-Ваганян назвал только одну фамилию — Окуджава. Тер-Ваганян также сообщил, что вел переговоры со своим близким другом Ломинадзе и с историками-троцкистами Зейделем и Фридляндом.

Тер-Ваганян показывал и против Смирнова, который вновь попросил занести в протокол непризнание им своей вины, хотя в конце концов допустил, что одна из оспариваемых им встреч «могла иметь место» *.

Последний из обвиняемых, Фриц-Давид, дал показания о том, что был послан Троцким и Седовым с целью попытаться осуществить «два конкретных плана убийства Сталина» *. Оба эти плана провалились — один потому, что Сталин не присутствовал на заседании Исполкома Коминтерна, где должно было произойти убийство, а другой потому, что на конгрессе Коминтерна Давид не смог подойти достаточно близко. Седов будто бы пришел в ярость (неудивительно!), когда узнал об этих задержках. Ни один из террористов, якобы посланных в СССР с такими трудностями и с такими расходами, не сумел причинить даже малейшего неудобства, не говоря уже об убийстве, кому-либо из сталинского руководства. Несмотря на это, Вышинский заметил, что «троцкисты действовали более целеустремленно и энергично, чем зиновьевцы!» *

В конце вечернего заседания 21 августа был снова допрошен Дрейцер — для того, чтобы вовлечь в заговор комкора Витовта Путну (см. главу VII). Комкор Путна «для вида порвал с троцкистами» *, но фактически переправлял инструкции от Троцкого к Дрейцеру для дальнейшей передачи Смирнову. Тут Смирнов снова вмешался и отрицал, что Путна был троцкистом, но Пикель, Рейнгольд и Бакаев подтвердили это.

В конце дня Вышинский сделал следующее заявление:

«На предшествующих заседаниях некоторые обвиняемые (Каменев, Зиновьев и Рейнгольд) упоминали в своих показаниях Томского, Бухарина, Рыкова, Угланова, Радека, Пятакова, Серебрякова и Сокольникова, как принимавших в той или иной степени участие в преступной контрреволюционной деятельности, за которую судят обвиняемых по настоящему делу. Я считаю необходимым сообщить суду, что вчера я распорядился начать следствие по заявлениям подсудимых в отношении Томского, Рыкова, Бухарина, Угланова, Радека и Пятакова и что по результатам этого расследования генеральная прокуратура предпримет необходимые законные действия. В отношении Серебрякова и Сокольникова следственные органы уже имеют материалы, обвиняющие этих лиц в контрреволюционных преступлениях, и в связи с этим против Сокольникова и Серебрякова возбуждены уголовные дела» *. 22 августа это заявление было опубликовано в печати вместе с быстро появившимся требованием рабочих «Динамо», чтобы обвинения были «безжалостно расследованы».

Прочитав заявление Вышинского, Томский немедленно покончил самоубийством на своей даче в Болшево. Центральный Комитет партии, кандидатом в члены которого был Томский, на следующий день осудил этот акт, приписывая его тому, что против Томского были выдвинуты обвинения (что вполне правильно).

Утреннее заседание 22 августа было отведено для обвинительной речи Вышинского. Прежде всего он подвел теоретическую базу под процессы, под весь террор:

«Три года назад тов. Сталин не только предвидел неизбежное сопротивление элементов, враждебных делу социализма, но также предсказал возможность оживления троцкистских контрреволюционных групп. Настоящий судебный процесс полностью и со всей ясностью подтвердил великую мудрость этого предсказания» *.

После нападок на Троцкого Вышинский долго рассказывал суду историю различных показаний и обещаний Зиновьева и Каменева. Затем он приписал особую важность убийству Кирова:

«Эти бешеные псы капитализма стремились разорвать лучших из лучших людей нашей советской страны. Они убили революционера, который был нам особенно дорог, превосходного и удивительного человека, ясного и веселого, как постоянная улыбка на его губах, ясного и веселого, как сама наша жизнь. Они убили нашего Кирова; они ранили нас возле самого сердца. Они думали, что сумеют посеять смятение и ужас в наших рядах» *.

Некоторое время Вышинский говорил затем о «вилянiях» Смирнова (и, между прочим, осудил Гольцмана за «принятие той же позиции, что и Смирнов» *); Смирнов, сказал обвинитель, «упрямо отрицал, что он принимал какое-либо участие в террористической деятельности троцкистско-зиновьевского центра» *. Однако, сказал Вышинский, его вина установлена показаниями других. Одну трудность прокурор обошел следующим образом:

«Я знаю, что в свою защиту Смирнов скажет, что он вышел из „центра". Смирнов скажет: „Я ничего не делал, я был в тюрьме". Наивное утверждение! Смирнов находился в тюрьме с 1 января 1933 года, но мы знаем, что, находясь в тюрьме, Смирнов организовал контакты с троцкистами, поскольку обнаружен код, с помощью которого Смирнов, пребывая в тюрьме, общался со своими друзьями на воле. Это подтверждает, что связь существовала, и Смирнов не может этого отрицать» *.

Фактически же по этому пункту не было приведено никакого свидетельства и не было даже сделано попытки подтвердить это каким-либо образом.

Опять-таки мимоходом Вышинский расправился с одной неприятной идеей, которая, очевидно, набирала в то время популярность:

«Проводить сравнение с периодом террора народовольцев поистине бессовестно. Преисполненный уважения к памяти тех, кто во времена «Народной воли» честно и искренне боролся против царского самодержавия, за свободу,— правда, своими особыми, не всегда безупречными методами,— я категорически отвергаю эту кощунственную параллель» *.

Вышинский закончил речь восклицанием: «Я требую, чтобы эти бешеные псы были расстреляны — все до одного!» *.

На вечернем заседании 22 августа и на двух заседаниях 23 августа заслушивались последние слова обвиняемых.

Они говорили в том же порядке, в каком их допрашивали. Мрачковский начал с рассказа о своем происхождении — рабочий, сын и внук рабочих, революционер, сын и внук революционеров, впервые арестованный в возрасте 13 лет.

«А здесь,— продолжал он в горьком и ироническом тоне,— я стою перед вами как контрреволюционер!» * Судьи и прокурор смотрели настороженно, но все шло хорошо. На момент Мрачковским овладело отчаяние. Он схватился за барьер скамьи подсудимых, пересилил себя и стал объяснять, что упомянул о своем прошлом только для того, чтобы каждый «помнил, что не только генерал, не только князь или дворянин может стать контрреволюционером; рабочие или люди рабочего происхождения вроде меня тоже могут становиться контрреволюционерами» *. Закончил Мрачковский тем, что он — предатель и его следует расстрелять.

Большинство остальных в последнем слове возводили на себя обвинения; обвиняемые называли сами себя подонками, не заслуживающими снисхождения. Прозвучала нечаянно и опасная нота, когда Евдокимов заявил — вряд ли без нарочитой двусмысленности — «кто же поверит единому нашему слову?» *.

Каменев, закончив свое последнее слово и сев на место, встал вновь и сказал, что хотел бы адресовать несколько слов своим двум детям, к которым не может иначе обратиться. Один из них был летчиком, другой маленьким мальчиком. Каменев заявил, что он хотел бы сказать им следу-

ющее: «Каков бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. Идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным» *. Потом он сел опять и закрыл лицо руками. Все присутствующие были потрясены, и даже судьи, как говорят, утратили на миг каменное выражение своих лиц.

Зиновьев дал удовлетворительное определение всей недопустимости сопротивления Сталину: «Мой искаженный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму. Троцкизм — это разновидность фашизма, а зиновьевизм — это разновидность троцкизма...» *. А закончил тем, что хуже любого наказания была для него мысль о том, что «мое имя будет связано с именами тех, кто сидел рядом со мной. Справа от меня Ольберг, слева — Натан Лурье...» *. В одном важном отношении это замечание несовместимо со всей идеей процесса: перед лицом выслушанных показаний Зиновьев был ведь ничуть не лучше, чем те двое, которых он назвал.

Смирнов снова отрицал свое прямое участие в какой-либо террористической деятельности. Однако он осудил Троцкого, хотя и в сравнительно мягких выражениях, как врага, «стоящего по ту сторону баррикады» *.

Когда закончил последнее слово Фриц-Давид, суд удалился на совещание. В совещательной комнате уже лежал приговор, подготовленный Ягодой. Но должно было пройти положенное время, для объявления приговора суд вышел глубокой ночью, в 2.30. Все обвиняемые были безоговорочно признаны виновными. Все были приговорены к смерти.

Когда Ульрих закончил чтение приговора, один из двух Лурье истерически взвизгнул: «Да здравствует дело Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина!» *. После этого приговоренных вывели, посадили в закрытые машины и отвезли на Лубянку.

Последние минуты

Как только суд кончился, стал ясен односторонний характер соглашения, заключенного Зиновьевым и Каменевым со Сталиным. Выполнив обязательство со своей стороны, Зиновьев и Каменев не располагали никакими средствами, чтобы заставить Сталина исполнить свое обещание.

По новому закону приговоренные имели 72 часа для подачи просьб о помиловании. Несколько таких просьб, вероятно, поступили и были отклонены, однако Смирнов, по крайней мере, насколько известно, о помиловании не просил. Так или иначе, но объявление о казни было сделано всего через 24 часа после приговора.

Позже просочились некоторые сведения о том, как именно проходили казни. Разумеется, эти сведения основываются на сплетнях и слухах, циркулировавших внутри НКВД,— других источников в тех обстоятельствах быть не могло.

Зиновьев был нездоров, и его лихорадило. Ему сказали, что его переводят в другую камеру. Но когда он увидел охранников, он немедленно понял, в чем дело. Все рассказы об этом сходятся на том, что он потерял всякое самообладание, выкрикивал высоким голосом отчаянный призыв к Сталину выполнить данное ему слово. Было впечатление, что он в истерике, но это может быть и не совсем так, поскольку голос его всегда повышался, когда он был возбужден; возможно, он пытался произнести последнюю речь. К тому же он все еще страдал болезнью сердца и печени, так что его первый срыв вполне понятен. Говорят, что лейтенант НКВД, пришедший за Зиновьевым, опасаясь продолжения этой сцены на всем пути по коридору и в подвал, загнал Зиновьева в соседнюю камеру и там его расстрелял. Говорят также, что этот лейтенант позже получил награду за присутствие духа.

Когда на казнь вызвали из камеры Каменева, он не жаловался и выглядел ошеломленным. Зато в истерику впал казнивший его лейтенант НКВД, который пнул ногой падающее тело и снова выстрелил в него. Смирнов шел спокойно и смело. Передают, что он сказал: «Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде».

Существует также рассказ, услышанный от сотрудника НКВД, находившегося под арестом, что Зиновьев и Каменев не были казнены в течение пяти дней после того, как было объявлено об исполнении приговора. Причина была якобы в том, что их показывали живыми и здоровыми тем будущим обвиняемым, которые были уже под арестом, желая намекнуть, что приговоры были вынесены просто для публики. Приговоренные будут, говорилось новым подследственным, вести исследовательскую работу в каком-нибудь «изоляторе» в тюрьмах. В этом, однако, нет ничего невозможного, и есть даже некоторые официальные свидетельства, пусть и сомнительные, что объявленные приговоры не всегда приводились в исполнение тогда, когда об этом сообщалось. Верно и то, что будущие обвиняемые не стали бы так легко принимать на веру обещания Сталина сохранить им жизнь на последующих процессах, если эти обещания были однажды нарушены, и с этой точки зрения сохранение жизни Зиновьеву и Каменеву на несколько дней выглядит вполне резонно. Но все же, в отсутствие более весомых подтверждений, приведенный выше рассказ вряд ли можно принять за правду. Стоит лишь отметить один любопытный факт: в последнем издании собрания сочинений Ленина в примечании о Тер-Ваганяне отсутствует дата его смерти [2].

О семьях приговоренных на этом процессе, помимо семьи Смирнова, можно сказать немного. Сын Евдокимова был расстрелян; дети Каменева отправлены в лагерь [1]; жена Ольберга Бетти тоже попала в лагерь. Еще в тюрьме, очень больная и исхудавшая, она сделала попытку покончить самоубийством, бросившись через перила лестницы. В конце концов ее вернули в Германию вместе с коммунистами, переданными Сталиным в руки гестапо в 1940 году.

Приговоренных казнили в то время, когда многие партийные руководители были в отпусках. Сам Сталин находился на Кавказе. В Москве оставался только необходимый кворум формального управительного органа — Центрального Исполнительного Комитета,— который рассматривал просьбы о помиловании, имея общую инструкцию отклонять их, если не последует противоположного распоряжения Политбюро. Оставался в Москве и Ежов — наблюдать, чтобы ничто не помешало процессу. Ничто и не помешало.

Степень правдоподобия [3]

В целом процесс был для Сталина успехом. Ни коммунисты, ни народные массы не могли открыто возражать против сталинской версии. А внешний мир, чьим представителям Сталин разрешил присутствовать на процессе, не склонен был, по крайней мере, отрицать все целиком, с самого начала как фальшивку. Имелись, конечно, очень значительные сомнения относительно признаний. Но даже если они и были добыты недопустимыми методами, это само по себе не доказывало, что показания были неверными. Фактически, эти самые признания обвиняемых были единственным моментом, который трудно было примирить с полной невиновностью подсудимых. Таким образом, метод признаний до известной степени политически себя оправдал.

Теперь, когда мы знаем и ложность обвинений и кое-что о том, как весь процесс был подготовлен, мы способны судить о нем холодно и трезво. Но в то время и для партии и для всего мира дело выглядело иначе. Тогда это было ужасающее событие, разыгравшееся на глазах публики.

Обвинения были рассмотрены во всех подробностях. Одни — например, некоторые британские юристы, западные журналисты и т. д.— находили их убедительными, другие — невероятными. Как часто бывает, это был тот случай, когда предполагаемые факты принимались или отвергались в соответствии с заранее сложившимися убеждениями отдельных лиц. Большинство либо считало, что старые революционеры не могли совершить таких преступлений, либо что социалистическое государство не могло выдвигать фальшивых обвинений. Ни та, ни другая позиция не могут считаться по-настоящему логичными. Ни в коем случае нельзя было абсолютно исключить, что оппозиция могла планировать убийство политических руководителей. Конечно, есть различные основания думать, что это было не в характере обвиняемых и противоречило их прежним точкам зрения, но это уж, конечно, аргументы гораздо более слабые.

Некоторые западные комментаторы, применяя к ситуации критерии здравого смысла, доказывали, что для участников оппозиции удаление Сталина было единственным логическим путем для сохранения собственных жизней и обеспечения лучшего, с их точки зрения, будущего для партии и государства. Так-то так, но история дает много примеров, когда здравый смысл неприменим.

Одно совершенно ясно: до самой казни Зиновьева, Каменева и остальных оппозиция никак не ожидала, что Сталин действительно убьет старых вождей. Все маневры участников оппозиции до этого момента сводились к тому, чтобы оставаться живыми, если возможно — в рядах партии, до того времени, пока сталинские ошибки и эксцессы не изменят настроений в партии в лучшую для них сторону и не дадут им новых шансов. А после первых казней уже ни один участник оппозиции какого-либо ранга не был в состоянии предпринять попытку убийства Сталина — независимо от своего мнения о разумности этой меры. Возможность освободиться от генерального секретаря имели теперь только те люди, которые работали в его непосредственном окружении.

Мы не знаем, конечно, точных обстоятельств смерти Сталина в марте 1953 года. Но его смерть определенно последовала в тот момент, когда он готовил новую резню среди руководства, и, может быть, в это время окружавшие его люди были достаточно умны, чтобы не ждать своей судьбы как овцы. 24 мая 1964 года албанский руководитель Энвер Ходжа заявил в своей речи, что советские руководители «это заговорщики, которые имели наглость открыто сказать нам — как сделал Микоян, что они сговорились убить Сталина» (передано албанским телеграфным агентством 27 мая 1964 года). Таким об-

[1] Об этом сообщает Петр Якир в письме от 2 марта 1969 года в редакцию журнала «Коммунист» (в СССР не публиковалось.— *Ред.*).

разом, вполне определенно одно: отчаянные и беспощадные люди, которые, по-видимому, извлекли уроки из событий 30-х годов, могли и планировать, а может быть, даже и выполнить наиболее логически оправданное убийство из всех возможных [4)]. С другой стороны, не следует придавать слишком большого значения тому факту, что Василий Сталин не раз говорил окружающим, будто «отца убили соперники» [1].

Не подлежит сомнению, что сам Сталин реально опасался покушения на свою жизнь. В 30-х годах он очень внимательно наблюдал за руководителями оппозиции, так что должен был знать, что эти люди вряд ли могли организовать подобную попытку. Но на низших ступенях партийной иерархии ему виделись тысячи и тысячи потенциальных врагов. Вообще-то индивидуальный террор противоречил основным марксистским принципам. Зиновьев как будто даже делал ставку на это обстоятельство. Рейнгольд однажды заявил: «Зиновьев мне сказал, главное при допросе — это настойчиво отклонять какую-либо связь с организацией. Если будут обвинять в террористической деятельности, вы должны горячо отрицать это, возражая, что террор несовместим со взглядами большевиков-марксистов» *. Убийца Кирова Николаев был, конечно, простаком; но все же он, будучи коммунистом, стрелял в партийного руководителя, вполне понимая, что делает. Не следовало надеяться на то, что все остальные воздержатся от индивидуального террора ввиду марксистских принципов. Отчаяние может привести к чему угодно: привело же оно, например, к тому, что болгарская коммунистическая партия организовала взрыв бомбы в Софийском соборе в 1925 году. Правда, в то время коммунисты отрицали свою ответственность за взрыв и говорили, что это подстроено их врагами. На процессе в Лейпциге после поджога Рейхстага Георгий Димитров говорил: «Этот инцидент не был организован болгарской коммунистической партией... Этот провокационный акт, взрыв Софийского собора, фактически был организован болгарской полицией». Однако в своей речи в 1948 году Димитров признал организацию взрыва и критиковал «отчаянные действия руководителей партийной и боевой организации, что нашло свое высшее выражение в попытке взорвать Софийский собор» [2].

Выборочные убийства дезертиров из рядов НКВД и других политических врагов на Западе вскоре стали обычной практикой советских властей. А сам Сталин — тоже старый коммунист — организовал убийство Кирова. В таких обстоятельствах можно согласиться, что сама мысль об убийствах со стороны Зиновьева и Каменева была возможна и что Рейнгольд мог быть прав, рассказывая на суде следующее:

«В 1932 году на квартире Каменева, в присутствии большого числа членов объединенного троцкистско-зиновьевского центра, Зиновьев следующим образом оправдал необходимость обратиться к террору: хотя террор несовместим с марксизмом, но в настоящий момент эти соображения должны быть отставлены...» *.

Более того, некоторые мысли, включенные следователями в показания Зиновьева и Каменева, выглядели оправданными. Вполне разумно было предполагать, что если бы Сталина убили, то в результате последующей борьбы за власть «начались бы переговоры с нами» *. Как сказал Каменев, «даже при Сталине мы с помощью нашей двурушнической политики получили прощение за наши ошибки и были приняты обратно в ряды партии» *. И было резонно думать, что они могли предвидеть впоследствии и реабилитацию Троцкого.

Однако в поддержку изложенных выше точек зрения невозможно сослаться на какие-либо твердые факты. Рассматривая дело с единственно возможной, фактической точки зрения, мы приходим к выводу, что внешние приметы «заговора» покоились на абсурдных и противоречивых предпосылках. Как и в последующих процессах, «заговор» был состряпан весьма неряшливо. В легко обнаруживающихся несоответствиях вряд ли виноваты Молчанов и Ягода — скорее всего, сам Сталин, который, например, лично настаивал на включении в число обвиняемых Смирнова.

Но, несмотря на все несоответствия и неправдоподобные обстоятельства, «Правда» от 4 сентября 1937 года смогла преподнести на видном месте заявление «английского юриста Притта», взятое из лондонской газеты «Ньюс Кроникл», относительно полной правильности и достоверности судебного процесса. И это было лишь одно заявление из многих подобного рода.

А ведь Зиновьев и Каменев были либо в ссылке, либо в тюрьме бóльшую часть периода деятельности «заговорщиков». Мрачковский находился в ссылке в Казахстане. Смирнов был в тюремной камере с 1 января 1933 года. Вышинский говорил о том, как «даже лишенные свободы обвиняемые» * ухитрялись принимать участие в заговоре. Но ни одно свидетельство не было приведено в поддержку существования такой связи между находившимися в тюрьме или ссылке и на свободе. Можно было думать, что даже такие наблюдатели, как Притт, найдут странными некоторые вещи: скажем, что конспираторы, направляемые и руководимые из-за границы, будут получать инструкции через соучастника заговора, находящегося в тюрьме где-то в отдаленном районе страны. Почему бы, в самом деле, зарубежные руководители заговора должны были посылать инструкции через лиц, сидевших долгое время в тюрьме? У них ведь были и другие пути — множество других путей, как намекали свидетели на процессе.

Еще одно поразительное обстоятельство — пропорция между запланированными покушениями и реально выполненными. Были будто бы два отдельных плана убить Сталина на заседании Коминтерна, был план застрелить Ворошилова, убить Кагановича и Орджоникидзе; существовало якобы множество планов, доведенных до стадии разработки.

На процессе не были упомянуты предыдущие суды, связанные с убийством Кирова. Не было сказано ни слова о действиях сотрудников НКВД в Ленинграде. Не затронут был вопрос и о так называемом участии латвийского консула.

Суду не было представлено никаких документальных свидетельств (кроме гондурасского паспорта Ольберга). Неспособность обвинения представить хоть какие-либо документы должна была особенно поразить наблюдателей как неправдоподобная странность. Ведь при арестах большевиков-подпольщиков царская полиция постоянно обнаруживала документы — трудно вообще представить себе, как могло без документов действовать какое бы то ни было подполье. Когда февральская революция 1917 года сделала доступными полицейские архивы, в них были найдены сотни секретных партийных документов, включая письма, написанные лично Лениным. А ведь большевики-подпольщики тех времен были по крайней мере столь же опытными конспираторами, как люди, ныне арестованные Сталиным: в действительности, как саркастически заметил один сотрудник НКВД, это были *те же самые конспираторы*.

Далее, важные «заговорщики» и свидетели просто не появились на суде. Сокольников, ясное дело, был бы значительным и важным свидетелем. Но его не вызвали. Точно так же не были вызваны ни Бухарин, ни Томский, ни Рыков — ни кто-либо из других лиц, названных на процессе соучастниками заговора. Среди зиновьевцев, привлекавшихся по прошлым делам и так и не появившихся на этом суде, были Гертик (якобы один из главных связных с «ленинградским центром», будто бы убившим Кирова), Карев (получивший якобы личные инструкции Зиновьева и Бакаева о подготовке убийства Кирова ленинградской группой), еще один «связной» Файвилович или Куклин, который, как было сказано, был полноправным членом «центра».

Однако вопросы документальных свидетельств, логики и т. д. не были решающими. Престиж «социалистического государства» стоял высоко. Существовал очень узкий выбор: либо принять суд за достоверный, либо назвать Сталина вульгарным убийцей, а его режим — тиранией, основанной на лжи. Прийти к правильному выводу и выбрать его из этих двух было можно, но подтвердить этот выбор достаточно веско было еще нельзя. Да и мало кто на Западе хотел слышать такие вещи — все оглядывались на более очевидную угрозу фашизма. В самом Советском Союзе положение вещей было другим. Возможно, мало кто доверял показаниям на процессе. Но находилось еще меньше людей, осмеливавшихся хотя бы намекнуть о своих сомнениях.

Через неделю после расстрела Зиновьева и остальных приговоренных к смерти Сталин приказал Ягоде отобрать и расстрелять пять тысяч участников оппозиции, находившихся в лагерях. В то же самое время у политзаключенных в лагерях были отняты все остатки привилегий. В марте 1937 года некоторые права политзаключенных были временно восстановлены. Но спустя несколько месяцев последовал приказ о новых массовых казнях. Большинство оставшихся в Воркуте троцкистов были привезены в Москву и расстреляны. В числе их был младший сын Троцкого Сергей Седов. В марте 1938 года возле лагеря были казнены Сократ Геворкян и 20 других бывших «левых». С того времени и до конца 1938 года каждую неделю заключенных воркутинского лагеря расстреливали группами по 40 человек или около того, причем расстрелы бывали и дважды в неделю. Жизнь сохраняли лишь детям, не достигшим 12 лет.

Имеются также свидетельства о голодной забастовке участников оппозиции, когда их собирались разлучать. Забастовка имела результатом большое количество смертей, и в конце концов все ее участники бесследно исчезли.

Глава пятая

ЧТО ОЗНАЧАЛИ ПРИЗНАНИЯ

Врет, как очевидец!

Русская поговорка

С того момента, как Мрачковский стал публично признаваться в ужасающих преступлениях — с 13 часов 45 минут

[1] Светлана Аллилуева. Только один год. Нью-Йорк, 1970, с. 176.

[2] Georgi Dimitrov. Selected Articles. Eng. ed., London, 1951, p. 22—23, 203.

19 августа 1936 года,— началась цепь событий, поразивших весь мир.

Мрачковский, старый большевик и член партии с 1905 года, был рабочим и потомственным революционером. Он даже родился в тюрьме, где в 1888 году его мать отбывала срок за революционную деятельность. Его отец, тоже рабочий и тоже революционер, стал большевиком, как только была создана эта партия. Рабочим был и дед Мрачковского. Он принадлежал к одной из первых марксистских группировок — Южнороссийскому союзу рабочих.

Сам Мрачковский выдвинулся после того, как возглавил восстание на Урале. Он воевал в Сибири во время гражданской войны и был несколько раз ранен. Впоследствии он стал одним из самых смелых последователей Троцкого и был арестован, когда в 1927 году организовал подпольную троцкистскую типографию, оказавшуюся недолговечной. Он был воплощением революционного мужества, рожденный и воспитанный в борьбе.

Теперь он стоял и послушно признавался в том, что был активным участником заговора с целью убийства членов советского руководства. В последующие несколько дней его примеру последовало еще с полдюжины старых большевиков, включая деятелей, известных всему миру. В последнем слове на суде они бичевали себя за «презренное предательство» * (Каменев), называли себя «отбросами своей страны» (Пикель), «не только убийцами, но фашистскими убийцами» * (Гольцман). Некоторые прямо заявили, что их преступления слишком отвратительны, чтобы просить о милосердии: Мрачковский назвал себя «предателем, которого следует расстрелять» *.

На протяжении двух последующих лет эта сцена повторялась еще дважды, вызывая замешательство комментаторов как дружелюбно, так и враждебно настроенных. Впечатление, будто все единодушно сдались, вообще-то говоря, не соответствует действительности. Двое из осужденных в 1936 году (Смирнов и Гольцман) всячески уклонялись от признания своей вины, но это прошло незамеченным на фоне самоуничижения многих других, в том числе двух крупнейших деятелей — Зиновьева и Каменева.

Точно так же не были замечены мелкие задержки и заминки последующих процессов. В первый день процесса 1938 года Крестинский отказался от своих предыдущих показаний и вновь признал их после того, как провел ночь в руках следователей. Бухарин отказался признать некоторые главные обвинения — например, план убийства Ленина. Радек признал себя коварным лжецом и указал при этом, что судебное дело базируется исключительно на его собственных показаниях.

Но эти отдельные моменты тонут в общей картине. Дело выглядело так: сознались все. Старые большевики публично признались в постыдных планах и действиях.

Все это представляется невероятным и просто не укладывается в голове. Были ли эти признания подлинными? Как они были получены? Что все это означало? Говорят, что в России этим признаниям верили так же мало, как за границей, «или даже меньше», а рядовой советский гражданин, который не сидел в тюрьме, был так же озадачен, как и иностранцы.

Как это ни странно, не только Вышинский, но и люди на Западе поговаривали о том, что обвиняемые сознались под тяжестью улик, что у них «не было выбора». Даже если отвлечься от того, что против них не было *никаких улик, за исключением их собственных признаний* и признаний других, происшедшее расходится с общеизвестным опытом. Люди, особенно те, кого обвиняют в преступлениях, наказуемых смертной казнью, всегда стремятся не признавать себя виновными, даже если против них собрано много доказательств. В прошлом коммунисты часто отрицали даже очевидные факты. Но как бы то ни было, странными кажутся не только признания. Еще удивительнее покаяние, полное согласие с тем, на чем настаивало обвинение, то есть с тем, что действия, в которых сознавались осужденные, представляли собой ужасные преступления.

Если бы Зиновьев и Каменев действительно пришли к заключению, что убийство Сталина разрешит все трудности в Советском Союзе, то это означало бы: опытные политики приняли определенное политическое решение, которое с их точки зрения было подходящим в данных обстоятельствах. Приняв решение, они не стыдились бы его и, подобно террористам «Народной воли», признав факты, стали бы защищать свои планы и действия. Полное принятие точки зрения обвинителей — главная причина того, что все дело кажется совершенно неправдоподобным.

Партийное мышление

Проблема сделанных на суде признаний имеет две стороны. Мы должны принять во внимание технические средства, физическое и психологическое давление, с помощью которых можно было добиться публичных признаний. Этот вопрос касается как беспартийных, так и жертв среди членов партии.

Но когда мы говорим о капитуляции и самоунижении старых революционеров, здесь появляются новые элементы. Эта капитуляция была не единичным и исключительным фактом в их карьере, а скорее кульминационным пунктом целой серии случаев, когда им приходилось подчиняться партии, причем они сами знали, что такое подчинение «объективно» было ложью. Подобная точка зрения — ключ к пониманию победы Сталина, и она выводит нас далеко за рамки судебных процессов. Она объясняет, почему попытки эффективно воспрепятствовать действиям Сталина, неоднократно предпринимавшиеся партийцами, настроенными против его правления, заканчивались катастрофическими провалами.

В условиях советской действительности, где группировки давно согласились с принципом однопартийного государства и с практикой удушения всякой новой и независимой политической инициативы полицейскими методами, ответственность за спасение страны и народа от Сталина лежала исключительно на его противниках внутри партии.

Они отреклись от своей ответственности. В силу внутренней природы партии они пришли и подчинению партийному руководству, несмотря на то, что состав съездов и комитетов, выдвинувших это руководство, был подтасован. Они не видели никаких политических возможностей вне партии. Даже после исключения они думали только об одном — о возвращении в партию любой ценой.

Оппозиционеры, за исключением Троцкого, допустили фундаментальную тактическую ошибку. Они постоянно каялись в политических грехах, признавали, что в конечном счете Сталин прав, считая, что можно пойти на все — «ползать в грязи», подвергаться любым унижениям, лишь бы оставаться в рядах партии или вернуться в нее. Они полагали, что, когда политика Сталина потерпит поражение, власть перейдет к ним — ведь кто-то должен будет возглавить партию.

Эта политика была хитрой и в то же время малодушной. Постоянные саморазоблачения и унижения проникли в сознание рядовых членов оппозиции и подмочили репутацию руководства — по всей вероятности, бесповоротно. Но основной просчет касался другого, еще более важного пункта.

Члены будущего правительства, которое готово противопоставить себя существующей власти, должны, по крайней мере, оставаться в живых. Верно, что некоторые оппозиционеры, например Каменев, понимали стремление Сталина подавить их любой ценой. Но они не верили, что Сталин сможет возглавлять партию, как ни в чем не бывало, после казни ветеранов революции; они считали это политически невозможным. Они недооценивали не его жестокость, а его решимость, хитрость и полную беспринципность. Когда Сталин кончил свое дело, в живых не осталось ни одного члена бывшего Политбюро, за исключением Григория Петровского, который молчаливо согласился работать администратором в музее.

Взгляд на историю, которого придерживались оппозиционеры, мешал им понять, что пролетарская партия может быть превращена в аппарат личной диктатуры путем интриг или каким-то другим методом. Никто еще до этого не создавал государства, покоящегося на твердых основах, но находящегося в полном противоречии с естественными потребностями экономики и со стремлениями народа. Им и в голову не приходило, что это может быть сделано, и еще меньше — что к этому будет стремиться старый большевик. Они не понимали ненасытного стремления к власти как части психики Сталина и того факта, что он с простотой, присущей гению, готов был пойти на действия, противоречащие «законам истории», и сделать то, чего никто не делал раньше.

А если это так, то, значит, они не понимали и его методов. Они представляли себе, хотя и смутно, что современное марксистское государство может быть подорвано интригами и махинациями внутри политических органов. Но им и в голову не приходило, что их противник прибегнет к методам обычного преступника, не остановится перед убийствами и «пришьет» другим вину за свои собственные преступления. Один из рядовых оппозиционеров сказал (о Рыкове):

«Два десятилетия находиться со Сталиным в нелегальной партии, в решающие дни проводить вместе с ним революцию, десять лет заседать после революции за одним столом в Политбюро и после этого не знать Сталина,— это уж действительно предел!».

Два предварительных условия сделали террор возможным: во-первых, личные побуждения и способности его главного инициатора — Сталина, во-вторых, общая политическая обстановка, в которой он действовал. Мы проследили изменения, происшедшие в партии после гражданской войны, и горькие последствия Кронштадта. Окончательное прекращение полемики и суровые испытания «второй гражданской войны» против крестьянства, последовавшие за этим, обострили положение до крайности. Новые удары, обрушившиеся на партию, стимулировали развитие таких качеств, как безжалостность и воля. В то же время представление о партии как объекте поклонения для каждого, кто был ее членом, как о «братском содружестве избранных» укрепилось еще больше.

Руководство Сталина было, таким образом, подлинным или, во всяком случае, единственным представителем «партии» — как для противников, так и для

сторонников. Несмотря на то, что Ленин всегда был готов пойти на раскол, если считал, что большинство партии придерживается неверных взглядов, оппозиционеры оказались скованными абстрактной преданностью. Так же, как большинство немецких генералов пребывало в полном бессилии, дав обет верности человеку, который, не раздумывая, нарушил бы свое слово, так и правые уклонисты были раздавлены в результате аналогичной интеллектуальной и моральной неразберихи.

В 1935 году Бухарина, который незадолго до того обличал «безумное честолюбие» Сталина, спросили — почему же, в таком случае, оппозиционеры ему подчинились? Бухарин ответил «довольно возбужденным тоном»:

— Вы не понимаете, это совсем не так. Мы доверяем не ему, а человеку, которому доверилась партия. Так уж случилось, что он стал как бы символом партии...

Веру Бухарина в партию — в это олицетворение и движущую силу истории — можно было наблюдать и в 1936 году, за год до его ареста. Он заметил тогда меньшевику Николаевскому:

— Нам трудно жить. И вы, например, не смогли к этому привыкнуть. Для некоторых из нас, с опытом истекших десятилетий, это часто невозможно. Но человека спасает вера в то, что развитие постоянно идет вперед. Это напоминает поток, бегущий к морю. Если высунешь голову, то тебя вообще выбросит (здесь Бухарин сделал движение двумя пальцами, напоминающее ножницы). Потоку приходится пробивать себе дорогу через очень трудные места. Но он движется вперед, в том направлении, в котором должен течь. В нем люди растут, становятся сильнее и строят новое общество.

Такая точка зрения — свидетельство безграничной, слепой веры, свидетельство вполне доктринерского взгляда в будущее. Сталин на тех же основаниях считал, что его личное правление необходимо стране. Моральное различие между двумя точками зрения не очень отчетливо. Общая этическая установка была яснее всего сформулирована Троцким в 1924 году:

«...Никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права... Правым можно быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала. У англичан есть историческая пословица: права или не права, но это моя страна. С гораздо большим историческим правом мы можем сказать: права или не права в отдельных частных конкретных вопросах, в отдельные моменты, но это моя партия... И если партия выносит решение, которое тот или другой из нас считает решением несправедливым, то он говорит: справедливо или несправедливо, но это моя партия, и я несу последствия ее решения до конца» [1].

Как мы увидим ниже, это высказывание чрезвычайно важно. Оно объясняет восхождение Сталина к власти, а еще больше — полную неспособность коммунистов выступить против него, даже когда подлинный характер его методов и целей выявился полностью.

Замечания, сделанные Пятаковым в разговоре с другом, бывшим меньшевиком Вольским, в 1928 году, проливают свет на отношение старого оппозиционера к партии, уже сталинизированной к тому времени. Они говорят нам больше, чем официальные заявления, поскольку были сделаны сгоряча и наедине. Пятаков только что перед этим капитулировал, подав заявление в ЦКК о восстановлении в партии. Встретив в Париже друга-меньшевика, он упрекнул его в недостатке смелости.

Вольский ответил, что капитуляция Пятакова через два месяца после его исключения из партии в 1927 году и отказ от взглядов, которых он придерживался до исключения,— истинный пример неискренности и трусости.

Пятаков ответил длинной и взволнованной тирадой. Ленин, сказал он, был к концу жизни усталым и больным человеком. Настоящий Ленин — это человек, создавший «новую теорию», согласно которой пролетариат и его партия смогли сначала осуществить пролетарскую революцию, а «уже потом создавать необходимую базу для социализма». Что такое октябрьская революция, что такое коммунистическая партия, если не чудо? Ибо «чудо есть результат проявленной воли», а «большевизм есть партия, несущая идею претворения в жизнь того, что считается невозможным». Ни один меньшевик не мог понять, что значит быть членом такой партии.[2]

«Чудо» Пятакова — это описание того, чего, по его мнению, партия стремилась добиться. Пятаков пытается подойти к вопросу с марксистской точки зрения: чудо заключается в том, что стремление партии противоречит «общественным законам», провозглашенным Марксом: социализм должен возникнуть в результате захвата власти партией, представляющей значительное большинство пролетариата в развитой промышленной стране. Вместо этого получается, что коммунистическая партия пыталась создать в Советском Союзе, с помощью только силы воли и организации, промышленность и пролетариат, которые в принципе должны ей пред-

[1] XIII съезд РКП(б). Стеногр. отчет. М., 1963, с. 158—159.

[2] Н. Валентинов (Н. В. Вольский) в «Новом журнале» (Нью-Йорк), № 52, 1958, с. 140—161 («Суть большевизма в изложении Ю. Пятакова»).

шествовать! Не экономика определяет политику, а наоборот — политика экономику.

Согласно Ленину, добавил Пятаков, коммунистическая партия «опирается на насилие и не связана никакими законами». Центральная идея — не принуждение само по себе, а отсутствие каких бы то ни было связанных с человеческой волей нравственных и политических ограничений. Такая партия может сделать чудеса и добиться того, чего не может добиться никакой другой человеческий коллектив. Настоящий коммунист, то есть человек, который был воспитан в партии и достаточно глубоко проникся ее духом, сам становится чудотворцем.

За этим последовали важные выводы: ради такой партии настоящий большевик охотно выбросит из головы идеи, в которые он верил годами. Настоящий большевик это тот, кто растворил свое личное в коллективе, в партии — настолько, что, сделав необходимое усилие, он порвет со своими взглядами и убеждениями и сможет честно согласиться с партией. Это испытание настоящего большевика. Для него «нет жизни вне партии, вне согласия с нею», и он будет готов верить, что черное есть белое, а белое — черное, если партия этого потребует. Для того, чтобы стать частью этой великой партии, он вольется в нее, откажется от всего личного. В нем не останется ни одной частицы, которая не принадлежала бы партии, не была бы ее частью.

Эта идея о том, что вся мораль и вся правда заключены в партии, помогает понять очень многое, когда мы вспомним об унижениях, которые Пятакову и другим пришлось во имя партии перенести. Подобный отход от объективных критериев был широко распространен, хотя он коснулся не всех членов старой партии. К концу 20-х годов многие разуверились в том, что рабочие, не говоря уж о крестьянах, могут играть какую-то роль в такой стране, как Россия. В 1930 году один иностранный коммунист обнаружил у ленинградских студентов такой взгляд: они считали совершенно естественным, что массы — всего-навсего орудия при фашизме или коммунизме. Моральное различие заключается лишь в намерениях руководства того или иного режима. Один троцкист заметил, что о Сталине можно сказать много положительного: «Троцкий, несомненно, сделал бы это с бóльшим успехом и меньшей жестокостью, и мы, более образованные люди, чем окружение Сталина, находились бы теперь на самом верху. Но надо уметь подняться над этими честолюбивыми стремлениями...».

Даже те, кто не дошел до такого самопожертвования, как Пятаков, не чувствовали в себе больше духовных сил, чтобы сделать рывок вперед и начать все сначала. «Все эти люди устали. Чем выше они взбирались по иерархической лестнице, тем больше уставали. Я нигде не видел таких изможденных людей, как в высших кругах советского руководства, среди старой большевистской гвардии. Это был не только результат переутомления, нервного напряжения, мрачных предчувствий. На них сказывалось прошлое — годы подполья, тюрьмы и ссылки, годы голода и гражданской войны; а кроме того, правила игры, которые требовали максимального напряжения в каждый данный момент. Они действительно были „*мертвецами на отдыхе*“, как назвал их Ленин. Ничто уже не могло их напугать, ничто не могло удивить. Они отдали все, что имели. История выжала из них все до последней капли, сожгла все до последней калории. Но они все еще продолжали тлеть огнем холодной преданности, как фосфоресцирующие трупы» [1].

Даже неустрашимый Буду Мдивани заявил: «Ясно, что я принадлежу к оппозиции. Но если дело дойдет до окончательного разрыва... нет, я предпочту вернуться в партию, которую сам помогал создавать. У меня нет больше сил, чтобы создавать новую». Психологический барьер был слишком высок, чтобы начать все сначала. Они подчинились, сдались.

В этой преданности партии есть элемент фантастики. После 1917 года партия была обескровлена исключением тысяч оппозиционеров. К концу 1930 года из членов первоначального руководства в Политбюро остался только Сталин. Власть находилась в руках тех, кого он выдвинул из числа новых людей. Состав самой партии изменился, она была разбавлена широкими приемами 20-х годов. Основная масса рядовых партийцев регулярно и безотказно голосовала за секретарей, которые назначались по указке сталинского Секретариата.

Оппозиция, казалось бы, могла заявить, что контроль Сталина над партией и утверждение о том, что он представляет всю партию, зиждется лишь на умелой подтасовке состава партийных съездов. Других оснований претендовать на роль законного наследника у него нет. Но оппозиционеры в свое время тоже пользовались подобными методами и никогда эти методы не критиковали — до тех пор, пока более искусный политик не побил их тем же оружием.

В 1923 году Сталин уже мог разбить таким способом утверждения своих противников. Полемизируя с Сапроновым, он указывал, что призывы к демократии, как это ни странно, исходят от таких людей, «как Белобородов, „демократизм“ которого до сих пор остался в памяти у ростов-

[1] Arthur Koestler. Arrow in the Blue. vol. 2, London, 1945, p. 155.

ских рабочих; Розенгольц, от „демократизма“ которого не поздоровилось нашим водникам и железнодорожникам; Пятаков, от „демократизма“ которого не кричал, а выл весь Донбасс...».

А в 1924 году Шляпников иронически заметил, что поскольку Троцкий и его сторонники поддержали меры, принятые против «рабочей оппозиции» на X съезде партии, их утверждения, будто они ратуют за партийную демократию,— лицемерие. Каменев весьма красноречиво осудил партийную демократию, выступая против Троцкого:

«Сегодня говорят: демократия в партии, завтра скажут: демократия в профсоюзах. Послезавтра беспартийные рабочие могут сказать: дайте нам такую же демократию.

...А разве крестьянское море не может сказать нам: дайте демократию!».

Но год спустя, на XIV съезде партии, он говорил: «Мы против того, чтобы Секретариат, фактически объединяя и политику и организацию, стоял над политическим органом». Но было уже слишком поздно. Сталинцам было что на это ответить. В стенограмме того же XIV съезда есть слова Микояна: «Когда есть большинство у Зиновьева, он — за железную дисциплину, за подчинение. Когда у него нет этого большинства, хотя бы на минуту, он — против».

Когда Сталин сделал следующий шаг и арестовал в 1927 году создателей подпольной троцкистской типографии во главе с Мрачковским, он без труда отверг обвинения оппозиции:

«Говорят, что история нашей партии не знает таких примеров. Это неправда. А группа Мясникова? А группа „Рабочей правды“? Кому неизвестно, что члены этих групп арестовывались при прямой поддержке со стороны Зиновьева, Троцкого и Каменева?».

Правда зачастую приносится в жертву и при других политических системах, но это происходит лишь от случая к случаю. Дело всплывает наружу, накладывая пятно на репутацию виноватого. В партиях не тоталитарного типа это никогда не становится открытым и всеобъемлющим принципом. Коммунисты же прибегают к этому сознательно и систематически.

Ведь именно Троцкий, как это ни странно, полемизируя в 1925 году с Истменом, писал в «Большевике», что никакого «завещания» Владимир Ильич не оставлял. Когда Сталин в декабре 1926 года на VII пленуме ИККИ обрушился на Каменева за то, что тот направил поздравительную телеграмму Великому князю Михаилу Александровичу во время февральской революции 1917 года, Каменев этот факт отрицал и указал, что сам Ленин, в интересах партии, сознательно говорил иногда ложь. На XIV съезде в 1925 году Крупская, от лица потерпевшей поражение фракции, призвала к «объективной истине». Ей ответил Бухарин: «Мы не можем допустить такой „философии демократизма“ со стороны тов. Надежды Константиновны Крупской, которая говорит: истина — это есть соответствие действительности — каждый прочитает, каждый вникнет, каждый за себя отвечает. А партия где? Как в загадочной картинке — пропала?».

С первых дней существования партии повелась и другая традиция: лучший метод победить в политическом споре — это любым способом очернить противника. Ленин однажды заметил Анжелике Балабановой: «Все, что делается в интересах пролетариата,— честно». Выдающийся итальянский социалист Серрати, хотя он и сочувствовал коммунистам, пытался помешать им расколоть социалистическую партию, к чему коммунисты стремились в их собственных целях. Анжелика Балабанова, работавшая в то время секретарем Коминтерна, выступила против нападок на Серрати. Когда Серрати умер, Зиновьев разъяснил Балабановой ленинскую тактику: «Мы боролись с ним и оклеветали его, потому что он был выдающимся деятелем. Если бы мы не прибегли к этой тактике, то невозможно было бы оттолкнуть от него массы». Понятно после этого, почему оппозиционерам предложили смешать с грязью их собственные мотивы и взгляды. Это было вполне естественно.

На XV съезде партии в декабре 1927 года Каменев заявил, что требовать от оппозиции отречения от своих взглядов было бы бессмысленно. Он разъяснил, в чем заключалась дилемма. Оппозиционеры должны были либо стать на путь создания второй партии, путь «гибельный для революции», ибо «это путь вырождения политического и классового», либо «целиком и полностью подчиниться партии». Он и Зиновьев выбрали второе, приняли тот взгляд, что «ленинская политика может восторжествовать только в нашей партии и только через нее, а не вне партии, не вопреки ей». Они подчинятся, но Каменев просил, чтобы им позволили не отрекаться от своих взглядов, которых они придерживались всего за несколько недель перед этим, потому что это требование, по его словам, «никогда в нашей партии не выставлялось», хотя в 1924 году, имея в виду оппозицию Троцкого, именно Зиновьев говорил, что «самое умное и достойное большевика... сказать: я ошибся, а партия была права».

Сталин не принял покаяние Зиновьева и Каменева. Они оказались в ловушке. Взять обратно свои слова было уже невозможно. В конце концов они приняли условия победителя и 18 декабря отреклись от своих взглядов, как от «неправильных и антиленинских».

В 1932 году Зиновьев и Каменев были снова осуждены, исключены из партии и сосланы. В 1933 году они были восстановлены в партии, но ценой еще бо́льших унижений. Зиновьев писал в Центральный Комитет: «Прошу Вас верить, что я говорю правду и только правду. Прошу восстановить меня в партии и дать мне возможность работать для общего дела. Даю слово революционера, что буду самым преданным членом партии и сделаю все, что в моих силах, чтобы хоть как-то искупить свою вину перед партией и Центральным Комитетом» *. Вскоре ему разрешили написать статью в «Правду», осуждающую оппозицию и превозносящую победы Сталина [1].

Зиновьеву пришлось пресмыкаться, но с точки зрения партийной этики его поведение было правильным. Он был уверен, что можно перенести любые унижения, лишь бы остаться в рядах партии, где в будущем он сможет сыграть видную роль. Этот расчет оказался неверным.

Следует, между прочим, отметить, что капитуляция некоторых более ранних «троцкистов» не носила такого унизительного характера, как покаяние Зиновьева. Муралов, например, никогда не делал заявлений, порочащих оппозицию. «Капитуляция» Ивана Смирнова была выдержана в сравнительно нейтральных выражениях, и когда после этого Смирнов повстречал в Берлине сына Троцкого Л. Седова, они дружески беседовали. Троцкий признавал также, что покаяние Серебрякова было «более достойным, чем многих других».

Оппозиция между тем продолжала разлагаться в результате бесконечных извинений, обманов и надувательств. Вот что писал Б. Николаевский, внимательно наблюдавший за этим процессом: «Надо признать, что с точки зрения политической этики поведение огромного большинства оппозиционеров действительно стоит далеко не на нужной высоте. Конечно, условия, которые существуют у нас в партии, невыносимы. Быть лояльным, полностью выполнять те требования, которые к нам ко всем предъявляются, нет никакой возможности: пришлось бы превратиться в доносчика и бегать в ЦКК с докладами о каждой оппозиционной фразе, которую более или менее случайно услышал, о всяком оппозиционном документе, который попал на глаза. Партия, которая такие требования предъявляет к своим членам, конечно, не имеет основания ждать, что на нее будут смотреть как на свободный союз добровольно для определенных целей объединившихся единомышленников. Лгать нам приходится всем, без этого не проживешь. Но есть определенные грани, за которые и в лганье переходить нельзя, а оппозиционеры, особенно лидеры оппозиционеров, эти грани, к сожалению, очень часто переходили.

...Подача прошения о помиловании теперь стала считаться вещью самой обычной: это — моя партия и в отношении ее совершенно неприменимы те правила, которые были выработаны в царские времена,— таков аргумент, который приходится встречать на каждом шагу. Но в то же время эту „мою партию“, оказывается, можно на каждом шагу обманывать, ибо она с идейными противниками борется методами не убеждения, а принуждения. В результате сложилась особая этика, допускавшая принятие любых условий, подписание любых обязательств,— с заранее обдуманным намерением их не выполнить...».

Этот взгляд оказал огромное деморализующее влияние. Граница между изменой и компромиссом стала очень расплывчатой. И в то же время сталинисты утверждали, что оппозиции нельзя доверять именно потому, что она придерживается взгляда, согласно которому лгать — простительно.

В 1934 году Зиновьев и Каменев были исключены из партии в третий раз, подозреваемые в подстрекательстве Николаева к убийству Кирова, а в январе 1935 года, как мы уже видели, они снова признались в политических грехах. На этот раз их слова уже звучат как полупризнание вины в уголовном преступлении.

Постепенная сдача ими позиций не была добровольной, в том смысле, что они предпочли бы ее избежать. Но они капитулировали, считая это неизбежным шагом в политических и моральных условиях однопартийной системы, которую они одобряли. Они отказались подряд от всех своих возражений — против фальсификации, против демократической процедуры, против неискренности и лавирования, против ареста. Они встали на этот путь для того, чтобы остаться в партии или добиться восстановления. Мы знаем от очевидца, что правый уклонист Слепков, после того как его выпустили из изолятора, выдал имена более 150 своих единомышленников, объясняя это так: «Надо разоружаться. Надо стать на колени перед партией» [5]).

Что касается видных коммунистов, осужденных на крупных показательных процессах в 1936-м, 1937-м и 1938 годах, то нет никаких сомнений, что в своем рациональном, вернее, рационализированном слое их поведение выражало идею «служения партии». Эта тема очень ярко и убедительно разработана Артуром Кестлером в книге «Тьма в полдень». Ее часто выдвигают в качестве главного объ-

[1] См. «Правду», 16 июня 1933 г.

яснения публичных признаний вины, хотя сам Кестлер отнюдь на это не претендует. Наоборот, он говорит: «Некоторые, как, например, Заячья Губа, молчали, подавленные физическим страхом; некоторые надеялись спасти свои головы; другие — по крайней мере спасти своих жен или сыновей от когтей Глеткина. Лучшие из них молчали для того, чтобы сослужить последнюю службу партии, став козлами отпущения. И кроме того, на совести у каждого из лучших была своя Арлова».

Итак, оппозиционеры чувствовали, что утратили право судить Сталина,— этот последний вывод Кестлера подтверждается различными источниками. Один заключенный некоммунист замечает: «Почти каждый сторонник режима, прежде чем пасть жертвой этого режима, был вовлечен в действие, противоречащее его политической совести». Он соглашается с Кестлером в главном:

«Верно, что методы допросов, особенно когда они применяются на протяжении месяцев и даже лет, могут сломить самую сильную волю. Но решающий фактор состоит в том, что большинство убежденных коммунистов должно любой ценой сохранить веру в советскую власть. Отказаться от этого было бы выше их сил. Для того, чтобы отказаться от давно сформированных, укоренившихся убеждений, нужна огромная моральная сила — даже если эти убеждения оказываются несостоятельными».

Все, что рассказывает Кестлер, отлично подтверждается фактами. Например, эпизод о том, как пытались сломить волю главного героя «Тьмы в полдень» Рубашова [1], и в целях психического воздействия мимо его камеры проволокли на казнь еле живого, измученного пытками заключенного, подтвержден официальными показаниями. Рубашов, если вкратце подытожить его дело, сдался потому, что считал, будто прошлые действия лишают его права судить Сталина. К этому прибавилось еще чувство преданности партии и ее взгляду на историю.

Основная мысль его признания сводится к следующему: «Я знаю, продолжал Рубашов, что мое заблуждение, если провести его в жизнь, создало бы смертельную опасность для Революции. В критический, переломный момент истории всякая оппозиция несет в себе зародыш раскола в партии, а значит — гражданской войны. Гуманная слабость и либеральная демократия, когда массы еще недостаточно созрели,— самоубийство для Революции. Мои оппозиционные взгляды и были как раз основаны на стремлении к этим понятиям, которые внешне кажутся такими привлекательными, а на деле смертельно опасны: к либеральной реформе диктатуры, расширению демократии, ликвидации террора, ослаблению жесткой партийной организации. Я признаю, что в нынешней ситуации эти требования объективно вредны и потому по сути своей контрреволюционны».

Здесь мы сталкиваемся с крайним проявлением того же чувства — полного слияния с партией,— которое звучит и в неофициальных высказываниях Бухарина перед арестом, и в излияниях Пятакова в 1928 году. В своем последнем слове на суде Бухарин сказал:

«Я около 3 месяцев запирался. Потом я стал давать показания. Почему? Причина этому заключалась в том, что в тюрьме я переоценил все свое прошлое. Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота. Нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись... И когда спрашиваешь себя: ну, хорошо, ты не умрешь; если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки для чего? Изолированный от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни...».

Кестлер, как уже было отмечено, не выдвигает свой анализ событий в качестве теории, объясняющей признания на суде. Он лишь приводит один из возможных вариантов, а из более поздних свидетельств ясно, что в некоторых случаях именно это или нечто подобное имело место.

Но не все члены партии рассуждали подобным образом. Рютин и его сообщники были, несомненно, готовы свергнуть Сталина. То же можно сказать и о признаниях на суде. Из Ивана Смирнова удалось «выдавить» лишь частичное и ироническое признание. Он пошел на это только потому, что в противном случае его бы тайно расстреляли, и его имя было бы смешано с грязью теми, кто уже решил сознаться, а также потому, что ему пообещали пощадить жену и всю семью [1]. В то же время его присутствие на суде могло в какой-то степени умерить клеветнические измышления прокурора. И все же Смирнов, как говорят, перед смертью заметил, что сам он и другие обвиняемые вели себя постыдно.

С восторгами Пятакова по поводу счастья состоять в «чудо-партии» резко расходятся и слова Тер-Ваганяна, сказанные следователю на допросе: «Но для

[1] По замыслу Кестлера, Рубашов представляет из себя смесь Бухарина (мировоззрение и образ мыслей) с Троцким и Рыковым (характер, личные качества и внешний облик).

[1] A. Orlov, p. 117—118.

того, чтобы подписать показания, которые от меня требуют, я прежде всего должен быть уверен в том, что они необходимы в интересах партии и революции...

...Вы предлагаете, чтобы я не думал и слепо полагался на Центральный Комитет, потому что Центральный Комитет видит все яснее, чем я. Но беда в том, что в силу своей природы я не могу перестать думать. А начав думать, я прихожу к неизбежному выводу, что утверждения, будто старые большевики превратились в банду убийц, нанесут неисчислимый вред не только нашей стране и партии, но и делу социализма во всем мире...

Если новая программа Центрального Комитета считает необходимым дискредитировать большевизм и его основателей, то я не согласен с этой программой, я не считаю себя больше связанным партийной дисциплиной. Кроме того, я исключен из партии, и уже по этой причине не считаю себя обязанным подчиняться партийной дисциплине» [1].

В конце концов Тер-Ваганяна убедили в том, что сопротивление бессмысленно. Ведь Зиновьев и Каменев — деятели, стоявшие гораздо выше его,— были готовы «дискредитировать большевизм». К тому же следователь Борис Берман, с которым Тер-Ваганян подружился, посоветовал ему спасти свою жизнь раскаянием, и Тер-Ваганян сдался. Берман говорил ему, что надеется, что через несколько лет осужденный будет реабилитирован и займет важный пост в партии. Тер-Ваганян на это ответил: «У меня нет ни малейшего желания получить высокий пост. Если моя партия, ради которой я жил и за которую готов был умереть в любую минуту, заставила меня подписать *это*, тогда я не хочу быть членом этой партии. Сегодня я завидую самому непросвещенному беспартийному» [2].

И все же Тер-Ваганян сдался. Можно с полным основанием предположить, что аналогичные взгляды и еще бóльшая одержимость ими определили поведение и тех людей, которых сломить не удалось. Куклин, как сообщают, сказал в тюрьме, что с партией и революцией «все кончено» и что нужно будет начать все сначала.

Тезис о том, что общепартийное мышление, идея партийной дисциплины являются *главным* объяснением публичных признаний на процессах, вызывает и еще одно возражение. Такая логика, если она существовала, была с формальной точки зрения применима как в момент ареста, так и впоследствии. Однако почти каждый из осужденных и вначале сопротивлялся — одни дольше, другие короче. Почему идея партийной дисциплины показалась убедительной Муралову в декабре 1936 года, если на протяжении восьми предшествующих месяцев он не считал ее убедительной? Почему три месяца сопротивлялся Бухарин?

Как мы знаем, Бухарин ответил на это на суде: он был изолирован, исключен из партии, разоблачен — жить незачем. Он начал пересматривать свои взгляды, и переоценка привела его к капитуляции. У Богуславского весь этот процесс занял всего восемь дней, в течение которых он, по его словам, благодаря аресту восстановил свое душевное равновесие и смог привести в порядок свои мысли и идеи, которые он теперь считал во многом, если не насквозь, преступными,— что сводится к тому же, что и бухаринское заявление.

Значит, честные коммунисты не автоматически подчинились, когда им приказывали: «Партии нужны ваши показания». Они делали это только после допросов и тюремного заключения, причем длительность заключения была различной. Некоторых вообще невозможно было убедить. Даже признания самого Бухарина (он считается главным последователем этой линии) не полностью соответствовали желаниям обвинителей. Выступая, он говорил так, что лживость обвинений была ясна любому здравомыслящему человеку.

Когда Каганович, один из самых рьяных сторонников репрессий, сам потерял власть, то он не стал предлагать — судите меня, назовите меня шпионом, террористом и диверсантом, расстреляйте меня под выкрики разъяренной толпы, чтобы сохранить в чистоте знамя партии. Напротив — он позвонил Хрущеву и, как сам Хрущев рассказал на XXII съезде партии, умолял его: «Товарищ Хрущев, я тебя знаю много лет. Прошу не допустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись с людьми при Сталине» [1]. Это — серьезное нарушение долга по отношению к партии!

Таким образом, нельзя отрицать: во многих случаях представление о том, что «партии это нужно», входило в число рациональных и психологических предпосылок капитуляции. Но одного такого представления было недостаточно — требовался еще нажим и другого порядка.

Оппозиционеры, конечно, не ожидали, что с ними обойдутся по справедливости и будут вести политические дискуссии. Достаточно вспомнить Томского — он покончил жизнь самоубийством в тот день, когда узнал, что против него выдвинуто обвинение, и он был не единственным. Политические дискуссии о партийном долге, преданности и так далее следует в некоторых случаях рассматривать как

[1] A. Orlov, p. 145—146.
[2] Там же, p. 149.

[1] XXII съезд КПСС. Стеногр. отчет. М., 1962, т. 2, с. 588 (закл. слово Хрущева).

элемент более широкой системы физического и морального давления. В случае с Каменевым, например, где дискуссии об интересах партии сочетались с изматывающими допросами, жарой, недостатком пищи, угрозами семье и обещаниями жизни, вообще очень трудно решить, какой элемент сыграл самую важную роль.

Итак, мы сделали попытку разобраться в умонастроении оппозиционеров, которые покаялись на суде. Но здесь нужны две важные оговорки. Во-первых, как мы видели, не все коммунисты разделяли взгляды Зиновьева и Каменева, Бухарина и Пятакова о единстве партии и готовности пойти на унижение. От таких людей зачастую было невозможно добиться публичного признания вины. С другой стороны, это публично сделали некоторые некоммунисты: врачи на процессе 1938 года, большинство руководителей польского подполья в 1945 году, болгарские протестантские пасторы в 1949 году.

Мотивы, изложенные выше, сыграли важнейшую роль в подчинении партии Сталину. Но если говорить о самих судебных процессах, о характере сделанных на них признаний, то они не могут быть достаточно объяснены только этими мотивами. В некоторых наиболее важных случаях мотивы эти способствовали получению нужных показаний в ходе следствия. Они были предрасполагающим фактором. Но и этот и другие «предрасполагающие факторы» были полностью реализованы в спектакле, разыгранном в Октябрьском зале Дома Союзов, только с помощью технических приемов НКВД.

Пытки

Когда речь заходила о том, *как* удалось добиться признаний, первой мыслью враждебно настроенных критиков было — пытки. Да и сам Хрущев сказал ведь в 1956 году: «Как могло получиться, что люди признавались в преступлениях, которых они вовсе не совершали? Только одним путем — применением физических методов воздействия, пыток, которые заставляли арестованного терять сознание, способность мыслить, заставляли его забывать свое человеческое достоинство. Так получались эти „признания“».

Карательные органы, несомненно, применяли пытки с самых первых дней существования советской власти. Есть много сообщений о жестокости тайной полиции, относящихся к началу 30-х годов: в Ростове заключенных били по животу мешком, наполненным песком, что нередко приводило к смерти. В случаях смертельного исхода врач удостоверял, что подследственный умер от злокачественной опухоли. Другой метод ведения допроса назывался стойкой. Заключенного заставляли подняться на цыпочки, стать к стене и стоять так в течение нескольких часов. Утверждают, что одного или двух дней достаточно, чтобы сломить едва ли не всякое сопротивление.

К другим, «импровизированным» методам пыток относится «ласточка», когда заключенному связывают ноги и руки за спиной и в таком состоянии подвешивают. Одна из заключенных женщин рассказывает, что ей прищемляли пальцы дверью. Избиение было делом обычным. Следователи передавали заключенных в руки рослых, мускулистых парней, которых заключенные называли «боксерами». Так обращались не только с крестьянами или «социально опасными элементами»: один полковник, впоследствии восстановленный в партии, рассказывает, что его сильно избили в НКВД в 1935 году. Есть много сообщений об избиении женщин. Провинциальные следователи, как правило, отличались большей жестокостью. Аккордеонисту из ансамбля Красной Армии, которого допрашивали в Хабаровске, сломали обе ноги. В Баку специализировались в вырывании ногтей, в Ашхабаде били по половым органам.

В большинстве тюрем применение физических пыток было, так сказать, «неофициальным». В некоторых сообщениях фигурируют иглы и щипцы, а в Лефортово, как сообщают Кравченко и другие, использовались более специализированные и изощренные инструменты. В целом следователи пытались создать впечатление импровизации: некоторым при допросах наступали на пальцы рук или ног, других избивали отломанной ножкой стула, и это не считалось «пытками» в прямом смысле слова. Но, как заметил один весьма опытный заключенный, такое разграничение было абсурдным: после подобных «импровизаций» у человека часто были сломаны ребра, шла кровь вместо мочи, повреждался позвоночник. Некоторые вообще не могли ходить.

Хрущев в своем докладе на закрытом заседании XX съезда упоминает о длительных пытках, которым подверглись Косиор и Чубарь. Затем он подробно рассказывает о другом деле, выбрав, как ни странно, дело Кедрова. Он цитирует письмо Кедрова, которое — будь оно написано кем-нибудь другим — прозвучало бы бесконечно волнующе: «Я обращаюсь к вам за помощью из мрачной камеры лефортовской[6)] тюрьмы. Пусть этот крик отчаяния достигнет вашего слуха... прошу вас, помогите прекратить кошмар этих допросов... Я твердо убежден, что при наличии спокойного объективного разбирательства моего дела, без грубой брани, без гневных окриков и без страшных пыток — было бы легко доказать необоснованность всех этих обвинений».

Сам Кедров, будучи представителем ЧК в Архангельской области во время гражданской войны, прославился исключительной жестокостью. Его сын (разделивший судьбу отца) был раньше одним из самых свирепых следователей НКВД, которому удалось добиться ложных показаний на процессах Зиновьева и Пятакова. Едва ли Кедров-отец ничего об этом не знал. Какое бы сочувствие мы к нему ни испытывали, мы с неизмеримо бо́льшим состраданием относимся к массе невинных и беззащитных людей, переживших те же пытки. Эти люди не были старыми большевиками, и на их мольбы о помощи не ссылаются в Советском Союзе.

К физическим пыткам прибегали довольно часто, но до 1937 года они применялись вопреки правилам. Затем неожиданно они превратились в обычный метод допроса — во всяком случае, в большинстве дел на более низком уровне. По-видимому, только в конце 1936 года в Белоруссии были выпущены первые официальные, хотя и секретные инструкции о применении пыток. В начале следующего года НКВД получил официальную санкцию Центрального Комитета, то есть Сталина. Но только 20 января 1939 года это было подтверждено особым циркуляром (шифрованной телеграммой), направленным секретарям обкомов, крайкомов и ЦК республиканских партий, а также руководителям соответствующих органов НКВД. Вот как процитировал эту телеграмму в своей секретной речи Хрущев: «ЦК ВКП(б) поясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 года, было разрешено ЦК ВКП(б)... Известно, что все буржуазные разведки применяют методы физического воздействия против представителей социалистического пролетариата и притом применяют эти методы в самой отвратительной форме. Возникает вопрос — почему социалистические органы государственной безопасности должны быть более гуманны по отношению к оголтелым агентам буржуазии и заклятым врагам рабочего класса и колхозников? ЦК ВКП(б) считает, что методы физического воздействия должны, как исключение, и впредь применяться по отношению к известным и отъявленным врагам народа и рассматриваться в этом случае как допустимый и правильный метод».

А вот что рассказывает об этих методах советский генерал Горбатов: «...Я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя Столбунский. Не знаю, где он сейчас. Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое презрение к нему. Думаю, впрочем, что он это и тогда хорошо знал... До сих пор в моих ушах звучит зловеще шипящий голос Столбунского, твердившего, когда меня, обессилевшего и окровавленного, уносили: „Подпишешь, подпишешь!“.

Выдержал я эту муку во втором круге допросов... Но когда началась третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть!».

Горбатов добавляет, что все заключенные его камеры в 1938 году сознались в воображаемых преступлениях: «Одни пошли на это после физического воздействия, а другие потому, что были запуганы рассказами о всяких ужасах». Для большинства угрозы возобновления физического воздействия было достаточно, чтобы предупредить возможность отречения от вырванных под пытками «признаний».

Над человеком, ослабевшим после пыток, иногда начинали просто измываться. Некоторые методы срабатывали мгновенно. Например, один офицер вытерпел все побои, но он «раскололся», когда следователь окунул его головой в наполненную до краев плевательницу. Другой осужденный не выдержал после того, как следователь помочился ему на голову; это — согласно многочисленным сообщениям — стало традиционной практикой допросов. И все же, несмотря на слова Хрущева, пытки — недостаточное объяснение признаний, сделанных оппозиционерами. Важно лишь отметить, что в тот период пытки применялись в широких масштабах и имели колоссальное воздействие. Но критики были правы, говоря, что одни только пытки не могли привести к публичному самоунижению целого ряда врагов Сталина, когда их здоровье было восстановлено для появления в зале суда и когда они получили возможность высказаться.

Мы увидим, что на закрытых процессах некоторые из обвиняемых отказались от признаний, сделанных под пытками. Другие же, «в отношении которых применялись незаконные методы ведения следствия», как указывает, в мягких выражениях, заместитель генерального прокурора СССР Н. В. Жогин, «уже на предварительном следствии настаивали на том, чтобы в протоколах допросов были зафиксированы их заявления относительно допущенных нарушений социалистической законности».

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

1) Н. И. Бухарин хоть и не выступал с подобнымв заявлениями в печати, тем не менее занимал сходную позицию по отношению к опальным соратникам по партии (см. напр. «Архипелаг ГУЛаг», ч. I, гл. «Закон созрел»). На этом, помимо всего прочего, основании А. Солженицын делает вывод, что расправы над Бухариным, Рыковым, Пятаковым в др., беззаконные юридически, оправданы с точки зрения «высшей справедливости»: в данных случаях жертвами беззаконий пали те, кто прежде сами потворствовали беззакониям и террору. Эту точку зрения, по всей видвмости, разделяет в Р. Конквест (см. ниже, с. 138—139, «дело Кедрова»).

2) Р. Конквест везде ссылается на 5-е издание Полного собрания сочинений Ленина; М., 1958 — 1970. Здесь: т. 45, с. 655.

3) К этой главе и к некоторым фрагментам ниже, по-видимому, следует отнести замечание Р. Конквеста, которым открывается Предисловие автора к русскому изданию: «Я писал эту книгу не для русского чвтателя. И потому вы, конечно, обнаружите много мест, где автор пытается растолковать совершенно ясные вам обстоятельства. Но объяснения эти нужны западному читателю, не вмеющему опыта сталинщины».

4) Интересную, хотя и не безупречную, попытку доказать, что смерть Сталина была насильственной, предпринял А. Авторханов («Загадка смерти Сталина»). Осторожное упоминание об этом есть и у А. Солженицына: «Велел ему Бог — похоже, что рукамв человеческими — выйти из ребер вон» («Архипелаг ГУЛаг», ч. I, гл. II).

5) Слепков Василий Николаевич (1902—1937), член ВКП(б) с 1919 г. Исключен из партии в 1930 г., восстановлен в 1932 г., в 1933 г. исключен вторично. В протоколе № 1 объединенного заседания бюро Татарского обкома ВКП(б) и Президвума ОПК от 4.01.33 г. указано: «Слепков В. Н. ... участник право-оппортунистической оппозиции, ранее исключался из партии, несмотря на данное им обещание и категорический отказ от своих прежних право-оппортунистических действий и взглядов проводил на практике двурушническую политику, имел непосредственную связь со Стэном и Слепковым А. Н.— членами контрреволюционной группы Рютина, знал об их контрреволюционной деятельности против партии, скрывал эти факты в тем самым содействовал ее контрреволюционной деятельности...» В том же году В. Н. Слепков был арестован и по ст. 58-10, ч. 1, и 58-11 (антисоветская агитация и участие в контрреволюционвой организации) приговорен к трем годам политизолятора. В мае 1936 г. по отбытии срока заключения освобожден, в январе 1937 г. снова арестован и 1 августа 1937 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1957 г. В 1929/33 гг. работал профессором бвологии Казанского государственного университета.

Утверждение Р. Конквеста, что В. Н. Слепков оговорил 150 человек, основано на рассказе Е. Гинзбург, которая, в свою очередь, ссылается на свидетельство Ю. Кареповой, бывшей аспирантки профессора В. Н. Слепкова, арестованной в 1937 г. (см. Е. Гинзбург. Крутой маршрут.— «Юность», 1988, № 9, с. 59). По мнению редакции, до опубликования документов единичное свидетельство Ю. Кареповой в отношении В. Н. Слепкова следует расценивать как не имеющее решающей доказательной силы, тем более, что 10 февраля 1933 г. на собрании партбюро КГУ Ю. Карепова выступала с содокладом «О „слепковщине“», содержащим характерные для того времени политические обвинения в адрес В. Н. Слепкова. К настоящему времени (сентябрь 1989 г.) опубликовано только одно обратное утверждение — проф. В. П. Наумова (см. «Вопросы истории КПСС», 1989, № 2, с. 59).

6) При цитировании русскоязычных источников воспроизводится их орфография, во всех остальных случаях, как уже говорилось выше (см. «Нева», № 10), сохранены особенности орфографии переводчика.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Л. М. БАТКИН

БЕЗЗАКОННАЯ КОМЕТА

Это из пушкинского восьмистишия «Портрет».

«С своей пылающей душой, с своими бурными страстями, о жены Севера, меж вами она является порой и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил».

Всякий истинный художник — конечно, такая комета.

Строки эти почему-то неотвязно кружились в голове, пока я писал нижеследующие заметки. Название уместно, однако, разве что от противного. Далее о «беззаконной комете» и даже о расчисленном «круге светил» будем держать в уме. Это звучит слишком прекрасно для нашей темы.

Речь же пойдет о том, что художнику у нас вот уже свыше полувека никак нельзя стремиться «мимо всех условий света».

Ему придется вступать в творческий союз. Если примут. («Прошу простить невольный прозаизм»,— и довольно тревожить пушкинскую тень.)

Другого способа, скажем, стать *полноправным* писателем попросту нет. Только через официальное освидетельствование. Иначе же гораздо трудней печататься и прокормиться. Что поделаешь? Поэтому все пишущие, в том числе и люди талантливые, порядочные, с своими пылающими душами, с своими бурными страстями, стремятся все же соблюсти условия света и вступить в Союз писателей.

Это означает легализоваться и получить достаточный чин по табели о рангах. Кто-то продвигается затем и выше, доходя до статского, а то и до действительного тайного советника... Пребывание в Союзе, разумеется, все-таки не совсем обычная служба. Но — что-то взамен службы. Нет зарплаты, но есть существенные льготы и преимущества; а для некоторых и зарплата, и возможности своеобразной карьеры.

Союз писателей СССР — форма огосударствления литературы, изобретенная сталинским руководством.

В несравненно меньшей степени это общественная организация. И, во всяком случае, ничуть не творческий союз. Что, вообще-то, и ежу понятно. У нас ведь «бутербродным маслом» называют именно тот жир, который для намазывания на хлеб не годится. И какой-нибудь колбасой «свиной домашней» — то, в чем очень мало свинины и ничего домашнего. В названиях пищевых продуктов распространен изощренный мазохизм. То же самое и с «творческими союзами». Не творческие они и не союзы.

Творческие союзы были распущены в 1932 году. В 1934 году писательское поголовье было окончательно снято с беспривязного содержания. В этом заключалась очевидная историческая логика. Если уже прикрыли остатки ленинского нэпа, если уже разогнаны разномастные ТОЗы и прочее, а все уцелевшие единоличники записаны в колхозы, если отныне запрещалось вне госучреждений тачать сапоги или торговать пирогами,— то индивидуальную трудовую деятельность поэтов или драматургов также надлежало ввести в единообразные рамки сталинской системы. Тут наблюдалась полная последовательность.

В самом деле, когда все, допустим, трактористы страны работают в одном всесоюзном сельскохозяйственном ведомстве, все издательства получают приказы от одного всесоюзного издательского ведомства, все клоуны и укротители подчиняются одному всесоюзному цирковому ведомству, то, безусловно, и все профессиональные литераторы должны входить в одно всесоюзное писательское ведомство. Так были строго упорядочены литературная среда, способы общения в ней, журналы, социальные статусы, привилегии, репутации и эстетико-идеологические клише, хула и хвала.

При некоторых неизбежно специфических чертах, это учреждение в общем и целом походило и походит на всякое другое учреждение, отчасти напоминая писательское министерство, отчасти нечто более внушительное. Тут надлежит иметь своего «первого», и секретариат, и пленумы правления, и аппаратчиков, и иностранный отдел, и остальные отделы, и оклады, и все такое прочее.

Мы настолько привыкли ко всему этому, что кажется, будто так и нужно, а иначе и немыслимо. Мы, как чеховский Старцев, почти забыли молодую пору своей культуры, «пополнели, раздобрели и неохотно ходим пешком». Многим хочется все-таки перемен, но, само собой, *внутри* Союза писателей. Собираются принять в духе времени новую редакцию Устава и демократизировать Союз.

Хорошо бы. Но, уверяю вас, не получится.

Как же можно демократизировать министерство? Пока существование писателей устроено по ведомственному образцу, пока оно иерархизировано, придется вливать тех же щей, разве что пожиже.

Не следует недооценивать замечательно простой и четкой сталинской идеи *консолидации* всех писателей в одном Союзе, как и всех композиторов, всех художников... Главное — всех. И — в одном. Тем самым управление поэзией или музыкой облегчено наивозможным образом. То была насильственная сплошная коллективизация искусства. Как только угомонили мужиков, дошли руки и до сочинителей.

Потом... «Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил: — Сколько хлопот, однако!»

Вспомним же и мы, как некогда, влюбленные, бродили по кладбищу... В 20-е, совсем не идиллические годы объединялись вокруг художественно-мировоззренческих «платформ», так это называлось на тогдашнем политизированном жаргоне. В зависимости от личных вкусов, понятий и пристрастий. Искали себе товарищей и союзников, вступали в разные ассоциации и кружки — или совершенно никуда не вступали, что бывало реже. Союзы заключались именно творческие и длились, пока участники испытывали в них душевную и общественную потребность. Возникали и распадались, как и студии, кооперативные издательства, театры. Нравится ЛЕФ — ступай в ЛЕФ. А не нравится, будь хоть обэриутом.

Страшно сказать, существовали *группы*! Небольшие компании, знаете ли. Как Серапионовы братья или ОПОЯЗ. Потому что в русской, как и в любой другой культуре, со времен Зеленой лампы, или Арзамаса, или Могучей кучки, все компании не слишком большие.

И даже приятельские. То есть собирались только те, кому было друг с другом приятно.

Собираться-то они собирались, но собраниями это не назовешь. Какие же собрания без президиума?

Группы были, но групповщины пожалуй что и не было. Поскольку «групповщина» возникает только там, где группы запрещены и все едино. Скверная человеческая слабость, которой особенно подвержены индивидуалисты-художники,— сходиться с теми, кто тебе интересен и близок,— вот так проявляет себя в условиях тотального Союза. Впрочем, если группы возникали по поводу *художественных* тяготений и отталкиваний, то для групповщины находятся уже другие поводы.

Словом, что говорить! — была в СССР открытая и нормальная литературная борьба. Одни издавали такой журнал, другие — этакий, свой, непохожий. Спорили, иногда слишком вульгарно и грубо. Вообще картина была пестрая до предела, не все в ней, о, далеко не все придется нам по сердцу. Но ведь и жизнь тоже не всегда сахар. В том-то и дело, что то была сложная (как всегда и везде), чертовски нелегкая, а для кого-то и нестерпимая, но как-никак — живая жизнь творческой среды. Дружили, враждовали, мирились, буйствовали, уединялись, где-то состояли, нигде не состояли. Выходили манифесты и журналы *откровенно* разных направлений — от имени тех, кто их придумывал и вел, а не в качестве «органов» мнимо консолидированного Союза.

Прошу прощения за то, что вынужден говорить такие кошмарные банальности, но для культурной жизни «консолидация» губительна. В искусстве это сулит лишь однообразие и скуку. Если же по Уставу разнообразие стилевых форм как раз *расчислено*, то от этого легче не становится. Во-первых, это абсурдно. Нельзя узаконить беззаконность кометы. Во-вторых, что еще хуже, это может оказаться — и оказывалось! — не таким уж абсурдным... Если есть разрешение быть кометой, то всякое разрешение можно толковать по-всякому. Наиболее авторитетно толкует тот, кто его выдал.

С безобразным литературным чиновничеством, по-моему, покончено будет только в том случае, если закроется само ведомство. Негде станет служить, очень просто. То есть не будет иерархии, правления, аппарата, не останется секретарей, борьбы за посты и загранкомандировки. Не будет Союза писателей, только и всего.

Если ничего этого не будет, то... что же останется? Ну, во-первых, останется Литфонд. И, возможно, необходима как раз единая и, следовательно, экономически мощная организация по устройству и облегчению писательского быта. Во-вторых, может и должен быть общесоюзный писательский профсоюз, который, как полагается любому профсоюзу, защищал бы авторские и прочие права своих членов. Наверно, эти «во-первых» и «во-вторых» нужно бы слить. Вот что осталось бы.

Еще остались бы, между прочим, сами писатели.

Но что до объединения всех в одном *творческом* союзе — вот этого как раз не было бы. Потому что это гораздо хуже, чем бессмыслица. Это, простите, ложь.

Поныне в одном союзе состоят люди, ничего общего не имеющие и не желающие иметь друг с другом. Им бы лучше разойтись.

В прежние времена разве не было противоестественным, что Ахматова, Зощенко или Булгаков состояли в Союзе со своими завистниками и погромщиками. И Пастернака оскорбляли, исключали из Союза те, кто его союзниками никогда не был и быть не мог... в силу даже законов природы. И Твардовского травили все те же собратья по единому и консолидированному Союзу. При всем своем желании Твардовский мог бороться, скажем, с Кочетовым только изнутри общего для обоих «союза». Кочетовский «Октябрь» издавался *тем же* Союзом, что и «Новый мир». Фантастично! Ясно, что такие положения могут быть лишь странными, нелепыми и... выморочными. Кончаются они всегда оргвыводами, иначе говоря, консолидацией...

Пусть же подлинно разные журналы будут у разных и действительно творческих объединений. В противном случае это не литература, не творчество, а нечто иное и для иного. Это бюрократический свальный грех. Творческие ассоциации ни постов, ни окладов, ни премий не приносят (разве что изредка — место в истории культуры). Пусть эти разные и многие творческие союзы соревнуются и спорят за общественное внимание.

Ежели, к примеру, некоторые литераторы хотят по-прежнему стоять на посту, посоветуем им сорганизоваться, издавать журнал «На посту». Может быть, они придумают новое название? Что ж, тоже очень хорошо.

Пусть честно, на равных враждуют с собратьями по перу. Или обсуждают законы сюжетосложения. Да все, что угодно.

Ну, а как все же быть с консолидацией? Если имеется в виду *политическая* консолидация и если она возможна, для этого не нужно *творческого* Союза, ни к чему носить в карманах одинаковые удостоверения. Для этого вполне достаточно любить свою страну и болеть за нее душой: на чаадаевский лад или совсем иначе, любви не прикажешь, и резолюция Пленума правления тут не поможет. Достаточно всем жаждать перестройки, да и так в газетах сообщают, что решительно, решительно все писатели ее жаждут... не надо предъявлять членские билеты. Ну, если настаиваете, предъявите паспорта. И — «Поднимите мне веки».

Если же подразумевается, что все советские писатели должны любить друг друга, то, опять-таки, зачем содержать для этого аппарат Союза?

Или что даже в яростной драке, часто совершенно необходимой, писатели должны все же сохранять пристойность, соблюдать хорошие манеры? И для этого тоже нет необходимости в Союзе писателей. Для этого достаточно хороших манер.

Если, наконец, имеется в виду, что все члены Союза обязаны придерживаться общих взглядов на художественный метод, то оно-то, конечно, так... Все же окончательной уверенности все равно нет, потому что можно быть, как говорится, в одной системе («Вы из какой системы?») — но думать по-разному. Так что создавать и содержать учреждение ради единомыслия едва ли рационально и экономично.

В учебниках рассказывается, как советские художественные ассоциации и группы были вдруг «распущены». То есть разогнаны. Но это цветочки. К тому же мы многого еще не знаем. В учебниках не рассказывается, например, о том, что мы лишь недавно прочли в предсмертных записях М. Слонимского («Нева», 1987, № 12, с. 171). Что в формировании руководства Союза писателей участвовал начальник ГПУ Ягода. И что Горький после писательского съезда оказался фактически под домашним арестом. Чудный шехтелевский особняк у Никитских был наводнен агентами. День и ночь они пировали в огромной комнате на первом этаже и пришедших навестить Горького друзей не пускали к нему, заключая в объятии и увлекая к столу с выпивкой и закусками... Сцены из сказок Шварца меркнут рядом с этими сказочными сценами!

Ягодки же были такие. В одном зале вдруг собрались, допустим, Исаковский и Пастернак... зачем?! Вместе Шолохов и Бабель, Алексей Толстой и Олеша... зачем? О союзе этих художников как *художников* и речи быть не могло. Выведем за скобки Союза 1934 года бездарностей и доносчиков; но и крупные люди в мнимоедином Союзе были зачастую чужды друг другу настолько, насколько вообще люди могут быть чуждыми психологически, эстетически и т. д. И вот все они вдруг оказались в одном ковчеге. Подчас ненавидя и презирая каких-то своих негаданных коллег по Союзу. Но пусть других и уважая вчуже — все равно, еще вчера они были до хрипоты на разных платформах. И вот завзятая живая многоголосица враз оборвалась по мановению дирижерской палочки. А люди-то остались теми же, что и вчера.

Господи!

Я читаю их речи. Подчас яркие. Они старались уверить себя и других, что разгулявшееся воображение истории — в порядке вещей, что происходящее естественно.

Читать тоскливо и страшно. Вроде петербургских повестей Гоголя. Разворачивались похождения Носа майора Ковалева. Но все еще было впереди, выступавшие и не выступавшие на съезде в подавляющем большинстве своем этого не подозревали. Скоро членов всесоюзной писательской организации будут брать представители другой организации. Очень скоро писателей поубавится.

Писателей, но, правда, не членов Союза писателей в конечном итоге. Сейчас их, то есть членов Союза, как известно, более

10 000. Всякое ведомство имеет тенденцию к разбуханию штатов. Литературе до этого дела нет. То есть прямого дела нет. Косвенно же сказывается. Хорошо писать можно и в 16 лет. Лермонтов писал. А Союз писателей — учреждение пожилых и старых людей. Так что пусть люди молодые, если пожелают, создают свои объединения. Но легче жить и печататься им при нынешнем положении вещей не станет.

Конечно, писателями, входящими в разноцветные группы или никуда не входящими, будет трудней руководить. Но зачем ими руководить? Не маленькие. Пусть себе пишут. А мы желаем их прочесть. Кто считает нужным убедить их в чем-либо и повлиять, что ж, пусть тоже пишет и влияет.

Можно ли представить себе Толстого, Достоевского, Чехова, Блока членами Союза писателей?!

Можно, конечно. Куда бы они делись. Если, скажем, Пастернак был членом, то и они были бы членами. Ахматова была ведь («Красный розан — на полу»). И Блок точно так же был бы. Кое-кто в этой роли никак не смотрелся. Ну, и они не смотрелись бы.

Пожалуй, пришлось бы их исключать.

Или ввести в секретариат? Можно бы попробовать: после согласования, конечно. (Вот С. Залыгин в рассказе «Борис Борисович — самоубийца» слегка описал, как «вводят» и «согласовывают».)

Демократическая перестройка Союза писателей, как и других творческих союзов, окажется, по моему убеждению, серьезной и необратимой, только если этих союзов не будет.

Тогда легче станет следить кочующие караваны в пространстве брошенных светил.

Вызвездит.

А вовсе беззаконные кометы (которые мы договорились держать все время по ходу рассуждения в уме), может быть, будут появляться чаще. Не надо их суеверно бояться.

P. S. Эти заметки были написаны в декабре 1987 года, на заре туманной гласности. То, что они не слишком устарели — хотя высказанная в них одна-единственная мысль теперь уже не покажется неведть какой радикальной,— доказывает сама их судьба, довольно примечательная. Статья побывала в семи редакциях (библейское число!) семи самых-самых перестроечных и передовых наших журналов. Сотрудники читали ее, посмеиваясь, и говорили автору даже всякие приятные слова, но... в четырех изданиях ее завернули мне, поясняя, что «момент сейчас не тот» или что «эпоха еще не та»; в одном журнале ее поставили в номер, но редколлегия — выставила; наконец, что наиболее любопытно, в двух журналах (естественно, по очереди) статья была уже набрана и сверстана, причем в последнем случае и верстка проскочила благополучно, вот-вот должен был пойти тираж, и я самодовольно обещал знакомым раздобыть для них экземплярчик... но в последний момент раздавался *звонок* (нет, не из цензуры, что там ценазура!). И набор рассыпали.

Где-то после третьего отказа с комплиментами я, признаться, вошел во вкус этого почти широкомасштабного эксперимента с гласностью. Всей душой любил я милую. Но, как мне молвили в первом же журнале (это был «Огонек», только что ожегшийся тогда после статьи Н. И. Ильиной о литературных генералах и маршалах): «Если бы вы написали прямо-таки против Советской власти, то было бы все же не так сложно печатать, как против Союза писателей». Ну, конечно. «Советская власть» — это нечто отвлеченное, это все мы вместе и никто конкретно. Поэтому критика «Советской власти» хоть и нежелательна, но допустима. А тут — реальная могущественная организация, тут личные интересы вполне определенных людей с очень длинными руками. Марио Пьюзо на них нет.

Добавлю, впрочем, что публикацию своих незамысловатых мнений я не счел бы бог весть каким успехом перестройки. А вот если (когда-нибудь) Союз писателей — причем без постановления свыше — возьмет, да и разойдется по-хорошему... Вот тогда — да.

РИММА ЮНОШЕВА

художник театра и цирка



ЭСКИЗ К БАЛЕТУ ИГОРЯ МОРОЗОВА «АЙБОЛИТ»
(Ленинградский Малый оперный театр)



МУЗЫКАНТЫ ДЖАЗА



ЭСКИЗ К БАЛЕТУ ИГОРЯ МОРОЗОВА «АЙБОЛИТ»
(Ленинградский Малый оперный театр)



ДРЕССИРОВЩИЦА ГОЛУБЕЙ



НОВАЯ ШЛЯПА



ЧАЕПИТИЕ НА ВЕРАНДЕ



«ГОВОРЯЩАЯ» СОБАКА



ПАВЛОВСК. ДУБОВАЯ АЛЛЕЯ

Александр
МЕЛИХОВ

РЕЗЕРВЫ ДУХОВНОСТИ

МУЗЫ И «МУЗОЛИ»

В Постановлении Центрального Комитета партии о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма была «отмечена необходимость улучшить организацию досуга трудящихся, особенно молодежи». В принятом менее чем через месяц Постановлении «О мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений» говорится уже о необходимости «развивать такие потребности» советских людей, «которые способствовали бы их духовному росту».

Развивать потребности... Нам, пожалуй, было привычнее беспокоиться об удовлетворении потребностей уже имеющихся. И чем их вообще развивать, потребности? Указаниями? Лекциями? Инструкциями? Лично мне известен лишь один способ: люди духовно богатые делятся с теми, кто беднее их. И я не знаю более богатых источников духовности, чем *мировая художественная культура.*

Я думаю, именно желание поделиться привело в школу знаменитых работников искусства Д. Б. Кабалевского и Б. М. Неменского. Их программы доводят ребят до седьмого класса, а увенчать это здание в восьмых—десятых классах должна программа по мировой художественной культуре, разработанная под общей редакцией Д. Б. Кабалевского кандидатом педагогических наук Л. М. Предтеченской. Предмет МХК (так запросто в школе именуют мировую художественную культуру) — предмет удивительный: на уроках слушают музыку, разглядывают произведения живописи — будто в музее или концертном зале; литературные произведения здесь не мусолят, а рассказывают о них так, что в библиотеках расхватываются залежи отечественной и зарубежной классики. Тем не менее у многих, и даже интеллигентных людей, где-то в глубине души живет сомнение: да так ли уж оно необходимо, это искусство?

Мне не понадобится тревожить тень Руссо, возлагавшего на искусства и науки ответственность за падение нравов и государств,— такие переложения ответственности происходят как раз от чрезмерного преувеличения могущества искусства: только неслыханной силе по плечу низвергать в бездну целые народы (из тех же преувеличенных представлений от искусства иногда требуют, чтобы оно, наоборот, без всякой посторонней помощи извлекло народы обратно из бездны). В сравнительно недавней дискуссии в «Литературной газете» вполне уважаемые люди снова сталкивали лбами искусство и труд, «Рафаэля и сантехника».

Вот цитаты из статьи известного педагога, директора опытно-экспериментального школьного завода: «Дилетантская спортивно-музыкально-танцевально-песенная подготовка к жизни вряд ли сформирует сильный характер, гармоническую личность, а скорее даже на каком-то этапе окажет на человека разлагающее действие», «Характер ставится трудом, он ставится рублем, лично заработанным». Я не называю автора статьи, потому что он — насколько мне известно — блестящий педагог-практик, много претерпевший от «наробразовских чиновников», и цитирую его лишь по той причине, что ссылаться на печатное слово удобнее из-за его общедоступности.

В детстве я жил по соседству с городским вытрезвителем и помню, как ускользнувший оттуда клиент очень задушевно разъяснял мне, мальчишке, что если я хочу «стать человеком», то обязательно должен трудиться. «Музоли надо иметь, музоли»,— чуть не со слезами уговаривал он меня и водил моим пальцем по своей ороговевшей ладони. Исключительно правильным вещам он учил меня, но как подрывал доверие к ним его антипедагогический вид. Даже антисанитарный. И вот теперь читаю: «характер ставится трудом», а слышу ласковый охрипший бас: «Музоли надо иметь, музоли», вижу дубленое лицо и ладони из дубовой коры...

В другой своей статье тот же автор обосновывает воспитывающую роль физического труда, насколько я его понял, тем, что «подавляющую часть информации о себе мир сообщает нам... через кисть руки». В более древнем учении тоже считалось, что дидактическая информация проникает в организм через кисть руки — только не воспитуемого, а воспитующего («вложить ума в задние ворота»). Новая теория неизмеримо глубже прежней, но все-таки и она не исчерпывает всей глубины вопроса: довольно очевидно, что даже самые сложные и продолжительные манипуляции кистью руки еще не создают граждански смелого, совестливого, доброго человека: в фашистской Германии было огромное количество трудолюбивых квалифицированных рабочих и инженеров.

С другой стороны, среди декабристов очень немногие заработали хотя бы полушку честным молотом или плугом... И самого Льва Толстого лишь на склоне лет к физическому труду привела совесть... Так не задуматься ли нам: может быть, именно совесть, доброта рождают добросовестный труд, а не труд автоматически рождает совесть и доброту?

Впрочем, автор статьи и сам понимает, что не всякая работа воспитывает, даже если она делается сообща. Когда собираются *сачки и жмоты*, совместная работа вызывает у них только взаимную неприязнь и желание проехаться друг на друге. Что же, нужно было поместить их в трудовой коллектив раньше, пока они еще не успели закоснеть в пороках? Но ведь даже среди третьеклашек где-нибудь на уборке класса или в походе уже замечаются эти самые *жмоты и сачки*,— их, стало быть, нужно было формировать «рублем, лично заработанным», еще в детском садике?

Все дело в том, что *ко всякой общественной роли человек начинает приготовляться гораздо раньше, чем он сможет ее реально выполнять*,— абсолютно ко всякой, будь это роль ученика, работника, гражданина, мужа или отца. Какую бы деятельность мы ни взяли, человек оказывается в значительной степени сформированным для нее — отлично или отвратительно — гораздо раньше, чем она сама начнет формировать его.

Так каким же путем в человека проникают совесть, доброта? Вот каким: он ими «заражается» (Л. Толстой) от других людей, замечая их одобрение или недовольство. А всякое выражение чувства, способное заразить этим же чувством других,— это и есть искусство. Да, искусство — это все, что способно взволновать. Не только стихотворение или картина, но и произнесенное слово, жест, взгляд — это тоже искусство, если только оно заражает.

Книги, спектакли — это лишь кристаллики, выпавшие из океана искусства, насквозь пронизывающего человеческие отношения (физик назвал бы такое искусство диффузным). Без него человеческое общество вряд ли могло бы быть человеческим. Младенец, едва родившись, немедленно попадает в сферу его влияния (улыбка матери и щелкание языком над детской кроваткой тоже элементы диффузного искусства). И от того, чем хвастаются, что одобряют, а что ругают люди вокруг него, будет зависеть, каким он вступит на общественное поприще. Так что музы являются — и должны являться! — раньше, чем «мозоли». Только благодаря искусству, растворенному в человеческих отношениях, боль или радость одних людей передается другим,— и стыд, и жалость исчезнут, когда люди утратят способность художественного выражения и художественного восприятия: одни превратятся в немых, другие в глухих. Если вас взволновало что-то, не касающееся вашей шкуры, будьте уверены: волнение добралось до вашей души при теснейшем участии средств искусства.

Разумеется, основа основ — это общественное бытие, это коллективные формы труда, дальнейшая демократизация общественных отношений, гласность, оплата по труду, гармоническое сочетание личных и общественных интересов — спору нет. Но мыслимое ли дело *каждый шаг* человека повязать материальной заинтересованностью? С соседями по квартире или по трамваю он уже не связан оплатой по общему результату. Даже в одной бригаде возникает масса ситуаций, где можно практически безнаказанно (незаметно) проехаться на коллеге. Но, допустим, коллеги зорко следят друг за другом. Ну, а в отношениях с другой бригадой или более крупной общественной единицей — там пусть остается первозданный «звериный оскал» — рви кусок пожирней? И если для вашего бригадного котла полезно из болванок толщиной в руку настрогать фитюлек величиной с мизинец — смело пускай тонны металла в отходы и получай премию, не интересуясь, отчего так вышло? А вдруг вашему ведомству окажется выгодной прокладка канала, уничтожающего национальное земельное богатство?..

Нашему обществу, каким мы хотим его видеть, не прожить на одних только крепких профессионалах, хорошо понимающих свои выгоды,— ему не прожить без начала *самоотверженности*, которая воспитывается искусством — ведь только оно убеждает не расчетами, а просто чужая боль или радость сама собой становится и твоею — часто вопреки твоим же расчетам и задним мыслям.

Наша история дает нам непревзойденные образцы самоотверженности — и притом в людях с очень слабо просвещенными кистями рук. Да, мы пока что испытываем дефицит станочников (в огромной степени из-за нерациональной организации). Но разве мы не испытываем дефицита таких людей, как Рылеев и Перовская? И разве люди, несущие в себе хотя бы маленький уголек их самоотверженности, не двинули бы аперед многие из проблем, в которые упирается, в частности, та самая организация производства, из-за которой не хватает станочников?

Разве мы не знаем, что в самой обычной, повседневной работе интересы дела на каждом шагу требуют поступить вопреки собственным материальным интересам и интересам ближайших сотрудников? И надеяться, что чисто экономические меры когда-нибудь совершенно уничтожат это противоречие, что когда-нибудь честный труд не будет требовать ни миллиграмма самоотверженности — это чистейшей воды утопия. Более того, в современном производстве, особенно в научном, конструкторском, становится все труднее проконтролировать каждое движение, каждый помысел работника, поэтому все важнее становится его *добрая воля* трудиться честно. А воспитать добрую волю — совсем не то, что научить человека хорошо понимать собственные выгоды, держать под контролем каждый свой рубль, лично заработанный.

Правда, здесь может помочь и диффузное искусство — эмоциональные, живые контакты между людьми. Но, во-первых, люди эмоционально образованные, как правило, гораздо лучше владеют и формами диффузного искусства — они и говорят, и смотрят выразительнее. И воспринимают эмоциональнее. А во-вторых, возможности личных контактов резко снизились по сравнению хотя бы с прошлым веком, о котором до сих пор любят ностальгически вздыхать: вот, мол, люди в курных избах жили, ни о каких басурманских поэмах-симфониях слыхом не слыхивали, а уж нравственности что было — окиян!

Так вот, нужно понять со всей ясностью, что *проблемы воспитания, стоящие перед нами, не вставали еще ни перед кем ни сто, ни тысячу лет назад.* Обитатели избы и жили, и трудились вместе с детьми на глазах друг у друга и у знакомых — непрестанный социальный контроль! — и сами же использовали плоды своего труда — несомненно полезные и необходимые; обитатель же современного двухсотквартирного дома проживает чаще всего среди незнакомцев и трудится там, где его не видят ни дети, которые впрямую учились бы у него трудолюбию, ни хорошие знакомые, чьим расположением он особенно дорожит. Свою продукцию современный работник передает кому-то, кого он и в глаза не видел и не увидит, а тот будет делать с ней еще что-то и передаст еще каким-то незнакомцам, и так далее — а конечная польза, которая была бы так же очевидна, как полезность пшеницы или картошки, брезжит где-то вдали-вдали, не видимая глазом, а только ощущаемая воображением, да и то лишь очень развитым! Вот почему сегодняшнему работнику необходимо развитое воображение и способность испытывать стыд не только перед знакомыми или людьми, которых он видит воочию, но и перед теми, которых он никогда не увидит.

И здесь, я думаю, диффузное искусство повседневных человеческих отношений почти бессильно: стыдиться незнакомцев, которых ты никогда не узнаешь и которые тебя никогда не узнают, да притом их столько миллионов, что серьезного зла ты, такой маленький, им причинить все равно как будто бы не сможешь, а себе принесешь заметную пользу, если словчишь с толком,— добиться хотя бы легкого смущения в такой ситуации в тысячу раз труднее, чем заставить гореть от стыда перед тремя десятками соседей.

Помните у Толстого: милый крестьянский мальчишка сочиняет историю со счастливым концом — как мужик в солдатах разбогател. А как устроить, чтобы он и разбогател, и никого не обокрал? А вот как: к его рукам счастливым образом пристали *казенные* деньги. Наглядное повседневное общение убедило мальчика, что казенное — это ничье. Толстой вмечает по этому поводу: «Мужик, который никогда не солжет своему брату, перенесет всевозможные лишения для своей семьи, который лишней и незаслуженной копейки не возьмет у своего односельца или соседа, тот же мужик обдерет, как липку, иностранца или горожанина, на каждом слове солжет дворянину и чиновнику, будь он солдатом — без малейшего угрызения совести заколет пленного француза и, попадись ему казенные деньги, сочтет преступлением в отношении своей семьи не воспользоваться ими. В высшем классе бывает, напротив, совершенно противное». И добавляет затем, что «мнимые честные убеждения, относящиеся до самых отдаленных жизненных условий — казны, государства, Европы, человечества — и не основанные на привычках честности, не воспитанные на самых ближайших житейских отношениях... оказываются несостоятельными в отношении к жизни».

А в Политическом докладе на XXVII съезде КПСС говорилось: «Ведь не перевелись у нас „несуны“, не считающие за преступление тащить с предприятия все, что попадется под руку...» Очень верно отмечено: «не считающие за преступление». Но далеко не каждый из несунов без зазрения совести стянет трешку со стола у соседа. Да, ответственность перед «казной, государством, Европой и человечеством» должна начинаться с «ближайших житейских отношений». Но без помощи большого искусства она, где началась, там скорее всего и кончится,— ближайшие житейские отношения с «односельцами или соседями» дают не так уж много эмоциональной пищи нашему чувству долга перед «казной и человечеством». Но способность волноваться из-за проблем «казны и человечества» — сегодня эта способность сделалась жизненной необходимостью.

И не нужно думать, что стоит удалить из жизни школьников «спортивно-музыкально-художественные» соблазны — и им просто-таки не останется ничего другого, как приняться за работу. К тому же и невозможно убрать от незрелых юношей

искусство, пока они не дозреют: оно все равно, не спрашивая нашего разрешения, всегда жило и живет среди них, только, к сожалению, посредственное или отвратительное, когда нам не удается внедрить искусство подлинное. А без этого — требования сначала хлеба, а потом зрелищ сменяют друг друга с железной последовательностью.

В юности, к счастью, всегда хотя бы смутно желается чего-то необыденного, бурных страстей и нежных чувств. Но, к стыду нашему, эти великолепнейшие потребности по сей день в большом количестве удовлетворяются суррогатами. И всех каналов, по которым проникает эта муть, не проконтролировать (а сегодня идет в ход еще и видеотехника).

Поэтому нужно не конопатить все новые и новые щели, а открыть шлюзы в океан мировой культуры — и весь хлам будет смыт. Да, собственно, эти шлюзы и так, казалось бы, открыты — подходи и бери. Не хватает только одного: вкуса, умения понимать язык подлинного искусства.

Между тем бытует в той или иной степени осознанное мнение, будто, овладевая культурным наследием, народ «разбалуется»: после общения с Глинкой и Левитаном никому не захочется работать. Предполагается, видимо, что духовной личности доступны такие высокие радости, что ей чрезвычайно трудно спуститься от них к будням трудовой жизни.

Можно было бы сказать, что равнодушие к работе чаще всего результат равнодушия людей друг к другу, что именно художественная отзывчивость превращает будни в поэзию, а душевная серость наоборот — поэзию в будни. Но, с другой стороны, как будто и похоже на правду: как наполнена духовная жизнь, скажем, Льва Толстого, и как пуста она у какого-нибудь торгующего Тит Титыча или чиновничающего Псой Стахича,— вот они, наверное, если понадобится, первыми и кинутся помогать голодающим: им ведь все равно делать нечего! Но парадокс: Толстой оставляет свои увлекательнейшие титанические парения, чтобы заняться устройством столовых, а Тит Титыч отвлекается от своего винта лишь для того, чтобы продать для этих столовых побольше песку в хлебе, предварительно умиротворив взяткой бдительность Псой Стахича.

Да на что им и деньги-то, они ведь и радоваться не умеют, что за убогие у них развлечения! Однако нет такой наисерейшей душонки, у которой не было бы своих духовных запросов — тоже наисерейших, разумеется, но для нее в самый раз. Суррогатная душа гораздо крепче привязана к своим суррогатным радостям, чем душа высокая к своим высочайшим наслаждениям. Прервать партию домино куда опасней, чем расчихаться под «Крейцерову сонату».

Вчерашняя мечта лисицы из народной сказки, заключающая в себе чуть ли не полную формулу массовой культуры («накорми меня, напои, насмеши и напугай»),— сегодня эта мечта доступна каждому: все мы накормлены — не голодны, во всяком случае — и напоены, а в кино — не говоря уже о «видео» — за полтинник тебя и насмешат, и напугают, насмотришься шикарных баров и автомобилей, шикарных мордобоев, производимых вечно праздными суперменами под восхищенный визг шикарных девиц (сложный вопрос — что дальше уводит от трудовой жизни: Глинка или эта мечта лисицы?). Словом, суррогаты искусства гораздо опаснее шедевров.

И единственный фильтр, способный остановить эту муть,— эстетический вкус молодежи: самая мерзостная «худпродукция» будет безопасной, когда она сделается скучной или противной.

Все это кажется мне столь очевидным, что я даже не понимаю, откуда здесь взяться сомнениям. Разве что... В детстве я очень любил брошюры «про воров», и по какой-то странной случайности самым развратным и обычно главарем молодежных шаек оказывался сын писателя, композитора или на худой конец профессора. И я, когда мне приходилось слышать о каком-нибудь писательском или композиторском сыне, так уже сразу и знал, что он обречен на преступное поведение.

Даже сейчас где-то в потемках моей души брезжит идеальный образ малограмотного и неотесанного парняги — зато с золотым сердцем. Но почитаешь социологов, заглянешь в уголовную статистику, поинтересуешься кругозором и духовными интересами несовершеннолетних правонарушителей, связью пьянства и преступности с уровнем образования,— и прямо руки опускаются. Так не хочется расставаться с этим образом, грубым снаружи, но золотым внутри,— но в среднем выходит наоборот: чем грубее снаружи, тем и изнутри... больше ожидается неблаговидных деяний. Лично мне это особенно неприятно, потому что вращаться приходится больше среди людей образованных, и пороки их поэтому известны мне лучше. И надоели больше. Но... Рядом с ними можно не опасаться за свой бумажник и череп. Конечно, бумажник и череп это еще не все. Но ведь и не ничего?

Хватает среди них и людей расчетливых, которых трудно растрогать, подвигнуть на необдуманные (и благородные в том числе) поступки, но это только доказывает необходимость художественного (эмоционального) воспитания с самого раннего детства, когда излишняя расчетливость редка, как любое уродство. И не стоит сомневаться, способно ли искусство выполнить свою задачу на сто процентов — лучше вспомнить, что других средств в нашем распоряжении практически нет, что все человеческое в нас: способность испытывать сострадание, стыд, гордость — все это создано в нас средствами искусства.

Правда, пишу это, а самому лезут в голову сомнения: мне тоже встречаются люди невысоких нравственных качеств — однако искренне любящие искусство. Потребительски, допустим, любящие — но любящие же! Но вглядишься в них внимательнее и видишь: один великолепно вылавливает все, что помогает утонченнее наслаждаться жизнью, но совершенно не воспринимает боли. Другой наслаждается исключительно зоркостью авторов, позволяющей им вытаскивать на свет скрытые человеческие слабости. Третий ни на миг не выпускает пинцета и скальпеля: разбирает, «как сделано»... Словом, у всех у них понимание искусства какое-то ущербное. И у меня даже растет подозрение, что человек, понимающий искусство *во всей полноте*, не может быть плохим человеком. Ибо правильно воспринимать искусство во всей полноте — почти то же самое, что правильно воспринимать жизнь.

Не идет ли наше опасение перед «разлагающим действием» искусства из тех еще времен, когда культура была, в основном, привилегией правящего сословия и до некоторой степени могла служить опознавательным знаком классового врага? В таком случае, нынешнее равнодушие к культуре есть явление даже прогрессивное в сравнении с прежней многолетней враждебностью.

«Дилетантская спортивно-музыкально-танцевально-песенная подготовка к жизни», разумеется, не должна подменять умение трудиться. Но даже она все-таки дает средства интересно проводить досуг. (А сейчас о досуге говорят как о государственной проблеме.) Что же тогда сказать о глубоком понимании настоящего искусства, которое, кроме самой радости общения с ним, внушает отвращение к фальши, к безобразию как в жизни, так и в искусстве (антиискусстве), которое эмоционально, *лично* включает человека в жизнь и заботы страны, человечества, населяет их историю живыми людьми — его личными друзьями и врагами?

Впрочем, это я уже начал пересказывать вступительную часть программы по мировой художественной культуре. Автор программы Л. М. Предтеченская, разумеется, больше полагается не на диффузные формы искусства, а на его кристаллические образования, отложившиеся в виде шедевров литературы, музыки, изобразительных искусств, кинематографии. Приятно просто перелистывать страницы программы, на которых вспыхивают имена Вольтера, Шиллера, Баха, Моцарта, Радищева, Рокотова, Байрона, Гойи, Кипренского, Глинки, Пушкина, Беранже — а мы пролистали только самое начало — прекрасно уже то, что имена эти будут звучать для детей как родные — как все имена, которые мы узнаем в детстве.

Я несколько лет наблюдал, как преподается курс МХК (это сокращение уже звучит для меня как родное); в основном я бывал в ленинградской школе № 387. Ее директор Н. В. Белоусов — в прошлом фронтовик-доброволец, а затем сварщик высшего разряда — услышав об экспериментальном курсе, сразу же попросил его к себе в школу, и теперь все это крутится вместе: и мировая культура, и искусство, и учеба, и работа. Но стержень *интересной жизни* (без которой нет жизни вообще) — здесь, бесспорно, искусство.

Конечно, чудес не бывает: и сейчас кому-то могут расквасить нос, а у кого-то вытряхнуть мелочь (ага! искусство-таки не предотвратило этого! Но этого не предотвратили ни литература, ни история — их не отменить ли заодно?). Однако, кто помнит, какой вертеп здесь был лет десять назад — тому нынешняя школа покажется все-таки чудом!

Конечно, все это сделалось не за один год. Искусство вообще строят не за один день. Но и не на один день.

Сам Белоусов считает, что его роль не так уж велика, такой воз никому не свезти в одиночку, если не найдешь соратников, которые *добровольно* впряглись бы рядом. Но для этого нужно запрячься первому — и тащить за троих. Что он и делает.

Когда изучаешь какое-то успешное дело, очень часто обнаруживаешь, что успех начался, словно с закваски, с чьей-то самоотверженности.

А как разносятся по свету семена самоотверженности, мы знаем: их разносит искусство — диффузное и кристаллическое. Но, повторяю, в воспитании таких чувств, как любовь к своей стране, к человечеству, без кристаллического искусства обойтись невозможно.

Белоусову, понюхавшему и порохового, и индустриального дыма, даже странно слышать, что курс МХК своей литературно-музыкально-живописной направленностью может кому-то помешать честно трудиться,— уж его-то выпускники работают не хуже людей.

— Только им теперь интереснее живется, и свой рубль, лично заработанный, они потратят на театр или хороший проигрыватель, а не на водку или какой-нибудь сверхполированный гарнитур.

«Им теперь интереснее живется»... А ведь скука не просто мелкое неудобство, скука — страшное социальное зло. Из-за нее пьянствуют, ссорятся, стяжательствуют. Кстати, я читал, что из тысячи распавшихся семей почти сорок процентов не

посещали театров, концертов и музеев. В темах домашних разговоров искусство занимало восьмое место, уступая даже обсуждению жизни знакомых. Люди сами же бегут из этой духоты — но создать атмосферу посвежее просто не умеют.

Мы правильно говорим и пишем, что нам не хватает стадионов, домов культуры и тому подобного. Но не надо при этом забывать, что есть не только скучный быт, скучная работа, но и *скучные люди*, которым без алкогольной приправы скучен весь мир даже и в самых ярких его проявлениях. Для художественно неразвитого человека в самых ярких красках и звуках тропического острова не больше поэзии, чем в прихожей банно-прачечного комбината,— карманные, будничные заботы не оставят его вигде.

А курс МХК во многих семьях буквально раскрывает форточки. Вот мнения родителей о курсе: «Изучение курса МХК нашей дочерью обязывает нас подтянуться — вспомнить забытое, прочитать новое, иногда всей семьей бываем на выставках, в кино». «Дочь стала больше читать, чаще ходить в театры, в филармонию. Оказывает влияние на младшую дочь». «За интерес моего сына к МХК можно поставить 4, в то время как к другим предметам, кроме литературы — 2». «Рассматриваем вместе репродукции в журналах „Работница" и „Крестьянка", в путеводителе по „Эрмитажу"». «Оберегает свою любовь к предмету — не допускает ни малейшей критики». «В рассказах сына чувствуется какая-то радость и даже гордость, что прикоснулся к чему-то большому, интересному, важному». «Если в произведении понравится какой-то герой, старается подражать».

А вот предостережения для нас: «На искусство не остается времени — его отнимает быстро развивающаяся техника: приходится слишком много читать технической литературы и бегать по магазинам — слишком много дефицита». Или: «Нынешние дети не очень-то любят делиться своими переживаниями». Это тоже призывы для распространения МХК — она явно улучшает контакты.

Специальное социологическое исследование отмечает у ребят, изучающих курс МХК, повышенный интерес к проблемам чести, справедливости, отношения людей к труду. А один мой знакомый даже высказывал такое крайнее суждение: воспитывать нужно не трудолюбие, а порядочность — порядочный человек непременно будет хорошим работником. Но это, вероятно, уже экстремизм.

Пока что весь курс держится в основном на добровольцах. Предтеченской со всех концов приходят письма с просьбами выслать программу, помочь советом, к ней за собственный счет отряжают ходоков. Предтеченская хотя бы получает зарплату, но работает она, наверно, раз в сто больше, чем от нее могло бы потребовать любое начальство (а может быть, кому-то было бы даже удобнее, если бы она была менее энергичной и никого не тормошила). Кстати, если вычесть из ее зарплаты пенсию, которой она не получает, и расходы на междугородний телефон, по которому она, подобно полководцу, разрешает бесконечные затруднения на своих экспериментальных форпостах, разбросанных от Москвы до самых до окраин, то окажется, что за всю гонку с утра до вечера она получает рублей семьдесят в месяц. А платная помощница (бесплатных было множество) до последнего времени была у нее единственная — Л. М. Ванюшкина, младший научный сотрудник. Зарплата же гуманитарных «мэнээсов» известная...

Вроде бы и неприлично рядом с искусством упоминать о такой прозе, но ведь если совсем не говорить о деньгах, щедрые будут выглядеть так же, как скупые.

Когда сопоставишь масштабы задач, стоящих перед создателями курса, и средства, которыми они управляются,— оторопь берет. Но если даже щедро отпустить им все, что они просят,— это будут гроши для такой страны, как наша. И вообще, не надо понимать эффективность искусства как чисто денежную. Когда мы сажаем дерево — что мы, рубли хотим с него собирать? О рентабельности, например, кинотеатра судят по выручке, а надо бы судить, преувеличенно говоря, по тому, какие люди живут вокруг него: если порядочные, деликатные — значит, он работает рентабельно. Уж порядочность отзовется на производительности труда, можно не сомневаться!

А главное, пожалуй, в чем нуждаются сегодняшние бойцы «культурного фронта» и что не будет стоить совсем ничего — это общественное внимание. Кое-кто из учителей, я не раз замечал, говорят о своей работе — которую выполняют со всей душой! — с горькой усмешкой, как будто старающейся забежать вперед усмешки собеседника: их грызет червь, что они смешноваты со своим «юношеским пылом» в поседевших головах. Я потому и начал с таких философских высот, чтобы еще раз сказать тем, у кого начали опускаться руки, кто засомневался в необходимости своего дела: ваше дело не менее важное, чем машиностроение и сельское хозяйство. Пусть вы не варите сталь и не строите дома — но вы строите души тех, кто строит.

ПЕТЯ ФЕДОРОВ И ГАБРИЭЛЕ Д'АННУНЦИО

Не так давно «Литературная газета» проводила дискуссию «Литература и школа»; вот несколько отрывков из вы-

ступления известного критика Л. Аннинского: «Мы очень хорошо учим людей летать», «Трезвости бы нам! Насчет „неба" я как-то не беспокоюсь: по этой части у нас все поставлено неплохо — воздушные замки строить любители найдутся. Кто только фундамент под эти замки подведет?». «Вы представьте себе реально такое общество, где каждый становится Рафаэлем. Как оно жить будет? Святым духом? Кто Рафаэля накормит? Другой Рафаэль? Не накормит!»

У меня нет причин скрывать от читателя громкое имя Л. Аннинского,— он, насколько мне известно, благоденствует и по-прежнему изумляет мир своими искрометными парадоксами. Но ссылаюсь я именно на него все же не потому, что его мнение — какая-то уникальность, а просто, опять-таки, из-за общедоступности и авторитета печатного слова, в особенности — высказанного таким уважаемым критиком. А в остальном — подобные суждения можно встретить где угодно. Еще классе в шестом я, на почве обоюдной любви к чтению, дружил с одногодком Витькой М-ным, жившим неподалеку от меня в халупе, сплошь глиняной — от завалинки до плоско-выпуклой крыши.

Не помню, сколько в те далекие времена стоила у нас корова, но сущие гроши — М-ны корову не держали, потому что Сидору Николаевичу, Виткиному отцу, некогда было возиться с сеном: в свободное время он отправлялся на автостанцию ждать, не подвезут ли в буфет бутылочного пива, что случалось раз этак в неделю или две.

В случае удачи Сидор Николаевич являлся домой сильно растроганный и разъяснял нам, что на самом деле его зовут не Сидором, а Исидором, чему мы охотно верили. Но когда пива не завозили, он возникал на пороге мрачнее тучи с «очами полными огня» и так хлопал дверью, что в сенях приходилось мести — сразу с десяток сизых струек начинало просеиваться с потолка.

После этого Сидор Николаевич без лишних церемоний захлопывал книжку в Виткиных руках и разоблачительно прочитывал заглавие.

— Мартúн Иден,— это звучало как: ага, я так и думал.— Если все читать будут — кто работать будет, а?! Чего?! И так пива нет — а он книжки читает! Тебе за книжки деньги платить будут, а?! Чего?!

Мы, понятно, не возражали, но у меня уже тогда брезжило подозрение, что деньги надо зарабатывать на производстве (и там же делать пиво), а книжки нужны для чего-то другого (хотя в дальнейшем оно повлияет как-то и на пиво). Впрочем, я, пожалуй, напрасно вспомнил Сидора Николаевича: он, возможно, зол был на книги из-за каких-то своих неоправдавшихся надежд (неспроста же он хотел быть Исидором!) и только из личной мести пугал нас этим книжным апокалипсисом: все поголовно сидят и читают, а работать некому — в огородах тщетно роются куры, и ветер напрасно свистит в кривых жердинах на крыше, не находя в них ни зернышка шлака. Ничего похожего на нас не надвигалось; как тогда, так и сейчас не наблюдалось и признака эпидемии повального чтения — все это было чистым плодом клеветнической фантазии Сидора Николаевича.

А Л. Аннинский наверняка ничего не выдумывал, когда предлагал нам вообразить живущее «святым духом» общество, где каждый становится Рафаэлем: он, вероятно, имел в виду реально существующую склонность искусства (среди многих других его склонностей) переходить исключительно к самовоспроизводству, объявлять себя единственной формой духовности. Есть это у него, у искусства, есть, в этом Л. Аннинский прав. Но заметим, что неумеренное самомнение искусства начинается как раз тогда, когда оно оказывается в изоляции, когда им интересуется лишь какой-то сравнительно узкий круг, и тогда художники, не находя себе «отзвука», уходят в обиженное эстетство, либо искусство принимает «цеховой» характер — передается от отцов к детям, которые, выросши среди преобладающих толков о «секретах ремесла», естественным образом начинают считать проблемы искусства верховными проблемами человечества.

Но что-нибудь подобное сделается невозможным, когда искусство по-настоящему станет достоянием каждого. Поэтому курс мировой художественной культуры, призванный нести искусство в каждую семью, активнее перемешивать «жизнь» и «искусство», крайне необходим и самому искусству, которое роковым образом начинает мельчать с первыми же признаками кастовости. Кстати, лет сто с лишним назад высказывались опасения (подтверждаемые фактами!), что грамотность портит мужиков, и Достоевский специально доказывал, что это только до тех пор, пока она, грамотность,— принадлежность немногих, отчего в них и развивается чувство элитарности. А видел кто-нибудь в наше время человека, который зазнался бы оттого, что умеет читать?

И, чтобы закончить рафаэлевскую тему: да, Рафаэль не прокормит Рафаэля. А сантехник прокормит сантехника? Ведь плоды его труда тоже несъедобны. И конструктор не прокормит конструктора, и комбайнер не прокормит комбайнера (если, конечно, не овладеет сотней-другой «смежных профессий», чтобы навести порядок с горючим и запчастями). Мир, заполненный исключительно бульдозеристами и продавцами, тоже достаточно

удручающая картина,— почему же нас пугают именно Рафаэлями? Может быть, мы уже превратились в какой-то двор Лоренцо Великолепного, и все вокруг напропалую только и делают, что пишут, расписывают, ваяют и возводят?

Ни один из преподавателей мировой художественной культуры не видит сколько-нибудь заметной утечки рабочей силы в Рафаэли (хотя в каких-то столичных кругах такая проблема, вероятно, есть). Учителей гораздо сильнее волнуют проблемы, которыми постоянно занята наша печать: пьянство, пресловутый «вещизм», неумеренный практицизм школьников — словом, все, что доказывает, что мы *плохо* учим людей летать,— учителя захлебываются в стынущем сале «трезвости». Даже профессиональные, так сказать, дармоеды — и то метят отнюдь не в Рафаэли, а все больше в торгаши. И не случайно, должно быть, пьянство более всего распространилось именно в те годы, когда наше общество неуклонно превращалось в общество «трезвости».

Да и у самого Л. Аннинского несколько ниже находим: «Дети, оказывается, мыслят удручающе реально». Как это совместить с его же словами: «Мы очень хорошо учим людей летать»,— я не знаю. Разве что... учим летать *людей*, а мыслят удручающе реально *дети*,— остается заключить, что дети — это не люди.

Вот данные одного социологического опроса: радиоаппаратуру мечтают приобрести 22 % старшеклассников, одежду — 21 %, книги же — 1,5 %.

Юности как воздух необходимы мечты. А мечты — это всегда воздушные замки, ибо в противном случае они уже не мечты, а планы. Зато мечты о чем-то большом и, следовательно, почти наверняка недостижимом в пределах одной жизни — великолепная прививка от шкурничества: погнаться за чем-то шкурным — значит явно продешевить.

Вглядитесь в стремления, вкусы шкурника из шкурников — и вы убедитесь, что они проникли в него в огромной степени *внеэкономическим* путем. А кто становится окончательно равнодушен к чувствам других — он и жадность теряет: обнаруживается, что пальто стоит не двести рублей, а его можно найти на помойке и носить еще десять лет, и ботинок на свалках пруд пруди, а в любой столовой полно отличных объедков...

Вот именно: самые главные каналы, связывающие нас в общество,— это каналы, через которые мы влияем на чувства, потребности друг друга. То есть каналы искусства, растворенного в нашей жизни. Не испытывая его воздействия, нельзя сделаться даже хапугой. Человек, совершенно равнодушный к чужому мнению,— это не стяжатель, а бомж.

Да, может быть, «искусство» иной раз и претендует нескромно на звание высочайшей ценности (из-за нарушения связей между ним и обществом!) — но не гораздо ли чаще провозглашает себя вообще единственной стоящей вещью традиционное (старое доброе) «брюхо»? Почему же именно искусство пробуждает бдительную строгость? Или эстеты уже столько времени эпатируют буржуа, что образованнейшему критику захотелось взять на себя роль буржуа, чтобы эпатировать эстетов? Нас ведь больше сердит не то, что более опасно, а то, что больше надоело. Педагог, которого я цитировал в первой части своего очерка, возможно, обрушился на «музыкально-песенное» воспитание только потому, что им ему чрезмерно докучали; чиновники твердили ему: «А где у вас искусство?», как Предтеченской твердили: «А где у вас труд?»

А у кого-то из «трезвой» интеллигенции, вероятно, срабатывает и эта, всем нам присущая, кабинетная манера — принимать проблемы своего кружка за проблемы целой страны. Трогательно бывает видеть интеллигентную личность, трагически ужасающуюся безудержному наступлению бездуховности, а через полминуты начинающую ужасаться безудержному наступлению духовности, грозящей поглотить последние кадры дворников и доярок.

«В экономике сохраняется большое количество монотонного труда, а школа ориентирует на творчество»,— как бы мне разыскать эту школу! И кого она так неотвратимо нацелила на творчество? Тех, кто выстраивается у магазинов перед четырнадцатью часами? (Это, разумеется, сплошь творчески устремленные личности, поклонники Рафаэля.) Или тех, кто спивается на корню, или выходит из школы, не желая вообще никакой работы, как творческой, так и нетворческой? А если к ним добавить огромную массу в общем-то нормальных людей, которые без всяких Рафаэлей не идут на тяжелую, грязную или низкооплачиваемую работу только потому, что могут найти более легкий, чистый или высокий заработок, то слой «творчески ориентированных личностей» уподобится радужной пленке на воде.

Эту сказочку о гибельности поголовной творческой устремленности масс можно было бы отнести к разряду благоглупостей, если бы она единым бесстрашным махом не сваливала на культуру и творчество ответственность за сложнейшую социальную проблему, порожденную громадным комплексом причин.

Впрочем, неловко вспомнить, но и я, приступая к «изучению» преподавания мировой художественной культуры, видел серьезную опасность в эстетстве: не развивает ли курс презрения к таким фундаментальным добродетелям, как трудолюбие, честность, доброта. Утверждал же Оскар Уайльд в своих взывающих к жалости парадоксах, что «понимание цветов и красок важнее для развития личности, нежели понятие о добре и зле», что «всякое искусство безнравственно», что «настоящая красота кончается там, где начинается одухотворенность».

Вдобавок в то время мне, как назло, подвернулось несколько драм Габриэле Д'Аннунцио. Таких пустозвонов я не читывал давно, а может быть, и никогда: всюду это дьявольское торжество Красоты, эти Художники, взирающие на мир, как на свой сад, изнемогающие от жажды всех красот, у которых свои законы, не подпадающие под законы Добра — оно для них вроде переваренной лапши, а им необходим кровавый ростбиф — Инстинкт Жизни, которая делается невыносимой для них при каких бы то ни было ограничениях (в виде Добра или правил уличного движения).

Меня уже начали душить кабинетные кошмары: со школьного крылечка, как с конвейера, один за другим сходят Художники, изнемогающие от жажды всех красот. Но этот книжный дурман немедленно рассеялся, чуть я ступил на двор самой что ни на есть средней школы, увидел гоняющих футбол мальчишек в нашей родной школьной форме, прочел в вестибюле плакаты: «Учебник — твой верный друг по пути в страну знаний. Береги его! Для трех комплектов учебников требуется восемнадцатиметровая ель. Учебник — социалистическая собственность» и «Итоги коммунистического субботника: по-ленински работали 8-е, 9-б, 10-а классы».

Рассудок снова вернулся ко мне, и мне стало ясно, что незачем гальванизировать ни Д'Аннунцио, ни Лоренцо Великолепного — они канули в вечность вместе с породившей их эпохой,— а гораздо полезнее вглядеться в то, что у нас у всех перед глазами. А красота — она не столько *соблазняет* нас, сколько *извлекает на свет* наши тайные склонности. Другими словами, *безнравственное никогда не кажется нам красивым*. А если все-таки кажется, значит, в глубине души мы не считаем его таким уж безнравственным.

Да, искусство дает средства соединиться с людьми — и изолироваться от них в шкатулке из слоновой кости, оно может возвысить человека — и эстетизировать его слабости и подлости. Но оно ничего не может в одиночку — вне общественных условий. Здесь-то, в частности, сказывается его зависимость от повседневного общения людей между собой. Потому что и к искусству человек приходит не чистой восковой табличкой — он будет воспринимать искусство очень по-разному в зависимости от того, живые или унылые физиономии окружали его кроватку, звучала ли в доме музыка, а главное — любили люди вокруг него друг друга или тяготились, говорили о своей работе, о делах страны, как о важном деле или как о докуке. В результате один ребенок будет плакать над книгой, над которой другой усмехнется или зевнет. И речь вокруг них с младенчества должна быть достаточно яркой — иначе они вообще будут недоступны образному слову, и сам Чехов будет напрасно взывать: «Мисюсь, где ты?»

Цель искусства не в том, чтобы «накормить» нас, а в том, чтобы мы благодаря ему сделались хотя бы немного *отзывчивее* в самом всестороннем значении этого слова, то есть честнее, добрее, справедливее, тоньше, наблюдательнее, чтобы глобальнейшие экономические, политические, экологические проблемы — от которых впрямую зависит наша жизнь! — не на словах, а на деле стали предметом наших личных болей и радостей.

Но ведь и сегодня художники создают произведения, способные потрясать сердца,— однако отчего-то гораздо больший резонанс получает какая-нибудь коммерческая дребедень. Увы, Героическая симфония, исполненная среди глухих, не произведет ни малейшего впечатления. Искусство не сможет приводить в движение сердца людей, пока ему не сделает шаг навстречу художественный ликбез.

Однако для «трезвого» педагога-бюрократа, с которого спрашивают план по ПТУ, а не по художествам, самое главное — это *трудовые умения и навыки*. Так что будущего химика — к пробиркам, будущего слесаря — к зубилу. А потом один из них с университетским дипломом окажется в кочегарке, а другой с пятым разрядом в лечебно-трудовом профилактории: выяснится, что человеку, чтобы трудиться, необходимы не только умения, но и *побуждения*.

К сожалению, в нашей общественной мысли сделались влиятельными два направления: согласно первому, все хорошее человек делает из страха, согласно второму — из выгоды, и не утонченной какой-нибудь, а самой простой — денежной. Одни убеждены в могуществе приказа, для них человек — послушный винтик административного механизма. Другие веруют в могущество заказа, для них человек — лакей, который без хороших чаевых лишний раз не улыбнется. Поэтому мне хочется повторять и повторять, что все, возвышающееся над посредственным уровнем, люди создают *по доброй* воле, что не для подвигов даже, но для самой обыкновенной повседневности требуется огромная масса вполне бескорыстных мелочей — и в работе, и в семье, и даже на улице,— и это невосполнимо никакими организационными мероприятиями: сколько вы станете платить человеку, который в метро придержит дверь, чтобы

вас не треснуло по лбу? Жизнь переполнена бескорыстными поступками, стоит в нее вглядеться.

Расхожим схемам «плохо работают там, где недостаточно хорошо платят» и «плохо работают там, где недостаточно строго спрашивают» можно противопоставить схему хотя и тоже очень упрощенную, но все-таки гораздо более глубокую: «плохо работают там, где распались душевные связи между людьми»,— где люди, как минимум, равнодушны к мнению друг друга, не нуждаются во взаимном уважении. Но на чувства, на потребности людей не действуют ни самые строгие приказы, ни самые щедрые заказы: они влияют на поступки, но не на желания. А то, что воздействует на потребности, на эмоции,— это и есть искусство.

Когда говорят о ком-то, что он, мол, воспитывался безо всяких искусств, забывают об океане искусства, растворенного в повседневных человеческих отношениях. Но сегодня его стихийного, не направленного человеческим разумом воздействия уже далеко не достаточно: прежнее общество из поколения в поколение, почти не обновляясь, воспроизводилось по очень небольшому числу стереотипов, а сегодня тем, кто вступает в жизнь, приходится делать выбор из неизмеримо возросшего множества социальных ролей — и вероятность ошибочного выбора возросла во столько же раз, если не больше: о подавляющем большинстве ролей юношество может получать информацию только из чужих рук, тогда как раньше почти все можно было пощупать своими руками.

Сегодняшний человек включен в громадные мировые процессы, масштабы которых нельзя оценить «собственными глазами», а лишь через органы массовой информации. И если человек воспитан исключительно при помощи искусства, растворенного в личных отношениях, он, оставаясь милейшим человеком со своими знакомыми, может оказаться абсолютно равнодушным к тем самым проблемам, которые сегодня требуют величайшего сосредоточения сил всего человечества.

Искусство строит фундамент личности — ее потребности, побуждения, а они в свою очередь приводят в действие умения и навыки созидателей — Науки и Труда, и, если не заметить «сокрытого двигателя», дающего им энергию, может показаться, что ничего другого, кроме знаний и умений, человеку и не требуется. По этой логике мы должны были бы сказать: нам нужен свет ламп, телевизоры и электробритвы, а не какие-то бессмысленные электростанции. Это все роскошества и излишества, а с нас пока достаточно розеток!

Как-то после урока мировой художественной культуры я вышел на улицу в очень приподнятом и просветленном настроении: тут были и гордость за человеческий гений, и связь времен, и единство рода человеческого... Но я по обыкновению опаздывал, пришлось садиться в автобус ради одной остановки.

Однако там обнаружилось, что у меня только двугривенный. «Бог с ним, одну остановку и так проеду»,— но из души немедленно улетучилось все просветленное: я уже невольно высматривал (вероятно, бегающими глазами), не идет ли контроль, не замечено ли окружающими, что я еду зайцем...

Я мысленно плюнул и опустил двугривенный, еще успев спасти этим свою душу: когда в ней так хорошо, не хочется ее поганить. Наверно, каждому непросто свинячить в чистой, светлой комнате,— не то что в заплеванной, загаженной.

Искусство может действовать и так, даже и не затрагивая очень уж высоких стремлений: создать в душе чистоту, которую жалко поганить.

Судьба Л. М. Предтеченской еще раз доказывает, что всё возвышающееся над средним уровнем люди совершают по собственной воле. Студенткой университета Предтеченская по собственной воле отправилась на фронт, была ранена, получала награды. А когда в журналах гремели дебаты о преимуществах физики и лирики, она почувствовала необходимость разработать нечто небывалое,— так сказать, преподавание эстетической взволнованности и любви к искусству. И здесь решающую помощь оказал Д. Б. Кабалевский: он заметил Предтеченскую, приблизил и отстоял.

Борьба Предтеченской с генералами и сержантами от педагогики («какие искусства — нам станочники нужны») — тема не для очерка, а для авантюрно-производственного романа. Скажу только, что четвертьвековой ее путь я не могу назвать иначе, как жизненным подвигом. Хотя под наукообразными идеологизированными ухищрениями ее противников таилась всего-навсего незатейливая, но стопудовая формула «здравого смысла»: «И так пива нету, а они картинки разглядывают! Мозоли надо иметь, мозоли!» А крупные ученые, искусствоведы и философы, которые своими знаниями могли бы усовершенствовать программу курса, своим авторитетом преодолеть сопротивление чиновников,— они не выказывали ни малейшего интереса, когда Предтеченская в поисках совета и поддержки готова была обратиться к самому сатане. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что, кроме Д. Б. Кабалевского, ей много помогали М. Г. Качурин, А. Д. Чегодаев, М. С. Каган, С. В. Тураев.

Зато теперь, когда принято решение — единогласно поддержанное съездом учи-

телей республики — о введении курса МХК в школах Российской Федерации в качестве обязательного предмета, на него, наконец, обратили неблагосклонное внимание люди весьма просвещенные и авторитетные. В «Литературной газете», которая для многих ее читателей является единственным источником знаний, они обвиняют Л. М. Предтеченскую ни более ни менее как *в шарлатанстве*.

Ее обвиняют в том, что она обещает исполнить неисполнимое: подготовить за несколько месяцев «знатоков мировой художественной культуры — энциклопедистов, Гегелей», хотя Предтеченская ничего подобного никогда не обещала и не ставила перед собой столь нелепой задачи. Уж это-то она знает на собственном опыте: чтобы сделаться даже и не знатоком мировой художественной культуры, но просто культурным человеком, требуются годы упорного труда. И цель курса — *пробудить желание* проделать этот труд, пробудить потребность в искусстве, воздействовать средствами искусства на личность ученика (обо всем этом говорится во вводной части программы), а для этого вовсе не требуется Гегель.

Предтеченскую также обвиняют — и не без основания — в том, что не имеет права называться курсом *мировой* художественной культуры курс, в котором «не проходят», скажем, Гомера. И в самом деле, нельзя стать культурным человеком, не зная античности. Как, впрочем, и Египта, и Ренессанса, и... куда легче перечислить то, что вошло в программу курса, чем то, что туда не вошло. Причем то же самое пришлось бы сказать и о любой другой программе, если бы даже ее составил сам Гегель: огромный мир культуры не вместить в классную комнату. И Предтеченская, возможно, поступила неосмотрительно, не прибавив к названию курса какое-нибудь скромное словечко, вроде «основы», «элементы» и тому подобное, или, наоборот, не опустив слово «мировая». Она простодушно полагала, что никому не придет в голову ожидать чего-то всемирно-грандиозного от школьного предмета,— ведь и школьная алгебра, и школьная химия чрезвычайно далеки от уровня современной науки, однако в названии их это никак не подчеркивается. И авторов соответствующих учебников никто не подозревает в намерении готовить Менделеевых и Колмогоровых.

Необходимость оставить школе кое-какие часы и для математики с химией вынуждала Предтеченскую к жесточайшему отбору, приходилось с мясом отрывать от программы целые эпохи, жанры и художественные школы — и вместе с тем стремиться к сохранению хотя бы подобия целостности,— удовлетворять требованиям почти несовместимым. Более того, ради основной цели курса — эмоционального воздействия на личность ученика приходилось отказываться от сухого пересказа фактов и формулировок в пользу непосредственного общения с самим искусством, что неизбежно отнимает вдесятеро больше времени и, следовательно, вдесятеро сужает круг включенных в программу композиторов, художников, поэтов.

С этими противоречащими друг другу требованиями пришлось бы столкнуться всякому составителю подобной программы. Но, возможно, кому-то удалось бы осуществить отбор лучше — глубже, целесообразнее, чем это сделала Предтеченская с помощью научных консультантов Д. Б. Кабалевского, М. Г. Качурина, А. Д. Чегодаева (на мой взгляд, кое-что можно было бы предоставить и свободному выбору учителя). Так что все желающие могут вносить свои предложения, по возможности сохраняя уважительный тон, которого во всяком случае заслуживают двадцать пять лет бескорыстного каторжного труда. Можете быть уверены, все предложения будут приняты с благодарностью, и даже полное несогласие с ними не вызовет презрительных упреков и жалоб в «инстанции» или органы печати, потому что создателей курса волнуют прежде всего не собственные амбиции и звание верховных жрецов, а уровень художественной восприимчивости наших детей.

Впрочем, вопросы культуры должны обсуждаться совершенно свободно, поэтому никому не возбраняется, даже и не ознакомившись как следует ни с целью курса, ни с практикой его преподавания, на основе лишь круга тем, включенных в программу, через «Литературную газету» призвать к немедленной отмене курса, воздействовать на мнение читателей, только из призыва отменить курс и узнавших о его существовании. Что ж, возможна и такая форма сотрудничества, и такой вклад в эстетическое воспитание школьников: опасную гадину необходимо сначала раздавить, а лишь потом анатомировать. Если пожелается.

Но свобода дискуссий должна все же распространяться на обе стороны, а когда популярнейший еженедельник, публикуя обвинения по адресу создателей курса, вместе с тем отказывается напечатать хоть одно слово преподавателей в защиту любимого предмета,— здесь свободное обсуждение приобретает какие-то непривычные, а вернее, чересчур привычные черты.

И все же судьбу курса, на мой взгляд, решит не программа. Яркий, неравнодушный учитель, работая по самой несовершенной программе, добьется блестящих результатов, и наоборот: изумительнейшая программа, отданная в руки равнодушного человека, будет сеять лишь ску-

ку и неприязнь к искусству. И вот тут-то успехи Л. М. Предтеченской неоспоримы: своей святой верой в могущество шедевров (а святости без доли наивности не бывает), она подняла на серьезную работу сотни учителей, многие из которых, не побоюсь сказать, обрели в этом подлинный смысл жизни. Огромный опыт убедил ее: дело пойдет у каждого, кто удовлетворяет двум требованиям: первое — любить искусство, второе — любить детей. Согласитесь, что для этого совсем не обязательно быть Гегелем.

Я близко знаком со многими преподавателями МХК, есть среди них люди и резкие, и мягкие, и более культурные, и менее, но нет ни одного равнодушного, корыстного. И вот этот-то генотип, заложенный Л. М. Предтеченской, необходимо сохранить во что бы то ни стало. Другой создатель курса, можно представить, был бы более высокообразован, но кто еще сумел бы вложить в дело столько душевного жара — лично я не представляю. И я склонен думать, что именно этот генотип бескорыстия, безграничной любви и веры в искусство, а не выбор между Гомером и Кафкой решит судьбу курса мировой художественной культуры, если даже кто-то сумеет подобрать для него более удачное название.

В пору экспериментального преподавания курса Л. М. Предтеченская могла лично участвовать во всем сама — могла наблюдать, учить и вдохновлять. Но переход к массовому преподаванию может привести к бюрократической стандартизации и, как следствие, засушиванию и вырождению. Но этого удастся избежать, если люди, чувствующие себя обладателями какого-то культурного богатства, отнесутся к судьбе курса как к личному, кровному делу. Где-то «на местах», возможно, понадобится помочь учителю своими знаниями, а где-то и защитить его.

Попутная информация: шестьдесят процентов начальников управлений культуры «на местах» — это бывшие партийно-хозяйственные товарищи, не справившиеся с работой (см. «Известия», 10 июля 1988 г.).

Если курс выродится в эстетическую тягомотину о форме и содержании, о прекрасном-ужасном, трагически-комическом, в заучивание имен, названий и дат, то виноваты будем все мы, так называемая интеллигенция, не пожелавшая воспользоваться редким, почти забытым шансом принять участие в становлении того, что нам дорого.

Фонд культуры тоже сделал бы доброе дело, если бы принял участие в пестовании новорожденного курса. Это не осталось бы без пользы и для сохранности памятников культуры, если бы возросло число людей, их любящих и понимающих значение их, если бы Д. С. Лихачеву не пришлось сетовать, что на Съезде народных депутатов слово «культура» почти не звучало.

Гонорар за этот очерк я прошу перевести в Фонд культуры. Мне близки все цели Фонда, но более всего мне хотелось бы, чтобы мой вклад каким-то образом ускорил создание памятника Александру Трифоновичу Твардовскому. Именно сочетание высокой культуры с народной, демократической закваской позволило Твардовскому сделаться тем выдающимся деятелем культуры, чье значение в наших глазах с каждым годом только возрастает.

К слову сказать, курс мировой художественной культуры наилучшие результаты дает в маленьких сельских школах, а хуже всего он приживается в среде самодовольно полукультурной: низкие души на все смотрят свысока.

Ф. ЛУРЬЕ

ПРОВОКАТОРЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Полиция в строжайшей тайне хранила свои архивы. Когда в феврале-марте 1917 года гибла монархия, полиция, не сумевшая ее защитить, но желавшая выжить и пригодиться новому строю, уничтожала документы, стремясь сохранить тайных и явных сотрудников от скороспелых приговоров. Почти повсеместно ей удалось истребить дела о служащих департамента полиции и конспиративных приемах работы, процветавших в нем.

После Октябрьской революции республика создала новые правоохранительные органы. Но с течением времени они все больше напоминали царскую полицию в худших ее проявлениях. С начала 1930-х годов в печати перестали появляться работы о полиции и провокации. Сталин исключал возможность размышлений, наводящих на аналогии. Но окончилось время молчания. Чтобы не повторить вчерашних ошибок и не изуродовать Сегодня и Завтра ложно освещенным Вчера, нам требуется правда о Прошлом.

Будем же шаг за шагом расчищать нашу трагическую историю, получая правду хотя бы гомеопатическими дозами, будем скорбеть о жертвах, гордиться героями и изучать врагов. История обязана воздать по заслугам каждому. Герой положительный достоин Пантеона, герой отрицательный — позорного столба. Забывать же не следует никого — историю делали и те и другие. Не узнав их подлинных ролей, невозможно не впасть в новые ошибки.

1. ДЕГАЕВ И СУДЕЙКИН

ДЕБЮТ

В первых числах марта 1881 года во время аудиенции в Зимнем дворце военный прокурор В. С. Стрельников доложил Александру III о своем старом знакомом, талантливом сыщике капитане Судейкине. Стрельников хорошо знал его по совместной работе на юге России, когда Судейкин служил в Киевском жандармском управлении. В начале 1881 года Судейкина перевели в Петербург, и здесь судьба вновь столкнула его со Стрельниковым при допросах первомартовцев.

Георгия Порфирьевича Судейкина назначили на специально созданную для него должность инспектора столичного охранного отделения, с обязанностями координатора политического сыска на территории империи. В его руках сосредоточилась вся полицейская агентура.

«Отделение по охране общественной безопасности и порядка» производило политический сыск и подчинялось петербургскому градоначальнику, оставаясь при этом самостоятельным подразделением департамента полиции. Арестом и дознанием обнаруженных охранкой политических преступников занимались жандармы, но по положению об усиленной охране от 14 августа 1881 года сотрудники охранки имели право арестовать любое лицо, подозреваемое в возможности совершения им политического преступления.

В составе охранки находились сотрудники наружного наблюдения — филеры (от франц. fileur — сыщик) и внутреннего наблюдения — осведомители. Филеры выслеживали подозрительных, устанавливали их связи, наблюдали за местами сборищ подозрительных лиц. Осведомители внедрялись внутрь революционных и оппозиционных партий с целью получения информации о планах и действиях их членов. Эти две группы полицейских агентов играли пассивные роли, вернее обязаны были играть пассивные роли.

Иначе обстояло дело с провокаторами. В Россию полицейскую провокацию завез из Франции генерал-адъютант А. Х. Бенкендорф, первый шеф созданного в 1826 году по его проекту Отдельного корпуса жандармов. Но во времена Судейкина французы уже законодательством запретили провокацию, судили и осуждали провокаторов за подстрекательство на длительные сроки тюремного заключения, более суровые, чем втянутых ими. В России же тема провокации выплеснулась наружу лишь в 1906 году. Полиция тщательно скрывала использование провокации как метода политического сыска.

Лишь при Судейкине полицейская провокация получила развитие и широкое применение, именно Судейкин — ее идеолог. Провокаторов XIX века можно пересчитать по пальцам. Вот главные из действовавших в рядах «Народной воли»: С. П. Дегаев, И. Ф. Окладский и А. М. Гартинг, еще десяток-полтора мелких. Но даже от такого количества провокаторов русское революционное движение несло невосполнимые потери.

Не следует смешивать провокацию с осведомительством. Осведомитель не создавал ни преступления, ни преступников, он не участвовал в противоправительственном процессе, а следил, собирал материал и докладывал о наблюдениях

начальству. Правда, частенько осведомителям надоедала их «честная» работа, и они для большей эффективности становились «подкидчиками» — подбрасывали шрифты, прокламации, подталкивали своего клиента к быстрой развязке, и он попадал за решетку по ложному обвинению в тяжком преступлении.

Судейкин легко освоился в столичной атмосфере и прижился в охранном отделении. Начальство оценило его незамедлительно. Такого сыщика петербургская полиция не видывала. Он первый в России не хватал выслеженную жертву в торопливом восторге, как поступали до него, а не спеша, следя за каждым ее движением, устанавливал весь круг знакомых и уж потом защелкивал западню. Судейкин первый начал по-настоящему вербовать агентов из попавших в его руки революционеров, и, надо признаться, умело. Он предлагал сотрудничество всем, лишь подыскивал формулировки, наиболее подходящие для намеченной жертвы.

БРАТЬЯ ДЕГАЕВЫ

В начале 1881 года в руки полиции попал В. П. Дегаев, выгнанный за неблагонадежность из Морского кадетского корпуса. В доме предварительного заключения семнадцатилетнего Владимира посетил Судейкин. Их диалог со слов В. П. Дегаева записала член Исполнительного комитета партии «Народная воля» А. П. Прибылева-Корба:

«Я знаю, что вы мне ничего не скажете,— обратился Судейкин к нему,— и не для того я позвал вас, чтобы задавать вам бесполезные вопросы. У меня другая цель относительно вас. Я хочу предложить вам очень выгодные условия. Ваше дело будет прекращено, ваша виновность будет забыта, если вы мне окажете существенную услугу.— Как! — воскликнул с негодованием юноша.— Вы хотите из меня сделать шпиона! Кто дал вам право говорить мне подобные вещи? — крикнул он, выходя из себя. Но Судейкин остановил его. Началась игра кошки с мышью, столь любимая Судейкиным.— Вы даже не выслушали меня, а уже рассердились,— заметил он, самоуверенно улыбаясь.— Не думайте, что я предназначаю вас на роль шпиона или предателя. Я не решился бы на это из уважения к вашей семье; и по вас вижу, что вы слишком благородны для таких ролей. То, что я вам предлагаю, заключается в следующем: правительство желает мира со всеми, даже с революционерами. Оно готовит широкие реформы. Нужно, чтобы революционеры не препятствовали деятельности правительства. Нужно их сделать безвредными. И помните, ни одного предательства, ни одной выдачи я от вас не потребую».

Что знал тогда Судейкин о семействе Дегаевых, не известно. По описаниям мемуаристов, эту семью отличал дух тщеславия. Мать, Н. Н. Дегаева, дочь известного историка и писателя Н. А. Полевого, насаждала культ исключительности своих детей. В доме царила атмосфера необычности и чрезвычайности. Все были высокого мнения друг о друге и готовились стать знаменитостями. Одна дочь считалась талантливой актрисой, и от нее ожидали громкого успеха, по другой дочери, с ее слов, страдал не кто-нибудь, а П. Л. Лавров, двум сыновьям предназначалась романтическая карьера на революционном поприще, поэтому в дом зазывались руководители «Народной воли». Отзывались они о салоне Дегаевых сдержанно.

Юный Дегаев возомнил, что сможет перехитрить Судейкина и весь департамент полиции, войти к ним в доверие и принести партии такую же пользу, как Н. В. Клеточников, проникший в штат III отделения. Член Исполнительного комитета «Народной воли» С. С. Златопольский дал согласие, и В. П. Дегаев начал действовать. В январе 1882 года он по дороге в Швейцарию остановился в Москве, где, благодаря его неумелой конспирации, в руки полиции попали многие народовольцы. В Женеве В. П. Дегаев встречался с эмигрантами. В. И. Засулич в воспоминаниях писала: «Если Судейкин хотел понравиться Володе, то до некоторой степени он этого достиг: Володя считал его очень умным, смелым, изобретательным.

— Сколько бы он мог сделать, если бы был революционером! — помечтал раз Володя. ⟨...⟩

— Вот вы говорите, что он умен,— сказала я.— Предположим, что вы также умны, но он, по меньшей мере, вдвое старше вас, в десять раз больше людей видел и лет 10 только о том и думает, как революционеров уловлять,— ну как же можно допустить, чтобы при этих условиях вы из него пользу извлекли, а не он из вас? Что мы с вами не можем придумать, каким образом он ее извлекает, это ничего не значит».

В начале мая 1882 года Дегаев вернулся в Петербург из заграничного вояжа и не сумел обмануть Судейкина рассказами об эмигрантах. Понимая, что его водят за нос, что из Дегаева ничего не выжмешь, что он не годится в агенты и просто глуп, инспектор охранки решил порвать с Владимиром.

Полуподросток-полуюноша, недоучка попробовал играть в Клеточникова. В Клеточникове отсутствовало тщеславие, он показал пример абсолютного самоотвержения, отдал себя за свободу, за жизни товарищей по партии. Клеточниковыми рождаются.

Не все народовольцы считали, что В. П. Дегаеву удалось никого не выдать. Наверное, он никого и не выдал. Профессиональные ищейки из охранки установили за ним простейшее филерское наблюдение, и все, с кем он встречался, попали в лапы полиции. Разгром московских народовольцев был полный, большинство из них вскоре погибли на каторге и в тюрьмах.

В декабре 1883 года В. П. Дегаев навсегда покинул Россию, некоторое время жил в Париже, удачно играл на бирже, встречался с приезжавшими к нему братом и сестрами, писал в газетах маленькие статейки, в 1913 году занимал должность секретаря русского консула в Нью-Йорке. Далее следы его теряются. Те отрывочные сведения о нем, которыми мы располагаем, дают основание предположить, что, не прогони Судейкин Дегаева-младшего, быть может, из него со временем вырос провокатор.

О В. П. Дегаеве можно было и не вспоминать, если бы не его старший брат Сергей Петрович Дегаев. Он родился в 1857 году, закончил вторую Московскую военную гимназию, учился в Александровском военном училище в Москве и Михайловском артиллерийском училище в Петербурге, служил подпоручиком в Кронштадтской крепостной артиллерии, поступил в Михайловскую артиллерийскую академию, 25 января 1879 года был из нее отчислен за политическую неблагонадежность, в конце ноября вышел в отставку в чине штабс-капитана и поступил в Институт инженеров путей сообщения. Его знакомство с революционерами относится к концу 1878 года. В феврале 1881 года Дегаев, как член партии с большим стажем, потребовал принять его в Исполнительный комитет «Народной воли». Ему предложили доказать свою революционность участием в террористическом акте. Дегаев согласился, и его допустили к работам по устройству подкопа под Малой Садовой с целью покушения на царя. Но тоннель не понадобился — все решила бомба Гриневицкого. Дегаев так и не стал членом Исполнительного комитета — лидеры «Народной воли» не сочли его достойным, они никогда не были о нем высокого мнения.

Вслед за 1 марта последовал поток арестов. Хватали даже тех, кого не в чем было заподозрить, и предъявляли на опознание предателям Окладскому и Меркулову. 25 апреля 1881 года арестовали С. П. Дегаева. Кажется невероятным, чтобы его не опознал Окладский или Меркулов. Трудно предположить, чтобы Судейкин не знал из полицейских источников об аресте Дегаева-старшего. 5 мая, через десять дней после ареста, его освободили под залог в две тысячи рублей, а в конце 1881 года и вовсе прекратили дело. Такое легкое освобождение С. П. Дегаева наводит на мысль о том, когда же его завербовали...[1]

Весной 1881 года Дегаев сдал экзамены в Институте инженеров путей сообщения и уехал на заработки в Архангельскую губернию. «В Архангельске С. Дегаев женился на тамошней мещанке,— пишет А. П. Прибылева-Корба,— не отличавшейся ни образованием, ни нравственным развитием; эта особа, разумеется, не могла способствовать облагораживанию душевного облика своего мужа».

По возвращении осенью в Петербург Дегаев помогал С. С. Златопольскому: поддерживал связь с Кронштадтским кружком морских офицеров и занимался пропагандой среди петербургской молодежи.

УБИТЬ СУДЕЙКИНА

К весне 1882 года Судейкин приобрел у народовольцев репутацию полицейского, пользующегося недопустимыми методами борьбы с революционерами, и было решено с ним покончить. Инициатива покушения принадлежала П. Я. Осмоловской. Она оставила воспоминания, в которых сообщила, что в феврале-марте 1882 года подверглась аресту и вербовке Судейкиным. Их диалоги поразительно совпадают с происходившими в аналогичных условиях с В. П. Дегаевым.

Осмоловская дала согласие сотрудничать, предполагая убить инспектора охранки.

Выследить Судейкина народовольцам обычным путем не удавалось благодаря его изобретательности. Свидания Судейкина с завербованными агентами сопровождались разного рода сложностями. Агенту предлагалось зайти в дом по указанному адресу и назвать пароль, через некоторое время его оттуда выводили переодетые полицейские и, идя поодаль, направляли в людное место, где указывали на закрытую карету, в которой сидел Судейкин. Карета разъезжала по городу, пока продолжался их разговор. Иногда карета оказывалась пустой, и осведомителя везли на одну из многочисленных полицейских конспиративных квартир.

За подготовку убийства Судейкина взялся член Исполкома «Народной воли» Михаил Федорович Грачевский. У него был опыт производства динамита, и он организовал мастерскую по изготовлению бомб. Предполагалось, что взрыв сделает Осмоловская, выследить Судейкина вызвался С. П. Дегаев. С целью облегчения наблюдения он через брата познакомился с Судейкиным под предлогом помощи в получении для себя чертежной работы.

---

[1] По утверждению Дегаева, Судейкин завербовал его в конце декабря 1882 г.

Зачем понадобился С. П. Дегаеву контакт с Судейкиным, если все возможные сведения о нем могли дать В. П. Дегаев и Осмоловская, объяснить трудно еще и потому, что С. П. Дегаев, в соответствии с выдвинутой им версией, встречался с Судейкиным открыто в охранном отделении. В чем же тогда слежка? В помещении охранки убить инспектора невозможно.

Весной 1882 года Судейкин уже понял, что Дегаев-младший ему не подходит. Братья очень любили друг друга. Возможно, Дегаев-старший, предполагая, что над Владимиром нависла угроза, пытался ее разрядить или хотя бы разведать, какие шаги можно ожидать от инспектора охранки. Судейкин во время первого же свидания мог его шантажировать двусмысленным положением младшего брата, участием С. П. Дегаева в подкопе под Малой Садовой... О политической неблагонадежности С. П. Дегаева Судейкин не мог не знать. Трудно представить, чтобы разговор инспектора охранки с просителем касался только чертежной работы. Вскоре после знакомства с Судейкиным, если оно не произошло раньше, С. П. Дегаев уехал из Петербурга.

Бомбу для инспектора охранки Грачевский изготовил, но передать ее Осмоловской не успел или не смог. Двойная игра Осмоловской стала известна Судейкину, и ее в мае 1882 года отправили в ссылку,— так изложила события Осмоловская.

А. П. Прибылева-Корба, часто встречавшаяся с Грачевским, считала, что Осмоловская — провокатор. Но зачем тогда Судейкину понадобилось в мае 1882 года рвать с В. П. Дегаевым и отправлять в ссылку Осмоловскую, если она с ним действительно сотрудничала? Наверное, потому, что в Дегаеве-младшем он действительно разочаровался, а двойную игру Осмоловской действительно разоблачил. Но, наверное, есть еще одно обстоятельство: у Судейкина появился новый агент — С. П. Дегаев, и появился, вероятнее всего, в мае 1882 года. Предыдущие и последующие события подтверждают такое предположение.

В ночь на 5 июня 1882 года Судейкин в Петербурге произвел небывалую по размерам облаву — арестовали 120 человек, в том числе Грачевского и всех, кто работал в динамитной мастерской, но среди арестованных Дегаева-старшего не оказалось, не оказалось его и в столице. При обыске в динамитной мастерской обнаружили плоскую бомбу, изготовленную для Осмоловской и приспособленную к ношению на груди.

«Теперь выяснилось,— писал А. В. Прибылев,— что в течение трех месяцев все мы были под неуклонным надзором Судейкина и его клевретов, под надзором, установленным до тех пор небывалым способом. За нами не ходили шпионы, не подсматривали, за немногими исключениями, за каждым нашим шагом. Нет, все шпионы в костюмах околоточных надзирателей были расставлены на перекрестках и замечали каждого из нас, проходившего мимо них. Они отмечали в своих книжках, кто из нас и в каком направлении отправляются, когда и с кем видятся и пр. ⟨...⟩ Такой надзор не бросался в глаза выслеживаемому, давал полную картину наших действий Судейкину. Но все это стало нам известно после ареста, тогда же мы ходили впотьмах, уверенные, что о нашей конспиративной деятельности никто не догадывается».

ПОДВИГ ГРАЧЕВСКОГО

Грачевского судили Особым присутствием Сената 28 марта — 5 апреля 1883 года и приговорили к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Он сидел в Трубецком бастионе и Алексеевском равелине Петропавловской крепости, 2 августа 1884 года его перевели в Шлиссельбургскую крепость. 26 октября 1887 года М. Ф. Грачевский облил себя керосином и поджег. Он умер в тот же день от паралича сердца вследствие «сильных ожогов и задушения». За день до самосожжения Грачевский простучал соседу по камерам: «Меня утешает мысль, что моя смерть, исключительно страшная, повлияет на вашу судьбу. Теперешние порядки рухнут, поверьте мне!». Он совершил свой подвиг и не ошибся — ценой его жизни остальные узники Шлиссельбургской крепости получили облегчение условий заключения.

Россия превзошла по беззаконию и мерзости полицейской системы все европейские государства, но она дала человечеству пример небывалого и невиданного нигде типа революционера, у которого чувства самопожертвования, товарищества и долга были развиты до абсолюта. Нигде революционное движение не имело столько жертв, и каких жертв...

ПОСЛЕ РАЗГРОМА

При разгроме «Народной воли» уцелели три члена Исполнительного комитета — В. Н. Фигнер, М. Н. Ошанина и Л. А. Тихомиров. Тихомиров с Ошаниной эмигрировали, в России осталась одна В. Н. Фигнер, она отказалась ехать за границу и продолжала работу на юге России. Осенью 1882 года Вера Николаевна посвятила С. П. Дегаева во все связи с провинциальными кружками, включая кружки Военной организации «Народной воли». Многочисленные поездки Дегаева по России, Кавказу и Украине производились с целью установления личных контактов с периферийными группами народовольцев. В его распоряжении оказались сведения обо всех активных членах «Народной воли».

С. П. Дегаев в мае 1882 года уехал из Петербурга в Тифлис, оттуда в Баку. В начале августа он вернулся в Тифлис; 22 сентября отправился в Харьков и далее в Кобеляки Полтавской губернии. В. Н. Фигнер в воспоминаниях писала, что вскоре после отъезда Дегаева с Кавказа оттуда пришло известие о разгроме народовольческого кружка офицеров Мингрельского полка. Что это, совпадение?

26 ноября 1882 года С. П. Дегаев с женой Л. Н. Дегаевой, урожденной Ивановой, под фамилией Суворовы поселились в Одессе и занялись организацией на своей квартире тайной типографии, перевезенной на Кронштадта типографии бывшей «Рабочей газеты». Входя в состав руководства «Народной воли», Дегаев инспектировал работу периферийных кружков. Член Военной организации И. П. Ювачев, отец писателя Д. И. Хармса, оставил воспоминания о поездке в Одессу в конце ноября 1882 года:

«Дошла до меня очередь идти в конфессионал к Дегаеву. Он узнал откуда-то, что я знаком с химией и теоретически знаю, как приготовить динамит, поэтому он предложил мне устроить динамитную мастерскую.

— Я теоретик,— говорю я ему,— а не практик. Самостоятельно я не могу взяться за такое серьезное предприятие.

— Это не важно! — перебивает меня Дегаев.— Пусть захватят жандармы в самом начале производства динамита. Главное, что они будут знать, что опять готовится покушение на кого-то...

Ну, думаю себе, как ты легко распоряжаешься людьми. До сих пор я слышал о пушечном мясе. Теперь ты хочешь быть поставщиком жандармского мяса».

Странные рассуждения появлялись в голове народовольца Дегаева, если он не находился на службе в полиции.

20 декабря 1882 года всех работавших в типографии С. П. Дегаева арестовали и препроводили в одесскую тюрьму. Л. Н. Дегаева в тот же день дала откровенные показания обо всех, кого знала, «оговорила самым добросовестным манером». Воспользовавшись этим, жандармский полковник А. М. Катанский вынудил молодую народоволку М. В. Калюжную подтвердить показания Дегаевой. Дегаеву вскоре под залог в 1500 рублей выдали матери на поруки, а Калюжную отправили в Петропавловскую крепость, где она просидела более полугода. На первых допросах С. П. Дегаев молчал, но по приезде Судейкина не только выдал всех известных ему народовольцев, но и согласился сотрудничать с полицией, если согласие это не было дано значительно раньше.

Вероятнее всего, Судейкин приезжал в Одессу не вербовать Дегаева, а выручать своего агента. Уже в тюрьме Дегаев, перестукиваясь с А. А. Спандони-Басманджи, пытался выведать у него сведения о киевских народовольцах и для прикрытия своего предательства сообщил ему, что некто Антонов, офицер из Тифлиса, всех оговаривает.

Сформулировать причины, по которым совершается предательство, невозможно — сколько предательств, столько причин, но чаще всего предавали, чтобы избежать смерти. Рысаков через несколько часов после того, как бросил бомбу под сани царя, начал выдавать товарищей — жаждая заработать помилование, хотя, взяв в руки бомбу, знал о последствиях. Окладский 30 ноября 1880 года на суде в последнем слове заявил: «Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление». Через несколько дней в его камеру вошел жандармский генерал А. В. Комаров и без труда склонил Окладского к предательству. Тридцать семь лет он верно прослужил департаменту полиции и числился личным агентом министра внутренних дел И. П. Дурново. Л. Ф. Мирский 13 марта 1879 года стрелял в шефа жандармов А. Р. Дрентельна. Находясь в Алексеевском равелине, Мирский открыл правительству заговор, готовившийся С. Г. Нечаевым в Петропавловской крепости, и этим чуть облегчил свою участь.

Дегаеву за организацию одесской типографии полагалась кратковременная ссылка, и он это знал. Даже если бы открылось его участие в подкопе под Малой Садовой, и тогда он избежал бы казни. Дегаев вступил в «Народную волю» в годы подъема, когда Александр II бегал от террористов, как заяц от охотника, и благополучно миновал столько покушений, сколько в сумме едва ли сделано на всех русских царей. Бомба И. И. Гриневицкого прекратила погоню. Новый царь обрушил на народовольцев всю махину полицейского аппарата, и охотник поменялся местами с дичью. В революционном движении наступили сумрачные времена, а полиция расцвела. Что же тут выбирать — гонения и каторгу или успех... Дегаев стал провокатором из трусости и тщеславия, ему многое было обещано, он жаждал славы, власти, богатства любой ценой.

КАЛЮЖНАЯ

Спандони-Басманджи встретился с Калюжной на Каре — страшнейшем районе Нерчинской каторги. Калюжная из Пет-

ропавловской крепости вернулась в Одессу. Катанский пытался ее вербовать, шантажируя данными ею показаниями, а когда у него ничего не вышло, жандармы распространили слух о предательстве Калюжной. Доведенная до отчаяния, она 8 августа 1884 года стреляла в А. М. Катанского и получила 20 лет каторги. Калюжная оказалась свидетельницей и участницей карийской трагедии. Генерал-губернатор Приамурья барон А. Н. Корф распорядился наказать ста ударами палкой политкаторжанку Н. К. Сигиду, 4 ноября 1889 года его приказание исполнили. Калюжная в камере ухаживала за Сигидой. Когда та умерла от разрыва сердца, не выдержав чудовищной экзекуции, Калюжная и еще несколько каторжан в знак протеста покончили с собой.

ЖАНДАРМОВЫ ГРЕЗЫ

14 января 1883 года охранники устроили Дегаеву побег. По версии, разработанной Судейкиным, Дегаев при его конвоировании на вокзал столкнул одного унтера в снег, а другому засыпал глаза табаком. Полиция, соблюдая полнейшую конспирацию, передала свою версию побега по инстанции, и директор департамента полиции В. К. Плеве, как полагается в подобных ситуациях, объявил розыск беглеца. Позже Дегаев рассказал Л. А. Тихомирову: «Ну, конечно, как же я мог убежать! Наши агенты вытребовали меня из тюрьмы и будто бы повели, куда приказано, а потом отпустили на все четыре стороны».

Из Одессы Дегаев перебрался в Харьков к В. Н. Фигнер, передавшей ему все явки и полномочия. 10 февраля ее арестовали, подстроив «случайную» встречу с В. А. Меркуловым, и отправили в Петербург. В доме предварительного заключения прокурор А. Ф. Добржинский показал ей тетрадку с дегаевскими доносами. На последней странице стояла дата 20 ноября 1882 года. Но 20 ноября 1882 года и тем более 1881 года он находился на свободе, то есть по дегаевской версии завербован еще не был.

В столицу С. П. Дегаев вступил триумфатором, в его активе числились участия в покушениях на царя, дерзкий побег, доверие легендарных народовольцев и полномочия представителя центра. И. И. Попов, игравший активную роль в партии «Народная воля», вспоминал: «Вскоре после коронации в Петербурге появился Петр Алексеевич (С. П. Дегаев) и сразу занял в петербургской организации центральное положение, я бы сказал, командное положение. Якубович и оба Карауловых отошли на второй план, их руководящая роль, особенно Карауловых, поблекла». Пересажав всех лидеров партии, Дегаев оказался полновластным руководителем «Народной воли» на территории России. Пользуясь своим положением, Дегаев выдавал народовольцев, писал для Судейкина пространные записки о состоянии революционных сил в России и эмиграции, помогал охотиться за нелегальными. Какую же черную душу надо иметь, или не иметь ее вовсе, чтобы посылать на страдания и смерть бывших друзей, единомышленников, просто знакомых и незнакомых. Тюрьмы пополнились почти двумястами народовольцами, составлявшими костяк партии, среди них почти все члены Военной организации «Народной воли» и руководители периферийных кружков. Дознания проводились более чем в 60 городах империи, общее количество жертв дегаевщины установить невозможно.

Такого ошеломляющего успеха Судейкин не ожидал, такой крупной фигуры, как Дегаев, в провокаторах еще не числилось.

Л. А. Тихомиров писал в статье «В мире мерзости запустения»: «Георгий Порфирьевич Судейкин был типичным порождением и представителем того политического и общественного разврата, который разъедает Россию под гнойным покровом самодержавия. Это не был какой-нибудь убежденный фанатик реакционной идеи, с ожесточением преследующий ее врагов. В Судейкине, напротив, вовсе не замечалось никакого ожесточения против революционеров. Он был просто глубокий эгоист, не стесняемый в своих стремлениях к карьере ни убеждениями, ни какими бы то ни было соображениями гуманности. Убеждений он не имел, а к человеческому страданию, счастью или несчастью относился с полным безразличием. Он не был положительно зол, вид страданий не доставлял ему удовольствия, но он с безусловно легким сердцем мог жертвовать чужим счастьем, чужой жизнью — для малейшей собственной выгоды или удобства».

Народоволец М. Р. Попов вспоминал слова Судейкина: «Я, господа, не идеалист и на все смотрю с точки зрения выгоды. Располагай русская революционная партия такими же средствами для вознаграждения, я так же верно служил бы ей». Непомерное тщеславие и полнейшая аморальность в совокупности с абсолютным безразличием к людям превратили Судейкина в человека, необходимого трону для борьбы с революционной опасностью. Он понимал это и мечтал воспользоваться создавшимся положением для достижения своекорыстных целей. Перед вами образчик его мыслей, записанных Тихомировым со слов Дегаева:

«Он думал поручить Дегаеву под своей рукой сформировать отряд террористов, совершенно законспирированный от тайной полиции; сам же хотел затем к чему-нибудь придраться и выйти в отставку. В один из моментов, когда он уже почти решился начать свою фантастическую игру, Судейкин думал мотивировать отставку прямо бестолковостью начальства, при которой он-де не в состоянии добросовестно исполнять свой долг; в другой такой момент Судейкин хотел устроить фактическое покушение на свою жизнь, причем должен был получить рану и выйти в отставку по болезни. Как бы то ни было, немедленно по удалении Судейкина Дегаев должен был начать решительные действия: убить гр. Толстого, великого князя Владимира и совершить еще несколько более мелких террористических актов. При таком возрождении террора — понятно, ужас должен был охватить царя; необходимость Судейкина, при удалении которого революционеры немедленно подняли голову — должна стать очевидной, и к нему обязательно должны были обратиться, как к единственному спасителю. И тут Судейкин мог запросить чего душе угодно, тем более, что со смертью Толстого сходит со сцены единственный способный человек, а место министра внутренних дел остается вакантным... Таковы были интимные мечты Судейкина. Его фантазия рисовала ему далее, как, при исполнении этого плана, Дегаев, в свою очередь, делается популярнейшим человеком в среде революционеров, попадает в Исполнительный комитет или же организует новый центр революционной партии, и тогда они вдвоем — Судейкин и Дегаев — составят некоторое тайное, но единственно реальное правительство, заправляющее делами надпольной и подпольной России; цари, министры, революционеры — все будут в их распоряжении, все повезут их на своих спинах к какому-то туманно-ослепительному будущему, которое Судейкин, может быть, даже наедине с самим собой не смел рисовать в сколько-нибудь определенных очертаниях».

В голове Судейкина родилась фантасмагорическая идея провокации в масштабах империи: правительственный агент организует жесткий контроль существующей революционной партии, заботится о ее пополнении, по мере надобности раскрывает и уничтожает ее по частям, но заодно руками революционеров ликвидирует мешающих Судейкину конкурентов из высшей администрации. Как же все просто и безопасно: система замыкается на себя — охотник и есть творец добычи. В партию вступают настоящие революционеры, и у них нет надобности в другой партии, а что гибнут люди, они же все равно гибнут в настоящей борьбе с монархией за настоящие свободу и равенство. А что полицейская машина сама себя загружает, так этого никто не имеет права знать.

Страшновато. Такое могло родиться в голове человека, живущего в стране, где гражданских прав нет и в зародыше, где бесправие возведено в принцип, долго пестуемый и всесторонне укрепляемый.

Если бы Дегаев только выдавал своих товарищей... Он организовывал «подпольные» типографии, издавал «Листок „Народной воли"», в котором призывал к убийству Судейкина и министра внутренних дел графа Д. А. Толстого, вербовал в «Народную волю» молодые силы и, не пуская их в дело революции, отдавал на растерзание Судейкину. Гибли не только те, кто встал на путь революционной борьбы с имперским правительством, убирали из русского общества тех, кто должны были, но не пополняли революционные ряды, всходы гибли в зародыше. Народоволец А. Н. Бах, впоследствии академик, привел в воспоминаниях слова Судейкина: «Вы подрастете, а мы вас подкосим, вы подрастете, а мы вас подкосим». Отовсюду веяло могильным холодом, люди опасались встреч, подозревая друг друга в предательстве, народовольчество погружалось в мрак, задыхалось от недоверия, произошло «замутнение» его рядов — с полицией оказался связанным не один Дегаев, дегаевщина разрушала души.

Директор департамента полиции В. К. Плеве не только одобрял действия Судейкина — Дегаева, но и приходил от них в восхищение, престиж возглавляемого им ведомства непрерывно рос в глазах монарха. Рос в собственных глазах и Судейкин. «Ему,— писал Л. А. Тихомиров,— которого не хотели выпускать из роли сыщика, постоянно мерещился портфель министра внутренних дел, роль всероссийского диктатора, держащего в своих ежовых рукавицах бездарного и слабого царя. Разлад между радужной мечтою и серенькой действительностью оказался слишком резок. Судейкин всеми силами старался разрушить такой „узкий" взгляд на себя и настоятельно добивался свиданий с царем. Толстой употреблял, напротив, все усилия не допускать его до этого, и действительно — Судейкин во всю жизнь так и не успел получить у царя ни одной аудиенции, не был даже ему представлен. Толстой на этот счет — человек ловкий и на своем поставить умел. Судейкин из себя выходил, но ничего не мог сделать, постоянно наталкиваясь на неведомую руку, оттирающую его от царя. „Если бы мне увидеть государя хоть один раз,— говорил он с досадой,— я бы сумел показать себя, я бы сумел его привязать к себе", и он ненавидел Толстого всеми силами души».

Написанное Тихомировым о Судейкине со слов С. П. Дегаева, прекрасно знавшего своего патрона, подтверждается вполне авторитетными источниками. Позже читатель убедится, сколь поразительно оди-

наковы грезы жандармского подполковника и священника пересыльной тюрьмы Гапона, мечты малограмотных тщеславцев, думавших, что лишь они в состоянии научить царей управлять государством и спасти Россию от неминуемой гибели,— достаточно появиться перед царем и раскрыть ему глаза, а уж он обласкает, приблизит и одарит.

На иерархической лестнице подполковник Судейкин занимал скромную ступеньку, на которой толпились многие. В табели о рангах она соответствовала VII классу, что раздражало его и возмущало — отчего так несправедливо к нему начальство. «Его постоянно держали в узде и обходили даже наградами. Он получал ордена, получал даже аренду, но его упорно не допускали до чинов, то есть до самого главного, чего он добивался». По традиции русского двора докладывать царю полагалось лицам со званиями не ниже IV класса, поэтому претендовать на внимание монарха жандармский подполковник не имел никаких оснований. Президенту Академии наук, министру внутренних дел, действительному тайному советнику, графу Д. А. Толстому даже при желании не так просто было устроить сыщику аудиенцию.

Восхищение же Плеве содружеством Судейкин — Дегаев происходило еще и оттого, что они, как ему казалось, для него старались освободить кресло министра внутренних дел. Когда же нереализованный план убийства Толстого приобрел огласку, Плеве не только удалось удержаться в правительстве, но и возвыситься.

Через 21 год Плеве будет убит при участии провокатора Азефа именно так, как желал когда-то сам устранить Толстого. Почти четверть века Плеве успешно разлагал русские полицейские службы. Не покровительствуй он дегаевщине, быть может, не появился бы и Азеф. Бомба Е. С. Созонова, направленная Азефом, прервала жизнь В. К. Плеве, этого полицейского исчадия, ведавшего, что творит, лишь не ведавшего, чем дело его рук обернется.

СТРАХ ПРОВОКАТОРА

С. П. Дегаев, будучи человеком неглупым, наблюдательным и склонным к анализу происходящего, летом 1883 года пришел к мысли о том, что как бы ни развивались события, они могут иметь для него только трагическое завершение. Бежать от революционеров и полицейских Дегаев не решился, понимая, что Судейкин организует погоню, от которой не укрыться. Инспектор охранки сделал бы все, чтобы настигнуть беглеца, знавшего слишком много о своем начальнике. Революционеры тоже не сидели бы сложа руки, Дегаев и это превосходно понимал. О том, что в центре «Народной воли» работает правительственный агент, в столичных кружках начали поговаривать с весны 1883 года, иначе чем можно было бы объяснить непрекращающийся поток провалов. Рано или поздно народовольцы неминуемо обратили бы свои взоры на Дегаева, и тогда расправа неизбежна. Незадолго до этого народовольцы безжалостно казнили трех провокаторов: А. Жаркова, С. Прайму и Ф. Шкрябу. Но еще большая опасность исходила от Судейкина. Дегаев знал, что как только Судейкин выжмет из него все, то, потеряв к нему интерес, любыми путями избавится от ненужного соучастника и свидетеля. Тому немало примеров в истории русской политической полиции, и один из них мы находим в практике сотрудничества Дегаева с Судейкиным. У Судейкина был «выдохнувшийся шпион П», Георгий Порфирьевич предложил Дегаеву его разоблачить перед народовольцами и убить. «Конечно,— замечал Судейкин,— жалко его. Да что станете делать? Ведь нужно же вам чем-нибудь аккредитовать себя, а из П все равно никакой пользы нет». Шпион П — М. А. Помер был женат на родной сестре Тихомирова.

Судейкин выдавал революционерам не только «выдохнувшихся» агентов. Если агент работал на другого полицейского чиновника и Судейкин, зная о нем, не мог пользоваться его услугами, то участь такого агента была предрешена, ибо все сведения о революционерах должны идти к директору департамента полиции только через него. Так думал и так поступал Георгий Порфирьевич Судейкин.

Мрачные размышления терзали душу, Дегаев понимал, что пора действовать, и не мог ни на что решиться, никакого выхода он не видел, страх сковывал его.

СЕРЕБРЯКОВА

В начале 1883 года народовольцы-южане заметили: где бы ни появился Дегаев, там начинаются аресты. Летом 1883 года отец народоволки К. И. Сухомлиной передал дочери рассказ подвыпившего полицейского чиновника о том, что побег Дегаева из одесской тюрьмы подстроен. Сухомлина рассказала услышанное подруге, Е. А. Тетельман (ок. 1865—1942).

Покинув Россию по требованию опасавшихся ее ареста товарищей, Тетельман в сентябре 1883 года приехала в Женеву к Л. А. Тихомирову и все ему рассказала. Он не поверил ей, заявил, что знает Дегаева много лет, что Дегаев член партии с ее основания и имеет перед «Народной волей» определенные заслуги. Через два дня в четверг 13 сентября Тетельман вновь встретилась с Тихомировым на его даче в Морнэ под Женевой. Произошла очная ставка с Дегаевым, он все отрицал.

Возвращаться на родину легально Тетельман не могла. Из Женевы она уехала в Париж и в 1885 году вышла замуж за члена Военной организации «Народной воли» Э. А. Серебрякова, оказавшегося в эмиграции благодаря письму Дегаева, предупредившего его о необходимости срочного перехода на нелегальное положение. На родине Э. А. Серебрякова ожидала одиночная камера Шлиссельбургской крепости. Вернулись Серебряковы в Россию в 1905 году.

Сестра выдающегося русского художника П. Н. Филонова Е. Н. Глебова вспоминала: «На Карповке, 19, в Доме литераторов жили народовольцы Серебряковы: Екатерина Александровна и муж ее Эспер Александрович с сыном Петром Эсперовичем (Петей). В мае 1921 года Эспер Александрович умер, и Екатерина Александровна, зная, что в их доме живет художник, послала сына сходить к нему — попросить написать портрет умершего мужа». Позже Серебрякова вышла замуж за П. Н. Филонова. Они прожили вместе почти двадцать лет, полных страданий и потрясений. Филонова преследовали, ему не давали работу, они жестоко нуждались. В 1938 году забрали сыновей Серебряковой — Петра — художника и Анатолия — переводчика, вскоре оба они погибли. Екатерину Александровну разбил паралич, но все равно с нее взяли подписку о невыезде. Умерла Е. А. Серебрякова в блокадную зиму 1942 года.

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ

«Эспер Александрович Серебряков,— писала Е. А. Серебрякова,— впоследствии мой муж, рассказал мне в Париже, что Тихомиров в тот же день, в Женеве, что называется, прижал Дегаева к стенке. Дегаев ему во всем признался».

Из крупных деятелей «Народной воли» о разоблачении Дегаева оставили воспоминания Прибылева-Корба, Лопатин и Тихомиров. Их свидетельства противоречат тому, что сообщила Серебрякова. Источник информации Прибылевой-Корбы нам неизвестен, Лопатин писал со слов Тихомирова, который утверждал, что авторазоблачение Дегаева произошло в мае 1883 года. Рассмотрим воспоминания Тихомирова:

«Приехавший из России ко мне Сергей Дегаев, не знаю, почему и для чего, сознался, что он состоит агентом полк. Судейкина, которому и предал всех революционеров с их планами и организациями». В другом месте Тихомиров оставил еще более странную запись: «В это время — было начало 1883 г., может быть, в марте — не могу припомнить,— явился ко мне неожиданный посетитель — Сергей Васильевич Дегаев (ошибка, Петрович.— *Ф. Л.*). 〈...〉 У меня-таки были способности следователя. Его объяснения еще более запутали картину, он начал замечать, что я усматриваю в его рассказах какое-то вранье, стал путаться и что-то на третий или четвертый день ошарашил меня неожиданным признанием».

Дегаев нанес «Народной воле» столь тяжкий удар, с его помощью в тюрьмы и на эшафоты попало столько замечательных людей, что вот так ни с того ни с сего признаваться в содеянном, понимая, что его могли тут же казнить, он не мог. Иначе слишком уж непоследовательно он вел себя.

Ни слова о Тетельман в истории разоблачения Дегаева нет. Только в «Памятной книжке» Тихомирова имеется запись о ее визите к нему 13 сентября, а о встречах с Дегаевым ни одной записи в «Памятной книжке» нет. Позже Тихомиров писал, что он рассказал о предательстве Дегаева только Ошаниной и нигде ничего не записывал до убийства Судейкина. Ошанину Тихомиров в дегаевской истории выставлял в качестве свидетеля всех своих действий. Воспоминания им написаны после ее смерти и увидели свет после смерти автора. В коротких воспоминаниях Ошаниной, записанных Э. А. Серебряковым, не упоминается о признании Дегаева. Ни в одном документе, опубликованном партией «Народная воля», ничего не сказано об обстоятельствах и дате разоблачения Дегаева.

После признания Дегаева Тихомиров потребовал от него немедленно прекратить сотрудничество с Судейкиным и организовать его убийство. Взамен Тихомиров обещал Дегаеву, что народовольцы позволят ему беспрепятственно скрыться при условии, что он никогда не станет участвовать в общественной жизни. Так и произошло. В этой части воспоминания Тихомирова не вызывают сомнения. Создается впечатление, что Тихомиров умышленно исказил историю разоблачения Дегаева. После убийства Судейкина Тихомиров и Ошанина изложили Лопатину свою версию, уменьшив срок провокаторской деятельности Дегаева до четыре — шесть месяцев. Иначе получалось, а это так и было, что на территории России почти год партией «Народная воля» фактически руководил правительственный агент. Косвенное подтверждение такого толкования причин фальсификации даты разоблачения Дегаева имеется в автобиографии Лопатина.

Если принять версию Тихомирова, то Дегаев прекратил предательство в мае 1883 года или в марте... Тогда, по Тихомирову, получается, что Дегаев служил Су-

дейкину всего около трех месяцев. Он не успел бы нанести «Народной воле» такой урон, и чем же тогда занимался Дегаев по службе в департаменте полиции с мая (марта) по декабрь? За что ему платили? А платили ему за верную службу. Например, в августе 1883 года он предал П. Ф. Якубовича. И зачем Дегаев тянул с убийством Судейкина более семи месяцев, когда каждый день мог ему стоить собственной жизни? К изложенному можно еще добавить, что Тихомиров в 1883—1885 годах считал Э. А. Серебрякова своим ближайшим другом, а Серебрякова никто во лжи никогда не уличал. Е. А. Серебрякову заподозрить в забывчивости или искажении событий трудно. Косвенные подтверждения хорошей памяти Серебряковой можно найти в сопоставлении записей из «Памятной книжки» Тихомирова с ее воспоминаниями, а мотивов к лжесвидетельству у нее не было. Серебряковы жили с Лопатиным в одном доме, часто виделись и, наверное, говорили о времени дегаевщины, но никаких свидетельств об этом не обнаружено. И последнее. В. Н. Фигнер в предисловии к воспоминаниям Тихомирова, не ссылаясь на источники, писала, что Дегаев сделал признание в сентябре 1883 года.

Изложение Серебряковой истории разоблачения Дегаева не находится в противоречии с событиями, предшествовавшими убийству Судейкина. Созревшего Дегаева разоблачила Серебрякова и подтолкнула его к признанию, сделанному им 14 сентября 1883 года Тихомирову в Женеве. Дав согласие на участие в убийстве Судейкина, Дегаев отправился в Париж, где его ожидала жена.

ВОЗМЕЗДИЕ

Дегаеву предстояло возвращение в Россию, он никак не мог преодолеть страх и заставить себя покинуть Францию. Тихомирову пришлось специально ехать в Париж для объяснений. Наконец, Дегаева удалось вытолкать в Россию.

В Петербург Тихомиров из предосторожности никому ничего не сообщил. Следом за Дегаевым в Россию отправился «странствующий рыцарь революции» Г. А. Лопатин. Даже ему, человеку безупречной репутации, народовольцы не сообщили о ситуации, сложившейся на родине благодаря предательству Дегаева. Позже Лопатин писал (автобиография Г. А. Лопатина написана в третьем лице): «Впоследствии Ошанина говорила ему, что они не посмели сказать ему правду из опасения, что он, из нравственной брезгливости, отшатнется навек от группы, среди которой мог зародиться и существовать так долго такой ужасный политический разврат, а между тем все они сильно рассчитывали на Лопатина». Ошанина и Тихомиров предполагали воспользоваться услугами Лопатина по восстановлению партии «Народная воля», разгромленной Судейкиным и Дегаевым.

Разработка плана убийства Судейкина и совещания по этому предмету происходили в ноябре 1883 года на квартире выдающегося библиографа и крупного литературоведа С. А. Венгерова, на протяжении всей жизни оказывавшего услуги революционному движению. В помощь Дегаеву привлекли вызванных из Киева Василия Петровича Конашевича (1860—1915) и Николая Петровича Стародворского (1863—1918).

В конце ноября Дегаев отправил жену за границу. Поездка оплачивалась департаментом полиции. Судейкин полагал, что она едет следить за эмигрантами. Л. Н. Дегаева поселилась невдалеке от Тихомировых и ежедневно ходила к ним обедать. Роль, которую играл Дегаев, Л. Н. Дегаева знала с самого начала. Во время пребывания в одесской тюрьме им разрешили встречаться, и они могли обо всем переговорить. После «побега» Дегаева они вместе жили, не соблюдая никакой конспирации в отношении народовольцев.

Дегаев оставил большую квартиру на Невском, 105, и 3 декабря 1883 года переехал на Невский, 93, со входом во дворе дома № 8 по Гончарной улице. И дом, и квартира сохранились. При Дегаеве в квартиру попадали через прихожую, из которой двери вели в маленькую кухню, уборную и столовую. За столовой анфиладой шли кабинет и за ним спальня. В этой квартире с низкими потолками и окнами во двор Дегаев жил со своим лакеем «запасным унтер-офицером» П. И. Суворовым, которого с 8 ноября пристроил к нему Судейкин. Суворов был штатным сотрудником Охранного отделения, и для чего он жил при Дегаеве, последний прекрасно понимал.

Покушение срывалось дважды. Наконец, 16 декабря 1883 года в пятом часу вечера в квартиру Дегаева пришел Судейкин и, неожиданно для заговорщиков, привел своего племянника — казначея охранки Н. Д. Судовского. Разыгравшаяся затем кровавая драма имела пять действующих лиц — Судейкин, Судовский, Дегаев, Конашевич и Стародворский (лакея-охранника заблаговременно отправили с поручением в отдаленную часть города), четверо из пятерых остались живы. Мы располагаем тремя свидетельскими показаниями (Дегаев или не описал своего участия в покушении, или описание не сохранилось). Все три показания снимались полицейскими чинами, то есть квалифицированно. Тем не менее все три свидетеля обрисовали картину убийства по-разному. Основная путаница внесена показаниями Судовского и, конечно же, объясняется его состоянием. Он давал их в больнице, еще не придя в себя от побоев. Если его свидетельство отбросить, а это вполне можно сделать, потому что Судовскому пришлось играть пассивную роль, то происшедшее в квартире Дегаева 16 декабря 1883 года между четырьмя и пятью часами вечера представляется следующим образом.

Судейкин прошел в столовую, бросил на диван пальто и палку с вмонтированным в нее стилетом и проследовал в кабинет для делового разговора с Дегаевым. Судовский, раздевшись в прихожей, зашел в столовую и сел в кресло. Револьверы посетителей остались в карманах верхней одежды. В это время Конашевич находился на кухне рядом с выходом из квартиры, Стародворский в спальне, то есть в тылу. Оба вооружились ломами, предусмотрительно купленными Стародворским.

Дегаев выстрелил Судейкину в спину, прошмыгнул через столовую мимо растерявшегося Судовского и выскочил на лестницу, даже не прикрыв за собою входную дверь. Поспешность, с которой Дегаев скрылся, объясняется не только его природной трусостью, но и реальной опасностью быть убитым Конашевичем или Стародворским, когда с Судейкиным будет покончено. Смертельно раненный Судейкин бросился не в спальню, где его ждал Стародворский, а через столовую в прихожую. Туда же, услышав выстрел, устремились Конашевич, Судовский и чуть позже Стародворский. Конашевич, оказавшийся в прихожей раньше всех, встретил Судовского ударом лома, и тот, потеряв сознание, упал. Стародворский первый удар ломом нанес Судейкину в дверях кабинета, затем догнал и ударил вновь, отчего Судейкин рухнул на пол, но все же вскочил и бросился в уборную. Стародворский за ним. Наконец, Судейкина удалось вытащить из укрытия и добить несколькими ударами лома. Рослый Стародворский задевал ломом низкие потолки, отчего удары теряли силу. Судейкин уползал, а он, цепенея от ужаса, преследовал его. Возможно, борозды в штукатурке потолков дегаевской квартиры от лома Стародворского сохранились и сегодня под наслоениями позднейших ремонтов.

Конашевич, а за ним и Стародворский незамеченными покинули дегаевскую квартиру. Конашевич уехал из Петербурга в тот же день, а Стародворский некоторое время потратил на печатание прокламации по случаю убийства Судейкина и лишь потом покинул столицу. Дегаев до вечера прятался на квартире П. Ф. Якубовича-Мельшина, затем беспрепятственно выбрался из столицы и навсегда из пределов Российской империи.

В январе 1884 года из Петербурга в Париж отправился молодой преуспевающий ученик и помощник Судейкина П. И. Рачковский, впоследствии превзошедший учителя и ставший, пожалуй, одной из самых крупных и мерзких фигур русской политической полиции. Ему предстояло выследить Л. Н. Дегаеву и таким способом поймать ее мужа. Позже в Париж проследовал Лопатин.

Предоставлю слово обвинительному акту по процессу 21-го (дело Г. А. Лопатина, 1887 г.):

«16 декабря 1883 г. около 9-ти часов вечера в доме 93 по Невскому проспекту, в квартире № 13, были найдены мертвым, с явными признаками насильственной смерти, инспектор С.-Петербургской секретной полиции подполковник Георгий Порфирьевич Судейкин и тяжело раненный в голову чиновник полиции Николай Судовский. По судебно-медицинском вскрытии трупа покойного, врачи дали заключение, что смерть подполковника Судейкина последовала от безусловно смертельного повреждения костей черепа, имеющих несколько трещин, а равно и от огнестрельной раны, проникающей в полость живота и осложненной разрывом ткани печени и последовавшим за этим разрывом кровоизлиянием в названную полость. Все приведенные повреждения по свойству своему были прижизненны, причем огнестрельная рана, вероятно, предшествовавшая другим повреждениям, сама по себе должна быть признана безусловно смертельною, хотя смерть после причинения этой раны могла и не последовать немедленно. Повреждения головы, по заключению экспертов, последовали, вероятно, от нанесенных сзади ударов тупым орудием, которым могли быть и найденные в квартире ломы.

По осмотре доставленного в Рождественский барачный лазарет Николая Судовского у него оказались две раны на макушке головы с раздроблением теменных костей, нанесенные, как это видно из скорбного листа, тяжелым орудием, повидимому, ломом».

СКОРБЬ ПО СУДЕЙКИНУ

Судейкина отпевали в церкви Мариинской больницы (ныне имени В. В. Куйбышева). Александр III на докладе о случившемся начертал: «Я страшно поражен и огорчен этим известием. Конечно, мы всегда боялись за Судейкина, но здесь предательская смерть. Потеря положительно незаменимая. Кто пойдет теперь на подобную должность? Пожалуйста, что будет дознано нового по этому убийству, присылайте ко мне. А.». Но примерно четыре месяца спустя, когда основные действующие лица кровавой драмы дали показания, император несколько намеinл

свое мнение. Даже ему, хозяину погибшего опричника, стало как-то не по себе: «Я думаю, много тут правды. Действительно, Судейкин последнее время был странен, и все его действия нам не известны».

Вся полицейская Россия скорбела по Судейкину. Ходили слухи, что императрица прислала венок на его могилу. Вряд ли, убили полезную, талантливую, незаменимую, но всего лишь полицейскую ищейку. В газетах появилось короткое сообщение о смерти и отпевании Судейкина. Зато подробно описаны торжественные полицейские похороны, как бы в противовес стихийным грандиозным похоронам И. С. Тургенева. Позже столицу заклеили объявлениями с фотографиями Дегаева и сообщением о вознаграждении за его поимку. Нелегальная печать выпустила две короткие прокламации, объясняющие случившееся, а вольная русская поэзия обогатилась двумя стихотворениями, которые публикуются в сборниках вольной русской поэзии.

Приведу выписку из дневника государственного секретаря А. А. Половцева за 18 декабря 1883 года:

«В 2 часа у Толстого, весьма взволнованного убийством Судейкина. Судейкин был выходящая из общего уровня личность, он нес жандармскую службу не по обязанности, а по убеждению, по охоте. Война с нигилистами была для него нечто вроде охоты со всеми сопровождающими ее впечатлениями. Борьба в искусстве и ловкости, риск, удовольствие от удачи,— все это играло большое значение в поисках Судейкина и поисках, сопровождавшихся за последнее время чрезвычайными успехами».

Этот текст интересен тем, что исходит от министра внутренних дел Д. А. Толстого и изложен вице-президентом Русского императорского исторического общества, человеком, считавшимся умным и интеллигентным.

В 1884 году В. Я. Бурцев записал разговор М. Е. Салтыкова-Щедрина с посетителем редакции журнала «Отечественные записки» (слово «провокатор» тогда в русском языке не употреблялось).

«— Михаил Евграфович, говорят, революционеры убили какого-то Судейкина. За что они убили его?

— Сыщик он был,— ответил Салтыков.

— Да за что же они его убили?

— Говорят вам по-русски, кажется: сыщик он был!

— Ах, боже мой! — снова обратился земец к Салтыкову.— Я слышу, что он был сыщик, да за что же его убили?

— Повторяю вам еще раз: сыщик он был.

— Да слышу, слышу я, что он сыщик был, да объясните мне, за что его убили?»

МИСТЕР АЛЕГЗЕНДЕР ПЭЛЛ

В начале января 1884 года в Петербурге появилось заявление «От Исполнительного комитета партии „Народная воля“», подписанное 21 декабря 1883 года:

«Очутившись перед лицом этой глубоко печальной и трагической задачи, Исполнительный комитет, как представитель политической партии, не счел себя вправе действовать подобно частному лицу в обыденной жизни и руководствоваться в своем решении только нравственной брезгливостью да требованиями отвлеченной справедливости. Напротив того, он полагал, что его прямая обязанность состояла в том, чтобы, обеспечив — путем ли физической смерти, или иными способами — полное уничтожение личности Дегаева для партии, правительства и общества, достигнуть вместе с тем и некоторых других важных целей. А именно — нашел необходимым: 1) спасти прежде всего тех из действительных деятелей, которые, хотя и были указаны полиции, находились еще на свободе; 2) вывести из-под надзора полиции указанные ей учреждения и скрыть их вполне надежным образом; 3) отобрать у Дегаева подробные сведения обо всех наемных агентах и добровольных пособниках политической полиции; 4) и, наконец, казнить самого Судейкина (но непременно руками самого Дегаева), ибо этот неутомимый сеятель политического разврата должен был, по мнению комитета, погибнуть в той самой яме, которую он рыл другим, оставив собственной гибелью вечно памятный урок того, как ненадежно все, основанное на предательстве».

Этим воззванием народовольцы пытались объяснить свое отношение к Дегаеву и к тому, что произошло в связи с его предательством. Они понимали, что урон, нанесенный партии, огромен, урон не только физический, но и моральный.

Дегаева судили зимой в 1884 году в Париже. Суд состоял из В. А. Караулова, Г. А. Лопатина и Л. А. Тихомирова. Дегаев с женой в присутствии Л. А. Тихомирова сели на пароход, отходящий из Англии в Южную Америку. Плаванье завершилось благополучно. Постоянно меняя место жительства, они из Южной Америки перебрались в США, где С. П. Дегаев сделал карьеру от грузчика до профессора математики. Почти сорок долгих лет он боялся мести и революционеров, и полицейских, он трясся всю жизнь, вздрагивал и ежился от каждого скрипа и шороха. До него доходили слухи о том, как русские революционеры расправляются с предателями даже через 30—40 лет. Так в 1906 году в Ташкенте был убит бывший провокатор Ф. Е. Курицин, выдавший многих народников еще в 1870-х годах.

Именно поэтому В. П. Дегаев через газеты распространял ложные слухи о смерти брата.

20 января 1885 года Тихомиров записал: «Сергей Дегаев пишет подлейшее письмо. Он боится, по-видимому, что русские революционеры стараются его погубить, выставляя будто бы преступником уголовным (т. е. подлежащим выдаче); в свою очередь он угрожает, что в таком случае он будет „защищаться“, указывая на революционеров, „знавших и не донесших“ о его деле». Дегаев пользовался дегаевскими методами.

Известный коммунист И. И. Генкин писал со слов некоей А., познакомившейся с С. П. Дегаевым в Париже: «Получив от Сергея Дегаева приглашение приехать в Америку, А. поселилась в 1901 г. в его доме в г. Вермингтоне (штат Южная Дакота) и довольно близко сошлась с ним и с его женой; благодаря их (надо сказать, совершенно бескорыстной) материальной помощи она имела возможность получить высшее образование и сделаться врачом.

По ее словам, в Америку супруги Дегаевы перебрались еще в 90-х годах. Первое время они сильно бедствовали; он работал грузчиком и чернорабочим, а она — прачкой и кухаркой. Однако, будучи по образованию математиком и вообще отличаясь большим трудолюбием и настойчивостью, Сергей Дегаев вскоре принялся за продолжение своего образования, перейдя на иждивение своей жены, не гнушавшейся самой черной работы, лишь бы помочь мужу «выйти в люди», он в течение нескольких лет кончил университет и добился диплома математика, а потом звания профессора и декана. В г. Вермингтоне «Мистер Алегзендер Пэлл» — под этим именем Дегаев проживал в Америке — хорошо зарабатывал, имел собственный дом и содержал у себя на положении опекаемых им стипендиатов одного неимущего студента и двух молодых девиц — дочерей каких-то бедных американских фермеров. На одной из них, также сделавшейся математиком, Дегаев под старость женился...

В 1920 г. «мистер Алегзендер Пэлл» умер, имея 66 лет от роду. При этом даже близко стоявшие к нему коллеги по университету и обыватели г. Вермингтона никогда не догадывались, кем в свое время был этот совершенно американизировавшийся и вечно в себе замкнутый человек».

БАЦИЛЛА ПРОВОКАЦИИ

Конашевича арестовали в Киеве 3 января 1884 года, Стародворского — в Москве 16 марта 1884 года. В Петербурге их опознал дворник дома по Садовой, 114, в котором они жили. В 1884 году Лопатин вступил в «Народную волю», и его сразу же избрали в Исполнительный комитет. Весной 1884 года он поехал в Россию с целью возрождения разгромленной Судейкиным — Дегаевым «Народной воли» и в Петербурге возглавил Распорядительный комитет. За лето 1884 года ему удалось многое сделать. 6 октября 1884 года его схватили на улице в Петербурге. Он отбивался всеми силами против нескольких полицейских.

Конашевича и Стародворского судили в 1887 году по одному процессу с Лопатиным, и они оказались в Шлиссельбургской крепости. Конашевич сошел с ума, и его в 1896 году отправили в Казанскую психиатрическую лечебницу, где он и умер.

В 1906—1907 годах в редакцию журнала «Былое» скромный архивариус департамента полиции приносил секретнейшие документы, которые тут же копировались и возвращались обратно. Из этого источника в «Былом» узнали, что Стародворский дважды — в 1890-м и 1892 годах — писал прошения о помиловании. Никто из шлиссельбургских узников не просил у царя пощады, но Стародворский пошел дальше — он предлагал взамен помилования свои услуги Департаменту полиции.

Историк революционного движения и известный разоблачитель провокаторов В. Л. Бурцев поделился добытыми сведениями с освобожденным из Шлиссельбургской крепости и находившимся на излечении в Петербурге Г. А. Лопатиным, и они оба в растерянности затосковали. Шлиссельбуржец, разъезжающий по Западной Европе и России с лекциями, окруженный почетом и любовью, оказался банальным провокатором. Летом 1908 года Бурцев пригласил Стародворского посетить его на улице Люнен, 11, в Париже. Он сообщил о неопровержимых доказательствах сотрудничества Стародворского с охранкой и потребовал от него ухода из общественной жизни. Убедившись, что подлинные документы отсутствуют, Стародворский все отрицал. Тогда Бурцев опубликовал материалы о его предательстве. Стародворский настоял на проведении третейского суда. Суд под председательством Ю. О. Мартова постановил, что улик для доказательства виновности Стародворского недостаточно. Лишь после февральской революции содержимое архивов министерства внутренних дел поставило все на свои места. Обнаружилось, что начальник Петербургского охранного отделения А. В. Герасимов гордился своим агентом из шлиссельбуржцев. Бацилла провокации все же перекинулась с Судейкина и Дегаева на Стародворского.

Возможно, с дегаевской истории началось разочарование Тихомирова в рево-

люционном движении, и он в 1886 году обратился к царю с покаянием. Бывший теоретик народничества превратился в сотрудника «Московских ведомостей». Это попытка объяснения, но не оправдание,— другие народовольцы не разочаровались, ни бацилла провокации, ни другая скверна не коснулись их.

ТАЛАНТЛИВЫЕ УЧЕНИКИ СУДЕЙКИНА

После убийства Судейкина знамя провокации подхватил его ученик Петр Иванович Рачковский (1853—1911). В 1884 году сложное поручение по поимке Дегаева ему выполнить не удалось. Русская полицейская агентура в Европе была очень слаба, а один он сделать, конечно же, ничего не мог, тем более, что Дегаевы прятались, предполагая возможное преследование. Но именно эта командировка Рачковского навела директора департамента полиции П. Н. Дурново на мысль о создании в Европе русской полицейской агентуры, призванной следить за действиями политических эмигрантов из России. Руководителем агентуры назначили Рачковского.

Своим ближайшим помощником Рачковский сделал А. М. Гартинга, бежавшего из России в Швейцарию. В мае 1885 года они подписали соглашение, по которому за 300 рублей в месяц Гартинг обязался следить и доносить о действиях русских эмигрантов в Париже. Но вскоре деятельность Гартинга, руководимого Рачковским, распространилась за пределы Франции. В ночь на 21 ноября 1886 года он организовал в Женеве налет на народовольческую типографию — уничтожили отпечатанную литературу, вынесли весь запас шрифта и разбросали его по городу. После быстрого восстановления типографию вновь разгромили русские полицейские агенты. Народоволка Г. Ф. Чернявская, подруга В. Н. Фигнер, прятавшая Дегаева в Харькове после его «побега» из одесской тюрьмы и чудом избежавшая ареста, работала и этой типографии. Ей было известно, кто разгромил типографию. «Через некоторое время,— вспоминала Чернявская,— швейцарское правительство опубликовало постановление, которым запрещалось агентам иностранной полиции заниматься своим ремеслом в пределах швейцарской республики, так как своими подкупами они развращают швейцарских граждан и нарушают общественный порядок».

В Париже Гартинг поселился на одной квартире с народовольцем А. Н. Бахом, познакомившим его с кругом эмигрантов, включая П. Л. Лаврова, М. Н. Ошанину и др. На деньги департамента полиции Гартинг с группой сторонников террора организовал в Париже мастерскую для изготовления бомб. Испытания производились в окрестностях французской столицы, пока по требованию Рачковского Кашинцев, Никашидзе, Теплов и другие участники предприятия, кроме заблаговременно скрывшегося Гартинга, не были арестованы и преданы суду исправительной полиции, приговором которого часть участников выслали из Парижа, часть — отправили в тюрьму на три года. Гартинга за подстрекательство заочно присудили к пяти годам тюремного заключения.

В Европе Рачковский занимался не только слежкой за революционерами и провокацией. Он пустился в предпринимательство: помогал министру внутренних дел И. Л. Горемыкину в его посредничестве при получении западными промышленниками выгодных заказов в России. Не один Горемыкин ездил в Европу обделывать свои делишки, не заботясь о пользе отечества. За мзду западных коммерсантов, поступавшую в кошельки русских администраторов-посредников, распродавались права на выгодные займы, подряды, поставки... Многим сидеть бы на скамьях подсудимых, если бы не наплевательское отношение верхушки к интересам России. В азартной беспроигрышной посреднической вакханалии Рачковскому следует отвести не ведущее, но почетное место. В кружева его интриг вплетены нити, тянувшиеся от финансистов Европы, русских министров, генералов интендантских сражений, придворных из Рюриковичей и, наконец, от членов царской фамилии.

Бесчинства Рачковского в Европе продолжались до 1902 года, когда на посту руководителя заграничной агентуры его сменил Л. А. Ратаев. Вернувшись в Россию, Рачковский стал идеологом и проповедником русской полицейской провокации начала XX века.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Поэль КАРП

МИФОЛОГИЯ КАК ПРИНЦИП

1. МИФ О НЕПОРОЧНОМ ЗАЧАТИИ

Опубликовав в «Неве» № 7 за 1987 год статью «Пропущенные уроки», целиком посвященную ложным представлениям Вадима Кожинова об отечественной истории, я, конечно, допускал, что хоть какие-то свои утверждения он попробует отстоять. Но, походя атакуя в первом номере «Нашего современника» за текущий год мои заметки в малотиражной газете «Книжное обозрение», Кожинов старательно подчеркивает, что о большой статье в толстом журнале, всецело посвященной его персоне, он и слыхом не слыхал: «Поэль Карп — новое для меня имя».

Увы, теория психоанализа давно показала, что, сверх меры усердно настаивая на своей неосведомленности, когда реальной надобности в этом нет, человек как раз и выдает свою осведомленность. Громогласно объявляя: «многочисленные статьи против меня очень мало волнуют; никаких основательных аргументов в них нет», выдает, что они как раз весьма волнуют, а контраргументов нет. «Неосведомленность» Кожинову необходима, поскольку освобождает от нужды защищать свои грубые ляпсусы по исторической части,— можно делать вид, что их и не было. Не догадываясь, что психоанализ его выдаст, он настаивает на своем неведении, внушая читателю, что «Невы», в конце которой даются сведения об авторах, и в глаза не видал.

Увлекшись, он изображает меня дряхлым старцем, бог весть, где обучавшимся. А при желании мог бы запросто узнать, что Поэль Карп всего на пять лет старше Вадима Кожинова, на те же пять лет раньше окончил тот же Московский университет, правда, по другому — историческому факультету, и на те же пять лет раньше вступил в Союз писателей. Короче говоря, мы — люди одного поколения. Есть, конечно, и различия: я успел окончить университет в 1949 году, том самом, когда в ходе борьбы с космополитизмом он подвергся погрому, а Кожинов в тот год начал учение.

В «Пропущенных уроках» я опровергал конкретные кожиновские мифы, но статья в «Нашем современнике» побуждает думать, что этого мало, поскольку Вадим Кожинов продолжает мифотворчество. А обществу необходимо преодолеть самый этот мифологический метод мышления, навязанный некогда сталинской идеологией, но переживший Сталина и применяемый ныне для внедрения в растерянные умы самых разнообразных идей. Не стихают споры о том, чей миф лучше, красивей, полезней. Между тем, первое условие изменения общества, его перестройки,— умение смотреть в лицо реальности, не тешась мифами, не полагаясь на них.

Вадим Кожинов, в годы застоя вполне преуспевший, даже не касаясь твердой зарплаты, сегодня усердно обличает Коротича за похвалы писаниям Брежнева: «Отношение к „брежневским мемуарам“ — это, конечно, только выразительный пример. Речь идет о литераторах, которые всегда безошибочно пишут и говорят именно то, что в данный отрезок времени наиболее *выгодно* писать и говорить». При этом он подчеркивает, что Сталина, дескать, хвалили искренне, поскольку то была трагедия, а уж искренне хвалить Брежнева, правление которого было фарсом, никто, конечно, не мог, отчего и надлежит похвалы Брежневу осуждать суровей, чем похвалы Сталину!

Как же, по Кожинову, определяется, «что в данный отрезок времени наиболее выгодно писать и говорить»? При Сталине и Брежневе это было ясно: существовало спущенное сверху «мнение»,— повторять его было выгодно, уклоняться от повторения — невыгодно, возражать против него — опасно. Иное дело наши дни. Что, собственно, сегодня выгодно писать и говорить? Мнения расходятся. Возник так называемый плюрализм мнений и, соответственно, плюрализм выгод. В этом-то и новизна эпохи. Единого спущенного сверху «мнения» покамест нет.

Можно счесть, что выгодно выступать за перестройку, поскольку она официально провозглашена съездом партии,— иные лишь потому и норовят быть заодно с теми, кто стоит за перестройку всей душой. Но нельзя ведь сказать, что и выступлению Нины Андреевой наверху никто не радовался,— выходит, и такое выступление может оказаться выгодным. Не только «Огонек», но и «Наш современник» наверху кем-то поддерживается,

иначе он бы просто не выходил в свет, так что и его позиция может оказаться выгодной. Да сегодня она вроде и более надежна,— в газете «Правда», центральном органе партии, «Огонек» то и дело бранят, а к «Нашему современнику» вполне доброжелательны. Даже общество «Память» и его «дочерние» образования не лишены влиятельных сторонников, иначе милиция, усердно разгоняющая митинги других неформальных объединений, не охраняла бы митинги подобных организаций и не пропускала бы мимо ушей раздававшиеся там открытые призывы к насилию, явно противоречащие закону.

Всюду есть люди, искренне полагающие, что они действуют на благо народа, страны, социализма и т. д. Искренними могут быть самые дикие заблуждения. Но всюду могут быть и люди, примкнувшие к ним по соображениям выгоды, даже отнюдь не гарантированной, рискующие ради нее, поскольку никто наперед точно еще не знает, какая тенденция возьмет верх завтра. И потому важно не только то, из каких видов человек говорит, но и что он говорит, за что ратует и даже на чем предпочитает получать выгоду — на подлости или на подвиге.

Впервые за долгие годы мы живем в условиях открытой политической борьбы, и рискуют, стало быть, уже не одиночки, а все ее участники. Переход Коротича от беспроигрышных похвал Брежневу, которые мне, в годы застоя, как, впрочем, и теперь, отнюдь не преуспевавшему, нравились еще меньше, чем Кожинову, к рискованной борьбе за обновление общества побуждает непредвзятого человека отнестись к нему лучше, чем прежде. А Кожинов стал относиться к нему явно хуже.

Кожинов пропагандирует миф о непорочном зачатии прогресса, чтобы порочить тех, кто, преодолев свое конформистское прошлое, рискнул в сложной обстановке совершить выбор в пользу демократических перемен. Таких людей обличают сегодня особенно яростно. На соседних страницах той же книжки журнала Станислав Куняев винит редактора «Книжного обозрения» Е. С. Аверина в том, что тот некогда работал в аппарате первого секретаря МГК КПСС В. В. Гришина. Не то чтобы Аверин там совершил нечто худое,— таких фактов Куняев, во всяком случае, не приводит. Порочащим оказывается сам факт работы в партийном аппарате. Но может ли такое быть персональной виной одного-единственного и, к тому же, бывшего сотрудника? А если всякий работник аппарата заведомо виноват, меня, беспартийного, очень занимает, почему же Куняев, давний член КПСС, ни прежде, ни теперь не выступил за ликвидацию этого аппарата? Неужто лишь потому, что это может оказаться невыгодным?

Признать, что виноваты все,— значит признать, что никто не виноват, но вина у каждого человека своя, а есть и вовсе невиновные. Цитировать похвалы Бухарина Сталину нетрудно, но выводить из них идентичность политической позиции обоих, вопреки тому, что один другого все же расстрелял, даже и для мифотворца как-то чересчур.

Нам долго втолковывали, что советский народ состоит из одних сталинистов, поскольку на полях Отечественной войны солдаты шли в бой с кличем: «За Родину! За Сталина!». Где уж тут вспоминать, что в реальности, если даже политрук такой клич бросал, солдаты, идя в бой, нередко вторили ему матерной бранью. Но если бы даже они этот клич добросовестно повторяли, он значил бы не более, чем клич: «За веру, царя и отечество!» в первую мировую, не дающий все же основания утверждать, что воевали одни православные и что все они были за царя,— когда царя сбросили, армия защищать его не стала.

Не в меру занимая читателя чисто ритуальными грехами, его нынче отвлекают от грехов реальных, от преступлений против людей и общества. Вот и к авторам известного «Письма одиннадцати» против «Нового мира» В. Кожинов — не то, что к Коротичу — снисходителен и доходит до прямой неправды, до уверений, будто «Письмо» вовсе не было нападением на «Новый мир», но лишь защищало журнал «Молодая гвардия» от атаки, предпринятой А. Дементьевым. По Кожинову, «Молодая гвардия» в ту пору была чрезвычайно близка «Новому миру» и лично Твардовскому, и даже наследник у них, оказывается, общий — «Наш современник». Между тем, одиннадцать говорили о выступлении Дементьева как о типичном для «Нового мира» и откровенно писали: «не требуется подробно читателю говорить о характере тех идей, которые *давно уже* (то есть, задолго до статьи Дементьева.— *П. К.*) проповедует „Новый мир“».

Одиннадцать горели желанием «сорвать „успешное“ наведение мостов между классово чуждыми идеологиями». Не предполагали они, что не столь далек час, когда, при сохранении классовых различий, наведение мостов окажется единственной альтернативой всеобщей гибели. Тех, кто и прежде это понимал и ратовал за спасение Родины от ядерного пожара, тогда именовали «отщепенцами». Против них-то и выступали, не за страх, а за совесть, одиннадцать. Это вам не дежурные похвалы прозе Брежнева, а прямое идеологическое обоснование осуществленного им свертывания экономических реформ и формирования внешней политики, приведшей в Афганистан. Но для Кожинова ничего этого как бы и не было. Важнейший эпизод внутриполитической борьбы он сводит к недоразумению.

Твардовский, однако, опубликовал в седьмом номере за тот же шестьдесят девятый год краткий ответ на «Письмо», где объяснил, что одиннадцать отнюдь не только на Дементьева нападают, но «ставят, по-видимому, себе более широкую задачу. Недаром „Письмо в редакцию“ снабжено широковещательным названием „Против чего выступает „Новый мир“?“. И одиннадцать литераторов, не утруждая себя подробным рассмотрением положений статьи А. Дементьева, со всей решимостью пытаются ответить на риторический вопрос заглавия в том смысле, что „Новый мир“ выступает против патриотической темы в литературе; против любви к Родине, к деревне, к самой русской природе, к святыням русской старины и, наконец, против дружбы и братства народов СССР. Такой поворот разговора, грубая демагогия и развязный тон „письма одиннадцати“ исключают возможность спора по существу». Так воспринял письмо одиннадцати Твардовский. Но мифотворцу Кожинову это нисколько не мешает нас уверять, что «пресловутое письмо» не играло и не могло играть сколько-нибудь существенной роли в судьбе «Нового мира». Он ссылается даже на В. Лакшина, написавшего, что «атака на „Новый мир“ летом 1969 года захлебнулась...», и обрывает фразу, а далее-то сказано: «но для нас это была, пожалуй, пиррова победа». И, действительно, не прошло полугода, как журнал был разгромлен, а еще через полгода Твардовского свалили болезни, которых он уже не одолел.

Видимо, Михаил Алексеев со товарищи и впрямь не самое верное оружие выбрали, раз даже Суслову понадобилось еще полгода, чтобы окончательно принять их сторону. Но ведь сторона-то, на которой они стоят, очевидна,— так можно ли провозглашать открытых противников союзниками? В том-то и дело, что, по Кожинову, можно! Он смело творит новую, никогда не имевшую места «реальность». Он изображает историю не такой, какой она была, со всем ее величием и всей неприглядностью, но такой, как она ему удобна, какой ему *выгодно* ее изображать.

2. МИФ О СОТВОРЕНИИ МИРА

Нет, Вадим Кожинов отнюдь не легкомысленный пересказчик давних литературных сплетен. Он пропагандист целостного мировоззрения, и не его вина, как и не его заслуга, что после 1917 года мировоззрение это трудно формулировать, хоть почва для него унавожена. За свержением трехсотлетней власти дома Романовых, олицетворявшей феодальную реакцию, последовали такие кошмары, как раскрестьянивание, глумление над культурой и ГУЛаг. Надежда на человечный социализм, почти целый век пленявшая страну,— среди депутатов Учредительного собрания подавляющее большинство составляли социалисты (эсеры, большевики, меньшевики),— уступила место надежде на личный успех любой ценой.

Не будем себя обманывать: массовый интерес к прошлому вызван не только желанием понять происходящее, но и поисками в прошлом идеала, который прежде искали в будущем. Честнее и талантливее других попытался найти идеал в былом Василий Белов со своим «Ладом», да только принять его мешает как раз память о былом — о голодных годах старой России, о неодолимых тяготах прежней крестьянской жизни. Не зря ведь у Глеба Успенского, Чехова или Бунина, не говоря о Льве Толстом, старая деревня, неведомая Белову, но манящая его ладом, воплощала власть тьмы. Книга, написанная как нравственный манифест нации, на деле оказалась лишь этнографическим пособием, и это привело одаренного писателя к душевным разладам, сказавшимся на позднейших работах. Роману «Все впереди», чтобы привлечь читателя, уже не понадобилось замечательное чувство правды и сострадания человеку, проявившееся когда-то в «Привычном деле».

Разумеется, столь частое у нас пренебрежение текущей жизнью во имя абстрактных неопределенностей безнравственно. Но исправлять мы все же властны лишь будущее, ради чего и надобно видеть настоящее, как оно есть, и прошлое, каким оно было. Отказ от реалистической мысли о будущем, и отдаленном, и, что еще важней, близком и конкретном, неизбежно ведет к отказу от правды о прошлом. Подобный отказ уродует писательские таланты, на него решившиеся. Тут надобно бы дарование, понятием о правде не связанное, но свободно подхватывающее обломки фактов, чтобы, преобразив их вольным вымыслом, творить складные фантазии. У Василия Белова, к чести его, такое получается плохо; выступая в романе «Все впереди» мифотворцем, он разом теряет свои литературные достоинства. А Вадим Кожинов в подобных ситуациях их, напротив, обретает. Свобода вымысла дарует его перу непринужденность, и читать его вдруг становится занимательно, то и дело дивишься — эва, куда метнул!

Обратив свою непринужденность на отечественную историю, Кожинов объявил, что цель революции состояла в том,

чтобы «освободить прекрасную родину от власти самодержавия и тех классов, которые благоденствуют за счет эксплуатации народа». От самодержавия Родину, правда, освободил уже Февраль. Тем более, «было необходимо и достаточно сломать прежний государственный аппарат и институт частной собственности на основные средства производства». А беды, по Кожинову, начались с того, что сломать захотели «буквально *все* основы и формы прежнего бытия страны». Этого захотели, оказываетсн, практически все руководители РКП — и Троцкий, и Сталин, и Бухарин, и прочие. Исключение сделано лишь для Ленина, поскольку он (где и когда именно, Кожинов читателю не сообщает) сказал: «нам, великорусским созиательным пролетариям... больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты». Сказано это было, между тем, в статье «О национальной гордости великороссов» в декабре 1914 года. А именно в ней (о чем Кожинов тоже умалчивает) Ленин сказал: «нельзя великороссам „защищать отечество“ иначе, как желая поражения во всякой войне царизму, как наименьшего зла длн 9/10 населения Великороссии», и особо добавил: «экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами». Разве и то и другое, коль скоро мы вместе с Кожиновым обратимся для уяснения позиции Ленина к этой статье, не предполагает весьма радикальной ломки «прежнего бытия страны» и не убеждает, что Ленин вовсе не был в этом отношении исключением среди товарищей по партии?

Кожинов пишет: «Сталинизм — это порождение перешедшей все необходимые границы "ломки" народного и человеческого бытия», а поскольку ие только Сталин, но и Троцкий, и Бухарин, и прочие, по Кожинову, стояли за коренную ломку, то есть были, по существу, «сталинистами», возможной альтернативы случившемуся он ни в коем случае не допускает. Утверждая, что Ленин был против ломки, надлежало бы задуматься: ну, а проживи Ленин подольше, не будь он болен, не будь он ранен,— может, одолел бы ломающих сверх меры, глядишь, альтернатива и выглянула бы? Этого простого вопроса В. Кожинов удивительным образом перед собой даже не ставит, и приходится думать, что Ленина он исключает из списка сторонников ломки либо потому, что это ему опять же выгодно, либо щадя чувства читателей, либо полагая, что и Ленин бы со стремлением «ломать» не совладал. Ничего страшного в последнем допущении не было бы, но, избегая его, Кожинов явно лукавит, а ведь если уверяешь, что в партии имела место политическая борьба, надо все же ясно обозначить, между кем и кем, а главное, из-за чего она шла. Тогда не получалось бы, что партия хотела коренной ломки, а вождь, оказывается, вел ее на штурм Зимнего во имя сохранения «традиций, глубоко своеобразных в каждой стране, вытекающих из своеобразия природных условий, исторически сложившихся отношений между людьми, в конце концов, даже господствующей в данной стране религии», как получается ныне у Кожинова.

Между тем Ленин прямо писал о целях революции. За месяц до восстания в статье «Задачи революции» он, не ограничиваясь призывом к захвату власти Советами, ратует за немедленное установление мира, подчеркивая, что при этом «*каждая* народность, без единого исключения, и в Европе и в колониях, получает свободу и возможность решать сама, образует ли она *отдельное* государство или входит в состав любого иного государства». И далее Ленин пишет: «Мы обязаны удовлетворить тотчас условии украинцев и финляндцев, обеспечить им, как и всем иноплеменникам в России, полную свободу, вплоть до свободы отделения, применить то же самое ко *всей* Армении, обязаться очистить ее и занятые нами турецкие земли и т. д.». Он зовет также передать землю, взятую у помещиков без выкупа, «в заведывание крестьянских комитетов» и добиться установления всеобщей трудовой повинности! А в обращении к населению 19(6) ноября, то есть через десять дней после Октябрьского восстания, Ленин открыто говорит: «Постепенно, с согласия и одобрения большинства крестьян, по указаниям *практического* опыта их и рабочих, мы пойдем твердо и неуклонно к победе социализма...». Как видим, Ленин выступал за более чем радикальные перемены, никак не совместимые со стремлением Кожинова сохранить вековые модели.

Вековой, заложенной Иваном Грозным, а в прообразе еще Батыем, имперской модели Ленин противопоставил полную самостоятельность не только Украины, но даже и небольшой Армении. За право отделения он ратовал, понятно, не затем, чтобы все народы России прекратили между собой отношения, но затем, чтобы изменить эти отношения, чтобы на смену империи, где первым считался один народ, в значительной своей части тоже не свободный при этом от социального угнетения, пришел добровольный союз равноправных и свободных народов. Неравенство народов империи и незатухавшее стремление царизма еще больше ее расширить терзали Ленина не меньше, чем угнетение русского народа помещиками и капиталистами. В статье «О национальной гордости великороссов», на которую Кожинов пытался опереться, он «не заметил» прекрасных ленинских слов: «мы *особенно* ненавидим *свое* рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам». Мысль Ленина, как видим, движется совсем иными путями, чем у Кожинова, позволяющего себе писать ради доказательства того, что Россия якобы не потерпела поражения в первой мировой войне: «войска противника заняли только часть так называемого Царства Польского и Литвы, но не смогли захватить *ни одного* клочка собственно русских земель». Имперскому человеку привычно делить империю на метрополию, забота о которой на первом плане, и колонии, которыми на худой конец можно и поступиться!

Итак, еще один миф: Ленин, по Кожинову, был добрым консерватором, возглавлявшим не в меру революционную партию. На деле, однако, партия, включая большинство ее руководителей, в основных вопросах шла за Лениным, а Ленин чутко улавливал настроения в партии. Бывали, понятно, споры, расхождения, люди убеждали и переубеждали друг друга, но в понимании целей расхождений как раз было немного,— и Ленин и партия в те годы решительно противостояли сохранению вековой модели, любезной Кожинову.

Справедливость требует, однако, сказать, что против этой модели они выступили отнюдь не первыми в России. Спор о нашей «особенной стати», о нашей, не похожей ни на какие другие, модели общественного развития пришел на смену сознанию общности нашей страны с другими европейскими. Между государством Хлодвига и государством Святослава принципиальных различий нет, лишь хронологические. Владимир, принимая христианство, открыто вводил свою страну в европейское сообщество,— хоть христианство и пришло на Русь из Византии, церкви в то время еще не разделились, и европейское христианство, при всех оговорках, сознавалось еще единым. Никого не удивляет, что дочери Ярослава Мудрого стали женами европейских монархов: Елизавета — норвежского короля Гаральда, Анна — французского короля Генриха, Анастасия — венгерского короля Андрея. Монгольское завоевание, разумеется, вырвало Русь из европейского и вовлекло в другое сообщество, но мечта об освобождении и само наличие остававшихся свободными русских земель поддерживали причастность к христианской Европе. Вольный Новгород и покорная татарам Москва, конечно, не схожи, но вряд ли случайно тотчас по освобождении для сооружения в Москве православных храмов приглашаются католики итальянцы. Сознание европейской общности было, видимо, все же сильней, чем даже определившееся к той поре расхождение двух ветвей христианства.

Реальное различие общественных моделей, да и то поначалу не всеобъемлющее, определяется с развитием крепостного права, с его так называемым «вторым изданием», когда у подвластных феодалу русских крестьян все возрастала личная зависимость, тогда как у английских и французских росла личная самостоятельность. Но и в крепостной России причастность к Европе была неистребима и проявлялась не только в регулярном заимствовании образцов для промышленности и армии, как при Петре I, не только в художественных примерах, но и в поисках полезных для страны иных, чем установившаяся со времен Грозного, общественных моделей. Их искали в Европе и Василий Голицын при Софье, и Дмитрий Голицын при Анне, и Никита Панин при Екатерине, и Новиков, и Радищев, и Сперанский, и Чаадаев, и Пушкин, и декабристы, и петрашевцы. А когда «извечная» крепостническая модель обрекла страну на явную отсталость, об этом стали думать на всех этажах — от царя Александра II и его брата Константина Николаевича до Чернышевского.

Смена модели стала основной проблемой русской жизни в XIX и XX веках задолго до большевиков. Ленин и его партия были лишь наиболее далеко идущими приверженцами такой смены, быть может, оттого столь радикальными, что сопротивление было яростным и самая смена модели совершалась крайне непоследовательно, начиная с половинчатой крестьянской реформы, оставившей крестьян без земли. Делать, подобно Кожинову, вид, будто вопрос о смене модели встал лишь с революцией, тоже означает заниматься мифотворчеством. На деле наше своеобразие состояло прежде всего в том, что правящая феодальная верхушка долго тормозила переход на новую буржуазную модель, не давала ходу ее сторонникам, и в стране не накопилось достаточно ре-

альных сил, чтобы ее отстоять. Оттого-то дерзко противостоять старой полуфеодальной модели сумели лишь приверженцы еще более новой — социалистической.

Кожинов не дает себе труда задуматься, почему же в 1917 году свершилась революция, да еще такая беспощадная. А произошло это потому, что «извечная» модель была уже совсем несообразна ни развитию производства, ни тому напряжению, которое приходилось выдерживать империи, ввязавшейся еще и в войну,— и отнюдь не ради защиты русского народа от внешней опасности! Но революция — не только конец одной эпохи, а и начало другой. Между тем, страна оставалась экономически отсталой, и переход к Марксову социализму, который большевики, не исключая и Ленина, вскоре стали осуществлять отнюдь не «постепенно», как предполагалось сперва, а кавалерийской атакой, осуществиться в ней не мог. И спор о моделях возобновился с новой силой.

Отступление от псевдоромантических иллюзий военного коммунизма, от манящей, но неосуществимой социалистической модели было неизбежным, и полемика фактически пошла о том, к какой из прежних моделей отступать — к старой феодальной или к так и не осуществившейся в России в полную меру буржуазной. Ленин, не отрекшийся от идеала Марксова постбуржуазного социализма, создавая нэп, явно предпочел в качестве рубежа отступления буржуазную, стоимостно-меновую модель, надеясь удержать при этом власть коммунистической партии. Отчетливо обозначившаяся позднее сталинская модель, напротив, ориентировалась на «извечную», феодально-крепостническую.

Для Кожинова, как мы помним, «сталинизм — это порождение перешедшей все необходимые границы „ломки“ народного и человеческого бытия». Здесь особенно примечательно слово «порождение», словно Сталин продолжал ломать то, что начала ломать революция. На деле,— и в этом вся суть «великого перелома»,— хоть «ломка» и впрямь шла с все возрастающей интенсивностью, направление ее коренным образом переменилось. Если после революции ломали феодальные элементы государственной машины, помещичье землевладение и крупную буржуазию,— мелкая, особенно в деревне, после Октября даже выросла, а нэп укрепил ее и в городе, то сталинская ломка была, наоборот, направлена против буржуазных элементов города и деревни и, что особенно важно, против сторонников Марксова социализма в рядах самой партии большевиков.

Конечно, еще Ленин не раз говорил о кулаке как носителе буржуазности и, стало быть, противнике социализма, подчеркивая, что после Октября, после вытеснения помещика, кулак занял в русской деревне место, какого прежде не занимал. Против его могущества и должны были, по мысли Ленина, создаваться кооперативы, призванные вести с ним экономическое состязание. Но Сталин-то не состязался с кулаком, не вытеснял его экономически, а уничтожал физически, заодно уничтожая и вообще самостоятельное крестьянство, ставя на его место колхозы, мало общего имевшие с ленинскими кооперативами и на практике обращавшиеся в подобия крепостных хозяйств.

Лишь сознавая сегодня эту, не столь ясную тогда реальность, можно понять, что в ходе внутрипартийных дискуссий все лидеры, не исключая и Ленина, определяли свои позиции с учетом во многом для всех них неожиданного развития событий. Это и позволяет набрать у каждого на разных этапах дискуссии прямо противоречащие друг другу цитаты.

Беда не в том, что в журнале «Наш современник» с особой злобой клеймят именно Бухарина, что ни говори, звавшего крестьянство не к обнищанию, а к обогащению. Меня скорее тревожит, что Кожинов уклоняется от признания даже тех ошибок Ленина, в которых тот сам открыто признавался, чтобы точнее определить социальную реальность. Кожинов и не задумывается о мере приложимости суждений Маркса о революции, вспыхивающей на пределе развития буржуазного строя в передовых промышленных странах, к революции в стране отсталой и аграрной. Отсталость, отягощенность феодальным наследством он именует своеобразием. Но исследование не может быть плодотворным, ограничивая себя зонами заведомой непогрешимости то народа, то партии, то вождей, то религий, то теорий общественного развития. Оно должно начаться с признания того, что никто в одиночку не сотворил наше нынешнее общество по наперед намеченному плану,— ни Николай II, ни Столыпин, ни Распутин, ни Милюков, ни Керенский, и точно так же ни Ленин, ни Троцкий, ни Бухарин, ни Сталин, ни Ежов, ни, тем более, Хрущев и Брежнев. В этом далеко не полном списке творцов нашего мира есть гениальные умы и поразительные дарования и есть совершенные ничтожества, есть люди высочайшей личной порядочности и люди, лишенные совести и чести, но нелепо думать, что их след в сотворенном прямо пропорционален масштабам личности. Наше общество сложилось в сложнейшем взаимодействии очень разных, несовместимых воль и обстоятельств, и сегодня ему нужны не новые мифы, а достоверные анализы.

Нечего хитрить и замазывать тот общеизвестный факт, что в ходе взаимодействия, приведшего к торжеству сталинизма, была почти поголовно истреблена партия, совершившая во главе с Лениным революцию, выигравшая гражданскую войну и перешедшая к новой экономической политике. По этому поводу возможны, конечно, пошлые остроты типа «за что боролись, на то и напоролись». Серьезному исследователю и впрямь надлежит разобраться, что в ее собственном устройстве сделало такой трагический поворот возможным. И все же, будь эти люди сталинистами, как нынче уверяют все, кому не лень, не к чему было бы в таких количествах и так свирепо их истреблять. А вместо анализа причин идут в ход мифы о том, что Сталин был параноиком и чуть ли не людоедом.

Но Сталин был холодным, трезвым, не отягощенным моралью политиком, четко сознававшим собственные интересы, весьма далекие от идеалов Маркса или Ленина. Старых большевиков он уничтожал вовсе не из-за того, что они в каких-то мыслях с ним совпадали, на что, пусть часто даже недобросовестно, указывает Кожинов, а из-за того, что социализм, которого хотели они, был все же иного рода, чем феодальный социализм Сталина,— но этого различия Кожинов как раз и не желает замечать. Между тем в ходе революции и гражданской войны в большевистском движении оформились два преобладавших потом потока — ленинский и сталинский, и пусть даже второй отчасти и впрямь начал расти на почве просчетов и трудностей первого, коренное различие меж ними этим не снимается. Покуда существовала хоть какая-то внутрипартийная гласность, их спор шел открыто, а после победы Сталина продолжался в закрытых формах. Проблемы выступали под псевдонимами, в споры вступали другие, возрождавшиеся и нарождавшиеся умственные и политические течения, и нельзя ничего понять в нынешних шумных схватках, не видя их связи с теми давними, подспудными. Вот и надо докапываться до различий между Сталиным и Лениным, Сталиным и Троцким, Сталиным и Бухариным, не довольствуясь их лежащим на поверхности сходством, часто к тому же вынужденным.

Только забыв историю, можно истолковывать «Письмо одиннадцати» или нынешнюю позицию журнала «Наш современник» так, как это делает Кожинов, объявивший сталинистом даже Александра Твардовского. Но отчего же тогда Твардовский еще при Сталине сочинил для поэмы «За далью даль» главу «Литературный разговор», предмет которой — двойственность сознания, внутренний редактор, без коего «ни шагу, ни строчки и ни запятой»? По Кожинову, Твардовский лишь к концу шестидесятых осознал трагедию деревни, но всякий, кто Твардовского читал, мог видеть, что даже и в «Стране Муравии» есть не только «Рука, зовущая вперед», к которой Кожинов ее сводит.

Да, поэма вроде бы славила сталинские колхозы, но, поставив ее героя в ситуацию выбора, которого в действительности не было, Твардовский не только сумел не умолчать об «усопших, что пошли на Соловки», но с редкой для русской поэзии, всегда славившей в деревне общинное, общее, проникновенностью сумел сказать о привлекательности для крестьянина собственного, самостоятельного хозяйствования: «посеешь бубочку одну, и та твоя». Что говорить, дурно оставить за дверью отца, который тебя выкормил, и младшего брата, предоставляя их ужасающей участи, но разве не про отца сказано: «отворите мне темницу, я на волю полечу»? И разве не про тяжкую уже тогда жизнь в колхозе сказано чуть дальше:

— Кабы больше было воли,
Хочешь — здесь ты, хочешь — там...
— Кабы жалованье, что ли,
Положили мужикам?

Более того, в итоге всех похвал колхозному строительству все же выясняется, что никакого выбора на деле-то не имелось:

Была Муравская страна
И нету таковой.
Пропала, заросла она
Травою-муравой.

Этот образ — «сниться больше нечему»,— жил в поэзии Твардовского издавна, еще в те поры, когда он, может быть, еще и надеялся, что в конечном счете сталинские злодеяния обернутся для деревни благом. Вот оно как!

Можно, конечно, задним числом почитать поэту мораль. Охотников на то в избытке. И я вовсе это не к тому, чтобы объявить: поэту все дозволено. Дозволено ему в жизни не более, чем всякому человеку. Я лишь про то, что подлинный поэт за собственные падения расплачивается душой, и расплата происходит на людях, она видна каждому, у кого есть глаза, вот и не получается у Кожинова политический миф на могиле поэта.

Нет, Твардовский не был сталинистом, но, прельщенный идеями революции и равенства, он формировался в годы, когда люди в большинстве еще не слишком различали коренное противостояние ленинской революции, какие бы упреки ей ни бросать, и сталинского феодального социализма. Сталин долго казался не душителем, а продолжателем революции. Вот и молодому деревенскому парню отцовское антифеодальное стремление к самостоятельности оказалось не до конца понятно, хотя на деле оно было условием инициативы и предприимчивости, кото-

рым только и откликается земля. Твардовский, как видно по стихам, всю жизнь потом размышлял о своей юности, и примечательно, что главная его книга, книга о войне, победу в которой так часто выставляют главным доводом в пользу Сталина, при жизни «вождя народов» обошлась у него практически без Сталина, стала «книгой про бойца». Винить Твардовского в сталинизме можно, лишь игнорируя многообразие даже и тогдашних публичных суждений. Самое, впрочем, удивительное, что Кожинова при всем этом ничуть не смущает, что издания, выступающие за «извечную» национальную модель, и сегодня бьют поклоны Сталину и, проливая слезы о крестьянстве, поныне ратуют за незыблемость колхозов, и слышать не желая о подлинной аренде и фермерстве.

Сталин был связан необходимостью считаться и с нерусским населением, как-никак составляющим в стране половину, а также с международным коммунистическим движением, для которого прямое развенчание Маркса и Ленина было бы чрезмерным. Вот он и держался за номинальный марксизм-ленинизм. Но как раз в колхозном строительстве он очень рано выразил свою склонность к «извечности» хозяйственных методов, хоть и не имел возможности рекламировать ее столь же открыто, как сегодня Кожинов. Если нет гласности, ее не остается и для того, кто ее упразднил. Осознать это хоть и непросто, но давно пора.

3. ДЕМОНОЛОГИЯ

Кожинов пишет без оглядки, не смущаясь даже публичным обнаружением его грубых передержек и фактических ошибок. Но обвинение в антисемитизме он счел все же нужным если не опровергнуть, то отвергнуть, сославшись на то, что среди высоко ценимых им деятелей культуры попадаются и евреи. Сосчитав однажды, что таковых около двух десятков, он восклицает: «не слишком ли много для антисемита?». Рассуждение довольно типическое, и стоит на нем остановиться. Кожинов внушает, что антисемитом объявляют любого, кто неодобрительно отзовется о еврее, даже не по причине его еврейства. Он ссылается на то, что Давид Заславский некогда объявил так антисемитами и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, и Некрасова, и Льва Толстого, и множество других великих русских писателей разом. Это, конечно, вздор. Стиль Заславского в такой же малой степени — норма для евреев, как стиль Кожинова — норма для русских. На деле единого отношения к евреям у русских писателей вообще не наблюдается. Суждения их на сей счет весьма различны и нередко переменчивы. Утверждения Кожинова о специальном изъятии из книг классиков их антисемитских заявлений звучит двойным наветом — и, вслед Заславскому, на самих классиков, и на издателей. В массовые издания вообще далеко не все сочинения попадают, а о пропусках в академических, если Кожинов таковые обнаружил, говорить надлежит конкретно, а не голословно, поскольку они действительно недопустимы, что бы и о ком бы великий писатель ни сказал. До оскорбительности двусмысленно звучат в этой связи похвалы Кожинова Г. М. Фридлендеру, упорно боровшемуся за сохранение в академическом Достоевском вообще всех известных его текстов, а отнюдь не только антисемитских. Сам Кожинов признает, что подобные тексты сохранены и в академическом Чехове; выходит, как раз в этом отношении прекрасно сделанное собрание Достоевского ничего исключительного не представляет.

К тому же классики писали еще в ту пору, когда евреи жили по преимуществу обособленно, загнанные в гетто, за черту оседлости, и жизнь их, естественно, отличалась от жизни народа, к которому принадлежал писатель. Невозможно было и представить, что настанут дни, когда большинство евреев окажется ассимилированным русской культурой в третьем и даже четвертом поколении. Как о любом другом малознакомом народе, о них писали кто с симпатией, кто с антипатией, кто с сочувствием, кто с пренебрежением. Вообще ведь никто не обязан *любить* ни евреев, ни русских, ни какой-либо другой народ, и антисемитизм — это вовсе не отсутствие любви, а *ненависть*, ведущая и дискриминации, а затем и к газовым камерам. Считать выступления против или за отдельного человека проявлением ненависти или любви к народу, к которому он принадлежит, конечно, странно, если только в конкретной ситуации их таковыми не сделают дополнительные обстоятельства. Любить Чайковского — не значит быть русофилом, ненавидеть Аракчеева — не значит быть русофобом. Статья Давида Заславского о присуждении Нобелевской премии Борису Пастернаку не может рассматриваться как акт антисемитизма, равно как не могут рассматриваться в таком качестве и наши оценки этой гнусной статьи. Не говоря уже о том, что евреи Иисус или Иоанн не отвечают за евреев Иуду или Фому, а русский Лев Толстой за русского Василия Шульгина, нельзя перенести вину одного или даже многих людей, принадлежащих к какому-то народу, на весь этот народ, на всех, в него входящих. Чудовищно было бы объявить, что все евреи отвечают за Ягоду, все русские за Ежова, а все грузины за Берию. Да и вообще, далеко не во всех аспектах жизни роль межнациональ-

ных отношений сама по себе так уж велика.

Они, однако, становятся существенными, когда сказываются особые исторические или современные обстоятельства жизни того или иного народа. К примеру, евреям в царской России было запрещено владеть землей, и если русский народ долгое время состоял преимущественно из крестьян, то еврейского крестьянства практически не существовало, лишь немногим евреям доводилось работать на своем клочке земли. Важно сейчас не то, что отторжение евреев от земли было в свое время явным актом дискриминации, а то, что в силу этого процент городского населения среди них, — особенно, когда Временное правительство упразднило черту оседлости и позволило выбираться из местечек, где часто ни работы, ни, соответственно, средств к существованию не было, — стал выше, чем среди русских или других народов, имевших свое крестьянство. Потому-то все еще выше среди них и доля городских профессий, хоть в ходе всеобщей урбанизации она растет и у других. Между тем, на это зачастую указывают как на некую привилегию евреев.

Вадим Кожинов прямо призывает: «уместно поставить вопрос о резком нарушении "пропорциональности" как раз в отношении других наций!». Не берусь судить, заимствовал ли В. Кожинов идею поставить вопрос о нарушении «пропорциональности» непосредственно у царских чиновников, именно так обосновывавших введение процентной нормы в учебных заведениях, или дошел до нее своим умом, но ведь равенство людей, независимо от этнической принадлежности, состоит не в том, что у всех народов поддерживается одинаковый процент физиков или животноводов, а в том, что права отдельного человека не зависят от его этнической принадлежности и от положения других людей той же или другой национальности. Каждый имеет право учиться чему угодно и где угодно в меру лишь своих собственных способностей и своего личного усердия. Нелепо объявить: прекрасных русских балерин уже и так много, а, скажем, узбекских мало, и надо поэтому принимать в хореографические училища поменьше русских и побольше узбечек. Нет, простите, принимать надо всех одаренных, и русских, и узбечек. Заботящее Кожинова восстановление «пропорциональности» там, где эта «пропорциональность» исторически нарушена в результате вековой дискриминации, насильственным сокращением числа евреев среди, скажем, портных или зубных врачей и, допустим, их увеличением среди моряков и доярок, независимо от желаний и склонностей людей, не может расцениваться иначе, как прямой антисемитизм, — так оценивалась процентная норма в прежние времена, и нет причин оценивать призыв к ее возрождению иначе.

Кстати, то, что среди евреев меньше трактористов и относительно больше музыкантов, ни этим людям, ни народу в целом никаких преимуществ не приносит. Материальное положение музыканта, за вычетом немногих особо выдающихся, отнюдь не лучше, чем положение тракториста, а часто и хуже, труд музыканта тяжел и требует особых способностей и напряжения. Да и подсчеты в этой сфере ведутся недобросовестно. Рассуждают, к примеру, о завышенном среди евреев проценте лиц с учеными степенями, но элементарная объективность требовала бы, прежде всего, установить, написаны ли соответствующие диссертации в результате занятий в очной аспирантуре или докторантуре, где соискателю оказывается помощь и его освобождают от другой работы, или же диссертации подготовлены самостоятельно, параллельно основной работе, что не заказано любому желающему, способному к научным занятиям. Вот бы и посчитать, где и насколько больше (или меньше) процент евреев — в очной аспирантуре, число мест в которой ограничено, или среди написавших диссертации самостоятельно. Оставляя в своем стремлении к «пропорциональности» это принципиальное различие в стороне, Вадим Кожинов демонстрирует готовность ради дорогой ему «пропорциональности» попридержать самостоятельную научную и культурную активность людей определенных наций. Его не тревожит мысль, что, остановив людей, работающих в науке самостоятельно, можно стране, России, о которой он на словах печется, нанести ущерб. Стоит также отметить, что, в отличие от науки и искусства, где в некоторых областях процент евреев, по указанным выше причинам, и впрямь бывает выше их процента среди населения страны, в политике и сфере управления, где, по уверениям Кожинова, они также занимают 10-20% мест, такого превышения нет вовсе. Достаточно сказать, что среди членов и кандидатов в члены Политбюро нет вообще ни одного еврея, хотя, будь Кожинов прав, их было бы там 2—4 человека. Как же не назвать подобные вымыслы, да еще распространяемые массовыми тиражами, антисемитскими?

Антисемитизм — проблема общественная, она не сводима к случайному отзыву об отдельном человеке. Если даже Кожинов укажет на нелестный отзыв Льва Толстого о каком-то еврее, я не стану считать Толстого антисемитом вовсе не потому, что у него бывали и лестные отзывы о каких-то других евреях, а по его честному и чуткому пониманию еврейского вопроса в царской России как целого. Достаточно вспомнить реакцию писателя

на известный кишиневский погром, когда по его настоянию в телеграмму городскому голове вписали: «мы выражаем наше болезненное сострадание невинным жертвам толпы, наш ужас перед этим зверством русских людей, невыразимое омерзение и отвращение к подготовителям и подстрекателям толпы и безмерное негодование против попустителей этого ужасного дела».

А Вадим Кожинов по аналогичному поводу пишет: «конечно, Сталин очень плохо обошелся со многими евреями, однако все же отнюдь не в большей степени, чем с русскими и людьми других национальностей». Вспомним, однако, какие национальности были при Сталине подвергнуты более тяжким преследованиям, чем евреи. Это, конечно, крымские татары, немцы Поволжья, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, насильственно выселенные с мест их прежнего обитания. Однако у евреев была *полностью* ликвидирована национальная культура,— разом были закрыты еврейский театр, еврейские газеты и журналы и погублены не просто многие, как у других, но практически почти все видные писатели. Если уж устанавливать «пропорциональность», как любит Кожинов, не следует отвлекаться от нее и тут. Можно, конечно, лишь радоваться, что подобное не было проделано в таких же пропорциях с другими народами и, в частности, с русским, культура которого, хоть и в стесненном виде, продолжала жить, но зачем же отрицать то, что было и всем желающим знать правду отлично известно.

Кожиновская формула «отнюдь не в большей степени» распространяется часто и на гитлеровские злодеяния, замалчивается особое положение, которое, казалось бы, так наглядно продемонстрировали Освенцим и Треблинка. Разумеется, от фашизма пострадали все народы, подпавшие под его власть, не исключая и немецкого. В абсолютных числах поляков, а если считать не только мирное население, но и солдат, то и русских погибло никак не меньше, возможно, даже больше, чем евреев, уже потому, что их вообще было несопоставимо больше. Но факт остается фактом: поляков, русских, белорусов фашисты, к счастью, убивали все же выборочно, а евреев, равно как и цыган, *поголовно*. И эта особенность гитлеровской национальной политики, нашедшая потом отголосок и в сталинской, как раз и стала питательной почвой для сионизма, то есть еврейского национализма, до того долгие годы остававшегося мертворожденной теорией, хоть ее и пропагандировали такие способные публицисты, как Макс Нордау по-немецки и Владимир Жаботинский по-русски. Лишь когда миллионы людей ощутили свое особое положение, уготованный им поголовно путь в газовую камеру, столь неотвратимо не грозящий больше никому, кроме цыган, сионистская идея обособления во имя самозащиты, мучительная для народа, более двух тысячелетий жившего среди других, начала овладевать умами. И первым ее практическим проявлением было не создание государства Израиль, а восстание в Варшавском гетто, позволившее десяткам тысяч погибнуть не в газовой камере, а в бою с фашистами. Кожиновское «отнюдь не в большей мере», то есть «ничего особенного не происходило», на фоне народной катастрофы и сегодня работает на сионизм, и когда мы с горечью наблюдаем в аэропортах людей, навсегда покидающих родину, стоит помнить, что толкают их на это не только вопли против «жидов» на митингах якобы патриотических организаций, но и рассуждения В. Кожинова и подобных ему.

Ах, если бы речь шла об отдельных евреях, среди которых, как и среди русских, и украинцев, и других народов, были, конечно, и есть и негодяи, и палачи, и стукачи! И, восстанавливая реальность жизни, нет причин об этом умалчивать. Но в том-то и дело, что Кожинова и его единомышленников вовсе не реальность занимает. Заботься они об истине, они не приплясывали бы вокруг того, что евреев, равно как и людей из других угнетенных самодержавием народов (поляков, армян, латышей, грузин и так далее), среди борцов за смену модели (среди делегатов VI съезда РСДРП(б): великороссов — 92, евреев 29, латышей 17 и так далее) в любезном Кожинову «пропорциональном» отношении было больше, чем русских — роль которых в революционном движении все равно оставалась определяющей, поскольку они составляли в нем большинство.

Заботься Кожинов и прочие об истине, они бы без уловок признали, что для евреев, равно как и для русских и для других народов, речь в революции шла вовсе не о чисто национальных, но, прежде всего, о социальных проблемах, и евреи, подобно прочим народам, были социально расслоены. Немалое их число стояло за Октябрьскую революцию и партию большевиков, но отнюдь не меньшее за партии меньшевиков, эсеров, кадетов — и против Октября. Только среди черносотенцев евреев, действительно, не было, но считать всякого, кто не черносотенец, врагом России как-то странно и даже оскорбительно для России и русского народа. Но Кожинов и его единомышленники не только замалчивают в своих рассуждениях, что никакой единой еврейской, как и единой русской, позиции в годы революции и гражданской войны не существовало, но твердят о какой-то особой демонической «еврейской революционности».

А ведь и после революции, когда в Советском правительстве оказался еврей — Л. Д. Бронштейн (Троцкий), когда немало евреев заняло видные посты, никакого социального единства среди евреев все же не возникло. Дело не ограничивалось занятием мест на скамье подсудимых в процессах меньшевиков, эсеров, Промпартии и т. п. Ныне модно писать, что в раскрестьянивании участвовали евреи, в то время как среди крестьян, как было сказано, евреев практически не было, и они, выходит, были лишь среди палачей, но не среди жертв. Однако и слова не слыхать о том, что одновременно с ликвидацией нэпа в деревне, с раскулачиванием шла и ликвидация нэпа в городе, такое же, по существу, раскулачивание, и среди его жертв, с которыми обходились ничуть не милосерднее, чем с деревенскими (вспомним хотя бы прославленные «парилки», где от людей требовали золота, которого у большинства из них не было и в помине), оказалось множество евреев: ремесленников и торговцев, а в числе их палачей было множество русских и людей других наций, и расправы, кстати, были не свободны от антисемитских выпадов. Но несмотря на это, в тюрьмах, лагерях, ссылках и русские, и евреи, и другие жертвы расправ легко находили тогда общий язык, сознавали свое социальное единство. А нынче видные литераторы усердно выдергивают из списка палачей еврейские фамилии и замалчивают остальные, а в списках жертв, напротив, еврейские фамилии замалчивают, а остальные повторяют многократно. И это тоже явное проявление антисемитизма, как бы от него ни открещивался Кожинов. Похвалами Мандельштаму подтасовки, порочащие целый народ, не перекрыть.

Вадим Кожинов ко всему еще твердит, что «никто не возражает, когда... говорят о зловредных политических, идеологических, научных деятелях или дельцах какой-либо иной национальности, но если речь заходит о таких же деятелях еврейской национальности, сразу же сыплются обвинения в антисемитизме, шовинизме, черносотенстве, даже фашизме». Но вот на съезде писателей подобные обвинения звучали, напротив, в связи с «Ловлей пескарей в Грузии», и грузинская делегация в знак протеста против шовинизма даже покинула зал заседаний. И не оттого ли, что никто этого не запомнил, дело дошло до убийств в Тбилиси? Немало сказано о шовинизме в связи с погромом в Сумгаите. Национальный вопрос у нас не сводится к еврейскому, ни в жизни, ни на страницах «Нашего современника», ни в сочинениях Вадима Кожинова. Только о евреях здесь пришлось говорить потому, что лишь от обвинения в антисемитизме, а не великодержавном шовинизме вообще, он почел нужным особо отмываться.

4. СМЫСЛ БЕССМЫСЛИЦЫ

Располагая, в отличие от Кожинова, весьма ограниченной журнальной площадью, я опускаю многие мифы, им сотворенные, не говоря уже о мелких подтасовках и семантических сдвигах. В печати не раз указывали на недостоверность его построений и несообразность суждений с фактами. Кожинова это не смущало, он свои позиции не отстаивал, критиков не опровергал, но продолжал мифотворить. Природа его мифотворчества как раз и нуждается в прояснении, тем более, что он у нас не один такой, он лишь усерднее и бойчее прочих [1].

---

[1] Кожинов ухватился за пересказ в «Книжном обозрении» № 23 за 1988 год мысли Белинского о Пушкине как залоге будущего России и русской литературы. И объявил: «здесь имеет место „мешанина" из двух высказываний — Гоголя („Пушкин... это русский человек в его развитии..."— 1834 год) и Белинского („Завидуем внукам и правнукам нашим..." — 1840 год)». Особенно неловко обращается Кожинов с высказыванием Белинского, эту цитату в учебниках обычно обрывают посреди фразы, современный критик, видимо, полагая, что продолжения фразы читатель не знает, пишет: «освежив в своей памяти суждение Белинского 1840 года о том, какой будет рай через сто лет, в 1940-м, сам Карп, вероятно, придет в ужас...». Но приходить в ужас нет причин: в небольшой рецензии на «Месяцеслов на (високосный) 1840 год» Белинский никакого рая не обещает, он лишь размышляет о первом веке русской литературы, отсчитываемом им от оды Ломоносова «На взятие Хотина», который, начавшись в 1739 году, «заключился горестною кончиною последнего своего представителя — Пушкина». А завидовать внукам и правнукам зовет лишь потому, что «второй век русской литературы — сердце наше говорит нам — будет веком славным и блистательным: его приготовило окончившееся столетие, поставив литературу на истинный путь». Приготовил более всех именно заключивший век Пушкин, которого Белинский видел провозвестником будущего. Оттого-то позднее, в статье пятой (1844 год) из «Сочинений Александра Пушкина» он и цитирует Гоголя, начав как раз с абзаца, где сказано, что «Пушкин... это русский человек в его развитии...». Вот, опять же, как,— не Карп «когда-то прочитал в томах Гоголя и Белинского» и перепутал, а Белинский цитирует Гоголя, сказавшего близкое к тому, что он и сам уже говорил.

Но вообразим, что я бы и впрямь случайно перепутал цитаты, что, конечно, было бы досадно,— разве такая оплошность, да еще при том, что мысль Белинского, и сжавшись в одну строку, уцелела, давала бы Кожинову основание для столь агрессивных речей, особенно когда сам он систематически извращает цитируемое? Зачем создается миф о моей забывчивости? Не ради того только, чтобы хоть как-то лягнуть меня, а все затем же: желая сделать свое мифотворчество более достоверным, Кожинов творит миф и о самом себе как о человеке знающем, начитанном, всеведущем.

Гласность вернула общество к идейным спорам, но о сталинизме по-прежнему судят по этикеткам, им самим на себя навешанным, его по-прежнему рассматривают в пределах социализма, ленинизма, марксизма, его числят плодом отказа от традиционно особого российского пути и перехода в прошлом веке на буржуазные рельсы,— корни его, соответственно, ищут в февральской революции и чуть ли не в отмене крепостного права. На то, чтобы числиться самыми радикальными противниками сталинизма, все еще претендуют те, кто зовет вернуться к «прекрасной родине», якобы существовавшей до семнадцатого или даже до восемьсот шестьдесят первого года. Сторонники такого возврата и слушать не хотят, что сталинизм как раз и был продолжением самых реакционных течений дореволюционной поры, после революции, естественно, вынужденных до времени на словах открещиваться от своих истоков. На противоположном фланге тоже все не хотят признать, что Сталин был прямым противником ленинизма и, тем более, марксизма, хоть и вобрал в свою идеологию отдельные их положения. Приходится еще доказывать, что сталинский социализм был феодальным, поддерживая в социалистических формах феодальные, по существу, отношения.

Не то, конечно, плохо, что Сталина много критикуют,— плохо, что критикуют его поверхностно, подверстывая к нему явления, быть может, тоже достойные критики, но совсем иные. За яростными схватками крайних флангов часто остается незамеченным, что критика сталинизма, игнорирующая его корни, служит, как это ни парадоксально, более всего именно сталинизму, готовя ему новые одежды из старых царских гардеробов.

В годовщину гибели Пушкина Кожинов выступил с очередным мифом, по которому поэт, оказывается, был убит из-за того, что росло его влияние на государя, и граф Нессельроде, опасаясь радикальных политических перемен, организовал убийство. Но нужны все же хоть какие-то факты такой его деятельности. Таковые не известны, и мифотворец Кожинов их творит — известные слова Александра II о даме, писавшей Пушкину анонимные письма: «это — Нессельроде!» — он без каких-либо мотивировок объявляет относящимися к ее мужу!

Николай I при этом подается как человек, готовый строить свой политический курс по советам Пушкина, и лишь коварство инородцев лишило его такой возможности. По Кожинову, если какой царь что и не так сделал, то исключительно из-за чьих-то козней, ибо самодержавие — это «извечная» традиция. До перемен в обществе, до трансформации составляющих его сословий и классов Кожинову нет дела. Он категоричен: дворянство, опора самодержавия, сформировалось в рамках опричнины, и все тут! На деле-то дворянство началось в России в XII—XIII веках, если не раньше, когда об опричнине и речи не было. Да и опричнина включала в себя людей весьма различного происхождения: фамилии, перечисляемые Кожиновым, известны задолго до опричнины, это фамилии княжеские, восходившие часто еще к удельным князьям, иные были боярами до опричнины, другие получили боярство после. Российское дворянство складывалось отнюдь не из одних опричников, но из тех же бояр и других элементов. Одни продолжали отстаивать неограниченное самодержавие, другие поднимались против него за сословные права, и эти другие все больше ущемлялись и оттеснялись, вплоть до крестьянской реформы, когда и в дворянской среде возникли новые тенденции. Достаточно вспомнить «Мою родословную», чтобы ощутить различие для Пушкина между теми, кто «не ваксил царских сапогов», и теми, кто охотно это делал. Но Кожинову не Пушкин интересен, а возможность создать его именем миф о благих намерениях самодержавия, тормозившего развитие страны во имя сохранения «извечной» крепостнической модели.

Спор о модели, анализируется ли она на примере Николая I или Сталина, остается ключевым для понимания происходящего ныне и того, что надлежит делать. Различия современных программ восходят к давно обозначившемуся противостоянию феодальных начал, с которыми не то что царская власть, но и Временное правительство не покончило, и начал буржуазных и постбуржуазно-социалистических. Схватка меж ними, длившаяся от отмены крепостного права до «великого перелома», привела к возрождению и укреплению феодальных начал в виде сталинского феодального социализма, ожесточившего «извечную» модель.

Можно, конечно, ее, как старое пальто, еще раз перелицевать, на место формализованной идеологии, лишь по инерции именовавшейся марксистско-ленинской, можно опять водрузить «православие, самодержавие и народность», к чему, собственно, и сводятся цели Кожинова и его единомышленников. Но даже ратуя за благо одного лишь русского народа и пренебрегая остальными, стоило бы помнить, что и русский народ отнюдь не добровольно принимал феодально-реакционный порядок Ивана Грозного или феодальный социализм Сталина, что в России жил не один Калиныч, но и Хорь.

Русский крестьянин стремился не только к сохранению уравнительных порядков общины, помещику-крепостнику не опасных, даже удобных, но и к самостоятельности. Красные победили в гражданской войне прежде всего потому, что уже декретом о земле подали крестьянину надежду на самостоятельность. Вводя продразверстку, они теряли крестьянскую поддержку, однако крестьянин вновь склонялся к большевикам, когда обнаруживалось, что белые его самостоятельности и права на полученную землю признать не хотят.

Октябрь призван был разрешить обе проблемы, по которым «извечная» модель загнала страну в тупик,— аграрную и национальную. Ленин теоретически противопоставил полукрепостническому помещичьему хозяйству самостоятельность крестьянина с перспективой его сугубо добровольной кооперации с желающими того односельчанами, а единой и неделимой империи — союз самостоятельных республик. Сталин повернул и то и другое вспять: крестьянин был принудительно коллективизирован, а самостоятельность республик свелась к их частичной культурной автономии. Оттого-то вопросы, стоявшие перед Октябрем, вновь ставятся ныне, пусть на совсем ином уровне промышленного развития и при совсем иных сельских жителях, не говоря уже о кровавом грузе их неразрешимости в рамках сталинской «извечной» модели.

Среди появляющихся ответов на старые Октябрьские вопросы бессмыслицы Вадима Кожинова не настолько бессмысленны, чтобы свести спор к перечислению ошибок и недобросовестностей.

В ленинской послеоктябрьской нэповской модели наличествовало нечто, поманившее к ней крестьянина, ныне не спешащего откликаться на призыв брать землю в аренду. Сегодня нет уверенности, что землю, в которую будут вложены силы и средства, вскоре не отнимут, что она не будет очередным распоряжением отнята у детей. И нет этой уверенности, прежде всего, потому, что арендовать предлагают не у государства, не у сельсовета, а у того же колхоза или даже совхоза. В свете этой коллизии отнюдь не случайно заявление Кожинова, что, дескать, «беда нашего сельского хозяйства не в колхозах и совхозах как таковых». Ах, господи, ну, конечно, не как в «таковых», и там, где колхозы существуют по свободно выраженному желанию крестьян, распускать их было бы просто глупо. (Совхоз, однако, никак нельзя счесть за крестьянское объединение,— крестьянин там обращен в наемного рабочего.) Плох не колхоз «как таковой», а недобровольность членства в нем. Но ведь добровольность восстановится лишь тогда, когда крестьянин сможет, по своей воле уйдя из колхоза, остаться на земле, став если не собственником, то арендатором у государства. Сознавая эту возможность, он, может быть, никогда и не уйдет, но природа колхоза изменится, она отойдет от «извечной» модели, отчуждение крестьянина от колхозного хозяйства окончится. Однако Кожинов твердо стоит за колхозы именно как за «извечную» модель. Вот почему, хоть он впрямую вроде и не хвалит Сталина, его считают сталинистом с гораздо большим основанием, чем он счел сталинистом Твардовского.

Кожинов делит хозяйственные модели на зарубежные и отечественные, на западнические и почвеннические и, вопреки очевидности, уверяет, что отечественные и почвеннические не в пример плодотворнее. Но хозяйство лишь исторически, а не имманентно, связывается с национальными особенностями. Оно, конечно, зависит от сложившейся у народа политической структуры и, в свою очередь, оказывает влияние на народный характер. Но ведь в Южной и Северной Корее, в Западной и Восточной Германии, хоть люди там и тут этнически единообразны и говорят на одном языке, хозяйство совсем разное.

Хозяйство бывает либо внеэкономическим, как при феодализме, либо экономическим, как при капитализме и как должно быть при сменяющем его социализме, поскольку без реальных экономических параметров современная техника разоряет общество и заводит его в тупик, а с ними его обогащает и служит всем людям. Выбор между экономической и внеэкономической жизнью и есть самый главный, решающий. При всех возможных вариантах он совпадает с выбором между правом одних решать за других и правом каждого решать за себя, то есть демократией. А она сама по себе предполагает разнообразие моделей, а не «извечную» и вечную приверженность одной-единственной, антиэкономической и антидемократической. «Прекрасной» модели у нас за спиной нет, и придется ее собирать из тех примет, которые и у нас мелькали — свободы крестьянина, свободы рабочего, свободы ученого, свободы художника, социальной помощи всем и зависимости государства, покуда оно существует, от общества, а не, как мы привыкли, наоборот.

Я тоже «далеко ушел от литературных споров». Ведь за рассуждениями о литературе и искусстве сегодня стоят насущные проблемы жизни нашего общего отечества. Чтобы их разрешить, надо их видеть, как они есть. Ради этого и приходится мифы, творимые Вадимом Кожиновым и другими мифотворцами, опровергать вновь и вновь, чтобы мифы эти не застили людям взоры. Слишком дорогой ценой придется потом расплачиваться за сегодняшнюю слепоту.

Владимир
ВАСИЛЬЕВ

ПИСЬМО К МИЛОРДУ

Размышления о романе Александра Житинского «Потерянный дом, или Разговоры с милордом»[1]

Милорд!

Разрешите пожать Вашу интеллигентную руку, столь решительно оторвавшую некий Кооперативный дом от фундамента и опустившую его на проезжую часть улицы Безымянной на Петроградской стороне. Не сочтите также за труд передать мой поклон Вашему почтенному соавтору сэру Лоренсу Стерну, подвигнувшему Вас на столь серьезный труд. Теперь, видимо, я обязан представиться. Я — житель Вашего кооперативного дома. Да, да, милорд, не удивляйтесь! Дело в том, что когда листки Вашей рукописи, превращенные в голубей младшим поколением семейства Демилле, полетели в мир, некоторые из них оказались в верхних слоях атмосферы и достигли далекого Ташкента. В результате я обратился в бюро по обмену жилплощади. И вот мы с Вами соседи. Более того, я въехал в ту самую квартирку, которая освободилась, когда Вы слились со своим героем. Я Вас не осуждаю. Плох тот автор, который не умеет этого делать, но и Вы не удивляйтесь, если вдруг обнаружите, что я — это Вы.

Что более всего привлекло меня в Вашем романе, милорд? Реализм! Тот самый, о котором вы говорите: «Реализм — не метод, а цель... Под реалистической же целью я понимаю правду». Разумеется, в таком виде, в каком она именно Вам представляется. Настоящая литература — это возможность общения с честным и умным человеком. Не более, но и не менее. В чем, представляется мне, основа реализма Вашего романа? В том, что предметом его являются реальные жители «реального социализма». В том, что движущей силой романа является исследование диалектического противоречия между «реальным социализмом» и идеальными представлениями о нем. В этом основа не только реализма, но и успеха Вашего произведения. Вы, милорд, говорите о главном именно сейчас — в переломный, хочется верить, момент истории нашего общества, и, следовательно, всего человечества. А главное — это идеалы, дающие нашей жизни смысл. И посему, несмотря на начальственные окрики с высокой трибуны, мы будем пристрастно (ибо невозможно делать это беспристрастно) сопоставлять канонизированные идеалы социализма с их реальным воплощением, пытаться понять, в чем причина несоответствия — в несовершенстве идеалов или неумелости и корыстности тех, кто их осуществляет. И никто не в силах запретить нам на основе столь громадной ценой приобретенного исторического опыта переформулировать идеалы, сделать их более конкретными, жизненными, а главное — действенными. Не «кликушествуя над историческим наследием советской эпохи» (из доклада Е. К. Лигачева на Пленуме ЦК КПСС, февраль 1988 года), а с болью изучая его, мы все же должны, ибо это — дело нашей чести, разобраться: тот или не тот социализм мы построили. И главное — какой социализм мы будем строить далее. Конечно, благородны долг и обязанность «отстоять честь и достоинство первопроходцев социализма», но ситуация гораздо серьезней: наш долг — отстоять честь и достоинство социализма как системы, а это возможно только в том случае, если мы, излечившись от бюрократической болезни выдавать желаемое за действительное, на деле докажем жизнеспособность и преимущество этой системы перед всеми иными формами общественного устройства.

Ваш роман, милорд,— художественно убедительное доказательство необходимости именно перестройки Нашего Дома. Ведь даже перемещение его на столь революционную территорию, как Петроградская сторона — «колыбель революции», даже установление в нем сначала сильной и справедливой административной власти майора Рыскаля, а затем столь же справедливой демократически выбранной власти пенсионера Рыскаля не позволили ни Вам, ни Рыскалю наладить в доме коммунистический быт. Почему? Да хотя бы потому, что и жильцы в нем частично остались те же, частично сменились на люмпенов, и сам дом — тот же, и почве Петроградской стороны он чужд (хотя и почва уже не та), и власть осталась у тех же лиц. Вывод, по-моему, таков: возвращение к способу общежития, характерному для «военного коммунизма» или первых пятилеток, не принесет ничего, кроме дополнительных неудобств жильцам Дома. А для чего, собственно, Дом? Для того, чтобы жильцам в нем было удобно. Поэтому мы должны настоять именно на революционных преобразованиях Нашего Дома вместо перенесения

его с места на место, косметического ремонта и рытья временных емкостей для отходов. Сформировать Идеалы, которые бы дали нам силы отстоять свое право быть хозяевами собственной жизни, покончить с «рабом в себе» и с раболепием в народе, право «вершить суд над великанами советской культуры» (из доклада Е. К. Лигачева), решая, кто великан, а кто пигмей самим, без соизволения начальства.

Кстати, извините, милорд, отвлекусь от Вашего романа, чтобы обратить внимание на странное отсутствие конкретности в докладе члена Политбюро. Быть может, я ломлюсь в открытые двери? Каких великанов он имеет в виду? Кого защищает? Свидетельством чего служит эта неконкретность? Ведь из каждого громко сказанного со столь высокой трибуны слова следуют оргвыводы на местах. Такова система. Не правда ли, милорд? «Внутренняя государственная система стала как бы частью нашей нервной системы — и значительной! Мы так тонко чувствуем, что можно и чего нельзя в нашем государстве, что иностранцы, милорд, изумляются!..»

Вы правы, милорд, «у каждого гражданина имеется в голове проект идеального устройства нашего государства... причем все проекты не совпадают», то есть, как прозвучало с высокой трибуны: «Мы не знаем того общества, в котором живем», у нас нет научно отработанной модели устройства ни реального, ни идеального общества. И каждый из нас, имея в голове «проект идеального устройства», пытается удовлетворить реальную социальную потребность. Поэтому нам нужно выработать единый, удовлетворяющий всех нас проект. Возможно ли это? Думаю, что возможно, но сначала надо отказаться от иллюзий и утопий — сжечь спичечные «Дворцы Коммунизма», как это сделал Демилле, чтобы построить Дом, пригодный для жилья.

Итак, юный Женя Демилле строит с 1950-го по 1955 год в доме старого революционера Ивана Игнатьевича Дворец Коммунизма из спичек, «национальный по форме и коммунистический по содержанию... довольно-таки причудливое сооружение, сочетавшее традиции русской архитектуры с увлечениями пятидесятых годов — башенки, шпили, балконы и террасы — сбоку прилепилась луковка церкви... короче говоря, дом был многоцелевой — и жилой, и общественный с *ярко выраженным коммунистическим характером* (курсив мой.— *В. В.*). После долгих раздумий Женя оставил в личном пользовании предполагаемых обитателей дома лишь спальни, помещавшиеся в островерхих башенках с узкими, напоминавшими бойницы, окошками». А вот видение автора на ту же тему: «Мерещится мне наше государство в виде многоквартирного дома, в котором царят чистота и порядок. Странна его архитектура: торчат островерхие башенки, где живут поэты... В многоэтажных колоннах, подпирающих крышу, я вижу ряды освещенных окон — там живут рабочие и колхозники... С покатой крыши, где устроились министры, академики и депутаты Верховного Совета, то и дело стартуют в космос ракеты... Соты интеллигенции выполняют роль фриза, а на карнизе сидят ангелы и болтают в воздухе босыми пятками. (Этим вы хотите сказать, милорд, что перед нами модель рая? — *В. В.*) Под крышей крепкой власти, подпираемой могучими колоннами трудящихся, лежит наша страна... Далекий, затерянный где-то в просторах, монумент Коммунизма манит нас. Мы еще верим в него, олухи царя небесного, в то время как практичные люди давно освободились от иллюзий...»

Что общего, кроме элементов внешнего сходства, в этих двух строениях? Думается, что прежде всего — строгая регламентация места и образа жизни жильцов величественных сооружений. У Жени Демилле — в личном пользовании жильцов только спальни военизированного образца (окна, как бойницы), у автора — всяк сверчок тоже имеет свой шесток, хотя и более комфортабельный. А главное — все это сработано монументально, на века. Так что никому и в голову не придет что-то менять в таких строениях. Попробуйте убрать одну из колонн — обвалится крыша. Все четко, разумно, функционально. Главное — разумно. Против разумности трудней всего возражать.

Вторая общая черта, неизбежно вытекающая из первой, в том, что строения предназначены для всех, а не для каждого. Личные вкусы, понятия о красоте, удобстве не предусмотрены проектом, то есть в них овеществлен жесткий, незыблемый приоритет общественных интересов над личными. Видимо, не случайно попытка Евгения Викторовича пристроить к своему Дворцу террасы для прогулок жильцов кончилась тем, что строение завалилось набок и пришлось сооружать для него подпорки. Это — еще один образный аргумент в пользу того, что пристраивать к общественному зданию что-либо чужое его сути нельзя. Единственный выход — *перестраивать*. Это художественный вывод из исторического опыта, приобретенного нашим обществом в период с XX по XXVII съезды партии. Предвидение, предчувствие решений XXVII съезда, ибо роман был написан раньше.

Но зададимся вопросом: у кого учились Ваши архитекторы? У жизни. Однако юный Женя Демилле пытался осуществить в своем проекте то, чему его учили школа, газеты, книги, то есть шел не от реальной жизни, а от того ее толкования,

---

[1] Впервые опубликован в нашем журнале (№№ 8—12, 1987). Впоследствии вышел в свет в издательстве «Советский писатель».

какому его учили. А откуда взялись эти толкования? Каковы их исторические корни?

На этот вопрос наилучшим образом мог бы ответить нам Ваш соавтор, милорд,— сэр Лоренс Стерн. Ему, по всей видимости, на собраниях бессмертных неоднократно приходилось вести интеллектуальные беседы и с сэром Томасом Мором, автором бессмертной «Утопии», и Томмазо Кампанеллой, автором столь же бессмертного «Города Солнца», а, может быть, даже и с самим Платоном, пожалуй, первым, попытавшимся построить модель идеального государства на некой рациональной основе — свою знаменитую Республику. Да, милорд, по-моему, именно у этих Учителей брали свои уроки Ваши архитекторы. Но было бы непростительно забыть автора еще одного проекта будущего социалистического устройства общества — Гракха Бабефа, составившего свой проект в 1796 году. Этот автор был человеком дела и расписал все декреты предполагавшегося правительства, сутью которых была строгая правительственная регламентация как средство достижения общественного блага. Надо всем опека, на всем строжайший полицейский надзор, все продумано, везде жесткий порядок. И при этом «одна Республика должна быть богата, великолепна и всемогуща». Обратите внимание, милорд, на истоки «чисто социалистического приоритета общественного над личным»! «За этим так и ждешь „Питер в Сарском Селе“ или „граф Аракчеев в Грузине“ — а подписал не Петр 1, а первый социалист французский Гракх Бабеф!» (Герцен А. И., «Былое и думы»).

Но почему же все-таки эти великие умы, эти бескорыстные искатели и творцы Идеала, отдавшие за него свою жизнь, так твердо стояли на позициях строгой регламентации общественного бытия?

Думается, тут три причины. Одна — в том, что Идеал вырастает на почве реального исторического опыта, включает его в себя, и потому Платон создает рабовладельческий вариант совершенного общества, Т. Мор и Т. Кампанелла — феодальный вариант. Та же закономерность не минула и Г. Бабефа. Идеал, возникший на почве абсолютизма и подавления личности в целях их отрицания для установления справедливости, оказывается бессильным измыслить иные, кроме привычных, методы достижения целей и тем отрицает сам себя, ибо революционные цели могут достигаться только революционными, то есть коренным образом отличными от известных методами.

Вторая причина тяги к регламентации общественной жизни, думается мне,— в идеалистическом уповании на разум, на его неограниченные возможности, что идет от модели управления мира божеством. Предполагается, что имеются человек или группа людей, которые точно знают, что такое счастье для всех, знают верную дорогу к этому счастью и обладают высшим (божественным) правом распорядиться судьбами тысяч и миллионов против их желания (а точнее — вовсе не принимая такового в расчет).

Третья причина — вульгарное предположение: все люди одинаковы, лишены индивидуальности, всем нужно одно и то же. Они — стадо, которое следует пасти. Но в любых исторических условиях, от Платона до наших дней, такое предположение не соответствует реальности. Как бы ни были невежественны люди, они все же мыслящие существа, каждое из которых несет в себе личную идею миропорядка, свое представление о счастье. И все попытки вдолбить в их сознание чужую им идею заранее обречены на провал, потому что люди, даже внешне подчинившись ей, в повседневных своих действиях превратят ее в *свою* идею, установят миропорядок, понятный и естественный для них. Что нам, кстати, и демонстрирует исторический опыт.

Но, может быть, Вашим архитекторам больше не у кого было учиться? (Я намеренно, милорд, не касаюсь пока основоположников научного коммунизма.) Ведь были же еще и другие великие утописты, создатели моделей справедливого общества: Сен-Симон, Фурье, Чернышевский, наконец, ближайший к нам последний великий утопист — Кропоткин. Его модель кооперативного социализма предполагала наличие высокой нравственности кооператоров, которой мы с вами и сейчас — через семьдесят лет существования «реального социализма» — никак разглядеть не можем. А нет ее, наверное, потому, что нравственность не устанавливается директивно, потому, что реальную силу имеет та нравственность, которая обеспечивает ее обладателю достойные человека условия жизни. А директивная нравственность остается парадной вывеской, ширмой, как это было с нравственностью христианской (кстати, забыл еще одного великого утописта!). И как стало с нравственностью социалистической...

В чем же отличие последних утопистов от учителей Ваших архитекторов? Они возросли на капиталистической почве и на ней же пытались вырастить свой идеал общественного устройства. Это выражалось в том, что центр тяжести при гипотетическом построении социализма переносился в область экономики, в область организации рационального, экономически более выгодного для граждан устройства общества, разумеется, исключающего эксплуатацию (элемент коммунизма). По словам Герцена, «Бабеф хотел людям приказать благосостояние и коммунистическую республику... Свое рабство общего

благосостояния. Оуэн хотел воспитать их в другой экономический быт, несравненно больше выгодный для них («культурная работа», милорд, о необходимости которой писал В. И. Ленин.— *В. В.*)... Наполеон не хотел ни того, ни другого, он понял, что французы не в самом деле желают питаться спартанской похлебкой... Наполеон, видя, как они страстно любят кровавую славу, стал натравливать их на другие народы и сам ходить с ними на охоту... Эта одинаковость вкусов совершенно объясняет любовь к нему народа: для толпы он не был упреком... он сам принадлежал толпе и показал ей ее самое...»

Вот он, феномен Наполеона, милорд! Он — в умении предложить народу естественный, понятный для него миропорядок, быть на уровне идеалов большинства. Феномен Сталина существенно сложней феномена Наполеона, но включает в себя последний как составную часть.

Итак, милорд, хочется надеяться, что мне удалось, во-первых, показать, что у Ваших архитекторов могли теоретически существовать и иные Учителя, а во-вторых, поставить под сомнение утверждение, что их сооружения имели «явно выраженный коммунистический характер». Мы видим, что существуют в корне различные идеалы — насильственного (административного) и добровольного (кооперативного) коммунизма.

Что же касается близости различных моделей коммунизма к коммунизму научному, то достаточно вспомнить фразу В. И. Ленина: «Строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма».

Но почему все-таки «феодальные идеалы коммунизма» наибольшим образом соответствовали картине «реального социализма»?

Давайте присмотримся, милорд, к «реальному социализму», который был «в основном» построен к 1936 году.

Во-первых, завершена «сплошная коллективизация», в результате которой был осуществлен возврат к методам «военного коммунизма» путем применения «чрезвычайных», то есть репрессивных мер вплоть до физического уничтожения. Вместе с кулачеством было уничтожено как класс и крестьянство, превращенное в тружеников, лишенных владения средствами производства — крепостных, бесправных, беспаспортных, работающих практически бесплатно, совершенно не заинтересованных в результатах своего труда. Экспроприация всей продукции государством означала их феодальную эксплуатацию.

Во-вторых, к этому времени в основном сформировалась Административная Система, на историческую арену вышел новый для молодого социалистического государства класс — класс социалистической бюрократии, как и в государствах иного типа, осуществлющий функцию государственного управления. Но «бюрократия никогда не забывает свои собственные интересы и привилегии. Для нее... характерна непреодолимая тяга к отождествлению своих узких, своекорыстных интересов с интересами общества. Притом непременно с „высшими“ интересами... Для укрепления своей власти бюрократия стремится раздуть управленческий аппарат, превратить его во всеобъемлющую разветвленную и максимально централизованную систему, освободиться от любого контроля... Хотя в первом приближении она является орудием правящего класса, история показывает, что в определенных условиях бюрократия успешно противопоставляет свои интересы обществу в целом, в том числе правящему классу. Социалистическая революция тоже автоматически не устраняет этой возможности. Для теории было полной неожиданностью то, что бюрократия за короткий срок смогла превратить в некоторых странах (скажем, Китай времен «культурной революции»; а я, милорд, осмелюсь внести в этот список и СССР времен «культа личности».— *В. В.*) диктатуру рабочего класса в военную или политическую бюрократическую диктатуру» (академик Г. И. Наан, «Власть и Разум», «ЭКО», 1988, № 1).

В чем особенность социалистической бюрократии? В том, что она осуществляет функцию государственного управления в условиях общенародной собственности на средства производства, стремясь превратить ее в государственную собственность, ибо это дает ей реальную власть в распоряжении средствами производства и, в конечном счете, в распределении общественного богатства. Если ей это удается, то она превращается в класс «социалистической буржуазии», порожденной противоречивой спецификой социально-экономического уклада «реального социализма». Административная Система, обретя абсолютную власть в распоряжении средствами производства, окончательно превратила бюрократию в «соцбуржуазию».

Вот она, социальная база для феодальных утопий, милорд!

Именно с этого момента контрреволюционного буржуазного переворота в нашей стране под прикрытием социалистических идей, ибо без прикрытия ничего не получилось бы, была установлена принципиально не социалистическая, то есть основанная на эксплуатации, Административная Система государственного, а через него — классового («соцбуржуазного») владения средствами производства, система управления производством

через власть над лицами, базирующаяся на сквозном принципе принуждения. С этого момента началось физическое уничтожение или превращение в дешевую рабочую силу (рабов-заключенных) сначала принципиальных противников — теоретиков «экономического» и «кооперативного» социализма (Чаянов, Кондратьев, Бухарин), а затем и интеллигенции как класса, ибо она «потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и политических группировок во всем обществе» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 7, с. 343). По социальной роли своей в обществе (движущей, обновляющей) она противостоит бюрократии как силе консервативной, стабилизирующей.

Я думаю, милорд, что не случайно широкой огласке не придаются данные о долевом участии превращенной в рабов интеллигенции и других «врагов народа» в «сталинских великих стройках коммунизма», потому что, боюсь, тогда эти стройки по методу своему мало бы отличались от какой-нибудь пирамиды Хеопса...

Но свято место пусто не бывает. Кто же пришел на смену «ликвидированной» интеллигенции? Здесь мы встречаемся с весьма примечательными героями Вашего романа — семейством Нестеровых-старших, этими «полуинтеллигентами, получившими лишь образование, но не сумевшими... овладеть культурой» — создателями и хозяевами «реального социализма». Оба из крестьян, оба энергично закончили рабфаки и институты, после чего Серафима Яковлевна энергично устремилась в академики (совсем как Т. Д. Лысенко, милорд?), но, попав в ряд скандальных историй, цели не достигла и оказалась на пенсии. Тем не менее она успела грязными методами уничтожить бывший свой институт, потом принялась за борьбу с влюбленными парочками в общественных местах, курением и выпивками, торгуя в свободное от общественной работы время вином собственного производства. Ложь порождает ложь, а ложная интеллигентность — ненависть к интеллигентности истинной: «Интеллигенты вшивые!.. Диссиденты вы, антисоветчики!»...

Теперь, думается, становится понятным, что в сознание народа внедрялись именно *утопии*, так как ни о каком научном коммунизме речи быть не могло — «реальный социализм» в корне противоречил научному. И *именно феодальные*, потому что они были наиболее близки реальному сознанию патриархального, добуржуазного большинства населения — с одной стороны, и прекрасно выполняли функцию прикрытия — с другой. Ну, чем не бабефовский «социализм» строил Сталин?!

И когда, милорд, мне сегодня пытаются с высокой трибуны, сердито насупив брови, не показать — нет, а приказать считать, что мы построили именно «тот социализм», я задаю себе вопрос: а кому выгодно, чтобы я так считал?

И отвечаю себе: тому же, кому было выгодно построить «реальный социализм» вместо научного, то есть... совершенно верно, милорд: «социалистической буржуазии», которая без бон не сдаст своих командных позиций, и будет, как и прежде, начальственно покрикивать на нас.

Но почему же ей так хорошо это удается, милорд? Да потому, что она — плоть от плоти и кровь от крови нашей. И не только в социально-экономическом аспекте, но и в духовном. Потому что мы заражены едиными утопическими бациллами. Только на социальный организм одних они действуют весьма благотворно, а другие ощущают явное недомогание. Потому-то героические и благородные попытки Ваших героев наладить «коммунистический» быт, будь то Кооперативная Идея автора, или идея «справедливой» власти майора Рыскаля, или идея честного личного труда Николая Ивановича Спиридонова, терпят крах — у этих идей нет фундамента в реальности. Они утопичны.

Начнем с автора. Сначала он, «забыв» о феодальном уклоне своего утопизма, пытается воплотить идею кооператива «в полном соответствии с правилами социалистического общежития» в условиях «реального социализма», когда реальная нравственность находится в противоречии с упомянутыми правилами. Увы, естественно — неудача. Тогда он поднимает в воздух дом, начиная литературно-социальный эксперимент, в котором пытается соединить Оуэна с Бабефом (?!). А ждать от такого соединения положительных результатов — вот уж, действительно, утопизм!

С одной стороны — строгая регламентация жизни под «крышей крепкой власти», осуществляемой майором Рыскалем, с другой — сама кооперативная идея свободного объединения людей для достижения общей цели. Первая сторона противоречия полностью отрицает суть второй. В результате майор Рыскаль, сея семена коммунистического (в его понимании) быта, пожинает равнодушие, апатию, расцветшее пышным цветом доносительство. Кстати, интересно, что Т. Кампанелла в «Городе Солнца» включил доносительство в обязательную социальную функцию каждого гражданина. Этого можно было и не делать — система «сильной власти», «крепкой руки», «ежовых рукавиц» сама порождает такое явление. Эта форма апелляции к власти — своеобразная форма личного участия в ее

деятельности, даже форма направления деятельности властей снизу. Рыскаль действительно справедлив, честен, движим благими намерениями как человек, но как «монарх» он противостоит сам себе. Дело не в его личных качествах, а в Системе, которую он представляет.

Кроме того, обнаруживается, что и упование на революционные традиции Петроградской стороны были лишены оснований — испокон веку на месте приземления Дома была пивнушка, да и вокруг — вполне реальная почва «реального социализма». Не существует уже прежней «патриархальной» России, которой был духовно близок «феодальный утопизм», а мы все еще носимся с ним и никак не можем расстаться. Да, социальная структура нашего общества коренным образом изменилась, изменились и соотношение сил, и уровень социальной культуры. Большинство уже созрело до рыночных отношений. Не перестало еще бояться их, но уже готово рискнуть и попробовать. Только сейчас мы добрались до вступления в «буржуазную культуру», о необходимости которой для успешного развития социализма писал В. И. Ленин. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Но надо помнить, что «буржуазная культура», хоть и на социалистической почве, все же «буржуазная» — со всеми негативными последствиями. Это неизбежный этап развития социально-экономических отношений, надо пройти его с пониманием сущности происходящего и видеть впереди следующую ступень — переход к социалистической культуре. В истории «большие скачки» не проходят. Посему социалистическая культура зарождалась вчера, развивается сейчас и расцветет в будущем.

Для этого Спиридонов и старается «воспитать следующее поколение русских революционеров... Сейчас есть потребность в новом поколении — чистом, честном, трезвом. Его надо готовить к борьбе... с демагогами, карьеристами. С циниками. С националистами всех мастей. С хамами... Иными словами, с непрерывно возрождающейся, как говорил Ленин, мелкобуржуазной стихией».

Да, потребность в новом поколении революционеров есть, но зачем же водружать на его глаза шоры утопической цели, призывая бороться со следствиями, а не с корнями. С мелкобуржуазной стихией, а не с Системой, порождающей ее. Да какими методами:

«Вам как талантливому архитектору достаточно строить дома, соответствующие вашему таланту. Это и будет ваш вклад в прогресс.

— Нет, вы идеалист, Николай Иванович! — засмеялся Демилле».

Да, слишком распространено это идеалистическое представление о том, что достаточно каждому хорошо делать свое дело — и жизнь сама собой установится согласно идеалу, что, как утверждает Николай Иванович, в нарушении социалистического принципа «от каждого — по способностям, каждому — по труду» «виноваты мы сами. Труженики». И даже в голову теоретику социализма не приходит, что в условиях административно-волевого управления хозяйством, в самой природе которого лежит труд по принуждению вместо товарно-денежного труда по интересу, хорошо работать означает подвергать себя (добровольно, милорд!) еще большей эксплуатации со стороны тех, кто работает плохо или чья работа заключается в принуждении к труду. Ведь чудес не бывает: все наличное богатство создается трудом. И если работающий плохо и работающий хорошо получают одинаково, то один присваивает труд другого, то есть становится эксплуататором.

Можем ли мы согласиться с таким способом борьбы за социализм? Извините, милорд, я не могу, как и Евгений Викторович Демилле, потому что мы осознаем его бессмысленность.

Какой же способ нас устроит? Только системный способ коренных революционных преобразований, выраженных в Идее перестройки. И сейчас, как никогда, прав духовный наставник Спиридонова — П. Л. Лавров: нам, «осознавшим условия прогресса», преступно «ждать, сложа руки, чтобы прогресс осуществился сам собой». Не осуществится, ибо мощны социальные силы, противостоящие ему, а именно, милорд, наша Административная Система государственного управления, своеобразию которой вы уделили немало внимания, со всеми переплетенными с ней воедино общественно-политическими и хозяйственно-экономическими институтами. То есть система реальной власти, элементы которой лично заинтересованы в сохранении и процветании целого. «Хлопковое дело», «ростовское дело», «дело Адылова» и ряд других «громких» дел продемонстрировали нам, какие вопиюще буржуазные, «мафиозные» и даже феодально-рабовладельческие формы может принимать, в принципе, эта власть в условиях обеспеченной ею для себя безнаказанности. На кого же опирается эта Система?

Административная мафия вовлекает в свою сферу весьма широкий круг дельцов на местах, реализующих функционирование «теневой» экономики. Появляется социальный слой, заинтересованный в сохранении условий для воровства. Но и массы, милорд, являются опорой Административной Системы. Во-первых, она им гарантирует относительно спокойную, хотя далеко не шикарную жизнь в том плане, что можно обеспечить прожиточный минимум, не слишком обременяя

себя трудом. А мы уже говорили, что это — скрытая эксплуатация тех, кто работает лучше, и хищническая эксплуатация природных богатств страны, ведущая к превращению ее в сырьевой придаток других стран. Массы становятся эксплуататорами, сами того не сознавая, но очень быстро и легко привыкая к такому положению вещей. Во-вторых, нельзя забывать и о факторе одурачивания масс, которые в течение десятилетий отучали самостоятельно мыслить, кнутом и пряником вдалбливая в сознание феодальные утопии как единственно возможную модель социализма. И «подсистема страха», милорд,— она очень эффективна. Так что Вы совершенно правы, утверждая, что все мы — «люди системы». И поэтому ни честный труд, ни личная борьба со «сволочами и шушерой», ни метание воображаемых бомб — все это не те методы, которые могут привести к успеху социалистической революции.

Какова же специфика революционной ситуации настоящего момента? По-моему, прежде всего, такова, что перестройка, то есть социалистическая революция, осуществляемая с целью экспроприации средств производства у «соцбуржуазии», осуществляется под непосредственным руководством самой «соцбуржуазии». Такова очередная гримаса истории, милорд. В результате «революционные преобразования» начинают постепенно принимать характер минимально возможных экономических и политических уступок. Отработанная буржуазная тактика: пусть поиграют в демократию, «выпустит пары», главное — сохранить власть!

Это нам, милорд, надо иметь в виду и не строить утопических иллюзий по поводу гласности. Гласность — это прекрасно, но она еще не социализм.

Вот мы и добрались, пожалуй, до главного вопроса: что же такое социализм? Вопрос азбучный, если бы не наше утопическое воспитание.

Итак, социализм — это общественно-экономическая формация переходного типа, характеризуемая тем, что содержит в себе и черты капитализма (а для наших условий — и феодализма), из которых вышла, и черты коммунизма, к которому устремляется. Как писал В. И. Ленин, при социализме остается в течение известного времени не только буржуазное право, но даже и буржуазное государство — без буржуазии! («Государство и революция»). Однако без оной — только в теории и только «в течение известного времени», ибо право ничто без тех, чьи интересы оно защищает. Это мы имеем (в теории) от капитализма.

От коммунизма мы имеем только отсутствие частной собственности на средства производства. Все прочие декларируемые признаки коммунизма — от лукавого.

Отсюда главное противоречие социализма: существование «буржуазного права» и «буржуазного государства» при отсутствии частной собственности на средства производства.

Оно не носит антагонистического характера до тех пор, пока не появляются классы, заинтересованные в трансформации «буржуазного права» в своих интересах. Вопрос о появлении такого класса (или классов) решается при выборе формы «общего» владения средствами производства. То есть — насколько оно государственное и насколько оно общее. Государственная монополия на средства производства приводит к резкому усилению реальной власти бюрократии, для того и существующей, чтобы осуществлять это владение. Причем вопрос о выборе формы владения опять же фактически решает бюрократия.

В результате налицо классовый антагонизм, и для осуществления прогресса общества необходима классовая борьба. Революция продолжается — тут Ваш Николай Иванович совершенно прав.

Всем критикам, да и «защитникам» социализма надо понимать, что они ломают копья вокруг пресловутого «реального социализма», а не того, фундамент которого заложен в трудах основоположников научного коммунизма. Что все «негативные явления» есть следствие не социализма как идеи, а его «буржуазной» составляющей части, и даже более того — следствие определенной недоразвитости этой части ввиду реализации феодально-абсолютистских утопий.

Не является ли гласность и демократизация нашего общества робкой попыткой использования некоторых элементов буржуазной культуры? Я уж не касаюсь культуры экономики, в которой мы, наконец-то (да и то не вполне), разрешили закону стоимости начать действовать. Это, милорд, еще не социалистическая, а буржуазная революция, точнее, «буржуазный» этап социалистической революции, который мы должны были начать полвека назад. А сейчас внедрять в социализм экономически не подготовленные элементы коммунизма — утопия!

Но все это — о социализме как переходном историческом периоде. А что же такое социализм как Идея совершенного устройства человеческого общества, то есть коммунизм?

Так вот, милорд, коммунизм, по-моему, это общественно-экономическая формация, неукоснительно реализующая нравственный закон, запрещающий рассматривать человека как средство для достижения общественных или личных целей, принципиально исключающая все формы его эксплуатации. Коммунизм кончается там, где человек превращается в средство.

Вы можете раздосадованно воскликнуть: «очередная утопия!» Но я говорю не о «реальном социализме», а об Идеале социализма, который нам предстоит утверждать в нашей социалистической революции. В этом случае, хочется надеяться, на моей стороне будут и В. Г. Белинский, и Ф. М. Достоевский, и П. Л. Лавров, столь уважаемый Вашим героем (и мной тоже). Думаю, что не отвернулся бы от этого определения и В. И. Ленин, великодушно простив мне наивность. Позову на помощь и Ф. Энгельса, который в «Принципах коммунизма» в качестве одного из принципов выдвинул требование: «ликвидация такого положения, когда потребности одних людей удовлетворяются за счет других». Это — отсутствие эксплуатации — по-моему, в социализме (коммунизме) — главное. Остальное — условия или сопутствующие признаки тому.

Я позволю себе усомниться, милорд, в социалистическом характере «приоритета общественных интересов над личными», ибо общественная выгода эфемерна, ложна, если не складывается из личных выгод. Для кого выгодно-то, если не выгодно никому? Так не бывает... Значит, выгодно кому-то за счет остальных, а это уже эксплуатация, то есть не социализм. Потому-то и терпит крах в душе Демилле идея всеобщего братства, что он, как и все мы, допускает существование некоего «высшего» общественного интереса (идеализм, милорд, чистой воды!), ради которого нужно «наступить на горло собственной песне», допустить ликвидацию части населения как класса, лишить родины целые народы. Какое уж тут равенство и братство, когда над всеми довлеет абстрактная общественная выгода, по сути, являющаяся чьим-то весьма конкретным классовым интересом!

Видимо, я в своем утопизме иду гораздо дальше Ваших героев, но тем не менее выдвигаю в качестве главного «критерия оптимизации» прогресса человечества и основы коммунистической этики — индивидуальное и, только как следствие его, общественное счастье. Я полагаю, что стремление человечества к счастью есть не что иное, как поиск наилучшей формы своего существования, а ощущение счастья — индикатор близости к этому Идеалу. Прекрасно осознаю все недостатки предлагаемого критерия. Однако только он имеет для нас практическую ценность. К тому же я полагаю, что общество ответственно не за счастье как таковое, а за обеспечение необходимых условий для него. В числе этих условий — мир, труд, равенство, социальная справедливость, свобода, немыслимые без ощущения общественной ценности личности, собственной причастности к прогрессу человечества, экономическое благосостояние и, наконец, здоровье. Обеспечение

достаточных условий для счастья — забота субъекта.

Подчеркиваю, милорд, что начат разговор об этапе появления подлинно социалистической культуры в государственном устройстве, следующем после этапа повышения «буржуазной культуры» в социалистическом обществе. Основное отличие этих этапов — в критериях социального развития.

На первом — «буржуазном» этапе явным приоритетом обладают экономические критерии. В это время социалистическое общество отличается от капиталистического в экономическом плане, в основном, только формой распределения прибавочного продукта.

На втором — социалистическом этапе на первый план должны выходить критерии социальные. Вот тут-то и оказывается необходимым «принцип счастья», несущий в себе интегральный социальный критерий. Не человек для экономики, а экономика для человека — таков должен быть основополагающий принцип социалистического способа хозяйствования. Хотя нельзя упрощенно утверждать, что буржуазная экономика антигуманна. Она уже достигла такого уровня культуры, на котором становится очевидно, что забота о работнике, особенно о его здоровье, экономически выгодна. Примером тому могут служить японские фирмы, да и американские в этом плане отстают ненамного. Здесь проявляется эффект, заключающийся в том, что элементы социализма, как писал В. И. Ленин, не появляются после социалистической революции вдруг, а зарождаются внутри старого общества, являются неизбежным результатом развития его производительных сил и производственных отношений, подготавливающим переход к социализму. Исходя из этого, следует признать, что сейчас в развитых капиталистических странах элементов социализма порой, как это ни парадоксально на первый взгляд, больше, чем у нас,— как за счет более высокого уровня экономического развития, так и за счет высокой степени демократизации общественно-политических взаимоотношений. Мы элементарно отстали из-за того, что в 1929 году повернули назад от социализма, из-за войны, из-за «периода застоя», а главное — из-за того, что «реальный социализм» не являлся социализмом в научном понимании этого слова и, значит, не имел декларируемых преимуществ перед капитализмом.

Позволю себе отметить еще одно несомненное, на мой взгляд, достоинство Вашего романа, милорд: со всей художественной убедительностью продемонстрировав трагические последствия для Ваших героев духовного отравления утопизмом, Вы показали им направление нравственных поисков, ведущее к выходу

из идейного тупика — «новое понимание человека», которое «состоит в том, что человечество должно осознать себя неотъемлемой и равноправной с другими частью природы. Мы не можем разговаривать с ней пренебрежительно или покровительственно. Мы не больше, чем муравьи (но и не меньше)... Лозунг: „Все для человека, все во имя человека и для блага человека!“ следует толковать... расширительно: „Все для природы, все во имя природы и для блага ее!“, лишь в этом случае будет действительно достигнуто благополучие человека...» Это направление не проработано, ибо герои еще внутренне не созрели для такой работы, они еще проходят через кризис своей (и общей) болезни. Но выздоровление их мне представляется неизбежным, потому что главные из них (Евгений Викторович, автор, Николай Иванович, Ирина Михайловна и майор Рыскаль, не говоря уже о молодежи) ведут свой нравственный поиск.

А что же случилось с Домом, который придумал автор? Я о финале Вашего романа, милорд. Мне кажется, что там что-то произошло с крышей. Помните покатую крышу, где расположились депутаты Верховного Совета, министры и академики, охраняемую ангелами, сидящими на краю и болтающими босыми ногами? Крыша-то выпрямилась! И ограждения стоят, чтоб никто не сверзился! И ангел тут как тут! (Райская картинка, милорд?) А крыша-то полна народу — там все кооператоры с чадами и домочадцами, и вместе со всеми «верховный правитель» — пенсионер Рыскаль в образе Деда Мороза. Вот оно — архитектурное решение автором столь долго и мучительно обдумываемого проекта, результат его духовного выздоровления: не должно быть нижних и верхних этажей в нашем общественном доме, крыша должна принадлежать всем, когда они пожелают на ней оказаться. Полностью с Вами согласен, милорд, хотя, конечно, крыша — не место для жилья, но во время общественно значимых мероприятий место на ней должно найтись всем жильцам. О том же говорит и Николай Иванович: «Я не знаю как. Знаю только, чтобы воспитывать ответственность перед обществом надо отвечать перед общественностью. Всем — от рабочего до генерального секретаря!»

А мы-то с Вами, милорд, знаем — как? Вряд ли. Наши герои — это мы... Но мы переживаем своих героев и уходим дальше по дороге познания. Мы обязаны узнать! Иначе мы их предадим.

В путь, милорд!

К горизонту, за которым нас ожидает Свободный человек — гражданин Светлого Будущего.

Но что есть свобода — «осознанная необходимость» или свобода удовлетворения любого личного желания? Я бы ответил так: свобода — это любовь.

— Ну, вот,— скажете Вы,— начали с тезиса о необходимости избавляться от утопий, а пришли к очередной утопии.

Что ж поделаешь, милорд, не было бы «Города Солнца» — не было бы и научного коммунизма. Утопия опасна не сама по себе, а когда она превращается в дубинку. Но не менее опасна в таком качестве и наука.

Наверное, поселившись в Вашем доме, милорд, невозможно не стать утопистом — таким Вы его построили, но давать объявление об обмене жилплощади не хочется. Буду жить:

Кто Город Солнца строит на песке,
Зажав всезнанья трезвость в кулаке,
Свою судьбу предчувствует заранее...

Засим благодарю Вас, милорд, за внимание и терпение. Не знаю — найдете ли Вы в моем послании смысл, но хочется надеяться, что добрая весть в нем содержится.

С уважением
Владимир Васильев.

Писать о литературных достоинствах Вашего романа, милорд, и счел излишним. Для меня они совершенно очевидны. А копаться в мелочах оставим профессиональным критикам.



Воспоминания

Германский рейхстаг, год 1932-й. В зале депутаты — гитлеровцы, социал-демократы и коммунисты. Седая женщина по праву старшинства открывает заседание рейхстага. Говорит свободно, без бумажки, и не сразу заметишь, что она слепа. Это коммунистка Клара Цеткин. Речь закончена, но движения Клары спокойны: та же рука, что поддерживала ее при выходе на трибуну, подхватывает ее под локоть, помогает отойти. Это рука черноглазой женщины небольшого роста — Трауты Гельц, так называемой «тюремной жены» вождя двух пролетарских восстаний Макса Гельца.

Эхо революции в России отозвалось в Венгрии и Германии, где возникли Советы трудящихся. Народ попытался там взять власть в свои руки, но потерпел поражение. Гельц был приговорен к пожизненной каторге. В Германии и у нас развернулась широкая кампания за его освобождение, за амнистию заключенных. Правительство СССР наградило Гельца орденом Красного Знамени. В знак солидарности с узником его почетное имя приняли школы, заводы, бригады рабочих. В Ленинграде — школа, колхоз и завод, носивший это имя девятнадцать лет, пока в период блокады не перешел на производство пулеметов и не сменил имя на нейтральный номер. Сегодня из маленького заводика выросло производственное объединение «Полиграфмаш».

В послевоенные годы мне удалось разыскать Трауту, она жила в Праге. Встретились, переписывались, подружились. Она подарила мне текст своих воспоминаний о Гельце, еще не публиковавшихся. Сегодня читатель получает их в моем авторизованном переводе, в сокращенном виде. Название отражает восприятие ею нашего народного героя Чапаева в силу сходства характеров этих представителей наших народов. Слова Гельца о партийном приказе объясняются тем, что практически местный руководитель партии Брандлер осуждал Гельца даже за создание в Фалькенштайне Совета. Позднее Брандлер был исключен из партии за правый оппортунизм.

В нашу страну Гельц приезжал в 1929 и 1930 годах. У нас в ту пору трудились приглашенные из Германии квалифицированные рабочие. Гельц и другие опытные коммунисты общались с ними в целях их политического просвещения. Гельц немало ездил по стране, а на Урале даже полгода трудился в бригаде шахтеров.

В 1988 году в издательстве ГДР «Нойес лебен» вышла написанная Манфредом Гебхардтом биография Макса Гельца, «легендарной фигуры многих классовых боев в Средней Германии после Ноябрьской революции», как назвал его Хонеккер. Два издания разошлись мгновенно, к столетию рождения Макса Гельца в 1989 году выходит третье. Дата эта широко отмечается в ГДР согласно решению ЦК СЕПГ.

ТРАУТА ГЕЛЬЦ-СЛАНСКА

ГЕРМАНСКИЙ ЧАПАЕВ

Макс Гельц не принадлежал к числу великих, какими богато германское рабочее движение, но был он преданным делу борцом. Вот что сказано в протоколе III конгресса Коминтерна в 1921 году (из выступления Карла Радека): «В момент, когда буржуазная Германия осудила этого отважного, честного революционера как заурядного бандита и разбойника, считаем своим долгом вступиться за него как революционера и коммуниста...». Георг Шуман назвал Макса Гельца «одним из энергичнейших революционеров». Значительность его жизни, личное мужество, любовь к рабочему классу, ненависть к буржуазии... могут служить образцом для молодого поколения.

Условия тюрьмы Бреслау были для Гельца невыносимыми уже одним тем, что его лишили всякой возможности общения с внешним миром. Руководству Межрабпома, возглавляемому Вильгельмом Пиком, это было известно, и оно решило установить с Максом Гельцем связь посредством, так сказать, «целевого брака». Гельц хотел выйти из тюрьмы,

чтоб отдать все силы революции. Одновременно он стремился своей борьбой в тюремных стенах показать пример другим политическим заключенным. Его боевая активность в кампании за всеобщую амнистию доказывала: тюремщики не сломили его волю, Гельц-узник опасен властям. Но если перекрыты все каналы общения с волей, если запрещены посещения и перехватываются письма, остается... жена. Жену-то к нему должны допустить! Связь с товарищами ему крайне необходима.

Именно ради установления этой связи, ради координации сил в борьбе за всеобщую амнистию я и согласилась на брак с Максом Гельцем, приняв предложение моих бреславских друзей — Домбровского, Глюкауфа и Рудерта. С помощью тогдашнего адвоката Гельца Эрнста Хагевиша я получила первое разрешение на свидание.

И вот мы сидим друг против друга... Гельц смотрит на меня (я ростом невелика) и говорит: «Но ведь это же конфирмантка...». Он задал мне в тот день множество вопросов, помню последний: «Если я тебе дам один приказ, а партия даст другой, ты какому последуешь?».— «Конечно, приказу партии!».— «Тогда ступай — ты мне не подходишь!».— «Ну вот, брак и не состоялся»,— подумала я с облегчением. Но два дня спустя мы с адвокатом снова пришли в тюрьму — об этом попросил Макс.

Он встретил меня словами: «Товарищ Траута, ты была права. Конечно, приказу партии!». Как это характерно для Макса: эмоциональный ответ, потом — его анализ, затем правильное решение. Вскоре после этого я поехала в Берлин. Дружески, вполне доверительно обсудил со мной необычное задание Вильгельм Пик. Он попросил: сделай это ради партии и ради амнистии.

Брак с Максом Гельцем я оформила в 1924 году в бреславской тюрьме Клечкау. Присутствовали два адвоката, начальник тюрьмы, священник и несколько надзирателей. Государственный служащий, оформлявший брак, носил довольно своеобразную фамилию Нидергезес («нижнее седалище»). Он провел церемонию в четверть часа. Платье из тафты, одолженное у подруги, было мне велико. Обручальное кольцо я купила заранее, и Максу разрешили надеть мне его на палец. У ворот тюрьмы стояло несколько сот человек, нам хорошо слышны были их восклицания — своеобразное звуковое оформление свадьбы.

Десятью годами позднее в тюрьме Панкрац я пережила вторую свадьбу за тюремными стенами. Меня арестовали в Праге и должны были выслать в Германию, где Гитлер оценил мою голову пятьюдесятью тысячами марок. Брак с Рихардом Слански превращал меня в чешскую гражданку, и вопрос о высылке снимался сам собой. Снова присутствовали два адвоката и начальник тюрьмы, священник, доктор и четверо надзирателей. Текст брачного обязательства надо было повторять по-чешски, и потому я заикалась. Рихард Слански, к большому моему удивлению, раздобыл обручальное кольцо, узенькое, старомодное. Его за пару сигарет уступил Рихарду какой-то заключенный. Панкрац был окружен конными жандармами, но несмотря на это пражские рабочие устроили у ворот тюрьмы манифестацию: их пение доносилось во время церемонии бракосочетания.

После свадьбы в Панкраце я быстро обрела свободу, а после свадьбы в Бреслау меня через 9 дней арестовали за мнимую попытку освободить заключенного.

За долгие четыре года я хорошо узнала Макса, искреннего, не терпевшего несправедливости, бесстрашно отстаивавшего свои убеждения, никогда не стремившегося добыть что-нибудь для себя, преданного делу социализма.

Макс был германский партизан, германский Чапаев. Только Чапаеву выпало великое счастье иметь рядом опытного, политически образованного комиссара Фурманова. Вместе они представляли необыкновенной твердости сплав. У Макса подобного советчика и друга во время тяжелых боев в Средней Германии не было. Выступления Макса Гельца пришлись на те времена, когда молодая, малочисленная Коммунистическая партия Германии едва успевала отбиваться от ударов реакции. Вряд ли была она тогда в силах заниматься вопросами идеологического воспитания Гельца. Вот мнение на сей счет профессора Рудольфа Линдау, знатока немецкого рабочего движения: «То в Гельце, что было ошибочно, следует в значительной степени отнести за счет неподготовленности партии в те годы. Ввести в рамки дисциплины такого решительного человека, как Гельц, партия в ту пору не могла. Из его идеологических слабостей выросли его самочинные действия вопреки партийным указаниям. Но как пример революционной решимости, когда человек не щадит себя, он будет жить и дальше».

На войну Макс Гельц пошел добровольцем. Война глубоко его потрясла и похоронила прежние его идеалы. В октябре 1917 года Гельц познакомился с социалистом Георгом Шуманом. Шуман служил в Галиции и был по приговору военного суда взят под стражу — за пропаганду. Охрану Шумана поручили ефрейтору и трем солдатам. Ефрейтор был Гельц.

«То, что я услышал от Шумана,— рассказывал Гельц,— было для меня новым, неслыханным, перевернувшим все мои представления. Многого, о чем он говорил, я не понимал и не сразу постиг, но все это будило мою мысль и открывало путь к новому мировоззрению». Через Шумана Гельц познакомился с Фрицем Геккертом. В декабре 1918 года он посетил его в Хемнице[1], где Геккерт был председателем Совета рабочих и солдатских депутатов. Гельц пришел к нему в своей гусарской форме и сразу заявил о готовности участвовать в революционном движении. Геккерт с тех пор поддерживал с Гельцем связь.

Экономическое положение Фогтланда укрепило убеждение Гельца в необходимости социалистических преобразований. Мировая война дезорганизовала текстильную промышленность области. Фабрики были закрыты, экспорт приостановлен. В Фалькенштайне из 15 тысяч жителей 4 тысячи были безработными. С 1919 по 1921 год процент занятости тут оказался самым низким в государстве. В 1919 году Гельц возглавил Красный Совет безработных. Энергичный, честный, он быстро завоевал доверие рабочих. Добился повышения пособий по безработице и пенсий вдовам погибших на фронте, добился снабжения продуктами больных и поденщиц, добился выдачи угля, картофеля, дров.

Бургомистр Фалькенштайна Квек полагал, что безработных, требующих пособий, он может унижать, как солдаток в военное время. Макс показал, что этого не будет. Фалькенштайнцы встали на защиту своих прав. И когда однажды бургомистр сорвал плакат, призывавший к демонстрации, горожане возмутились. Бургомистра принудили на коленях просить прощения. Позже, оправившись, он вызвал формирования рейхсвера. За голову Гельца и его поимку была назначена награда. Вначале Гельц оставался в Фалькенштайне под охраной народа. Когда премию за его голову увеличили и поиски стали вестись масштабно, он перебрался в Среднюю Германию.

Гельц вернулся в Фалькенштайн, когда опозорившие себя монархические генералы Людендорф, Лютвиц и ультранационалистический политик Капп подняли 13 марта 1920 года путч с намерением повернуть вспять Ноябрьскую революцию 1918 года, разгромить Веймарскую республику и установить открытую военную диктатуру. Макс Гельц создал вооруженные рабочие формирования и во главе их выступил против путчистов. Его «Красная гвардия» состояла примерно из 350 человек, готовых поддержать своих братьев по классу в Рурской области, где обстановка была наиболее напряженной. В конечном итоге рабочие Рура потерпели поражение, освободившиеся силы рейхсвера, 50 тысяч человек, двинулись в Фогтланд. Несмотря на численный перевес, рейхсвер, жандармерия и полиция понесли здесь значительные потери. В боевых действиях Гельц применял тактику неожиданных ударов. За это он получил прозвище Красный Генерал. Борьбой на земле Мансфельда вписана славная глава в историю германского рабочего класса. Ленин в 1921 году сказал, что «мартовское выступление является большим шагом вперед, несмотря на ошибки его руководителей... Сотни тысяч рабочих героически боролись». Но борьба была неравной. Отойдя на восток с остатком боевых товарищей, Гельц вступил в Клингенталь близ Краслица, недалеко от чехословацкой границы. Было 5 часов утра 11 апреля 1920 года. Девять красногвардейцев с лошадьми и автомобилем перешли границу, в Краслице их интернировали.

Жители в Краслице были настроены явно в пользу Гельца. Эдмунд Хюнигер писал: «Нас, коммунистов, и тысячи богемских рабочих воодушевил Гельц и его воинство. Когда Гельца арестовали на чешской земле, мы собрали крупную сумму денег для его поддержки. Депутат от социал-демократов Голиат действовал точно так же, он организовал демонстрацию протеста с требованием освободить Макса».

Франц Дефлер из Бублавы вблизи Краслице был свидетелем того, как Гельц скрывался на сеновале. Пойманные и связанные красногвардейцы лежали в грузовиках. Рейхсвер праздновал победу; беззащитных арестованных избивали дубинками. Это заметил чешский пограничник. Он сорвал с плеча винтовку, прицелился и предупредил, что будет стрелять, если не прекратят избиение. Гельцу и нескольким его товарищам удалось избежать ареста... Макс вернулся в Германию через Австрию.

20 марта 1921 года в Средней Германии начиналась всеобщая забастовка. Гельц тотчас выезжает из Берлина в Хетштадт, Манслебен и Айслебен. Он выступает на собраниях, создает боевые рабочие отряды. Первые столкновения с полицией произошли в Айслебене в ночь с 22 на 23 марта, затем следуют схватки в Хетштадте, Зангерсхаузене и Халле, и наконец 1 апреля — кровавые сражения у Бенштедта. Последний бой завершился бедою — Гельц с товарищами попал в плен, вырвался оттуда, проявив хитрость, но 15 апреля был выдан шпиком. Чрезвычайный суд 24 июня приговорил его к пожизненному заключению. Потекли долгие 8 лет тюрем в Мюнстере, Бреслау, Гросс-Штрелице и Зонненбурге.

«Льва, приготовившегося к решительному прыжку,— рассказывал адвокат

[1] Теперь Карл-Маркс-Штадт.

Эрнст Хагевиш,— упрятали в клетку в Мюнстере, где когда-то коммунисты средневековья — перекрещенцы — были замучены до смерти. Заключенные здесь безропотно сносили свою судьбу. Все изменилось с появлением Гельца. Несмотря на угрозу наказания он не прощал тюремщикам никаких несправедливостей. Он протестовал, и его протесты не способны были остановить ни тюремный карцер, ни одиночка, ни надзирательский террор... В Мюнстере он становился все более беспокойным.

Однажды ночью перед тюрьмой остановились два закрытых автомобиля с офицерами и полицейскими. Ответственный за перевозку заключенного майор подошел к Гельцу. Тот твердым голосом спросил, будут ли его заковывать в кандалы. В ответ послышалось смущенное „да". Гельц заявил, что не даст себя заковать, по крайней мере пока он жив.

Майор не смел отказаться от оков. Когда их принесли, мы увидели кандалы для рук и ног, соединенные тяжелыми железными цепями, весившими не менее тридцати фунтов. По распоряжению начальника тюрьмы ослабевший от болезней и голодовок Макс Гельц должен был ехать в этих кандалах почти трое суток. И вот Гельц и адвокат садятся в машину, напротив них — двое полицейских, рядом с водителем — майор. Во второй машине еще двое полицейских и врач. Едут окраинными улицами и проселками. В пути Гельц дважды впадает в глубокий обморок. Врач с трудом приводит его в чувство...

В четыре часа утра остановились у тюрьмы Бреслау... Гельца вначале поместили в отделение психически ненормальных — в дыру, еще более мерзкую, чем в Мюнстере. Макс объявляет голодовку за голодовкой... Доходит до того, что Гельца помещают в холодную камеру с каменным полом. Там ревматические боли его становятся невыносимыми... Гельц уже не может держаться на ногах... Друзья из Саксонии, которым наконец разрешили его посетить, нашли его в безнадежном состоянии.

В то тяжкое время его поддерживали книги — те немногие, что были при нем... Он попытался заняться гимнастикой. Постепенно повышал нагрузку, несмотря на боли. Врач счел эту гимнастику проявлением ненормальности и снова сунул его в отделение для психически больных. Гельц не собирался отступать. Силы его понемногу восстанавливались. Он снова стал думать об участии в кампании за амнистию. Но для этого требовалась связь с внешним миром. В 1924 году Гельц получил возможность поговорить с Домбровским, который отбывал наказание. Тот обещал Гельцу найти среди партийных товарищей женщину, которая бы вступила с ним в формальный брак,— тогда можно наладить связь с внешним миром. Чуть позже Гельц писал: „Товарищ Траута, отныне согласно закону моя жена, развила удивительную активность. Она выступала по всей стране на множестве собраний и совещаний. Ее деятельность не только ускорила мое освобождение, но и в высшей степени усилила организованное МОПРом массовое движение за освобождение всех политических заключенных".

После Бреслау Гельц оказался в тюрьме Гросс-Штрелице в Силезии. Там было ничуть не легче. Но Макс держится. Регулярно делает гимнастику и обливается холодной водой, читает книги и учится. Теперь в его судьбе принимает участие общественность. Альберт Эйнштейн, Лион Фейхтвангер, Генрих Георгие, Иоханнес Бехер, Эгон Эрвин Киш, Эрих Мюзам, Курт Тухольский, Генрих Цилле, Генрих и Томас Манны и многие другие требуют пересмотра приговора. На массовых собраниях, где выступает Траута Гельц, принимаются резолюции о его освобождении. Адвокаты Апфель и Розенфельд разоблачают несправедливость и явную ошибочность приговора».

Внутренним распорядком тюрьмы Гросс-Штрелице ведал свирепый садист Адамец. Посещения этой тюрьмы любому стоили больших переживаний и огромного нервного напряжения. Однажды днем у ворот тюрьмы мне сообщили, что поскольку Гельц устраивал обструкции, в разрешении на посещение мне отказано. Я потребовала, чтоб меня принял начальник тюрьмы. Появился лейтенант с десятью вооруженными охранниками и приказал покинуть помещение, иначе он арестует меня за сопротивление властям. «Маленький зонтик против десяти карабинов — это ли не сопротивление государственной мощи!» — ответила я. Но уйти мне все-таки пришлось. Я рассказала об этом Кишу, он попытался сам получить разрешение на посещение и... получил его — и для себя, и для меня.

Это был особо исключительный случай. В зарешеченном помещении присутствовали начальник тюрьмы Адамец, священник и четверо надзирателей. Двое других ввели Гельца. Начальник тюрьмы прочитал правила и предписания, беседа началась в рамках дозволенного. В центре меж нами и Гельцем стоял широкий дубовый стол. Эгон умело задал разговору направление и вдруг, бог знает как, перешел на рассказ о своих поездках в Индию. Его талант рассказчика покорил всех. Охрана, начальник тюрьмы и Гельц задавали вопросы. Киш подошел к йогам, заклинателям змей и волшебникам. «Ты действительно видел эти фокусы?» — спросил Гельц. «Не только видел, некоторым даже научился»,— ответил Киш. Все навострили уши, а Адамец сказал: «Вряд ли это возможно».— «О нет, если хотите, я могу показать пару-другую фокусов. Но ведь здесь это не разрешается?». Ход был верный: служители оторванного от мира Гросс-Штрелице не захотели упустить столь соблазнительной возможности. Все уставились на Адамеца. И он разрешил.

Эгон занялся волшебством. Начал он с обычных фокусов. Часы учителя лежали на столе, но вдруг исчезли, и Киш вытащил их из уха одного из надзирателей. Разорвал в воздухе десятимарковую банкноту и снова поймал ее, падавшую вниз, совершенно целую. Попросил у начальника тюрьмы монету, вдавил ее в дерево столешницы и достал из-под низу. Попросил длинную иголку, насквозь проткнул ею щеку и вытянул без капельки крови. Он вкалывал ее себе в череп и вытаскивал иглу из волос. Каждый зритель желал проверить все лично. Порядок давно нарушился, бдительность тюремщиков притупилась, а в карманах Гельца тем временем оказались письма, сигареты, шоколад — мне легко было сунуть ему все, что угодно. Никто не обращал внимания на «опасного» Гельца: Киш заворожил тюремщиков. Но вот настало время обеда. Нам пришлось уходить, жарче всех Киша благодарил Гельц.

Этот визит был лучом света в тюремном царстве. Он в чем-то помог Максу.

Требование об освобождении Гельца и девяти тысяч других политзаключенных звучало все мощнее, партийное руководство во главе с Тельманом энергично взялось за это дело, друзья Гельца стали регулярно сообщать ему о добрых новостях. Волна протестов принудила начальство перевести Гельца в тюрьму Зонненбург, где порядки были помягче. Здесь он смог встретиться кое с кем из товарищей, тоже попавших туда. Но общение с людьми после долгих лет одиночек давалось ему с трудом: восемь тюремных лет не прошли бесследно. Гельц страдал от столь непривычного многолюдья. Первостепенным его желанием было надолго поселиться где-нибудь в маленькой деревушке и заняться там работой в поле, в саду, чтоб затем перейти к обычной жизни.

В дни долгожданного освобождения 16 и 17 июля 1928 года дело в тюрьме дошло до бурных сцен. Четверо политических заключенных не попали под амнистию. Гельц отказался покинуть тюрьму, пока их не выпустят, его примеру последовали остальные. Надзиратели насильно выносили коммунистов из камер. Доктор Апфель и Киш втолковали Гельцу, что вне стен тюрьмы он сможет успешней содействовать освобождению товарищей. Гельц отступил и согласился сесть в ожидавшую его машину. Прежде чем въехать в огромный Берлин, он попросил остановиться в маленьком городке Кюстрине. Глаза его перебегали с одного предмета на другой. Каждое встреченное дитя ему хотелось прижать к себе и поцеловать, взрослые же действовали на него удручающе... Но он в конце концов преодолел страх перед людьми, начал выступать на собраниях и демонстрациях. И в том же году добился освобождения остальных товарищей. В местечке Бад-Эльстере нацисты избили его. Товарищи доставили Гельца в одну из рабочих квартир. Вскоре после этого он уехал в Советский Союз для поправки здоровья и отдыха. Но и там продолжал работать.

Последнее время Гельц жил и трудился в совхозе поблизости от Горького. 16 сентября 1933 года он плыл на лодке, попал в водоворот и утонул. Хоронили его с военными почестями. Присутствовала делегация Исполкома Коминтерна. От имени ЦК Компартии Германии с речью, посвященной памяти Гельца, выступил Фриц Геккерт.

Страх перед умершим долго держался у нацистов. В 1933 году чехословацкое министерство внутренних дел и руководство полиции предприняли повсеместный розыск, чтоб найти Гельца,— в смерть его не могли поверить. Предполагалось, что вместе с руководителем Венгерской Советской Республики Белой Куном он прибыл в Чехословакию, чтобы нелегально работать в интересах революции. Жандармское руководство обратилось ко всем начальникам округов и отрядов полиции с приказом разыскать двух «опасных гостей». Вот письмо пльзеньского начальника полиции: «№ 572 ... В Президиум государственного управления в Праге. В соответствии с названным предписанием докладываю, что розыски местопребывания Белы Куна и саксонского вождя коммунистов Макса Гельца не принесли положительных результатов. Наблюдения за клиентами гостиниц усилены, и сообщения поступают дважды в сутки, а все иностранцы, прибывающие из Германии, подвергаются строгой проверке и почта их перлюстрируется».

Комендант полиции из Румбурга сообщил даже, что он обратился с запросом о доверительных сведениях по телефону в нацистскую полицию в Циттау. Оттуда ему сообщили, что никакой мистификации тут нет и Гельц действительно находится в Чехословакии...

У гроба Макса Гельца товарищ Фриц Геккерт заключил свою речь словами: «Гельц умер, но дух борьбы, наполнявший его в течение жизни, продолжает жить. Это дух героизма, он вошел в пролетарские песни и будет жить в них...».

Вступительная статья и перевод
ЕЛЕНЫ СЕРЕБРОВСКОЙ

Совсем недавно. Совсем давно

Вл. САШОНКО

ВАЛЬЦЫ И ВАЛЬСЫ

О чем поведала старая афиша

Зашел ко мне как-то знакомый, в руках — бумажный рулончик.

— Что это у вас?

— А вот поглядите — прелюбопытнейшая вещь.

Он развернул рулончик — и моим глазам представилась пожелтевшая от времени старая афиша, извещавшая о том, что «в Павловском воксале, 15 августа, в субботу, дан будет в пользу декоратора-машиниста Федора Вальца большой музыкальный и увеселительный вечер в честь русского флота, устроенный самим бенефициантом. Середина сада представит большую пальмовую беседку с прозрачным куполом и одиннадцатью транспарантными картинами, представляющими важнейшие достохвальные подвиги и события русского флота, как-то...».

После перечня этих подвигов и событий сообщалось, что против Воксала на берегу пруда построится огромная турецкая крепость Анапа, осаждаемая русским флотом. Крепость эта устроена в совершенно новом роде, с большими машинами, разрушением, взрывом и пожаром, которые во время фейерверка представят самое поразительное зрелище, оканчивающееся большою военною картиною: торжество русских.

«Оркестр г. Иосифа Гунгли исполнит под личным его управлением три отделения музыки, состоящие из следующих пьес...».

— Откуда у вас эта афиша?

Мой знакомый хитро сощурился:

— Понравилась? Тогда дарю! Может, пригодится. Мне, скажу я вам, просто жалко ее стало после того, как она больше ста тридцати лет пролежала за зеркалом.

Так я сделался обладателем милого сувенира, пришедшего из столь далекого прошлого. Правда, сувенир долгое время оставался глух и нем. Кто такой Федор Вальц? Кто такой Иосиф Гунгль? Почему праздник именно в честь русского флота?

Мое любопытство достигло предела, когда я прочел набранное не слишком броско содержание музыкальной программы. Наряду с вальсами Штрауса, произведениями Мейербера, Вагнера, Керубини там значились марши и кадрили самого Иосифа Гунгля, а также польки, кадрили и вальсы... Федора Вальца!

Да, немой свидетель прошлого — афиша — должен непременно заговорить, решил я. И взялся за «раскопки».

Листая журнал «Пантеон» за 1851 год, в разделе «Петербургский телеграф» обнаружил такое сообщение:

«Прошлый, 1850 год был особенно счастлив для Петербурга. *В первый раз* явился в нашей столице знаменитый германский композитор и капельмейстер Иосиф Гунгль, который со Штраусом и Ланнером составил все, что есть лучшего по части новейшей европейской *садовой* [а также] *бальной* музыки. Он привез с собою оркестр, так хорошо слаженный, играющий с такою верностью, точностью, с таким одушевлением и огнем!».

Оценка более чем высокая. Дальше мы встретим еще немало восторженных слов в адрес оркестра и его капельмейстера. Да кто же он такой — Иосиф Гунгль?

Обнаружить какие-либо данные о нем в советских энциклопедических изданиях не удалось. Зато в «Британской энциклопедии», во французском «Ларусе», в немецком «Брокгаузе» необходимые сведения нашлись.

Во всех этих энциклопедиях Гунгль именуется венгерским композитором, а не немецким, поскольку родился он в декабре 1810 года в Жамбеке, на венгерской земле. Был школьным учителем, постигал азы музыкальной грамоты у своего коллеги — школьного хормейстера, в двадцать шесть лет стал капельмейстером 4-го полка австрийской артиллерии. Тогда же Гунгль написал свое первое произведение — «Венгерский марш», сразу обративший на себя внимание публики.

Имя композитора очень скоро приобретает широкую известность. В 1843 году, в Берлине, он создает оркестр, и слава его тоже облетает всю Европу. Даже перепархивает через океан: оркестр Гунгля с огромным успехом выступает в Америке. А в 1850 году приезжает в российскую столицу и все лето играет в Павловске.

Неменьшим успехом пользовались выступления оркестра и три года спустя, когда он снова приехал в Петербург. Надо сказать, что лето 1853 года вообще оказалось необычайно щедрым на музыку. В Павловском воксале выступал Йозеф Гунгль, а в Новой Деревне, в популярном

среди петербуржцев Заведении искусственных минеральных вод И. И. Излера — его племянник Иоганн Гунгль со своим оркестром. Кроме того, меломанов привлекали весьма хороший, по оценке современников, оркестр Ладе в Петергофском воксале, оркестр в Воксале Полюстровских минеральных вод и многие другие.

Однако давайте на некоторое время оставим Гунглей и займемся следующим персонажем, интересующим нас,— Федором Вальцем.

«Говоря о бальных танцах,— писал «Пантеон»,— мы должны отметить в прошлом годе (в 1850-м.— *В. С.*) появление у нас довольно замечательного отечественного дарования по этой части, которое далеко оставило за собою предшествовавшие ему знаменитости в области полек и галопов. Мы говорим о Федоре Вальце. В настоящее время это один из плодовитейших и оригинальнейших композиторов легкой музыки, какого мы имеем. В мелодиях его свежесть, в переходах оригинальность, в инструментовке — эффект и приятное сочетание. Его „Карнавал-кадриль", „Эхо-кадриль" приводили публику в восторг и по несколько раз были повторяемы. Композитора даже вызывали на эстраду. Но кроме музыкального таланта г. Вальц имеет и другие замечательные дарования: он отличный сценический машинист и хороший декоратор. Жизнь этого артиста представляет много любопытных фактов».

Итак, Федор Карлович Вальц родился и рос в Петербурге, но отец его был родом из Лифляндии, или, как тогда говорили,— из остзейских немцев. Первоклассный механик, был он хорошо известен в российской столице. Сын пошел в отца. С детства познавал законы механики, мастерил разного рода хитроумные приспособления, делал чертежи и рисунки. Влекла его к себе, однако, не только механика, но и музыка. Федор начал брать уроки у скрипача Тяпкина и кларнетиста Майера, служивших в оркестре Большого театра. Это открыло ему туда доступ. Музыканты охотно позволяли любознательному юноше смотреть спектакли из оркестра.

Внимание Федора привлекали между тем не столько музыка и искусство балета, сколько удивительные машины, с помощью коих производились всевозможные сценические эффекты. Федор познакомился с академиком декорационной живописи Андреем Роллером — их создателем, непревзойденным мастером своего дела, сорок пять лет прослужившим старшим машинистом и декоратором императорских театров. Роллеру понравился юноша, он разрешил ему посещать его мастерские. Федор часами изучал устройство сложных механизмов сцены.

Прошло не так уж много времени, и Вальц стал добровольным, причем бескорыстным помощником Роллера.

Это не понравилось Вальцу-старшему. Сын вместо того, чтобы стать его преемником, забросил учебу, дневал и ночевал в театре. И в конце концов заявил отцу, что собирается строить театральные машины и декорации, что в этом его призвание.

Карл Вальц рассердился и выгнал сына из дому...

В кармане у Федора было всего пять целковых. Но разве в деньгах богатство? Оно — в молодости.

Вальц от кого-то узнал, что весьма приличный театр есть в Нижнем Новгороде. Там ставят даже *волшебные* пьесы. И к тому же там скоро открывается ярмарка. А значит, хорошему машинисту сцены дело найдется.

Федор сыскал ямщика, отправлявшегося с кладью на ярмарку, сговорился с ним о цене и двинулся в путь. Два дня спустя он и впрямь очутился на ярмарке, только не в Нижнем Новгороде, а... в Шлиссельбурге. Мужик-возчик обвел его вокруг пальца.

В кармане у Федора позвякивали уже только два целковых, оставшиеся от тех пяти. Он понял, что до Нижнего с ними не добраться. Тут его внимание привлекла афиша, соблазнявшая публику веселой «Арлекинадой». Искушение было столь велико, что Федор не удержался, разменял еще один рубль и переступил порог ярмарочного балагана.

Представление, однако, было прескверным. Когда зрители разошлись, Вальц направился к лицедеям и с ходу начал строгий разбор представления, браня их и стыдя.

— Да ты кто такой будешь? А ну-ка, убирайся отсюда! — возмутились актеры во главе с мадам Дункель, содержательницей труппы. Они готовы уже были поколотить непрошеного критика, да вовремя спохватились. Он же деньги уплатил — свои, кровные!

Воспользовавшись замешательством, Вальц произнес пламенную речь, в коей начертал самый верный путь к успеху. Это решило его дальнейшую судьбу.

Федор Вальц стал подлинной душой бродячего театра. Он сочинял пьесы, писал декорации, устраивал чудо-машины, приводившие в восторг публику, и пожинал вполне заслуженные лавры за весьма скромное вознаграждение.

Около года пространствовал Вальц с труппой мадам Дункель и расстался с нею в городе Выру, где его нежданно-негаданно свалила болезнь. Акробаты всплакнули, прощаясь, ссудили Федора небольшой суммой денег и отправились дальше.

Поправившись и окрепнув, Вальц стал приискивать себе дело. Он направил свои

стопы в дом местного органиста герра Зибе. Радушный старичок привял собрата по искусству с распростертыми объятиями и даже приютил его у себя. Вальц возобновил свои музыкальные штудии и, к великой радости учителя, начал делать быстрые успехи. Этому немало способствовала и юная Матильда Зибе, прочно завладевшая его сердцем.

Все, казалось бы, складывалось как нельзя лучше. Однако даже самая пылкая любовь не может заменить кусок хлеба. Об этом сказал им и старик Зибе, когда они поведали ему о своей тайне:

— Я могу дать вам лишь свое благословение да пожелание счастья. А больше у меня ничего нет. Повремените немного, и Бог не оставит вас своею милостью.

Старик оказался добрым пророком.

Минуло всего несколько дней. Через Выру возвращалась с Янтарного моря богатая новоржевская помещица. Встретив случайно Вальца и узнав, что он музыкант, она поинтересовалась, нет ли у него на примете надежного человека, которому можно было бы поручить управление ее домашним оркестром.

— Есть, мадам! — радостно воскликнул Вальц.— Это я!

Дело тут же было решено. Определили кондиции: шестьсот рублей серебром в год жалованья — весьма недурно! — да плюс на всем готовом. Вальцу были вручены полста рублей «на подъем» и взято с него обещание, что уже через неделю он отправится в село Каньково.

Вне себя от радости бросился Вальц к папаше Зибе.

— А что я говорял, дети мои?! — радостно воскликнул тот.

Сыграли свадьбу, а еще три дня спустя счастливые молодожены, наняв бричку, двинулись в Каньково.

Музыканты встретили нового начальника с почетом, но и со страхом. А ну как станет их колотить? У крепостного человека нигде нет защиты. Опасения, однако, быстро рассеялись. Вальц еще и сам нуждался в музыкальном образовании, поэтому он выявил в оркестре превосходного скрипача, сделал его своей опорой, а заодно учился и сам, ничуть того не стесняясь, у более опытных, чем он, оркестрантов.

Когда барыня вернулась из Петербурга, то не узнала своего оркестра — так он стал хорош.

Два года блаженствовал Федор Вальц в Канькове. Но, увы, барыне наскучил оркестр, и она его распустила, решив создать вместо него капеллу, дабы услаждала она ее слух ангельским пением.

Отослав жену к ее отцу в Выру, Федор пустился в Петербург. Приехав в столицу, он отправился на поиски жилья поближе к театру. И встретил на улице Андрея Роллера.

— А что же ты тут делаешь? — поинтересовался тот.

— Да вот ищу себе занятие...— начал было Вальц.

— Занятие? Так не ищи! Мне как раз нужен помощник.

На следующий день Вальц и вправду был определен в Большой театр машинистом сцены, а год спустя стал там театрмейстером. Это произошло 2 августа 1846 года, когда Вальцу было всего двадцать шесть лет.

Большой театр, ставивший балетные и оперные спектакли, стоял на том месте, где теперь Консерватория, а перед ним — до самого Крюкова канала — простиралась огромная площадь, составлявшая с ним единый художественный ансамбль. Однако в 1844 году ансамбль был нарушен: напротив Большого театра начали возводить здание цирка. Сперва оно будет деревянным, потом — каменным, а еще тринадцать лет спустя, после пожара, его кардинально перестроят и превратят в Мариинский театр.

Зрительный зал цирка поражал современников роскошью отделки. Там впервые было использовано газовое освещение.

29 января 1849 года большим конным представлением цирк возвестил петербуржцам о своем открытии. На должность театрмейстера и машиниста сцены, по рекомендации Роллера, был назначен его помощник и последователь Федор Карлович Вальц. Он получил широкий простор для самостоятельной работы и сразу придал ей необычайный размах.

В конце того же года на арене Театра-цирка, как стали его называть, начали свои выступления драматические актеры. Они показали пьесу «Блокада Ахты». Успех ее превзошел все ожидания. Не из-за каких-то особых достоинств самой пьесы, воссоздавшей эпизод нападения отрядов Шамиля на русские укрепления осенью 1848 года, а по причинам иного рода.

Батальные сцены были поставлены так, что у зрителей дух захватывало: помимо цирковых артистов, в этих сценах участвовали настоящая артиллерия, кавалерия и пехота. Какое звуковое оформление, какие пиротехнические эффекты, смены декораций!

— «Блокада Ахты» начинается ежедневно с осады кассы Театра-цирка,— каламбурили петербуржцы.

Федор Вальц довольно потирал руки и говорил своей Матильде:

— Вот, подрастет еще немного наш Карлуша — возьму его себе в помощники. Сын должен превзойти отца. Таков уж закон!

Было в то время Карлуше три года.

Актеры Александринки с готовностью выступали в драматических спектаклях, которые ставились в Театре-цирке, причем с осени 1850 года — уже не от случая к случаю, а постоянно. Именно там впервые в Петербурге увидели свет рампы произведения А. Н. Островского. Оформлял их Федор Вальц. И все же душа его рвалась на еще больший простор, ей было тесно в четырех стенах даже такого просторного здания. А в голове роились все новые и новые музыкальные мелодии, складывавшиеся в изящные кадрили и польки, столь любимые тогда петербуржцами — завсегдатаями садов и парков.

И Вальц вырвался-таки на простор, благо что помимо службы в Театре-цирке ему было вменено в обязанность заведовать декорационными частями во всех загородных дворцовых театрах.

А где загородные дворцы — там и загородные парки.

Павловский парк с его знаменитым музыкальным Воксалом и оркестрами военной музыки, с его изумительными пейзажами сделался особенно мил сердцу Федора Вальца.

Лето 1853 года и в Павловском парке выдалось особенно богатым на великолепные праздники, обставленные с такой пышностью, что, казалось, Вальц превзошел самого себя.

26 июля — бенефис Йозефа Гунгля. «Приветствие Муз» назывался он. Против Воксала над прудом была сооружена декорация: трон Нептуна, окруженный тритонами, нимфами, наядами, нереидами. А сам Воксал обратился в «храм Аполлона и Муз». Он был увит пальмовыми и огневыми гирляндами, украшен транспарантами с именами русских писателей, художников, артистов, композиторов.

От балконов обоих ярусов Воксала — грациозная иллюминация до самого пруда.

«Особенно хороши были,— свидетельствует очевидец,— горевшие изумрудными отблесками колонки верхней галереи и площадка сада, превращенная как бы в залу сверкающих цветов. Их волнующиеся переливами огня нити соединялись в прозрачный купол, и над павильоном, где играл военный оркестр, ниспадали большою, чрезвычайно эффектною люстрою, под роскошным зонтиком, словно выложенным внутри шелковою нежных оттенков материей, между тем как над эстрадой, где помещался оркестр бенефицианта, высился повитый лаврами транспарант, представлявший Аполлона, проводившего вещими перстами по златострунной лире».

Попеременно звучали «разнородные мелодии, внушавшие радость и меланхолию, веселье и грусть, игривую беззаботность и поэтическую тоску».

В десять часов вечера вспыхнул великолепный фейерверк, состоявший из десяти перемен. Трон Нептуна озарился бенгальскими огнями, отражаясь в воде пруда.

15 августа — тут мы возвращаемся к афише, с которой все началось,— бенефис самого Вальца, с оркестром Гунгля, взятием турецкой крепости Анапа, иллюминациями и фейерверками. А уже через неделю — новое большое вечернее празднество — в пользу школы, учрежденной в Петербурге для бедных сирот. 29 августа — еще один бенефис Йозефа Гунгля, называвшийся «Ночь у подошвы горы Везувия» — «с декорацией итальянского палаццо и огненною лавою, которая вытекала из кратера вулкана и грозила залить соседние с ним виллы и селения. Г-н Вальц, по обыкновению, устроил все это превосходно, так что в сущности ничто не было залито или разрушено, кончилось благополучно картинною иллюминацией и замысловатым фейерверком».

Проходит всего три дня — и...

«1 сентября бал, имевший прекрасною целию вспоможение неимущим города Павловска, причем талантливый Вальц с большим вкусом убрал залу Воксала, где собралось отличное общество, блистали молодость и красота, и продолжались до глубокой ночи танцы, под стройные звуки согласного оркестра Иосифа Гунгля».

А сколько же стоило участие в столь популярных Павловских музыкальных увеселениях?

Билеты на вход в Воксал и Сад — по рублю серебром (около четырех рублей ассигнациями). Нумерованные места на балконе — по три рубля серебром, на галерею — по два. Цены достаточно высокие, доступные лишь людям состоятельным.

Еще вопрос: почему же все-таки в бенефис Федора Вальца состоялся праздничный вечер, посвященный русскому флоту?

Вальц тут ни при чем. Надвигалась война — та, которую назовут потом Крымской, в воздухе пахло порохом, вот и нужно было поднять патриотический дух, напомнить о подвигах русского флота.

Завершив выступлении со своим оркестром в Павловске, Гунгль уехал в Австро-Венгрию, но еще дважды побывает в России. Потом он будет жить в Брюнне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне. С большим успехом будет дирижировать оркестрами театров «Ковент-Гарден» в Лондоне и «Гранд-Опера» в Париже, а последние годы жизни проведет в Веймаре у дочери — примадонны немецкой оперы.

Умер Йозеф Гунгль 31 января 1889 года, оставив после себя более трехсот пятидесяти мазурок, вальсов, полек и других музыкальных произведений так называемого легкого жанра. Его знаменитый в свое время «Венгерский марш» стал еще более знаменитым, когда любители музы-

ки услышали его в обработке великого венгерского композитора Ференца Листа.

«Для его музыки характерна та же мелодичность и та же хорошо известная ритмика, что и для танцевальных произведений Штрауса, в одном ряду с которым он может быть поставлен, причем вторым, если иметь в виду этот раздел композиции»,— пишет о Йозефе Гунгле «Британская энциклопедия».

В сущности, то же самое характерно и для музыки Вальца.

В апреле 1855 года Вальц, помимо уже названных должностей, получил еще одну — его назначили машинистом сцены императорского Александринского театра. А в те времена машинист сцены являлся одновременно и художником-декоратором, и конструктором сложнейших сценических эффектов. Однако прослужил там Федор недолго.

17 марта 1853 года в Москве сгорел Большой театр. Вальц принял близко к сердцу несчастье. А когда два года спустя стали подходить к концу восстановительные работы в Большом, Федор Карлович получил от дирекции императорских театров приглашение переселиться в Москву для устройства сцены и всей механической части возрождаемого театра. Вальц принял его и в августе 1855 года вместе с семьей покинул Петербург.

Не успел он обосноваться в первопрестольной, как его командировали за границу. Вальц отправился в Брюссель — для осмотра нового королевского театра и знакомства со всеми его усовершенствованиями по механической части.

По возвращении из Бельгии Вальц был назначен главным машинистом Большого театра, а несколько лет спустя на него возложили заведование машинной частью также и в Малом театре.

Умер Федор Вальц в 1869 году, сорока девяти лет от роду, в Москве. Там его и похоронили на Немецком кладбище.

Но у Федора Карловича остался наследник и преемник — сын его, Карл Федорович, тот самый Карлуша, которого отец хотел видеть своим учеником и последователем. Так оно и стало.

Вскоре после переезда в Москву Федор Карлович отправил его в Дрезден — город Муз, дабы он получил там общее образование и воспитание в Английском пансионе, а специально-декоративное — у хорошего знакомого Федора Карловича, профессора живописи Королевского оперного театра Отто Рама и профессора берлинских королевских театров Карла Гроппиуса. В этом путешествии десятилетнего Карла сопровождали мать, сестра и слуга.

Пробыв в Дрездене, а затем в Берлине два года, Вальц-младший вернулся в Москву вскоре после открытия вновь отстроенного Большого театра. Начал работать там с отцом, помогал ему. А когда Карлу исполнилось пятнадцать лет, его зачислили на службу в качестве художника-декоратора. И он отдаст Большому театру шестьдесят пять лет жизни!

О Федоре Карловиче Вальце в «Советской театральной энциклопедии» ничего не сказано. О Карле Федоровиче — его сыне и преемнике — заметка есть: «Талантливый изобретатель-самоучка, Вальц обладал незаурядными познаниями в области пиротехники, механики и электротехники. Широкую известность принесли Вальцу феерические театральные представления, в которых он создавал различные постановочные эффекты...»

Карл Вальц пользовался большим уважением А. Н. Островского, оформлял спектакли по его пьесам в московских и некоторых провинциальных театрах, сотрудничал с Московским художественным театром, а в начале нынешнего века восемь раз сопровождал знаменитую балетную антрепризу Сергея Дягилева в ее зарубежных гастролях, возглавляя всю машинно-техническую часть.

Дягилевская постановка балета «Павильон Армиды» — музыка Н. Н. Черепнина — с ее феерической сменой декораций произвела такое впечатление на парижан, что они ходили к Вальцу за кулисы, как на экскурсию. Хотели своими глазами увидеть тайны «русского Калиостро», как прозвали они Карла Федоровича.

Да, сын и в самом деле превзошел в своем уникальном искусстве отца, поднялся на еще более высокую ступень мастерства и изобретательности.

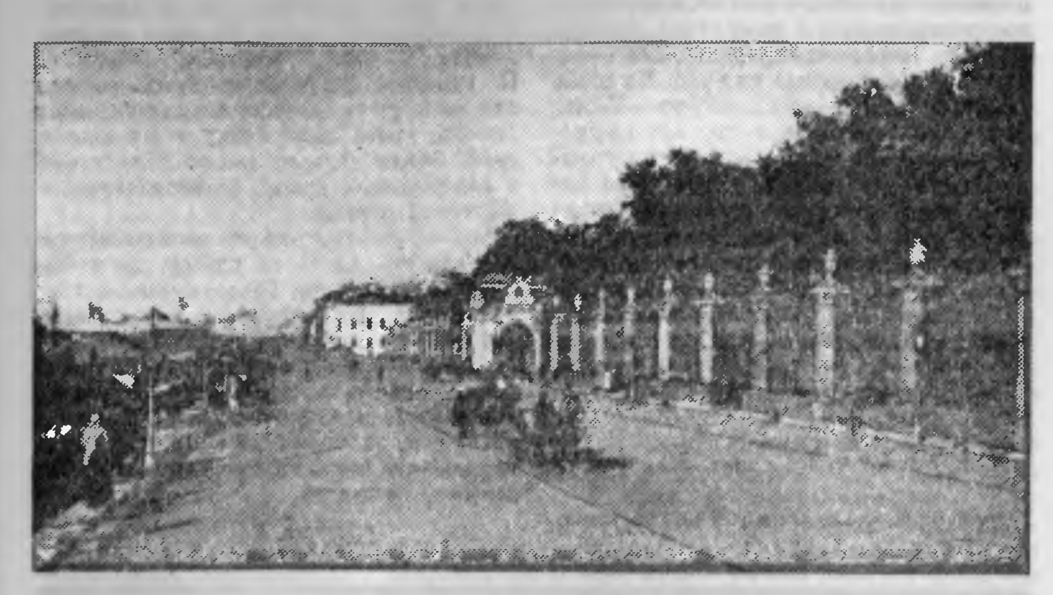
Вальц-младший прожил долгую жизнь. За большие заслуги перед русским и советским театральным искусством ему было присвоено почетное звание заслуженного артиста республики — отличие, в те годы еще чрезвычайно редкое.

Умер Карл Федорович в 1929 году. А за год до этого вышла в свет книжечка его воспоминаний — «65 лет в театре».

«Вальц,— писал в предисловии к ней известный музыкальный деятель И. Соллертинский,— принадлежит к числу „последних могикан“, являясь действительно чуть ли не последним и единственным представителем исчезнувшего племени — славной плеяды декораторов старой формации. Его именуют не иначе как „чародеем“, „магом и волшебником“. Он готов в любую минуту вынести свое искусство за пределы театра, организовав массовое народное гулянье под открытым небом, с неизменными ракетами и феерическими увеселениями. Одним словом, это действительно воплощенный „театральный микрокосм“ с неистощимой фантазией и энергией».

Вот сколько любопытного поведала старая-престарая афиша: после того, как удалось ее «разговорить»!

Ленинградский альбом



Летний сад. Фото начала века из фондов ЦГАКФФД.

По праву памяти

М. РАЗУВАЕВ

МЕМОРИАЛ В «КРЕСТАХ»

Сейчас я живу и работаю вдали от своего родного города, но никогда не переставал быть и ощущать себя ленинградцем. Естественно, я не мог пропустить в пятом номере журнала заметку Д. Новика «Символ вселенской скорби» в рубрике «Из почты „Невы“» (1989 г., № 5). Спасибо автору, поднявшему эту тему. Необходимо вынести на обсуждение проект мемориала. Думаю, что правильным будет такой путь: обсуждение в общих чертах (возможно, с представлением графических материалов), сбор и анализ различных идей и мнений. Но в любом случае мы обязаны учитывать желание самой А. А. Ахматовой о месте установления памятника. Только после того как основные формы и решения определятся,— только тогда объявить конкурс на лучшую модель. Иной подход может повторить (и наверняка повторит) «эпопею» с памятником Победы в Москве.

Далеко не во всем могу согласиться с автором. Предлагая идею «островка», он не учел сложной в этом месте гидрологии реки и расположение судового хода, который именно здесь отнесен к правому берегу. Неоправданно усложнена инженерная часть. Идея метронома совершенно неприемлема не только потому, что «вертушка» никогда не обеспечит равномерность звука, но и как это будет восприниматься на фоне уличного шума? К тому же следует учесть, что звук метронома у нас ассоциируется с иным временем и иными обстоятельствами. Этот звук психологически не «стыкуется» с идеей мемориала, он здесь чужероден.

Я вижу несколько иное решение и осмеливаюсь предложить его. Тюрьму и «картонажный цех» следует убрать — это однозначно. Комплекс зданий отреставрировать. Но внешний вид сохранить. Совершенно недопустим легкомысленно-розовый цвет нового кирпича. Цвет, данный временем, должен быть сохранен непременно. Содержание памятника следовало бы расширить, чтобы это был мемориал не

только жертв репрессий, но и политкаторжан, и тех, кто стоял в этих страшных очередях.

Думаю, что один «крест» может быть посвящен истории репрессий, а другой — политкаторжанам. Я вижу стену, выходящую на набережную, вдоль нее — несколько расширенный тротуар. На стене справа от центра (если смотреть с Невы) бронзовые барельефные группы «очередей», слева — в том же исполнении группы этапов под конвоем. Этапы мне видятся со спины — ведь мы не знаем не только всех, но и многих. Под барельефами неширокие полочки для цветов. В центре — небольшой скверик, и в нем — памятник А. А. Ахматовой. Обязательно в одежде, характерной для тех очередей. Таким образом, поэтесса окажется не противопоставленной всем, а вместе со всеми:

...Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Хочу верить, что против этого не возражала бы и сама Анна Андреевна. Она не мыслила себя вне народа.

Еще несколько мыслей по поводу предложений Д. Новика. Если необходим звуковой фон, то думаю, что в «кресте» политкаторжан могла бы тихо звучать мелодия «Вы жертвою пали...». В «кресте» репрессированных — мелодию, которую могут написать наши композиторы, внеся свою лепту в это святое дело. Земля лагерей может находиться в специальных урнах, установленных в тюремной церкви.

Сознаю, что мой проект, если его можно так назвать, далек от идеала, но очень хочется думать, что предложенное решение может дать импульс к нахождению хоть какого-нибудь элемента общей композиции мемориала.

В любом случае — обсуждению проектов должно предшествовать обсуждение идей. Одну из таких идей я и осмеливаюсь предложить вниманию редакции и — надеюсь — читателей.

г. Киров

Н. КВАНТАЛИАНИ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПАЛАЧА

В журнале «Звезда» (№ 9 за 1988 год и № 5 за 1989-й) опубликованы отрывки из книги А. Антонова-Овсеенко «Карьера палача». Автор описал первую половину жизни одной из наиболее одиозных личностей в нашей новейшей истории — Лаврентия Берии. «Ранний Берия» мало известен широким кругам читателей, и публикация вызвала большой интерес. На мой взгляд, он усугубляется еще и тем обстоятельством, что при аресте Берия квалифицировался в официальных сообщениях как давний агент империалистических разведок. Это вызвало у многих недоверие. Видимо, сказался скепсис, порожденный судебными процессами 1936—1938 годов. Те, кому довелось прослушать зачитывавшиеся в партийных организациях материалы по делу Берии, не находили в них ничего, что иллюстрировало бы фактическую сторону обвинения — с кем, как и когда осуществлялись преступные связи. Как писал Серго Микоян («Комсомольская правда», 21.01.88), Берия был зачислен в агенты «под горячую руку». Микоян пояснял, откуда взялось само это утверждение: имелись данные о том, что Берия в 1919 году являлся тайным осведомителем мусаватистской охранки в Баку. Эта служба действовала в контакте с английской «Интеллидженс сервис», что и послужило основанием для сделанного в 1953 году «обобщения». Берия оправдывался тем, что, служа охранке, выполнял партийное задание.

Антонов-Овсеенко пишет о том, как мусаватистский шпик Берия пришел в 1919 году к руководителю подпольной большевистской организации в Баку В. Нанейшвили и предложил ему свои услуги — они были приняты. Так он стал «членом партии с 1919 года».

Было ли это именно так, не берусь судить. Но негласная служба Берии в мусаватистской охранке с 1918 года — твердо установленный факт. Он был засвидетельствован в свое время М. Д. Гусейновым, впоследствии известным партийным деятелем в Закавказье и первым секретарем ЦК КП Таджикистана. О нем упоминает Антонов-Овсеенко.

Когда Берии впервые было предъявлено это обвинение, он представил документы и свидетелей, подтвердивших, что он выполнял партийное поручение. Компетентные люди посчитали тогда свидетелей лжецами, а документы — липой. Тем не менее Берии поверили. Правильнее будет сказать — за него заступились. В конце концов, Берии было в 1918—1919 годах девятнадцать-двадцать лет, а конкретных обвинений предъявлено не было. Но поверили не все: когда вопрос был доложен Дзер-

жинскому, он рассудил иначе. Однако через несколько дней — 20 июля 1926 года — он скоропостижно скончался, и дело не было доведено до конца.

Хочу оговориться: у меня нет разногласий с Антоновым-Овсеенко в общей оценке личности Берии. Но ряд замечаний все же считаю нужным сделать. Мне представляется это тем более необходимым, что в работе по только еще начинающемуся осмыслению истории наших последних десятилетий писатели, не располагающие документами, обычно опираются на воспоминания очевидцев или людей, считающих себя таковыми. При этом долго сдерживаемые эмоции легко могут взять верх, и в результате появляются необоснованные версии. Еще менее достоверными могут быть исследования зарубежных авторов.

Не исключено, что так получилось и в данном случае: Антонов-Овсеенко, по-видимому, беседовал со свидетелями событий 1918—1926 годов спустя три-четыре десятка лет. Такие воспоминания неизбежно несут на себе отпечаток последовавших впечатлений, прежде всего «незабываемого 1937-го». Мои соображения, основанные на рассказах свидетелей и своих юношеских воспоминаниях, тоже, конечно, субъективны. Тем не менее, я считаю, что их публикация может принести какую-то пользу в установлении истины.

Согласно очерку Берия 1922—1926 годов предстает в роли единоличного вершителя судеб в ЧК и ГПУ Грузии. Он связан непосредственно со Сталиным еще с 1919 года. На Сталина произвел большое впечатление «политический трактат» двадцатилетнего Берии, посвященный плану организации специальной ведомственной службы в Баку. Берия выполняет личные поручения Сталина, в том числе такое, как организация авиационной катастрофы с целью убийства А. Мясникова, располагавшего компрометирующими Сталина данными. При этом гибнут чекисты С. Могилевский и Г. Атарбеков. Берия же организует фальсифицированный судебный процесс над деятелями грузинской церкви. Даже в организации восстания в Грузии в 1924 году прослеживается его провокаторская роль.

На мой взгляд, автор не учел того, что в 1919 году Берия был лишь мелким шпионом, и его интересы в «большой политике» ограничивались, скорее всего, попытками предугадать — кто победит. Когда он понял, что мусаватисты обречены, он и взял курс на «партийные поручения». Единственное, что он неуклонно соблюдал,— это собственные интересы: жалованье, выплачиваемое охранкой, получал регулярно и в партийную кассу его не вносил, а будучи сотрудником АзЧК, усердно конфисковывал ценности у бакинских буржуа, не забывая при этом и себя. Его достижения того времени в эпистолярном жанре неизвестны. Но образцы более поздней журналистики, цитируемые Антоновым-Овсеенко, говорят сами за себя. Первое масштабное произведение — «исторический» доклад 1935 года — составлен, как известно, сотрудником ЦК КП Грузии Берией. Какими же обобщениями мог он поразить Сталина в Царицыне в 1919 году?

Личное знакомство Сталина с Берией, как это считали знающие люди, состоялось в конце 20-х годов, когда Сталин приехал отдыхать в Цхалтубо. Берия — в ту пору уже председатель ГПУ Грузии — представился ему под предлогом проверки охраны вождя, постарался заинтересовать его собой и втереться в доверие. Серго Микоян относит этот эпизод к 1931 году. Однако точно известно, что Сталин еще в 1928 году был наслышан о бериевских способностях. В 1929 году, узнав о том, как Берия подсидел его шурина — С. Ф. Реденса, Сталин рассмеялся и похвалил Лаврентия Павловича: «Ну и молодец — ловко его обработал».

В 1922—1926 годах непосредственным начальником Берии был председатель ЧК, а затем ГПУ Грузии Епифан Кванталиани, член партии с 1906 года, активно участвовавший в революционной работе, проведший не один год в тюрьмах и ссылках и достаточно известный Сталину. Читая очерки, приходится предположить, что он был либо соучастником Берии в его тогдашних черных делах, либо проявил близорукость и не ведал, что творил его заместитель.

Первый вариант я позволю себе исключить. Что же касается второго, то в первые годы их совместной работы он в какой-то мере возможен. Антонов-Овсеенко правильно характеризует молодого Берию тех времен: «Когда ему было нужно, он мог убедительно сыграть роль своего парня, простого и приветливого... и лишь в 1927 году начали прозревать его ближайшие коллеги».

В 1923—1924 годах Берия всячески обхаживал своего шефа, уговаривал его поселиться совместно (в то время были модны семейные «коммуны»), подружить жен и тому подобное. А шеф, в свою очередь, не мог не заметить служебных достоинств и рвения растущего молодого чекиста. Одновременно Берия настойчиво, но ненавязчиво стремился установить знакомства со всеми руководящими деятелями в Тбилиси, находил предлоги побывать у них на дому и создать о себе благоприятное впечатле-

ние. Особое внимание он уделил Орджоникидзе. Серго Микоян в статье «Слуга» со слов отца пишет о том, что в 1931 году Орджоникидзе не захотел «присутствовать при коронации Берии» на заседании Политбюро. Тем не менее, в сентябре 1932 года, когда Орджоникидзе отдыхал в Кисловодске, туда на машине из Тбилиси прикатил Берия, явился к нему и в течение двух-трех часов наушничал на тогдашнего первого секретаря Заккрайкома — Мамию Орахелашвили. Его не выгнали, слушали. Орджоникидзе, как известно, был и горяч, и искренен, и доверчив. Видимо, Берия умел играть на этих свойствах его характера. У Берии в 1925 году родился сын, его нарекли сперва Отаром, но когда Орджоникидзе был в 1926 году переведен в Москву, сына срочно «перекрестили» в Серго. Берия всячески «обольщал» и брата Серго — Папулию, а позднее (когда приказали) он сослал его «без права переписки»...

Возвратимся к 1926 году. Кванталиани получил информацию о службе Берии в мусаватистской охранке и предпринял необходимые шаги. Берия, однако, сумел все взвалить на... Кванталиани. Последствия он рассчитал точно: Кванталиани отказался продолжать свою деятельность в ГПУ и был, в конце концов, «переведен на другую работу». Позднее, придя в 1932 году к руководству Закавказской партийной организацией, Берия отстранил его под благовидным предлогом от партийной работы, поставив на это место своего нового верноподданного. В 1937 году уже надломленный Кванталиани, естественно, разделил судьбу подавляющего большинства старых грузинских коммунистов.

В подкрепление своей версии о роли Берии в авиакатастрофе 22 марта 1925 года Антонов-Овсеенко ссылается на Сурена Газаряна (журнал «Звезда» опубликовал в 1989 году его воспоминания), вспоминавшего после XX съезда: «Когда-нибудь история прольет свет на это дело». Но ведь Газарян был не единственным честным человеком в ГрузЧК тех годов. Сам Антонов-Овсеенко пишет о грузинских чекистах тех лет: «То были идейные, преданные партии люди.., убежденные в правоте своего дела». Что же помешало им доискаться причин такой поразительной аварии? Тогда, в атмосфере тех лет, при наличии контроля ОГПУ и партийных органов это было, вероятно, не так трудно.

Если коснуться процессов над церковными деятелями и вообще борьбы с антисоветским подпольем в Грузии, нашедшей свою кульминацию в восстании осенью 1924 года, то было бы в корне неверным считать эти события результатом провокаций Берии. В Грузии реально действовала объединившаяся в «паритетной» организации контрреволюция, поощряемая из-за границы. Восстание, как известно, не нашло поддержки у народа и провалилось. Став с помощью своего «друга» Генриха Ягоды в 1929 году уполномоченным ОГПУ в Закавказье, Берия попал в поле зрения «хозяина». И когда в 1931 году первый секретарь Заккрайкома Лаврентий Картвелишвили, быстро разглядевший истинное лицо своего тезки, попытался принять необходимые меры, было уже поздно. Партийные интеллигенты Грузии проявили себя в то время людьми деликатными. В разговорах между собой они могли, как С. Варданян, юмористически уподобить Берию набиравшему силы Гитлеру, но, к сожалению, недооценивали реальные возможности этой фигуры, появившейся на партийном горизонте. Берия стал первым секретарем ЦК КП Грузии, Картвелишвили поехал «осваивать» Сибирь, а вернувшийся на пост секретаря Заккрайкома Орахелашвили благородно помог Берии в его первых шагах. Об этом рассказывает Антонов-Овсеенко. Увы, менее чем через год Орахелашвили вынужден был написать заявление в ЦК ВКП (б), где дал Берии уничтожающую характеристику. Сейчас бы найти это заявление...

Все последующее за 1932 годом было уже, как говорится, «делом техники». Можно было бы добавлять и добавлять новые факты к общему, теперь уже всем известному облику. Другое дело — объяснить, почему такие, как Берия, стали в конце двадцатых годов двигаться вверх. Ответ как будто очевиден: Сталин. Ну, а сам Сталин? Он — фигура противоречивая, отвечают теперь историки. С одной стороны — организаторская работа во времена индустриализации, Великой Отечественной войны, с другой — преступления. Еще прибавляют: допускал нарушения законности, совершал ошибки... А многие задают при этом глубокомысленный вопрос: но все же — интересы какого класса он выражал? И отвечают — рабочего, застенчиво добавляя: отсталых слоев.

Такая схоластика, с определением «раз и навсегда», вне времени и конкретных дел, напоминает печальной памяти вульгарный социологизм. Видимо, мало муссировать тезис о противоречивости Сталина. По-моему, в этом тезисе бесспорно положение о социально-исторической противоречивости действий Сталина на разных этапах его жизни. В этой противоречивости нет, однако, чего-либо такого, что вызывало бы симпатии или делало его личностью трагической. Триумф он готовил для себя, трагедию — для народа.

Поэтому нельзя согласиться, с теми, кто взывает к «взвешенности» и «уравновешенности оценок», то есть хочет писать о сталинской эпохе, как «дьяки поседелые в приказах, добру и злу внимая равнодушно». Взвешивать на весах можно лишь величины одной размерности — ум и глупость, сильная воля и безволие, добро и зло. Легко понять и чувства тех, кто был воспитан на отождествлении Сталина и Великой Победы. Можно понять чувства многих грузин: их национальному самолюбию, конечно же, лестно, что их земляк сыграл такую роль в событиях всемирно-исторического значения. И не нужно препятствовать тому, что они приклеивают портреты Сталина на стекла автомашин или выставляют у себя дома — это было бы и бесполезно, и даже вредно. Но почему на фронтоне Института истории партии при ЦК КП Грузии в Тбилиси рядом с барельефом Маркса и Ленина находится барельеф Сталина — это уже трудно понять.

Что же касается Берии, то положить на весы истории хоть что-то в его пользу не пытается, кажется, никто. Разве что — известный истец в московском суде, протестовавший против того, что Берию в свое время обозвали английским шпионом. Что ж, чего не было — того не было, а фактов надо придерживаться не только историкам. Ведь поддавшемуся своим эмоциям и поэтому ошибившемуся автору могут не поверить и в остальном, а это повредит и ему самому, и делу выявления истины.

Мини-мемуары

Старейшему русскому поэту Рюрику Ивневу в нынешнем году исполнилось бы 98 лет. Около восьмидесяти лет Михаил Александрович Ковалев (это его настоящее имя) посвятил литературному труду. Работал он буквально во всех жанрах. В прошлом году издательство «Художественная литература» выпустило объемный том его избранных стихотворений и поэм, написанных автором с 1907-го по 1981 год. После Октябрьской революции Рюрик Ивнев был секретарем наркома просвещения А. В. Луначарского, возглавлял Всероссийский Союз поэтов, вместе с С. Есениным состоял в «ордене имажинистов». Ему довелось знать многих выдающихся деятелей отечественной культуры, общаться с ними, дружить. Среди них были В. Маяковский, В. Хлебников, Н. Клюев, О. Мандельштам, Б. Пастернак и другие. Живыми людьми, лишенными хрестоматийного глянца, предстают они перед читателем на страницах ивневской автобиографической повести «Перепутье».

Встречался он и с художниками, близко знал С. Судейкина, Г. Якулова, К. Петрова-Водкина, организатора музея творчества Андрея Рублева в Москве Д. Арсенишвили... Думается, что современному читателю будет интересно познакомиться с мемуарами Рюрика Ивнева, окунуться в то далекое время.

Н. ЛЕОНТЬЕВ

Рюрик ИВНЕВ

ПОСЛЕ ШТУРМА ЗИМНЕГО ДВОРЦА

В апреле 1917 года, под впечатлением выступлений Ленина, я примкнул к большевикам. На одном из митингов познакомился с А. В. Луначарским и А. М. Коллонтай.

После Октябрьской революции я стал секретарем наркома просвещения Луначарского, а так как здание Наркомпроса было еще в руках саботажников, то принимать посетителей Луначарскому пришлось в Зимнем дворце.

Луначарскому была отведена та часть Зимнего дворца, вход в которую был с набережной Невы, недалеко от Зимней канавки. Помню, что роскошь бывших царских покоев не произвела на меня особого впечатления, может быть, потому, что по историческим романам я все это уже как бы видел давным-давно, а может быть, и потому, что думать обо всем этом не было времени.

Недавно меня спросили: «Вы осматривали *весь* дворец?» — и я только при этом вспомнил, что мне даже в голову не приходила мысль осмотреть весь дворец, хотя для этого надо было только подняться по одной из многочисленных лестниц в комнату коменданта...

Саботажники — бывшие служащие министерства просвещения мечтали, что мы окажемся в изоляции, но вскоре сами оказались в этом положении. Несмотря на то, что еще кипели страсти и большинство интеллигенции не признавало Советской власти, наплыв посетителей был необычайно большим. Это

объяснялось тем, что в противоположность «знаменитой» и широкоизвестной части интеллигенции, державшейся от нас на расстоянии пушечного выстрела (и, вероятно, в душе мечтавшей направить на нас дула пушек, если бы они у них были), к Луначарскому приходило неимоверное количество честных представителей трудовой интеллигенции.

В тех условиях вести прием было очень трудно. Надо было на ходу, так сказать, делать из себя дипломата, чтобы не обидеть и не оттолкнуть от себя в будущем, может быть, полезных и талантливых сотрудников. Естественно, что все хотели видеть Луначарского лично. Положение народного комиссара обязывало ко многому, потому что тогда слово **народный** понималось в прямом смысле.

В первые дни мне было очень трудно ориентироваться в новых условиях вообще, и в своих собственных в частности. Но постепенно я начал определять почти с первого взгляда, когда кого надо немедленно пропустить к Луначарскому, а когда надо улыбаться и просить, для ускорения свидания с Анатолием Васильевичем, изложить кратко суть дела мне. Не все на это шли, и мне приходилось изощряться в придумывании наиболее правдоподобных предлогов, чтобы избавить Луначарского, всегда очень занятого делами, от излишнего груза бесплодных и бесцельных разговоров.

Вспоминается случай, когда в кабинете у Анатолия Васильевича засел какой-то настойчивый посетитель, попавший к нему не через меня (он подкараулил Луначарского у входа во дворец и, пользуясь его вежливостью и мягкостью, прошел вместе с ним в кабинет). Я вошел к Анатолию Васильевичу и понял, что он в изнеможении от пустых разговоров этого посетителя, но не делает того, что сделали бы на его месте другие, то есть не приподнимается с места и не говорит: «Простите, но мне надо принять еще много народу». Тогда я взял очередного посетителя, ждавшего в приемной, под руку и, вводя его в кабинет Луначарского, сказал:

— Простите, Анатолий Васильевич, но к вам по срочному делу.

Луначарский все понял и улыбнулся мне одними глазами...

Не обходилось и без курьезов. Один раз пришла какая-то пышная дама с огромным свертком. На мой вопрос, что ей угодно, она ответила:

— Принесла пьесу Анатолию Васильевичу.

— Простите, вы драматург?

— В душе — да! И драматург, и поэт. Но царские театры меня затирали, так как я не графиня и не баронесса.

Мне пришлось уверять ее, что все пьесы читаю сначала я, а уж потом, если пьеса стоящая,— Анатолий Васильевич. К моему удивлению, она безоговорочно вручила мне свою пьесу в шести действиях и пятнадцати картинах. Сам не зная, на что рассчитываю, я сказал, что прочту ее пьесу за три дня.

В другой раз пришла молодая, изящная особа и представилась актрисой любительских спектаклей. В отличие от других посетителей, не добившихся свидания с Луначарским, она обратилась прямо ко мне, как будто была знакома со мной с детства.

— Вы — секретарь? Очень приятно. Вот я заготовила черновик одной бумаги, вы ее дадите машинистке перепечатать, а затем на подпись Луначарскому и, конечно, поставите печать. Без печати бумага будет не действительна.

Глаза мои, помимо моей воли, широко раскрылись. Но я все же спокойно взял бумагу и прочел: «Справка. Дана артистке такой-то в том, что в ящике номер такой-то хранящиеся драгоценности приобретены на ее трудовой заработок. Нарком».

— Вы думаете,— спросил я, стараясь быть вежливее,— что Анатолий Васильевич подпишет эту бумагу?

— Если вы захотите, то — да, если не захотите, то — нет,— ответила она, улыбаясь.

— Так я скажу вам прямо — нет!

Она поднялась и с презрительной гримасой надменно произнесла:

— Меня подвела одна артистка, моя подруга. Она сказала мне: «У Анатолия Васильевича очень симпатичный секретарь. Обратись к нему... Он это сделает. А если нет, приходи ко мне, может быть, обойдемся и без него».

Тут я вспомнил, что действительно несколько известных артисток, зарабатывавших большие гонорары, получили от Луначарского справки, подобно той, которую мне хотела подсунуть эта молодая особа. Очевидно, слухи о подобных справках для артистов распространились по городу и одна из авантюристок решила попытать счастье, выдав себя за артистку...

Но все это — забавные мелочи, а главное было то, что постепенно ширился круг людей, искренне переходивших на сторону новой власти. Вскоре здание министерства просвещения оказалось в ведении Луначарского, где он продолжал прием все новых и новых посетителей.

Прошло много лет, но из моей памяти никогда не изгладятся те первые, самые трудные и в то же время счастливые дни, когда я своими глазами видел, как на прием к Луначарскому в Зимний дворец шли ходоки от интеллигенции.